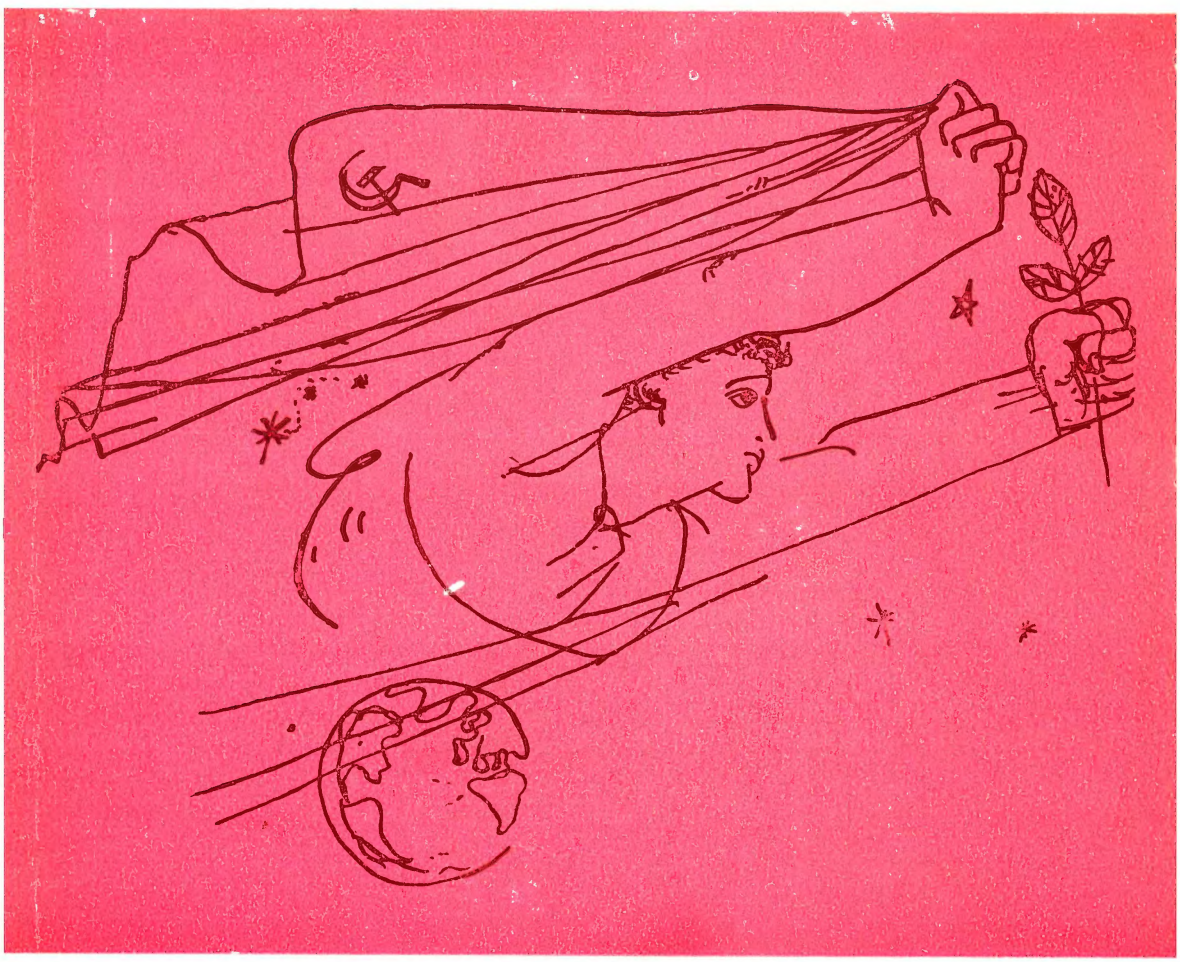
ИНОСТРАННАЯ литература

11
1964



...Но строки я воздвиг, и корабли, и зданья,
И жизнь моя — стрела, что смерть саму достанет.
Хоть высока звезда — она у ног моих!

Карлос Аугусто Леон

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЗОЛТАН ФАБИАН — Три крика 7
СЕМБЕН УСМАН — Горячий ветер 36

ПЬЕСЫ

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Блюз для мистера Чарли (Пьеса в 3-х действиях. Послесловие Н. Курдюмова) 149

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РАССКАЗА

АЛАН МАРШАЛЛ, АЛЬБЕРТ ЛЕННОН, ЛЕОН ВАНТУЛА 123

СТИХИ

НИКОЛАС ГИЛЬЕН — Новое 3
К СОЛНЦУ! (Стихи монгольских поэтов) . . 117
КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН — Лицом к жизни 142

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

МИКЛОШ РАДНОТИ — Стихи 215
ГАБОР ТОЛНАИ — О Миклоше Радноти . 221

КРИТИКА

Д. ШЕСТАКОВ — 15 миллионов героев . . 226
ХАНС ШЕРФИГ — Наш друг Ханс Кирк . 236

11

НОЯБРЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ДУИЗА БРАЙАНТ — В первые годы... . . . 241

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — У Ленина . . . 246

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ДАВИД АЛЬФАРО СИКЕЙРОС читателям журнала «Иностранная литература» . . . 248

ЭТО СОЗДАНО В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ . . . 249

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма французских солдат Анри Барбюсу 255

НАШИ ГОСТИ

С. ПАРХОМОВСКАЯ — Встреча с болгарскими друзьями 262

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Беседуя с Николасом Гильеном 259

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

В. Цветов — Для того, чтоб дорогу построить... ◇ Эзра Левонтин — Борьба продолжается. ◇ В. Макаренко — Великий поэт Тамилнада. ◇ А. Турков — Главная трудность ◇ Л. Тамарин — Певец революции и любви. ◇ К. Атарова — Работа обретает смысл. ◇ Ф. Наркирьер — Моруа-новеллист 265

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

С. Ильинская — Поэзия действенная и страстная. ◇ В. Силюнас — Скучные будни «сладкой жизни» 272

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 276

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке работа румынской художницы ДЖЕТЫ БРЭТЕСКУ «Праздник» (1959)

Номер открывает рисунок венгерского художника АДАМА ВЮРЦА.

НИКОЛАС ГИЛЬЕН

Новое

Издалёка...

В те дни, когда я был подростком
(тому лет пятьдесят, читатель),
здесь встречались люди, взрослые, до смешного наивные:
шум азартной игры в таверне,
драка пьяная в ближнем баре
их смущали... Такие люди
восклицали в испуге: «Мой бог!
Что о нас подумают янки?!»
Для иных
слово янки на все налагало
отпечаток чуть ли не святости. Как же!
«Поправка Платта» *, вооруженное
вмешательство, броненосный флот!
В те далекие дни никому не могло и присниться
то, что стало для нас
нашим хлебом насущным:
захват полковника-гринго
(венесуэльский вариант)
или четырех агентов-провокаторов
(как в Боливии сделали наши братья)
или победа наших барбудос в Сьерре, само собой ясно

Пятьдесят лет назад,
представьте себе, на первых страницах наших газет
печатались вести про бейсбол —
их присылал Нью-Йорк.
Вот здорово! Цинциннати обыграл Питтсбург,
а Сан Луис обыграл Детройт!
(Покупайте мячи с маркой «Reich», лучше их не найдешь.)

Джонсон, боксер-чемпион,
был в те дни для нас образцом.

Для детей касторка Флетчера
считалась лучшим лекарством
в трудных случаях
желудочных расстройств.

---

* Кабальные обязательства, навязанные американским империализмом Кубе в 1901 году, по которым Куба превращалась в фактическую колонию США.

В те дни одна газета
включала в число своих приложений листок
ежедневный, по-английски, для янки:
«A Cuban-American paper
with the news of the world»*.

Ничего нет лучше обуви марки Walk-Over
и пилюль, которые изобрел доктор Росс.

Сок нашей пиньи **
вдруг стал для нас
вовсе не ананас;
Fruit Juice Company***
назвала его черт знает как.

До Мобиля мы доезжали по Munson Line,
по Southern Pacific ездили в Нью-Орлеан,
по Ward Line — в Нью-Йорк.
В те далекие дни волновали умы Ник Картер и Буффало Билл.
В те дни еще в памяти жил шаровидный толстяк Магун **** —
тучный гангстер, заняв губернаторский пост,
среди первых воров был первейший Вор.
В те дни знаменит был American Club.
В те дни в моде была вежеталь
миссис Лидии Э. Пинкхем.
В те дни сверкала вывеска: Miramar Garden
(будто трудно назвать по-испански, по-своему: сад!..).
В поездах Cuban Company ездили мы по стране.
В те дни Cuban Telephone с нас пожинала доход.
В те дни нами правил свирепый янки-посол.

И что особенно важно:— Внимание!
К нам сейчас пожалуют янки!
(Впрочем, уже и тогда встречались люди
не настолько наивные,
любившие поязвить:
«Ага! Они, значит, еще не пришли?
Нету их?!»)
Но, как бы то ни было,
янки слыли тогда за самых великих,
сильных,
честнее нельзя и найти...
Сливки общества, все на подбор.
Они нам подавали пример во всем:
надо, чтоб выборы наши проходили быстро и гладко,
чтоб небоскребами стали все наши дома,
чтоб президенты наши всегда исполняли свой долг,
чтоб мы курили самый тонкий табак,
чтоб все мы жевали «чуингэм» *****,

---

* «Кубино-американская газета с новостями со всего света» *(англ.)*.

** Пиньа — название ананаса по-испански.

*** «Компания фруктовых соков» *(англ.)*.

**** Чарлз Э. Магун был американским губернатором Кубы в период оккупации страны вооруженными силами США (1906—1909 гг.).

***** Жевательная резинка.

чтоб белые не смешивались с черными,
чтоб курили мы трубки как вопросительный знак,
чтоб чиновники наши были исправны и непогрешимы,
чтоб революция не врывалась к нам в дом,
чтоб воду исправно спускали мы в ватер-клозете
одним энергичным рывком.

Но вот
случилось так, что мы уподобились детям:
став взрослыми, дети вдруг узнают,
что почтенный дядюшка, сажавший их к себе на колени,
сам в тюрьме сидел за подлог.
Однажды мы узнали
еще худшее зло...

Как и почему
был в своей погребальной ложе убит Линкольн.

Как и почему
бандиты в США выходят в сенаторы.

Как и почему
столько там полицейских не сидит все еще за решеткой.

Как и почему
камни их небоскребов исходят всегда слезами.

Как и почему
Техас был разрублен на части и украден потом.

Как и почему
не принадлежат больше Мексике виноградные лозы и яблони Калифорнии.

Как и почему
морские пехотинцы-янки убивали мексиканских солдат в Веракрусе.

Как и почему
в западню заманили Сандино* и там он был умерщвлен.

Как и почему
Дессалин** увидел свой флаг спущенным с флагштоков Гаити.

Как и почему
в сахар щедро примешивали навоз.

Как и почему
ослепили они свой народ, вырвав язык у него.

Как и почему,
чтоб нашу правду узнал он, было так нелегко.

Как и почему...

Мы пришли издалёка, издалёка.
И однажды узнали об этом обо всем.
Наша память хранит воспоминанья.
Мы выросли, мы просто стали взрослыми.
Мы выросли, и мы помним всё.

Перевод с испанского ФЕДОРА КЕЛЬИНА

---

* Аугусто Сесар Сандино — герой национально-освободительной борьбы в Никарагуа, убитый в 1934 году.

** Жан Жак Дессалин — один из вождей национально-освободительного движения негров и мулатов на острове Гаити в конце XVIII и начале XIX вв.

Что
есть
у меня?

А вот поглядим:
что есть у меня?
Хуан Ничто я был вчера.
А кто я сегодня?
Хуан Всё!
Так отчего всё есть у меня?
Как дожил я до такого дня?

Что есть у меня?
А ну, поглядим...
Есть радость, когда по своей земле
шагаю и гордо гляжу вокруг,
и что я во сне лишь видел — вдруг
сегодня стало моим.
Сегодня стали моими слова:
«народная армия»,
«город», «хлеб», «урожай» —
моими и нашими, как трава,
как солнечный свет,
как цветы, как звезда —
моими и нашими, навсегда.

Что есть у меня?
А вот расскажу...
Я, рабочий, крестьянин простой,
в банк, например, спокойно вхожу.
Говорю по-английски?
Да нет, постой...
Говорю по-испански!
А с кем разговор —
тот мне товарищ,
а не сеньор.

Что есть у меня?
А вот погляди...
Я негр,
и я вхожу в ресторан.
Кто мне посмеет сказать: «Уходи!»,
или в гостинице: «Номер сдан!»,
хоть я прошу не роскошный холл,
а угол, где отдых бы я нашел?!

Что есть у меня?
Могу разъяснить...
Стража не может меня заточить
в казармы или бросить в острог,
не может согнать с моей земли,
заставив шагать и шагать в пыли
больших и малых дорог.

Что есть у меня?
Земля и вода:
не «country» *, а села и города,
не «high-life»'а ** сплошной обман,
а пляжи да пляжи, волна да волна,
а синяя даль без конца и без дна —
Демократический
Океан.

Что есть у меня?
Могу рассказать...
Я научился читать, и писать,
и считать,
и размышлять для себя и для всех,
узнал, что такое смех.

Что есть у меня?
Работа есть,
а значит — есть что попить-поесть.
Что есть у меня?
Могу разъяснить:
есть то у меня, что должно быть.

Перевод с испанского ***ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ***

---

* В данном случае — «загородный клуб» *(англ.)*.
** Светская жизнь *(англ.)*.

ЗОЛТАН ФАБИАН

Три крика

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

Перевод с венгерского
Г. АФАНАСЬЕВА

I

Он услышал выстрел, но ничего не почувствовал. Мир вокруг внезапно перевернулся: земля оказалась сверху, а небо стремительно обрушилось. Он лежал вниз головой на железнодорожной насыпи, словно кто-то схватил его за волосы и держал над пустотой.

И вдруг рядом оказалась жена, Магда. Она поцеловала его, и он почувствовал на своих губах привкус соли, но она не плакала. Магда смеялась, закинув голову, ее зубы сверкали в лунном свете на коричневом от загара лице. А на шее, под подбородком, виднелась полоска нежной белой кожи.

«Помоги мне»,— хотел он сказать ей, но из горла вырвался дикий крик:

— Люди!

Собственный голос испугал его. «Что это со мной?» — подумал он и попытался сесть. Но не смог. И тут он услышал стук своего сердца. Оно билось где-то высоко, в самом горле: тук, тук... Звук этот болью отдавался в голове.

Потом наступила тишина. И тогда снова появилась Магда.

Им хотелось открыто посмотреть друг другу в глаза, но они не смели. Магда прильнула к мужу, осыпала частыми поцелуями его худую, юношески тонкую шею, заросшее щетиной лицо. С ней было так хорошо, что можно было забыть все на свете.

Где-то далеко гремели выстрелы..

Густые бронзовые волосы Магды рассыпались по подушке. Он запустил в них руку и с силой прижал к себе голову жены.

— Уйдем отсюда,— шепнула Магда,— брось все, пойдем домой! Уйдем! Давай уйдем!

— Домой?

— Домой. Вместе со мной.

— Мне, командиру, уйти?!

— Для меня ты не командир. Ты — это ты.

Он осторожно разжал ее руки, отодвинулся.

— Я должен думать не только о тебе.

— А о ком еще?

— О себе самом,— сказал он и подошел к окну.

В комнате стоял полумрак: сквозь полуопущенные жалюзи просачивались скупые лучи света. От толстых стен с выступившими на них пятнами сырости несло чем-то затхлым. Тяжелая резная мебель тонула во мраке. На высоких спинках кресел блестел вытканный золотом незнакомый графский герб.

За окном тополя, ивы, густой кустарник под лучами заходящего солнца сливались в одну синевато-серую массу. А за парком, внизу,— ослепительное зеркало Тисы. Жаркий июльский день клонился к вечеру. Где-то далеко на севере грохотали пушки, и поблекшее синее небо глухо вторило им.

Магда бесшумно подошла к мужу, встала за его спиной.

— Уйдем! Уйдем отсюда!

— Я не могу.

— Нет можешь,— настаивала Магда.— Я так хочу.

Он поймал узкую прохладную руку жены.

— Ты не можешь этого хотеть.

— Нет могу.

— Не можешь, потому что любишь меня.— Он отвернулся от окна, взглянул на Магду.— Или, может быть, больше не любишь?

— Знаешь, что люблю. Поэтому я и пришла сюда.

«И поэтому уйдешь»,— подумал он, но спросил о другом:

— Через реку на пароме переправлялась?

— Нет, в лодке. Паром был на этой стороне, перевозчиков я не дозвалась.

Он обхватил ладонями ее милое лицо и посмотрел ей в глаза, большие и темные, блестевшие, словно янтарь, от падающих на них сквозь узкие щели жалюзи солнечных лучей.

— Какие красивые у тебя глаза!

— При чем тут глаза!— сказала Магда, отодвигаясь от мужа.— Мы говорим о более важном.

— А что может быть важнее?

— Твоя жизнь!— закричала она и, словно задохнувшись, повторила:— Твоя жизнь.

Он улыбнулся.

— А я о чем говорю? О твоих глазах, о моей жизни...

— Ты все шутишь, шутишь, будто...

— Будто что?

Магда содрогнулась.

— Даже выговорить не могу.

Под окном, гремя оружием и громко разговаривая, проходили солдаты. Высокий кустарник полностью закрывал их, были слышны лишь голоса и шум шагов.

— Неужто правда?— спросил молодой слегка шепелявый голос.

— Что правда?— хрипло переспросил другой.

— Что правительство сбежало за границу? *

В разговор вмешался третий солдат. По-видимому, пожилой.

— В Вену оно уехало, вот что,— ответил он тонким голосом.

— А вам это откуда известно?— взволнованно спросил солдат с хриплым голосом, нервно щелкая затвором винтовки.

---

* В результате объединенных действий сил внешней и внутренней контрреволюции, а также предательства социал-демократов революционное венгерское правительство 1 августа 1919 года было вынуждено уйти в отставку.

— Говорят,— протянул молодой.

— Кто говорит?

— Все говорят.

— А вы сразу и поверили каким-то слухам, да?!

В разговор снова вмешался солдат с тонким голосом:

— Поверили не поверили, а только это правда.

Больше слов нельзя было разобрать: бряцанье оружия и грохот канонады заглушили разговор.

— Слышала?— первым заговорил он.

— Слышала.

— Вот до чего мы докатились.

Магда, откинув голову, взглянула ему в лицо.

— Поэтому я и прошу, я умоляю тебя!

— Не надо просить и умолять,— сказал он, гладя медно-рыжие волосы жены, рассыпавшиеся по плечам.— Бывают дороги, которые каждый должен пройти один. Должен, понимаешь? Я ведь тоже не мог пережить с тобой всего, что перенесла ты во время родов.

— Это совсем другое.

— Почему другое?

— Потому что это женское дело.

— А это — мужское.

Он замолчал. Посмотрел в вечерние сумерки, раскрашенные тусклыми мерцающими огнями, содрогающимися от пушечного грохота.

«Пока Сольнок держится, ничего еще не потеряно»,— подумал он, но сказал другое:

— Я тогда стоял в больничном коридоре и слышал твои стоны.

■

В больнице пахло лекарствами. Но запах был совсем не такой, как на перевязочном пункте, там, на фронте: не такой сильный, но удушливый. Ожидание в коридоре было мучительным. Чтобы как-то отвлечься, он придумал этому запаху название: orchidea chloroformiensis. Это был запах неизвестного цветка, и он попытался себе представить, как может выглядеть вот такая orchidea, но вместо цветка перед ним в полутьме коридора возникала лысая голова маленького человечка, делившего с ним ожидание.

— Как вы думаете, гражданин,— то и дело спрашивал лысый человек,— она уже разрешилась? — Он тоже ждал, когда родит его жена.— У меня родится сын, вот увидите, гражданин, у меня обязательно родится сын.

Газовая лампа шипела, ее зеленоватый свет отражался на лысине человечка. Кожа на его голове была бледной и чем-то напоминала плитки, которыми были облицованы стены в коридоре.

В палате для рожениц кто-то резко, пронзительно закричал.

— Э-это Розалка-а,— прерывающимся голосом сказал маленький человечек, хрустя суставами коротеньких пальцев.

Из-за двери донесся тихий стон.

Магда.

Он прислушивался к этим тихим стонам всем своим существом, ему казалось, что звуки доносятся не из-за двери, а рождаются у него внутри. Он даже видел эти звуки — серые, бесформенные, расплывчатые, чувствовал их на вкус: вяжущие и острые, как квасцы, они вызывали тошноту. Он задыхался от этих звуков.

— Orchidea chloroformiensis,— прошептал он.

— Вы что-то сказали?— спросил лысый.

— Ничего.

Длинный больничный коридор был пуст, только в самом конце за матовым стеклом двери мелькали белые тени.

Лысый снова заговорил:

— Я назову его Максимилианом. Максимилиан.

Он удивился:

— Почему именно Максимилианом?

— А вы разве не знаете?— недоверчиво спросил тот.

— Нет.

— В честь Роббеспира.— Он так и сказал, четко произнося два «б» и коверкая окончание.— Я, видите ли, сапожник, и я революционер,— горделиво заявил он, впиваясь в лицо собеседника колючими глазками.

— Не все сапожники — революционеры.

Лысый человечек сердито вскочил со скамейки:

— Вы что-то слишком гордитесь своим чином.

— Каким чином?

Он действительно не понял и вопросительно посмотрел на человечка серыми добрыми глазами.

— Хоть вы и сорвали звездочку — сразу видно, что вы офицер и очень гордитесь своим званием.

— Я первым переплыл Пьяве *.

— Ну и что?

— Ничего,— пожал он худыми, как у подростка, плечами.— Ровным счетом ничего. Только за это я и получил звездочку...

■

Он переплыл реку и протянул через нее канат: один конец тонкой крепкой веревкой привязал к поясному ремню, а другой связал с канатом, который остался на том берегу вместе с катушкой.

Над головой то и дело пролетали снаряды: шла артиллерийская подготовка. Перед ним, на итальянском берегу, рвались гранаты. В воде все было гораздо слышнее: вслед за свистом слышались взрывы и снова свист разлетающихся осколков. Некоторые снаряды с плеском падали в воду.

Пьяве показалась ему не шире родной Тисы, но плыть с каждым метром становилось труднее, и он плыл медленно. Разматывающаяся вслед за ним веревка намокла и тянула его назад. Хорошо было бы повернуть обратно. Он оглянулся. Под холодным светом луны свой берег казался недосягаемо далеким. Деревья и зигзаги проволочных заграждений гонули в синей тени.

А что, если он не осилит течения? Река унесет его на юг, в голубую Адриатику. Он никогда не видел моря, но говорят, что вода в нем всегда голубая, как небо или глаза у финских девушек, которых он тоже никогда не видел.

Что-то ударило его.

Перед ним проплыл труп — рот раскрыт, подбородок зарос густой черной щетиной. «Наверное, отросла после смерти»,— подумал он. По мундиру он узнал итальянского офицера; на вздувшемся, словно бочка, животе тускло поблескивали пуговицы. Одна рука судорожно вздымалась из воды, словно покойник хотел ухватиться за расстилавшуюся над ним звездную ночь. Труп неторопливо плыл вниз по течению.

Река сносила и его. Сопротивляясь течению, он стал загребать сильнее левой рукой; надо выйти на берег вон у того искалеченного тополя:

---

* Река на севере Италии. Здесь в мае 1918 года произошло кровопролитное сражение между итальянской и австро-венгерской армиями, в результате которого австро-венгерские части потерпели поражение и были отброшены назад.

туда свои не будут стрелять. Потом он вытащит канат и привяжет его к стволу дерева. Цепляясь за канат, на тот берег переправится любой солдат. Дерево, кажется, крепкое, выдержит.

Еще в школе он мечтал стать путешественником, поехать на Дальний Восток, плавать по Тихому океану. Но никогда не мог себе представить, что в двадцать три года ему придется переплывать Пьяве. Никогда у него не возникало такого желания, он даже не знал, что где-то на свете есть такая река. Он взглянул направо: видны ли Альпы? Но ничего не увидел: луна светила со стороны гор, и у него зарябило в глазах.

Вот уже и берег. Но вдруг прямо перед ним шальной снаряд угодил в искореженное дерево и расколол его надвое. Он едва успел прижаться к земле, как над головой просвистели осколки. Он поднялся и, согнувшись, бросился к тополю.

Сбитые снарядом ветки, падая на землю, содрали со ствола кору, обнажив ослепительно-белое тело дерева; осколок снаряда величиной с кулак так и застрял в нем, похожий на странный, корявый сучок.

Едкий запах жженого пороха, от которого до тошноты першило в горле, смешался со свежим смолистым ароматом раненого дерева.

■

Он и сейчас, при одном воспоминании, чувствует этот запах.

К горлу подступила тошнота.

«Orchidea chloroformiensis»,— подумал он и прислонился к выложенной белыми плитками стене коридора. Он старался глубоко дышать, чтобы как-то унять дрожь. Руки и ноги у него похолодели, на лбу выступил пот.

Дверь палаты для рожениц распахнулась, в коридоре показался врач.

— Разрешилась?— бросился к нему лысый человечек.

— Да,— врач показал рукой в сторону двери.— Слышите?

Оттуда доносился тоненький прерывистый плач новорожденного. Счастливый отец прислушался, приставив ладонь к уху. Он, словно танцуя, топтался на одном месте и напевал на мотив какой-то песенки:

— Мак-си-ми-ли-ан, Мак-си-ми-ли-ан...

Врач с удивлением посмотрел на него, на его усталом лице не было и тени улыбки.

— Девочка у вас,— проронил он и тут же повернулся к другому:— Мне надо поговорить с вами.

— Пожалуйста,— произнес он, отходя от стены.

— Считаю своим долгом поставить вас в известность о состоянии вашей супруги,— начал врач, увлекая его к окну.— Роды осложняются, ребенок идет лицом. Таз у вашей супруги, как вам известно, узкий. Я почти уверен в вашем ответе, но все же обязан спросить, кого спасать — мать или ребенка?

— Доктор...— начал он и запнулся.— Доктор...

Он замолчал, пошевелил короткими, чуть узловатыми пальцами; губы его мелко дрожали, словно от холода.

— Понимаю,— кивнул врач, ободряюще положив большую широкую руку ему на плечо.— Мы сделаем все возможное.

Врач повернулся и, как-то странно покачиваясь на своих длинных худых ногах, пошел в палату.

Маленький человечек подскочил к нему.

— У меня до-очь? — спросил он, заикаясь, тонким голосом.

— Да,— бегло взглянул на него врач.— Чудесная девочка.— И тут же вышел.

Лысый человечек плюхнулся на белую крашеную скамейку и, уставившись перед собой, захрустел пальцами.

■

Они стояли втроем перед картой, прислушиваясь к доносившимся с севера глухим звукам канонады.

— Под Сольноком все еще продолжается артиллерийская дуэль,— сказал офицер генерального штаба Юданич.

Руки у него дрожали, он то и дело подносил их к большим оттопыренным ушам.

— Белые * сосредоточились на юге, у Сегеда,— продолжал офицер, повернувшись к карте.— Часть их сил переправилась за Дунай и движется по направлению к Будапешту. Ясно — с целью занять город, по возможности раньше, чем это успеют сделать румынские войска...**

Он на это ничего не сказал, лишь кивнул офицеру. На худом изможденном лице не было ни тревоги, ни беспокойства. Казалось, он только что проснулся и мучительно старается вспомнить приснившийся ему сон.

— Мы оказались меж двух огней,— продолжал Юданич.

В этот момент заговорил третий из присутствующих, унтер-офицер Ловас, политкомиссар.

— Не меж двух, а меж трех огней.

— Со стороны Орошхазы тоже наступают? — обернувшись, спросил он Ловаса.

— Да. Румынские части,— ответил Ловас и засунул за ремень свою огромную руку с почерневшими от машинного масла ногтями.— Солдаты встретили крестьянина на телеге, он и рассказал, что сегодня на рассвете обогнал их у Дёпарошфюрдё. Они шли маршем.

— Сюда?

— Или сюда, или к Сольноку. До Сентеша дорога одна и та же.

— Сегодня на рассвете?

— Да, еще до восхода.

Юданич безуспешно искал на карте деревню, о которой шла речь.

— Приблизительно вот тут,— показал он.

Карандаш в его руке дрожал, оставляя на зеленом пятне карты рваные зигзагообразные линии.

— Ты выслал разведчиков? — спросил командир унтер-офицера.

— Да, тогда же.

— В котором часу?

— В конце дня. Как раз когда пришла твоя жена.

Юданич вынул из кармана золотые часы, щелкнул украшенной драгоценными камнями крышкой.

— Двадцать часов пятьдесят две минуты. Пора бы им и вернуться.

— Это вам не маневры,— заметил Ловас.

Офицер генштаба позеленел, но, ничего не сказав, спрятал часы в верхний карман френча.

Командир пристально посмотрел на обоих и шагнул к карте. Это была обыкновенная школьная карта — физическая карта Венгрии Она не очень-то годилась для тактических целей, но другой у них не было. Он провел на ней полукруг от Сольнока до Сегеда.

— Именно так,— подобострастно одобрил Юданич.— Таково действительное положение вещей, гражданин командир: впереди нас — сильный противник, позади — Тиса.

---

* Во время Венгерской Советской Республики контрреволюционная армия, так же как и у нас, называлась белой.

** Для подавления Венгерской Советской Республики Антанта использовала войска соседних с Венгрией буржуазных государств — Румынии и Чехословакии.

— А мы сидим тут и ничего не делаем,— проворчал Ловас.

Командир пропустил его замечание мимо ушей.

— Что за часть находится под Дёпарошфюрдё? Что говорил крестьянин?

— Говорил, что темно было, не рассмотрел... Да он ничего и не понимает в этом.

— Я думаю,— перебил Юданич,— противник превосходит нас в силах.

— Вы так полагаете? — спросил командир.

Офицер генштаба отвел глаза в сторону.

— Я всего лишь предполагаю.— Он развел руками.— Разумеется, я могу ошибаться.

— С вами это бывает,— заметил унтер-офицер.

— С вами тоже.

Керосиновая лампа с абажуром, висевшая над столом на длинной медной цепочке, заходила ходуном: наверху, на чердаке, где было оборудовано пулеметное гнездо, затопали солдаты. Тусклый свет лампы метался по комнате, словно ощупывая скрывающиеся в темноте стены. Но помещение было слишком велико, и стены словно раздвигались, убегали от света, прятались в густой тени.

В этой игре света и тени командир не видел ни Юданича, ни Ловаса — он видел одну лишь колышащуюся, плотную, как жидкость, темноту. Ему казалось, он вот-вот задохнется. Он с силой дернул за ворот френча, вырвал крахмальный подворотничок и бросил его на стол.

«Что это со мной?» — с удивлением подумал он, но возбуждение уже охватило его, и он ничего не мог с этим поделать.

— Довольно дискуссий! — закричал он и повернулся к офицеру генштаба: — Значит, вы считаете, что противник превосходит нас в силах?

— В настоящий момент точное соотношение сил установить невозможно,— начал офицер холодно и обиженно.— Пока не решится исход боя у Сольнока, можно лишь строить догадки.

— В военном деле не должно быть догадок, это вы обязаны знать лучше других.

— Я всего лишь офицер генерального штаба, в круг моих обязанностей входит давать советы, вносить предложения. Право решать и действовать принадлежит вам, гражданин командир.

— Другими словами, ответственность за все ложится на меня.

— Если угодно, можно сказать и так.

— Значит, так и скажем.— Командир снова был спокоен и полон решимости. Он подошел к столу и, опершись на спинку обитого парчой стула, машинально провел пальцем по извилистой линии рисунка, шелковистого и мягкого на шероховатой ткани.— Я успокою вас...— начал он и не договорил. Ему вдруг показалось, что он чувствует прикосновение Магды... Нет, она была не рядом, а где-то глубоко в нем. Так бывает, когда долго плаваешь и потом, даже ночью, внезапно пробудившись ото сна, всеми мышцами еще ощущаешь воду. Он резко повернул стул.

— Садитесь!

Юданич тяжело опустился на мягкое сиденье.

Командир придвинул еще один стул.

— Садись сюда, товарищ Ловас!

— Мы тут одними разговорами занимаемся,— запротестовал тот.— Пора уже действовать.

— Очертя голову?

— Хотя бы и так.

— Не пори горячку... Сейчас это равносильно преступлению.

— Я не горячусь, только...

— Что только?

Унтер-офицер не знал, что сказать. Его большие руки теребили ремень.

— У нас во всем должно быть единое мнение,— сказал командир,— от этого зависит судьба всей бригады.

— Я согласен с вами, гражданин командир,— сказал Юданич таким равнодушным и бесстрастным тоном, что нельзя было понять, искренен он или нет.

Офицер откинулся на спинку стула; потирая одной рукой другую, словно разглаживая морщинки на ладони, он сбоку смотрел на качавшуюся под потолком лампу. Пузатое стекло лампы тряслось и позвякивало, когда наверху раздавался топот солдатских сапог.

— Пойду взгляну, что там во дворе,— сказал Ловас.— А то люди волнуются.

Под тяжелыми, подбитыми железом башмаками Ловаса заскрипел истоптанный, неровный пол. Дверь открылась и захлопнулась за ним.

И тут командир понял, что канонада прекратилась,— наступила полная тишина. Темнота снаружи была глухой и безмолвной. Ему хотелось снова услышать привычный грохот. Но темнота молчала. Он даже не слыхал биения собственного сердца, и это было страшно. Вдруг из угла у окна заговорил телеграфный аппарат: ти-ти-та-ти-та-ти-ти-ти...

■

С улицы доносился стук колес по мостовой. Было уже темно, ничего нельзя было различить, но стук приближался, и в свете, падавшем из больничного окна, он увидел большой застекленный катафалк с резными украшениями. На козлах восседал еле видный в темноте кучер, слышался свист бича. На катафалке сидели солдаты и пели:

Прощай, Фиуме — порт морской,
Прощай, Италия чужая!
Под флагом Венгрии родной
Спешит солдат-мадьяр домой.

Отвалит скоро пароход
И, грудью волны разрезая,
За ветром быстро поплывет,
Отчизны берег приближая!

Черный катафалк катился по звенящей мостовой, свистел и щелкал бич кучера, а солдаты все пели и пели. Голоса их доносились из-за стеклянных стенок катафалка, словно они были далеко-далеко, где-то за синим морем.

Он вздрогнул, когда врач дотронулся до его плеча, медленно повернулся к нему, но ничего не спросил.

— Мать и сын живы,— сказал врач.

— Кто? — спросил он, не понимая, что с ним и где он находится.

— Успокойтесь,— врач мягким, уверенным движением взял его под руку.— Пойдемте, вы их сейчас увидите.

Безукоризненная белизна палаты слепила глаза... «Orchidea chloro...» — хотел сказать он и тут увидел Магду. Она лежала на койке, вытянувшись как покойница. Лицо белей белого. Губы тоже. Только волосы темные, темно-бронзовые. И ресницы. «Открой глаза!» — приказал он ей про себя. Но она не послушалась. Рука поверх одеяла тоже белая как стена. И неподвижная. И длинные, изящные пальцы лежат неподвижно. «Что же это с тобой?» — мысленно спросил он и вдруг увидел, что на шее у нее бьется крохотная синяя жилка. Наклонился и поцеловал холодную белую полоску кожи. Губы его почувствовали, как пульсирует кровь в жилке.

— А вот и сын,— сказал врач, подымая на руке крохотное голое существо.— Один килограмм девятьсот шестьдесят граммов.

Ребенок был так мал, что весь умещался на широкой ладони врача. Шейка его была искривлена. Маленькая, как у птенца, головка повернута влево. Ребенок не плакал, даже не пищал, только таращил большие удивленные глаза.

— Немножко кривенький,— сказала полная низкорослая медсестра.

— Главное, что живой,— улыбнулся врач.

Сестра двигалась по палате, что-то убирала, плавно покачивая крутыми бедрами под белым халатом.

— Хорошо, что не девочка. Парни на вес золота будут, найдется и для него женщина, выбирай только.

— Малыш — умница: мир поворачивается влево, вот он заранее и повернул туда же головку,— попытался шутить врач, кладя ребенка на короткие полные руки сестры.— Вполне возможно, что со временем это пройдет.

— А если и не пройдет,— сказала сестра,— по крайней мере не возьмут в армию.

На операционном столе, покрытом белой клеенкой, лежали щипцы, большие никелированные щипцы, разинув свою круглую металлическую пасть.

— Мир рушится,— проговорил он.

Врач подошел к нему.

— Дать вам чего-нибудь успокоительного?

— Успокоительного? — машинально переспросил он, не отводя глаз от щипцов.

— Может быть, брома? Вам станет лучше.

— Нет, спасибо.

— Выпейте брома.

— Я превосходно себя чувствую. Превосходно.

Сестра торопливо завернула ребенка в простыню и, искоса наблюдая за отцом, вынесла новорожденного в соседнюю палату. У нее были маленькие испуганные водянисто-голубые глазки и рыжие выгоревшие ресницы.

Врач за ширмой мыл руки. Вода с шумом вырывалась из крана.

■

Тот день ничем не отличался от других. После обеда чернявый офицер пил вино прямо из горлышка оплетенной бутыли. Под расстегнутым воротником френча ритмично ходил кадык, вино громко булькало в горле. Офицер поставил плетенку на середину стола и снова улегся на койку. Они оба лежали так, положив ноги в сапогах на спинки кроватей. Чернявый, как всегда, завел разговор на свою излюбленную тему, даже не обращаясь к нему, а просто болтая от нечего делать с несуществующим собеседником.

Но в тот день случилось непонятное: не успел чернявый произнести и десятка фраз, как атмосфера в комнате накалилась, и каждый из них почувствовал, что перед ним сидит смертельный враг.

— Я вот что тебе скажу: вся эта ваша любовь — не что иное, как бред больного мозга,— начал развивать чернявый свой любимый тезис.— Сентиментальная болезнь, от которой околеть можно. Выдумка лунатиков и поэтов, которые, в этом я уверен, все были импотентами. Женщина существует совсем не для этого, старина. Ее нужно повалить на спину, использовать, а потом бросить. Это еще кое-что, все же остальное — сплошная чепуха.

Он не выдержал и перебил офицера:

— Тебя ведь тоже мать родила.

— Ты мою мать не оскорбляй!..

— Ты сам ее оскорбляешь!

Чернявый одним махом сбросил ноги со спинки, описав ими большую дугу, и вскочил с кровати.

— Я уж давно за тобой слежу: все твои разговоры на *их* болтовню похожи. Видно, тебе она по душе. А мне нет. Не нравится мне все это, и ты мне не нравишься. Читаешь Маркса и всякую там чертовщину...

Офицер в возбуждении теребил тоненькие черные усики.

А он ничего не ответил. Лежал, уставившись в покрытый паутиной потолок и внимательно разглядывая извилистые трещины, словно перед ним была карта неизвестного ему материка.

Офицера раздражала его невозмутимость и безразличие.

— Вернешься домой — читай своего Маркса, не найдешь лучшего дела — читай от скуки хоть «Махабхарату» *, или как там ее называют, но только не здесь! — крикнул офицер и поднял обросший черными волосами кулак.— До тех пор пока мы не сметем эту банду, в землю ее не вгоним, у тебя лишь одна святая обязанность — бороться с ними. Понял?

Офицер снова взял со стола плетенку с вином и стал жадно пить.

С потолка на длинной блестящей паутинке, плавно раскачиваясь в воздухе, спускался черный мохнатый паук, быстро перебиравший лапками и сучивший свою нить.

Он подумал: «Счастливая примета!» — но сейчас все это показалось ему такой глупостью, что он невольно улыбнулся и отвел взгляд от паука: насекомые вызывали в нем отвращение.

— И ты еще смеешься? — снова набросился на него чернявый офицер.— Удивительно!.. У твоего отца мельницу отобрали, а ты тут ржешь. Совсем рехнулся! Голову себе набиваешь всякими бреднями, мир хочешь перевернуть, думаешь: возьмут они верх, и ты с ними. Нет уж, один конец нас всех ждет — и тебя, и твоего отца, и меня: петля на шею.

Он спустил ноги на пол, сел и застегнул френч.

Смеркалось, и воздух снаружи свежел, это чувствовалось даже сквозь закрытые окна. Стоял март. Длинные тени резко вырисовывались на красно-коричневом шлаке, которым были посыпаны дорожки, отчего казалось, что двор изрезан на куски. На желтое здание казармы падал кристально чистый луч света.

«Таким же чистым должен быть человек»,— подумал он. Окна другого здания, стоявшего напротив, отсвечивали кровавым светом. Одно из них распахнулось. По его лицу, внезапно ослепив, скользнул зайчик. Перед глазами завертелись красные круги с зелеными спицами, все быстрей, быстрей, потом исчезли. Он открыл глаза и увидел, как из окна напротив кто-то выплеснул мыльную воду из старенького с обитой полудой голубого эмалированного тазика.

А офицер, прищурив свои черные масленые глаза с чересчур длинными для мужчины ресницами, продолжал ораторствовать.

— Может быть, ты хочешь подыгрывать и нашим и вашим? И им угодить и нам, а? — издевался чернявый, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь на широко расставленных ногах.

Он поднялся, взглянул на усмехающуюся наглую физиономию. Глаза у него были все те же — серые, добрые. Но улыбки в них уже не было.

— По себе судишь? — сказал он и стал застегивать ремень с висящей на нем кобурой револьвера.

— Как ты смеешь?! — вспылил чернявый, ударяя себя кулаком в грудь.— Да ты знаешь, кто я? С одним штыком и десятком гранат вы-

---

* Памятник древнеиндийского эпоса.

бивал я из нор макаронников на Пьяве! Золотую медаль получил, когда другие драпали и в штаны клали со страху.

Он с улыбкой посмотрел на чернявого и спросил:

— Убивал? Разве этим хвастаются?

— Как ты смеешь? — зашипел офицер.— Я убивал макаронников во имя родины, за святое венгерское дело!

— А теперь?

— Что теперь? — смешавшись, спросил тот.

— Теперь ты кого убивать будешь?

— *Тех самых.*

— Тех, кто раньше тебя переправился через Пьяве.

— Изменников, гадов бить буду. А если и ты с ними, так и тебя. Изменникам одна дорога — на виселицу.

Он перестал спорить, пусть себе кричит. Подошел к старому шкафчику у стены между окнами и спокойно, но быстро начал укладывать вещи в мешок: в самый низ книги, сверху коробку с письмами жены, полученными по полевой почте. Он туго завязал веревкой мешок и, соединив лямки, закинул его на левое плечо.

Чернявый непонимающе смотрел на эти приготовления.

— Ты куда?

Он не ответил. Не спеша закрыл шкаф, даже повернул ключ в замке и с вещевым мешком на плече пошел к двери.

— Куда ты?

Он остановился, словно хотел что-то сказать, объяснить, но передумал, махнул рукой и пошел к выходу.

Офицер закусил темно-красную верхнюю губу до самых усиков, широкими, быстрыми шагами двинулся ему наперерез и остановился, заслоняя собой дверь.

— Ты останешься здесь!

— Нет, я ухожу.

Красивое смуглое лицо чернявого исказила гримаса.

— Ты останешься здесь! — закричал офицер и вцепился ему в горло.

В серых, широко раскрытых глазах появилось выражение тревоги и удивления. Он попытался освободиться, но сильные волосатые руки не пускали его, словно тисками сжимая худую мальчишескую шею.

— Пусти! — хотел он крикнуть офицеру, но из горла не вылетело ни одного членораздельного звука. Он потянулся к кобуре, судорожным рывком открыл ее и — выстрелил.

Офицер дернулся, разжал пальцы и упал на грязный пол. С лица его так и не успела сойти злобная усмешка.

А он отступил на шаг, машинально вложил пистолет в кобуру, подошел к кровати чернявого, снял серое солдатское одеяло и накрыл им мертвое тело. Потом постоял еще, отбросил носком сапога раздавленный окурок, валявшийся рядом с убитым, и вышел во двор, в свежие мартовские сумерки. Желтые казарменные здания были холодны и безмолвны, над ними и над голыми ветвями деревьев раскинулось черное ночное небо.

— Ты сам этого хотел,— сказал он, прислушиваясь к звуку своих слов в чистом хрустальном воздухе, словно ждал, что кто-то на них ответит.

■

Солнце клонилось к закату, воздух становился прозрачнее. Легкий ветерок нес с Тисы прохладу и запах свежей рыбы. Сквозь щели в жалюзи свет падал на противоположную стену и, отражаясь от нее, наполнял комнату теплыми золотистыми сумерками.

Он смотрел на маленькую, хрупкую фигурку жены, на ее зеленое платье, расцвеченное красными полосами заката. Платье топорщилось на груди, и его взгляд проникал все глубже, он видел под материей ее нежную белую кожу, синие прожилки.

— Почему ты существуешь сама по себе, а я сам по себе?!

Магда бросила на него взгляд исподлобья.

— Если б мы могли быть единым целым, я была бы твоей матерью; я унесла бы тебя в себе далеко-далеко отсюда, чтоб родить для себя одной.

Вместо ответа он прирлек ее к себе, его руки ласкали ее шею, прятались за вырезом ее платья. Он прижался ладонью к мягкому плечу жены, и все его тело наполнилось жаркой дрожью, ему показалось: подними он сейчас руку, она будет излучать свет.

Магда горячо прильнула к нему.

— Я боюсь... Боюсь за тебя.

— Надо верить. Верить! Этого у нас никто не может отнять.

— Я верю только в тебя и ни во что больше. Мне ничего, кроме тебя, не нужно. Ты для меня — революция, ты для меня — все! Разве это так трудно понять? С тех пор как я полюбила тебя, я знаю, что такое жить. Жить! — закричала Магда и вцепилась ему в плечи.— Не отнимай у меня этого, не отнимай!

— За что, Магда? За что ты со мной так?

— Я прошу тебя. Очень, очень прошу.

— Ты можешь просить о чем угодно...

— Я прошу тебя только об этом: уйдем.

Они замолкли. За них говорили глаза и руки. Они до боли желали друг друга, но пересилили себя, успокоились.

— Хочешь, чтоб я стал предателем?

— Революция кончилась.

— У революции нет конца.

— Нет есть. Ее задушили.

— Революцию нельзя задушить... От нее можно только отказаться или предать ее.

— Этого я не знаю.

— Зато я знаю.

Он это действительно знал.

Полоски света на стене выхватили из темноты портрет молодой знатной дамы в длинном лиловом платье с оборками. Дама стояла среди больших желтых георгинов и, чуть нахмурив тоненькие ниточки бровей, смотрела на них.

Они не спускали друг с друга глаз, им не нужна была дама на картине.

— Новую историю нельзя делать, не отдаваясь этому всей душой, не вкладывая всего себя,— объяснял он жене.— Для этого нужен весь человек, вся его душа. Если мы не сможем дать больше, стать выше своих предшественников, тогда действительно революции придет конец. Конец! Но мы...

И он с силой вскинул вверх руки.

Золотисто-карие глаза Магды затуманились.

— Ты сейчас как пик Mont Pelée*, с его застывшей лавой,— сказала она.

— Такой высокий?!

Магда покачала головой.

— Такой же загадочный.

---

* Мон-Пеле — вулкан на острове Мартиника (Малые Антильские острова), известен катастрофическим извержением в 1902 году.

Ее слова вновь воспламенили его, но он вновь сдержался.

— Хорошенькое будущее ты мне предвещаешь: землетрясения, извержение вулкана.

— Не говори о смерти!

— А разве лучше прозябать, быть камнем, травой?

— Нет-нет!

— Даже если бы такое существование длилось вечно?

— Что толку, если я не чувствую, что существую! — сказала она, улыбнувшись с мудрым превосходством женщины.

— Человеческая жизнь — одно мгновение.

— Но в этом мгновении — все.

Он стал медленно расстегивать пуговицы на груди у Магды; зеленый шелк скользнул вниз, обнажив покатые нежные плечи.

«Ты для меня — все»,— подумал он, привлекая ее к себе; он целовал ее теплые плечи, казалось, сотканные из света и аромата, с пульсирующими под белой кожей тонкими синими жилками. Он ощущал биение ее сердца, как свое собственное, она была в нем, в самой глубине его существа.

— Тогда ты не смог бы и любить меня,— сказала она.

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Не смог бы любить?!

— Тогда бы не было ни меня, ни тебя.

Он хотел закричать: «Родная!» — но сказал только:

— Молчи!

Над ними кружилась звенящая высь. Потом наступила тишина — глубокая и бесконечная. Они вынырнули из нее, словно глубоководные рыбы из мрака океана. И первое, что они услышали, был скрип пола в соседней комнате — кто-то шел мимо их двери.

«Юданич»,— подумал он и сразу все вспомнил.

Магда лежала, уткнувшись лицом в подушку. Он посмотрел на нее и стал жадно целовать ее плечи, шею, темно-бронзовые волосы. Внезапно Магда обернулась и очутилась в его объятиях. С закрытыми глазами она подставила ему губы. Он поцеловал ее.

— Открой глаза,— попросил он.

Ресницы взметнулись над большими карими глазами.

И тогда они снова услышали канонаду, но теперь выстрелы доносились с юга, будто их грохот унесла с собою река. А в комнате еще царила тишина. Все вокруг тонуло в золотисто-голубых сумерках, летний день, умирая, лил расплавленное стекло заката.

Магда щелкнула пальцами по воздуху, как по стакану.

— Слышишь? Звенит.

И снова щелкнула.

Он ничего не слышал, кроме ее голоса, видел ее одну, не отрываясь, смотрел на легкие движения ее рук. Он взял эти руки в свои, целовал ее тонкие прохладные пальцы, узкие перламутровые ногти. Он ни о чем не думал. Тишина, чистая глубокая тишина вошла в него, не оставив ни одной мысли, и ему хотелось зарыдать от счастья.

II

Перед ним вертелся калейдоскоп. Навстречу ему летели крохотные фиолетовые точки. Они приближались, увеличивались, становились лиловыми, распускались в бледно-желтые цветы. Их лепестки щекотали ему веки. Он улыбнулся.

— Перестань! — сказал он Магде, но не услышал собственного голоса.

«Что это со мной?»

Темнота сверкала какими-то неведомыми огнями, их цвет менялся с каждым ударом его сердца. Он потянулся, хотел сорвать желтые цветы, но рука коснулась упругой женской груди. И тогда он увидел небо. Оно было внизу. Черное и такое глубокое, что стало страшно.

Он стремительно падал в это небо.

— Люди! — закричал он.

Теперь он услышал свой голос, и снова перед глазами закружился калейдоскоп. Огромные красные круги с ярко-зелеными спицами вращались в бешеном ритме, вызывая острую боль где-то позади глаз, в мозгу. Внезапно круги слились в большое цветное пятно.

Он узнал карту.

Он стоял перед картой.

Юданич сидел за его спиной у стола и расшифровывал донесение, только что принятое по телеграфу. Аппарат продолжал стучать, повторяя текст телеграммы: ти-ти-та-ти-та-ти-ти-ти... Стук действовал ему на нервы.

— Прочитать? — спросил, вставая со своего места, Юданич.

— Пожалуйста,— ответил он, повернувшись к офицеру генштаба.

Тот начал читать монотонным голосом.

— «Сольнок сдан. Наступление интервентов продолжается. Правительство Советской республики ушло в отставку. Дюла Пейдль * сформировал новое, профсоюзное правительство».

Юданич опустил руку с листком бумаги. Глаза его были непроницаемы, взгляд холоден.

И вдруг он почувствовал себя неизмеримо далеко отсюда, будто видел происходящее в этой комнате через подзорную трубу.

— Какие меры, по вашему мнению, необходимо принять в настоящий момент? — спросил он.

— Начать переговоры.

— Переговоры?

— Да, и как можно скорее. Сегодня же.

— С кем?

— Разумеется, не с Малой Антантой.

— Значит, с Сегедом, с белыми?

Офицер генштаба поднял руку, тяжело уронил ее на стол; массивное кольцо на его пальце громко стукнуло о дерево.

— Разумеется, это нужно обсудить.

— Понимаю,— сказал он, подошел к Юданичу и остановился за его спиной.— Вы предлагаете безоговорочную капитуляцию?

— Нет, ни в коем случае,— поспешно ответил Юданич.

А он смотрел на офицера, на его лысеющую голову с аккуратным начесом редких седых волос.

— Изложите свои соображения,— сказал он.

Офицер генштаба заговорил медленно, тщательно подбирая слова:

— Ваша часть вполне боеспособна, это крепкая, готовая к военным действиям единица.— Юданич взглянул на командира.— Вы согласны со мной?

— Да,— подтвердил он, отойдя от Юданича.

— Тогда вы, очевидно, согласитесь и с тем,— продолжал Юданич,— что она способна участвовать в серьезных операциях.

— Против кого? — перебил он офицера.

— Против интервентов.

— На стороне белых?

---

* Правый социал-демократ, сформировавший реакционное правительство после разгрома Венгерской Советской Республики.

— Это мы и должны теперь обсудить.

— Обсудить *это?*

Насмешливый тон командира смутил Юданича, он умоляюще поднял старческие морщинистые руки.

— Мне кажется, гражданин командир, что вы меня...

— Ошибаетесь. Я прекрасно вас понял. Каждое ваше слово, даже те, которых вы не произносили.

Юданич нервно отошел от стола, хотел что-то сказать, но командир остановил его.

— Я только одного не могу понять: как можете вы, офицер Венгерской Красной Армии, офицер генерального штаба, *советовать* мне такое?

Но тот уже взял себя в руки и заговорил спокойно.

— Вы забываете, что Красной Армии больше не существует.

— Здесь она еще существует, насколько мне известно. И вы сами только что об этом говорили.

— Я говорил вовсе не об этом. Видимо, вы не так меня поняли.

— Возможно,— кивнул он.

— Не будем придираться к словам; положение настолько серьезно, что должны быть приняты немедленные меры, и мы не можем тратить время на обсуждение частных вопросов.

— Правильно. Дальше?

Несколько мгновений он не сводил тяжелого взгляда с офицера генштаба, потом отошел в сторону и стал расхаживать взад и вперед перед камином, куда не достигал свет лампы.

Юданич ответил не сразу. Он все еще стоял у стола. Лампа под потолком качалась и вздрагивала, по тщательно выбритому лицу офицера метались тени. На чердаке грузили ящики с боеприпасами, пузатое стекло лампы под жестяным абажуром дрожало мелкой дрожью.

— Надо считаться с фактами,— нарушив долгое молчание, снова заговорил Юданич.

— Согласен,— ответил из темноты командир.

— Мы отвечаем за жизнь вверенных нам солдат.

— И за то, во что они верят.

— Мы несем ответственность...

— Перед кем?

Юданич обиженно сказал:

— Если вас, гражданин командир, не интересует мое мнение, я замолчу.

— Напротив, очень даже интересует. Извините, что перебил. Продолжайте,— проговорил он, стоя спиной к офицеру генштаба и внимательно рассматривая картину, висящую над камином.

Это был пейзаж. Тускло блестевшая широкая позолоченная рама бросала желтоватые блики на серые расплывчатые краски. Темно-синей полосой выделялась Тиса; зеленые кроны растущих на берегу ив таили в себе красноватые тени; на синей глади реки чернел большой паром с пестрыми фигурками людей и двумя белыми лошадьми.

— Мы в кольце войск Малой Антанты,— принялся объяснять Юданич.— Они могут выставить против нас столько сил, сколько им вздумается: не хватит пяти дивизий, пошлют десять, двадцать. Разгром оставшихся у Советской республики войск — дело времени, немного преувеличивая,— дело нескольких минут.

Юданич сделал паузу, стараясь рассмотреть в темноте лицо командира.

— Безумие,— добавил он,— сидеть и ждать неизбежного поражения.

— Согласен.

Офицер облегченно вздохнул.

— Поэтому я и предложил вам немедленно начать переговоры, пока мы еще не растеряли свои силы и кое-что значим. В Сегеде нас примут с распростертыми объятиями.

— Вы так думаете?

— Я в том уверен.

— Уверены?!

— Я хочу сказать,— поправился Юданич,— что это простой математический расчет. В настоящий момент их силы незначительны; офицеры у них есть, а солдат — кот наплакал. Вот почему они не могут быть равноправными партнерами в переговорах с иностранными державами.

— И мы перейдем на их сторону, чтоб они могли вести переговоры на равной ноге?

— Не совсем так.

— Не совсем...— равнодушно повторил командир.

Он все еще продолжал рассматривать картину: черный паром на темно-синей глади реки, а на нем яркое пятно — люди и две белые лошади. Бесконечная чистая синева, струящаяся с полотна в золоченой раме, действовала на него успокаивающе.

Юданич наклонился вперед, обеими руками оперся о стол и заговорил, словно обращаясь к большой аудитории:

— Условия будем ставить мы. Первое: представительство в парламенте; второе: демократические выборы; третье: амнистия для...

— ...нас,— кончил за него командир и вышел из темноты.

Офицер генштаба кивнул.

— Именно так. Это самое главное.

— У меня к вам один вопрос.

— Пожалуйста.

Юданич угодливо улыбался, но смотрел не в лицо командира, а на свои длинные сухие пальцы.

— А где гарантии, что ваши условия не останутся *на бумаге?*

— Гарантия этому — ваша часть. Если вы, гражданин командир, согласитесь с моим предложением, нам не нужно будет сдаваться. Из противников мы автоматически превращаемся в союзников, сохранив таким образом и оружие, и авторитет.

— До каких пор? — спросил он и повторил: — До каких пор? Допустим, мы начнем с ними переговоры,— продолжал он, не дожидаясь ответа,— я лично не верю в это, но допустим. Подпишем соглашение...— Он помолчал и с внезапно вспыхнувшим нетерпением спросил: — А что будет потом?

— Потом?

— Да, потом. Вы думаете, что это просто — собрать солдат, выйти на крыльцо и объявить им оттуда, что с сегодняшнего дня они больше не красные, а белые?

— Интересы страны требуют, чтобы мы...

— Интересы революции требуют сказать этому решительное «нет!».

Юданича взорвало:

— Бела Кун сложил с себя полномочия... У нас новое правительство...

— Правительство у нас новое, но вера у меня осталась старая.

— Я уважаю ваши убеждения, но ведь это уже граничит со слепым фанатизмом.

— Ну, это вы так думаете,— отрезал он.

Офицер генштаба замолчал и дрожащей рукой несколько раз провел по лбу. Лицо его побледнело, обычно лиловатые губы стали совсем бескровными.

— Вы не думаете о том,— снова начал Юданич,— что при сложившемся положении новые военные действия...

— У вас есть еще какие-нибудь советы или предложения?
— Нельзя же вот так сходу...
— Есть, я спрашиваю?

■

Когда он вошел в комнату, жена спала спокойно, положив руки под голову. Ее длинные бронзовые ресницы трепетали во сне.

«Завтра я уже не разбужу тебя»,— подумал он и сел на край кровати.

Его вновь поразила красота Магды. Загорелый лоб гладок и спокоен, на кротком милом лице — упрямая линия губ.

«Это невозможно,— думал он,— я не хочу!»

Но через мгновение мысли его были далеко. Он наклонился, поцеловал ее веки.

Второй поцелуй разбудил Магду. Она встряхнула тяжелыми бронзовыми волосами и посмотрела на мужа.

— Я поцеловал твой сон,— сказал он.

Жена молча привлекла его к себе, прижалась лицом к его лицу. Его пальцы, спотыкаясь, блуждали по ее телу, и она отдавалась ему горячо и покорно.

— Я сохраню тебя вот тут,— он показал ей свою ладонь.

— До каких пор? — спросила она, разглаживая пальцами морщинки на его лице. И тут же добавила: — Только не говори, что на всю жизнь. Все равно не поверю.— И она улыбнулась.

— Хорошо, не скажу,— согласился он с вымученной улыбкой.— Ты будешь тут,— сказал он, помолчав,— пока моя рука останется рукой. Тебя уже невозможно вырвать из моего сердца.

— Даже если бы ты этого захотел?

— Я не хочу этого.

— Но если б ты вдруг захотел, очень захотел?

— Я не могу этого хотеть.

Он встал и, подойдя к окну, распахнул створки жалюзи.

В комнату ворвался лунный свет, узкой дорожкой лег на противоположную стену, осветив даму в лиловом платье среди георгинов; сейчас она казалась очень бледной, а георгины — зеленоватыми.

Магда тоже встала и, зябко ежась, накинула платье, брошенное на высокую спинку кровати. Она подошла к окну и прижалась к мужу.

«Без тебя я не смог бы решиться на это»,— подумал он.

Жена внезапно повернула к себе его худое, усталое лицо.

— О чем ты сейчас думаешь?

Он не сразу нашелся.

— О том, что я счастлив.

— Нет. Я знаю, ты думал не об этом.

— Я счастлив. Очень, очень счастлив.

— Ты думал о другом.

— Я думал о счастье,— тихо проговорил он, и это была правда.

— Нет, ты думал о другом.— И вне себя она закричала: — Я не хочу!

«Я тоже не хочу, но надо»,— подумал он, глядя жене в глаза. Освещенные призрачным светом глаза ее казались черными, но он знал, что они у нее золотисто-карие, такими он их и видел.

— Не хочу! — снова крикнула жена.— Понимаешь?! Нет, нет и нет!

— Нам часто приходится делать то, чего мы не хотим.

— Только не это.

— Есть вещи сильнее нас.

— Любовь, одна любовь сильнее.

— Не только любовь.

— Любовь... Любовь... Любовь...— словно заклинание, твердила Магда, поднимая это слово, как щит.

— Мы не можем спрятаться от самих себя.

Он гладил ее лицо, волосы, прижимал ее к груди, закрыл ей рот поцелуем.

В парке за окном деревья и кусты сверкали черненым серебром. Переливающаяся под лунным светом Тиса казалась библейским китом, всплывшим из глубин океана по ту сторону земли.

Лунный свет передвинулся по стене в глубине комнаты, дама в лиловом погрузилась во тьму, и только желтые георгины светились фосфорическим светом.

Потом луч упал на большую китайскую вазу, стоявшую на полу, у стены. Ваза напоминала присевшего на корточки человека. На зеленом фоне был изображен огромный красный дракон со множеством переплетающихся конечностей. Пасть его была широко разинута, а чуть пониже чернела пробоина от пули. От дырки во все стороны расходились черные трещины: казалось, ваза вот-вот рассыплется на куски.

Он отвернулся, но красный дракон на зеленом поле возникал перед ним и на пустой стене.

Ночной воздух был прохладен и удивительно чист; небесный купол казался отлитым из вороненой стали, усыпанной льдинками звезд, инеем звездной пыли; а может, это были дырочки в небе, сквозь которые на землю лился космический холод. Вот такой была и та ночь, страшной и таинственной; даже сейчас он чувствует за спиной звенящий, стремительно мчавшийся водяной вал.

— Вот та звезда Сириус? — тихо спросила Магда и показала на небо.

Он смотрел на поднятую руку, на тонкие изящные пальцы жены, вдыхал ее аромат и не видел никакого Сириуса.

— Куда ты показываешь?

— Вон там, смотри, где мой палец.

«Твой палец, твой палец»,— повторял он про себя, вслух же сказал:

— Да, это Сириус.

— Вон та двойная звезда?

— Та самая.

Он все еще не спускал глаз с ее руки. На небо ему совсем не хотелось смотреть.

Магда опустила руку.

— Он больше нашего Солнца. А его спутник — совсем маленькая звездочка, как наша Земля, и у нее даже нет собственного света.

— Почему ты говоришь об этом?

— У нее нет собственного света, зато такая сила притяжения, что она может отклонить с орбиты ту большую сверкающую звезду.

— Дался тебе этот Сириус!

Жена посмотрела на него.

— Вот так и я возле тебя,— воскликнула она, глядя ему в глаза.

— Перестань! Прошу тебя.

— У меня нет своего света: я всего лишь твой спутник, только спутник.

— Перестань! — закричал он и принялся, как безумный, трясти жену за плечи. — Перестань! Замолчи!

■

Его разбудил тревожный звон колокола. Он вскочил с дровяного ящика, на который свалили его усталость и сон. «Наводнение»,— понял он и выбежал на улицу, на ходу надевая серую шинель.

Мотоцикл стоял перед воротами: сесть на него и скорее уехать отсюда. Но он тут же передумал. Побежал к углу дома и взобрался по лестнице. С чердака был хорошо виден весь остров с рассыпанными по нему домиками. Со стороны большого рукава звенящей стеклянной стеной, блестя в лунном свете, с грохотом неслась вода.

«Через две минуты вода будет здесь»,— спокойно и трезво подумал он, спустился с лестницы и почувствовал, как лениво и тяжело вращается под ним земля.

Мотор никак не заводился: видно, застыло масло. Он вывел мотоцикл на дорогу и побежал, толкая и стараясь завести его на ходу. Опустевший хутор был уже далеко позади, когда мотоцикл, наконец, зафыркал и запрыгал в его руках. Сдвинув кобуру пистолета назад, он вскочил на сиденье.

— Ты сам этого хотел,— громко сказал он, обращаясь к чернявому офицеру, как два дня назад, когда покрывал его тело серым солдатским одеялом.

Перед ним стояло даже не лицо офицера, а только его кривая усмешка под тоненькими черными усиками и растоптанный окурок на грязном полу у головы убитого.

Впереди на дороге, меж осинами, мерцал огонек раскачивающегося под повозкой фонаря. «Наверно, сторожа плотины»,— подумал он и дал газ, чтобы догнать их.

Сына он видел всего один раз там, в больнице, когда маленькая полная сестра испуганно закутала его в простыню и унесла из палаты на своих толстых, усыпанных веснушками руках. Он уже почти забыл лицо малыша, лишь ясно помнил склоненную набок птичью головку и большие темные удивленные глаза.

«У него глаза точь-в-точь как твои»,— мысленно сказал он Магде. И еще он запомнил полукруглые никелированные щипцы на белой клеенке стола.

Колокол на том берегу не унимался, за спиной слышался стремительный грохот нагоняющей его воды. Мотор мотоцикла зачихал, не выдерживая бешеной скорости. «На паром мне уже не успеть»,— решил он и, дав мотору поработать вхолостую, выжал сцепление.

Когда началась ночная переправа через Пьяве, он видел, как на противоположном берегу из-за проволочных заграждений, из большой синей тени выходили гуськом маленькие фигурки солдат и исчезали в воде. Рядом стонал изуродованный снарядом тополь, канат натягивался и звенел, как струна; он отчетливо слышал похожее на далекий колокольный звон гуденье каната, за который цеплялись сотни рук. А солдаты все шли и шли. Вот на середине реки уже блеснула первая каска, и звуки, передававшиеся по канату, уже не казались колокольным звоном, они эхом отдавались у него внутри.

Он оглянулся. Поток воды достиг хутора. Сверкающая и звенящая стеклянная стена разбилась о домики, вода забурлила и почернела. Рушились глиняные стены, трещал дощатый хлев, падали вырванные с корнем молодые акации.

«В самый разгар войны я сделал тебя матерью, а теперь...»— он не посмел додумать мысль до конца, старался представить лицо жены, но образ ее рассеивался прежде, чем ему удавалось воссоздать его целиком. Он снова и снова видел белую полоску кожи под подбородком Магды, пульсирующую синюю жилку на шее, чувствовал запах хлороформа, но не слышал биения ее сердца, и это приводило его в отчаяние.

Подвода с подвешенным сзади фонарем исчезла среди осин, поглощенная ночью. Позади уже не было ни хутора, ни молодых акаций.

Он давно добрался бы до Сольнока, в штаб-квартиру Венгерской Красной Армии, если б не приказ о его аресте по обвинению в убийстве

чернявого. Это все и усложнило. Но теперь вода смоет его следы, пусть полевая жандармерия ищет его сколько ей угодно. Он ясно представил себе, с какой растерянностью и злобой бродят жандармы у большой плотины, и ему стало смешно.

Над головой — холодный серп месяца, сзади — стремительно несущийся, ревущий поток воды, а он хохочет, хохочет, как безумный... Ему стало страшно.

— Магда! — крикнул он.

Мотор трещал и взвизгивал. Не оборачиваясь, он видел за собой грохочущую, сверкающую в лунном свете стену воды. Она двигалась полукругом, охватывала его с двух сторон, слепя своим блеском. Красные и зеленые стрелы вонзались в глаза.

Он затормозил. Мотоцикл со скрежетом выскочил из-под него. Тогда он сорвал с багажника вещевой мешок и полез на ближайшую осину. Ствол дерева был такой толстый, что ему с трудом удалось обхватить его. Не успел он добраться до нижних ветвей, как водяной вал разбился о дерево, обдав его холодными брызгами. Огромное дерево содрогалось и трещало.

Он залез выше, куда не могла достичь вода, уселся на развилке трех ветвей и повесил на соседний сук вещевой мешок.

— Не злобствуй, старушка! — сказал он разбушевавшейся реке.

Мартовская ночь была прохладной. Но он не испытывал холода, его охватило приятное чувство покоя. Жаль было мотоцикла: без него трудно будет добраться до Аурела Штромфельда *, который уже несколько дней ждет его.

Школьником ему часто приходилось бывать на сборе винограда, но один эпизод почему-то особенно ярко врезался в его память. Он стоял на вершине холма, поросшего виноградниками, и смотрел на заход солнца. Внизу, у подножия холма, перед хижиной пылал костер из сухой виноградной лозы. Бабушка варила в котле ужин. Он чувствовал едкий запах дыма, смешанный с запахом жареного сала, лука и вареной картошки.

В тот день он впервые заметил, как быстро садится солнце; оно спускалось рядом с одиноко стоявшим тополем в клубившийся над Тисой туман. Солнце увеличивалось, наливаясь кроваво-лиловым светом, и вдруг нижняя половина его исчезла, потянув за собой верхнюю, еще миг — и оно совсем скрылось. Лишь край неба долго алел в этом месте. Он смотрел и не мог отвести глаз, огромная необъятная печаль охватила его.

«И чего это мне сейчас пришло в голову?» — удивился он, крепко обхватил руками сук и прислонился лбом к гладкой прохладной коре. «Твой лоб такой же прохладный и гладкий»,— сказал он про себя.

Перед ним возникло чуть продолговатое, нежное лицо жены, он видел ее в профиль, как всегда по утрам, когда просыпался рядом с ней. На матовый висок с тончайшей паутиной жилок упал бронзово-рыжий завиток волос. И вдруг ее глаза оказались прямо перед ним — они росли, становились темней и глубже, как холодная черная вода под ним.

Набежавшее облако поглотило месяц, и ночь ослепла. Но тогда ярче замерцали звезды, и они были сверху и снизу в разверзшейся под ним бездне. И не было никого с ним рядом, лишь он и вселенная.

Он хотел закричать. Но голос пропал. Тогда он судорожно, всеми пальцами, вцепился в сук.

---

* Штромфельд, Аурел (1878 - 1927) — начальник генерального штаба Венгерской Красной Армии в 1919 году.

■

Крепко держась за край стола, он еще раз спросил:

— Есть у вас предложения?!

Голос его перешел в крик.

Лицо офицера генштаба посерело.

В комнату стремительно вбежал Ловас.

— Вы тут все еще разговорами занимаетесь, а противник сидит у нас на шее. К утру он будет здесь. Разведчики уже натолкнулись на него у Сентеша.

— Наши ввязались в огневой бой? — спросил он.

— Было дело. Одного из наших ранило, лопоухого Тота.

Офицер генштаба подошел к карте и отыскал место, где орошхазская дорога выходит на шоссе из Сегеда на Сольнок.

— Вот они где,— руки у него дрожали,— километрах в восьми, не дальше.

— Но между нами железнодорожная насыпь и ручей,— сказал командир.

— На карте их нет.

— На карте нет, зато есть на местности.

Ловас стукнул кулаком по столу.

— Ударим по ним!

— Это было бы безумием,— возразил он.

— А гнить здесь — не безумие?

— Хочешь бросить три тысячи человек на верную гибель, да?

— Значит, будем ждать, когда нам накинут петлю на шею.

— Петля уготована для предателей.

Юданич отступил от спорящих в темноту.

— Кто здесь предатель?! — заорал Ловас.— Может, я?!

— Бросать людей на верную гибель равносильно предательству.

Унтер-офицер протянул к нему мощные руки с потемневшими ногтями.

— Тогда разреши мне хоть отобрать добровольцев и с ними ударить по противнику.

— Я уже сказал тебе: нельзя.

— Что ты за человек? Из камня вытесан, что ли?

Он подумал о Магде и ответил:

— Эх, если б из камня!

— Все рушится вокруг нас, гибнет все, во что мы верили. А мы сидим и ничего не делаем.

— Во что *верили?!* — резко спросил он, тряхнув головой.— Нет, товарищ Ловас,— во что *верим.*

— Если мы не сможем жить той жизнью, которую сами для себя построим, лучше погибнуть... По крайней мере, так честнее...

— Ты можешь умереть, и гражданин Юданич тоже,— показал он на офицера генштаба, спрятавшегося в тень.— И я могу умереть. Но народ не умрет,— добавил он, помолчав.— А без веры разве можно жить?

Никто не ответил. Наверху, на чердаке, снова затопали солдаты; лампа на длинной медной цепочке задрожала, световые блики заметались по комнате.

Командир повернулся к Юданичу, который стоял, облокотившись на угол камина, но взгляд его остановился не на офицере, а на картине, висевшей над ним: в позолоченной раме призрачно синела река.

— Вам это понятно, офицер генерального штаба? — спросил он.

— Понятно. Только мыслите вы нереально.

Командир перевел взгляд на унтер-офицера.

— А тебе понятно, товарищ Ловас?

— Как не понять! — нехотя ответил тот.— Головой понимаю. А руки, ноги хотят другого: бить противника, резать, топтать его.

— Перед нами другая задача. Надо спасти веру у солдат, сохранить их для будущих боев. Вот почему я и не разрешаю бесцельно бросать их на гибель, вот почему я выступаю против каких бы то ни было переговоров с Сегедом.

Ловас был поражен.

— А кто это хочет вести переговоры с белыми?

— Гражданин Юданич.

— Чего вы хотите?!

Ответил командир:

— Предложить Сегеду при соблюдении известных условий свою помощь против Малой Антанты.

— Предатель! — закричал унтер-офицер.— Убью! Застрелю! — И он угрожающе двинулся навстречу Юданичу.

— Придите в себя, унтер-офицер! — запинаясь, пробормотал тот, не отходя от камина.

Ловас протянул вперед свои огромные кулаки:

— Я-то в себе!

— Товарищ Ловас! — прикрикнул командир.

— Застрелю!

— Иди сюда!

Ловас затряс головой:

— Нет!

— Приказываю.

Унтер-офицер опустил руки.

— Все равно я его застрелю.

— Право судить предоставлено здесь только мне.

— Тогда прикажи расстрелять его.

Командир сверкнул глазами в сторону Юданича:

— Слышали?

— Расстреляй его тут же, не сходя с места.

Офицер генштаба сделал несколько шагов к ним, он весь дергался.

— Я надеюсь, что вы...

Ловас не дал ему договорить:

— Не надейтесь.

— Постараемся вести себя по-человечески,— тихо проговорил командир,— быть людьми и солдатами.

Его охватило чувство какой-то безнадежности и бессилия. Он отвернулся, пытаясь скрыть минутную слабость. На лоб села муха, он хлопнул ладонью, чтобы прогнать ее.

— Единственное, что мы сейчас можем и что нужно сделать,— это помочь людям вернуться домой.

Юданич шумно втянул в себя воздух.

— Распустить на все четыре стороны боевую часть?!

— Распустить по домам.

— Это значит, по существу, выступить против профсоюзного правительства.

— А если это будет невозможно, укрыть людей в надежном месте.

— Но ведь это же целая армия,— воскликнул Ловас,— и она пока не разбита, ее еще можно бросить в бой.

— Кто бы ее ни бросал в бой и против кого бы ее сейчас ни бросили, это пользы не принесет.

— Ты тут все свое толкуешь, а они хотят другого,— махнул унтер-офицер в сторону двора.

— Кто это они?

— Солдаты, народ.

Юданич подтвердил:

— Правильно, народ.

Командир посмотрел на них с горькой насмешкой.

— Как быстро вы вдруг спелись.

Муха снова села ему на лоб и поползла вниз по виску. Он вздрогнул от отвращения и поднял руку, чтобы согнать ее, но муха уже улетела. Он обхватил ладонями свое усталое, заросшее щетиной лицо.

— Ирония нам сейчас не поможет,— сказал Юданич.

— Предательство тоже.

— Поступать, как подсказывает здравый смысл,— не предательство.

— Все зависит от того, чей это здравый смысл.

Внезапно, будто осененный какой-то мыслью, он сделал несколько шагов навстречу офицеру.

— Вы часто ссылаетесь на историю французской революции.

— Да, действительно...

— И вы, конечно, помните то место из речи Робеспьера, где он цитирует Руссо, одно из его замечательных высказываний.

Худой рукой Юданич в замешательстве приглаживал свои редкие седые волосы.

— Не знаю, не знаю, что вы имеете в виду?

— То самое место, где он говорит, что народ всегда стремится к добру, но не всегда знает, в чем оно заключается.— Он улыбнулся.

— Ну, а кто это может решить?! — махнул рукой Ловас и засунул под ремень свои огромные потрескавшиеся ладони.

— Сейчас мы здесь втроем, единой волей!

Он снова начал ходить взад и вперед перед большим обеденным столом.

Офицер генштаба склонил голову набок и спросил:

— Следует ли понимать это так, что вы хотите разделить круг своих командирских обязанностей между нами троими?

— Пристрелю! — вырос перед ним Ловас.

— Можете понимать и так, если вам это больше нравится,— ответил он Юданичу.

— Следовательно, если между нами возникнут разногласия, то вы, гражданин командир, подчинитесь нашему решению?

— Если у вас будет единое мнение.

— В основном наши мнения совпадают,— кивнул Юданич на унтер-офицера.

— Что?! — откликнулся Ловас.

— Я, видите ли, согласен с вашей наступательной концепцией,— сказал Юданич, поворачиваясь к унтер-офицеру.— Сроки и тактические шаги надо будет, конечно, основательно обсудить. Но в принципе я стою на одной с вами точке зрения.

Командир не спускал неподвижного изучающего взгляда с офицера генштаба, дожидаясь, пока тот выскажется перед Ловасом.

— Значит, пусть унтер-офицер Ловас наступает, а вы тем временем за его спиной будете вести переговоры с противником. Вы этого хотите? — спросил он.

— Я, видите ли, согласен с унтер-офицером Ловасом.

— Будьте так любезны отдать ему ваш пистолет. Я вас арестовываю.

Юданич испуганно схватился за кобуру, но у него так дрожали руки, что он никак не мог расстегнуть ее.

— Товарищ Ловас, возьми у него оружие! Вместе с ремнем.

Унтер-офицер подошел к Юданичу и снял с него ремень. Затем отвел арестованного в одну из задних комнат и запер на ключ.

Вокруг лампы с громким жужжанием летала муха. Это была крупная синяя муха с отливающим сталью брюшком и черными прожилками на крылышках. Она то ударялась о мутное стекло лампы, то взлетала вверх, вновь возвращалась и все кружила вокруг лампы.

III

Тихий стеклянный звон... Он не знал, что это такое... Мороз пробежал по коже, по всему позвоночнику. Рук и ног он не чувствовал: они убежали от него куда-то далеко-далеко и легко парили в воздушном океане. Перед глазами возникла огромная чистая синева, хотя он знал, что глаза у него закрыты.

«Где ты?» — потянулся он к Магде.

Рука у него не шевелилась, но росла, росла, удаляясь в синюю пустоту.

— Люди! — закричал он.

Страшная боль пронзила его. Перед глазами заметались зеленые и красные искры, по голове застучали молотки: дзугг, дзугг... И тут же все оборвалось, и он снова увидел безбрежную спокойную синеву; она была в нем самом, небо проникло под его закрытые веки.

Что-то навалилось на грудь. Он задыхался. Схватился за горло; рука двигалась. Это было приятно. Он почувствовал сладкий, теплый аромат. Вернулась тишина, глубокая, полная. И снова тихий стеклянный звон.

«Это мое дыхание»,— подумал он.

Он с силой ухватился за плечо жены и тут же, улыбнувшись, отпустил его.

— Не сердись.

— Я не сержусь.

— Я сделал тебе больно?

— Нет.

— Наверное, больно, только ты не хочешь признаться.

Он наклонился и поцеловал на ее плече след своих пальцев. Он вдыхал ее аромат, наполнялся им, пока не почувствовал, будто сам парит где-то высоко, между звездными туманностями.

Жена обняла его за шею, шепнула:

— Я не могу без тебя.

— Я тоже.

— Ты тоже,— повторила Магда.— Но ты ведь уже от меня отказался, — сказала она, подчеркивая каждое слово.

Он внезапно выпрямился, освободился из ее объятий; кожа, плотно обтягивающая худое, мальчишеское лицо и широкий лоб, блестела.

— Ты так думаешь?

— Я это знаю.

— Ничего ты не знаешь.

Магда наклонила голову. Ее распущенные длинные волосы упали на лицо; он уже не чувствовал теплого сладкого аромата ее тела; он видел лишь бронзовый поток волос — каждый волосок на голове Магды светился отдельно.

Искры волос проникли в его глаза, стало больно смотреть. Он взглянул на небо. Перед глазами возник школьный географический атлас: крошечные Полинезийские острова, окруженные безбрежным голубым пространством, и надпись: «Великий, или Тихий, океан».

— Ничего ты не знаешь,— повторил он.

— Все знаю,— сказала она из-за потока своих волос.

Тьма сгустилась вверху, по воде пробежал зеленый свет, потом фиолетовый. Высота над ним углублялась.

«Будто на дне океана»,— подумал он.

Под деревьями горячо спорили солдаты. Сначала нельзя было ничего разобрать, и этот шум, эти громкие и непонятные слова пугали его.

Внезапно послышался твердый грубый голос Ловаса:

— Никаких споров. Слушать приказ.

Командир сделал вид, будто ничего не слышит.

— Великий, или Тихий, океан! — начал он, словно декламируя.— Когда я был школьником, для меня эти слова были магическими. Часами я мог рассматривать карту Полинезии, твердя одно и то же: «Ты великий, великий, Тихий океан!» Словно это были стихи.

Жена внезапно отвела волосы от лица и посмотрела на него.

— А что будет с твоим сыном?

— С моим сыном?!

— Да, с твоим сыном. Или тебе это безразлично?

— Мне никогда и ничто не было безразлично.

— Только он.

— Все происходящее — для него.

— Пусть для тебя будут лишь он и я.

— Откуда эта жестокость, ведь ты не такая.

— Именно такая, — закричала Магда.

— Ты можешь обмануть себя, но не меня. .

— Я и правда жестокая.

— Ты хорошая.

— Я очень жестокая.

— Ты очень хорошая.

Магда заплакала; она плакала, не опуская головы, не закрывая лица. Слезы катились из больших темных глаз, губы дрожали, блестящие зубы выстукивали дробь. Ему хотелось приласкать ее, но не было сил прикоснуться к ее плачущему лицу, на него можно было только смотреть.

«Вот такой ты и останешься во мне?!»— вдруг с отчаянием подумал он.

— Не отнимай у меня себя.

— Это ты у меня себя отнимаешь.

Он не ответил, лишь закрыл глаза, будто хотел заснуть вот так, стоя перед окном. Но даже с закрытыми глазами он видел лицо жены: бледное, залитое слезами, освещенное лунным светом. Такой она пригрезилась ему тогда, когда он сидел на дереве над разлившейся рекой. Только тогда она не плакала.

■

На рассвете его снял с дерева старый лодочник, по виду рыбак. В ответ на его зов старик направил лодку к осине и кивком головы предложил ему спуститься. У старика были выцветшие голубые глаза и обветренное лицо, испещренное глубокими морщинами; надо ртом свисали рыжеватые усы; упершись босыми мозолистыми ногами в стенки лодки, старик равнодушно работал веслами.

Он поблагодарил лодочника и замолчал, наблюдая, куда тот гребет.

— В Фёльдвар направляемся, дедушка? — спросил он, помолчав.

— А вам куда-нибудь повыше?

— Мне и Фёльдвар подходит.

Старик кивнул. Рукава его свитера были засучены по локоть, при каждом взмахе было видно, как мускулы собираются в твердый узел.

Взбудораженная река никак не могла успокоиться, лодку сильно качало; они плыли по течению, а обгоняя их, в холодной, то бледно-лиловой, то зеленоватой воде плыли растрепанные стога соломы, бревна, доски, гнилые обломки дерева.

— Я думал, вы поближе к Сольноку попасть хотите, — сказал старик.

— К Сольноку?

— Сейчас туда многие направляются.

— Многие?

— Солдаты. И гражданские. Такие, как вы.

Лодочник греб, наваливаясь на весла; скрипели уключины, за бортом плескалась вода. На дне лодки между широко расставленными ногами старика лежали два узла. От них исходил тяжелый затхлый запах, а от реки несло свежестью и рыбой.

Старик лодочник поднял весла, большим пальцем со сломанным ногтем сдвинул на затылок старенькую шляпу и снова заговорил:

— Был я сейчас на хуторе... У меня там вот это барахлишко на чердаке оставалось. Не заберешь, мыши сгрызут, спасаются они на чердаках от высокой воды.

Он молча кивнул лодочнику. Обветренное лицо и блеклые глаза старика почему-то напомнили ему, как однажды его, еще мальчишку, отец взял с собой на пароходе в Токай. Над Тисой дул свежий ветер, и, хотя светило солнце, он замерз; холодок забирался под его короткие штанишки, пощипывал спину. «Смотри-ка, вон она, Лысая гора!» — сказал отец. И он увидел синевато-серую покатую гору, у подошвы которой сверкали окнами дома, высились колокольни: Токай.

Он попытался восстановить в памяти лицо отца, но перед глазами была только рука с желтыми от никотина ногтями, поднятая над перилами парохода в сторону синей горы. Вместо отца он увидел Магду такой, как в те дни, когда они вместе были в горах. Они стояли на вершине, окруженные морем зелени...

— На каком фронте воевали? — спросил его лодочник.

— На итальянском. Изонцо. Пьяве.

— У меня там два сына погибли, на этой самой Пьяве.

— У переправы?

— Говорят, да.

«Это я протянул канат через реку»,— хотел сказал он, но промолчал.

На лице Магды застыло выражение тревоги; не стоило закрывать глаза, он и так наяву видел ее: в потемневших глазах застыло выражение неизвестного ему, непонятного испуга, будто она увидела нечто ужасное. Он уже жалел, что начал с ней спорить, и под конец сказал: «В любви человек растет».— «Но не для того, чтоб убить эту любовь»,— быстро ответила Магда. Она именно так и ответила, но он смотрел уже не на нее, а на зеленые массивы леса. Ему вдруг безудержно захотелось броситься вниз, откуда-то появилась уверенность, что случится невозможное: у него вырастут крылья, и он плавно спустится на них...

— Вон плывет дверь от моего хлева, — сказал старик и, вынув из уключины весло, оттолкнул от лодки старенькую грязную дверь.— Осенью я наколотил на нее железные полоски. Свиньи то и дело прогрызали ее.

Река быстро несла их вниз по течению. Кругом, насколько хватало глаз, была одна вода. С севера на юг, от неба до неба, одни лишь волны с зелеными и фиолетовыми гребешками; шума их не было слышно, только о смолистый борт лодки билась вода.

— Что убивает любовь? — спросил он вслух.

Лодочник с удивлением взглянул на него своими блеклыми голубыми глазами.

— В Фёльдваре найдете себе подводу, — сказал старик.

— Подводу?

— И не одну. Сейчас много народу спешит под Сольнок.

Босые мозолистые ноги старика твердо упирались в ребра лодки, мускулы на руках судорожно сокращались.

Рассветало. Солнце еще не взошло. Но поверхность воды уже окрасилась чуть красноватым цветом, и только в глубине вода все еще казалась темной, темно-лиловой. Небо стало прозрачным, прозрачным до самых далеких своих глубин.

■

Они стояли перед картой. Он и Ловас.

Он провел пальцем по железнодорожной линии; тоненькая зубчатая линия делала плавный поворот книзу, на юго-запад, четко выделяясь на зеленом поле.

— Двадцать человек окопаются вот здесь, — показал он, — и отвлекут на себя наступающие в этом направлении части противника.

— Когда?

— Еще до рассвета.

— А остальные?

— Остальные тем временем переправятся через Тису.

— Но там же белые, что засели в Сегеде.

— Жена сказала, что в районе озер белых нет. Удобное место, чтоб там спрятаться.

— А как ты думаешь организовать переправу?

— По канату, как мы это делали на Пьяве. Ты был там?

— Был.

— Лодка у нас есть, паром тоже; на лодке перевезем канат, укрепим на обоих берегах, и вся бригада может спокойно переправляться. Четырепять человек посадишь на паром, пусть перевезут боеприпасы, продовольствие, обмундирование. Один пулемет останется здесь для прикрытия. — Он остановился, соображая, не забыл ли чего сказать, и добавил: — Перед восходом солнца будете на той стороне.

Унтер-офицер остолбенел:

— Почему будете? Будем?!

— Укроетесь в зарослях ивняка. Очень важно как можно быстрее и больше достать гражданской одежды.

— А ты?

— Ты незаметно распустишь людей по домам. Пусть уходят небольшими группами или поодиночке. Сначала те, кто живет поблизости, потом остальные.

— Я?!

— Ты.

— Я никогда там не был и не знаю тех мест.

— Я дам тебе человека, который хорошо знает эти места и поможет.— Он помолчал и добавил: — Я останусь здесь и прикрою вас огнем.

Ловас, казалось, потерял дар речи и только упрямо тряс головой.

— Так будет! — коротко, но твердо сказал командир.

— Разрешите, останусь я.

— Это невозможно.

— Но почему?

— Потому, что остаться должен *только* я.

— У меня никого нет, меня никто не ждет дома, ни большие, ни малые.

— Остаться должен *только* тот, кого *ждут* дома и большие и малые.

— Я не хочу больше жить, незачем мне.

— Именно поэтому останется тот, кто *хочет* жить, жить по своим законам, потому что у него есть *цель* в жизни.

— Я тебя не понимаю, совершенно не понимаю.

Он положил руку на плечо Ловасу.

— Мы разбудили в людях желание жить по-человечески, и они захотели стать людьми. Я должен поддержать в них веру. — Он сжал неподатливое плечо унтер-офицера и повернул его лицом к двери.— А теперь иди, отбери двадцать добровольцев и подготовь бригаду к переправе.

Ловас пошел к двери, но, сделав несколько шагов, остановился — видно, хотел что-то сказать. Командир опередил его.

— Молчи, не трать слов зря.

Он наклонил голову и пошел к открытой двери, ведущей в соседнюю комнату. «Пойду разбужу жену. Поговорить с ней — тоже моя обязанность».

■

Он смотрел на нее. Магда уже не плакала. Она стояла перед ним, как мраморное изваяние с загадочным лицом. Мадонна Донателло.

— Прошу тебя об одном... — сказал он.

— Об одном? Ты можешь просить о чем угодно.

— Только об одном.

Жена содрогнулась.

— Говори.

Он отошел от окна в полумрак комнаты и стал спиной к большой китайской вазе; коснувшись ее сложенными сзади руками, почувствовал выпуклый рисунок дракона; ему казалось, он даже видит цвет вазы: красный дракон на зеленом поле.

— Мы уходим за Тису, — сказал он.

— К озерам?

— Да.

— Домой?

— Да, все идут по домам.

— О-о! — с облегчением вздохнула Магда и ухватилась за створку раскрытого окна.

Перед домом в парке двигались, к чему-то готовились солдаты, слышался звон оружия и обрывки разговора; вдалеке, где-то на берегу меж тополей, звенели цепями и били копытами лошади.

— Кто записался, выходи строиться! — скомандовал Ловас.

Раздался дружный топот многих ног. Он быстро спросил:

— Ты рада?

— Очень,— ответила жена, блеснув в темноте глазами.

«Ты простишь мне это», — подумал он про себя, машинально крутя пуговицы на френче.

Магда легкими шагами подбежала к нему.

— Ты еще не сказал, о чем просишь меня.

— Да, я еще не сказал.

Он протянул руку и коснулся кончиками пальцев лица жены, почувствовав ее прохладную гладкую кожу. Внизу что-то звякнуло.

— Слышишь?

Магда кивнула. Она положила голову на грудь мужа.

— Ну, чего же ты хочешь от меня?

— Чтобы ты первой переправилась через Тису, в лодке, на которой приплыла сюда. Поможешь унтер-офицеру Ловасу, покажешь ему дорогу, скажешь, где укрыть людей. Никто лучше тебя не знает этих мест.

Важно, чтоб до восхода солнца все находились в укрытии,— уверенно и спокойно сказал он, не узнавая собственного голоса.

— А ты? — взглянула на него жена. Резкие черточки над переносицей разделяли надвое ее гладкий лоб.

— Я тоже приду. Позже. Ты же знаешь, что командир уходит последним.

— Тогда я уйду предпоследней.

— Сейчас ты не жена, а солдат.

— Солдат? — насмешливо улыбнулась она. — Ну какой я солдат?— И она стала осыпать его жадными, горестными поцелуями.

«Нет, нет!» — в душе ответил он ей и тихо отстранил от себя.

Магда смотрела на него, глаза ее горели.

— Не хочешь — не целуй меня,— тихо сказала она.— Он схватил ее за руку.— И руку мою не трогай.— Он застонал.— Только позволь мне остаться рядом с тобой.

«Оставайся!»— кричал в нем внутренний голос, а вслух он сказал:

— Сейчас от тебя зависит, что будет с бригадой: разобьет ее противник или же... В твоих руках жизнь, вера трех тысяч человек. В твоих руках. Если их разобьют, все пропало. Ты хочешь этого, да? Их нужно спасти. Спасти! И спасти их можешь только ты, и никто другой.

Жена долго молчала, не говоря ни «да» ни «нет». Лицо ее было серьезно. И очень красиво. Так красиво, что больно было на него смотреть, но он не мог отвести взгляда.

— Ты хочешь от меня слишком многого.

— Да, многого, — улыбнулся он. — Но кого же я могу просить, если не тебя?

Магда покачала головой:

— Никого. — И добавила: — Только меня.

— Только тебя.

— Но ты тоже придешь. Придешь, да?

— Приду. Я приду.

— Правда, придешь? Правда?

— Правда, приду. Правда!

IV

Вдруг наступила темнота. И вместе с ней вернулась тишина. Глубокая, полная тишина. Он ничего не слышал, ничего не видел. События, только что промелькнувшие в его сознании, как в калейдоскопе, исчезли. Исчезла и огромная чистая синева.

Что-то проползло по его лицу, от закрытых глаз вниз, до самого рта.

Закричать!

Ладонь упала на рот.

«Родная!» — подумал он, хотел поцеловать Магду и не смог. Муха снова села на лицо, но он уже не чувствовал этого.

Он лежал на железнодорожной насыпи вниз лицом. У ног уткнулся стволом в рельс пулемет; в кожухе кипела вода, с шипением вырывался пар. Со стороны шоссе гремели выстрелы; над головой со свистом пролетали пули. Из двадцати человек в живых остались немногие, они отстреливались на левом фланге. Рассветало. Но орудийные вспышки мешали увидеть рассвет.

СЕМБЕН УСМАН

Горячий ветер

РОМАН

Перевод с французского
Л. ГАЛИНСКОЙ и О. ГРАЕВСКОЙ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я не собираюсь создавать теорию африканского романа. Но знаю все-таки, что в былые времена, в той Африке, которая до сих пор слывет классической, грио, народный сказитель, был движущей силой своего племени, своего рода или деревни, общепризнанным истолкователем событий. В часы традиционных бесед, когда все собирались под деревом, он рассказывал и обсуждал дела и поступки каждого. Мое представление о писательском труде основано на его поучительном примере — я стараюсь как можно ближе придерживаться действительности и жизни народа.

Действие моего романа не развертывается в каком-либо из конкретных африканских государств, именуемых странами французского языка. Я заимствовал в каждом из них то отдельный факт, то отдельное событие. Я хочу добиться того, чтобы каждый увидел в этой книге частицу самого себя, своего бытия.

*Идею романа мне подсказал референдум, происходивший 28 сентября 1958 года *. Я в то время работал над романом «Домбай» — историей одной сенегальской семьи на протяже-*

* Во время референдума населению Франции и ее заморских территорий было предложено ответить одним словом — «да» или «нет» — на вопрос о принятии новой конституции, разработанной правительством де Голля. Для заморских территорий принятие новой конституции фактически означало продолжение французского колониального господства. Население большинства стран, входящих во французское сообщество, под давлением французской колониальной машины проголосовало за эту конституцию, несмотря на огромную разъяснительную работу коммунистов и ряда демократических организаций, подобных той, о которой рассказывается в романе.

нии века, от эпохи Федерба до наших дней. Однако события текущей жизни временно заслонили для меня прошлое. С самого начала работы над этим романом его герои, в отличие от персонажей других моих произведений, стали сами диктовать мне свой характер, восставая против моего контроля, требуя для себя большего простора, масштабов, соответствующих проблеме объединения различных африканских государств.*

Чтобы лучше разобраться в событиях, о которых мне предстояло писать, я в течение шести месяцев колесил по африканскому континенту, пробираясь то на верблюде, то в пироге, то на пароходе или в машине, а кое-где и пешком.

Хочу предупредить читателя — я не пишу ни исторический труд, ни хронику. Все действующие лица, мужчины, женщины, дети, появляющиеся на страницах книги, возникли в процессе моего творчества, родились из событий, которые я излагаю. «Не люблю героев, они умирают молодыми» — это сказано не про них. Для меня мои персонажи — мои детища. Для вас же — такие же люди, как все мы, со всеми свойственными нам недостатками, стремлениями, желаниями, мечтами о будущем.

Я полностью несу ответственность за это произведение.

В заключение выражаю признательность всем, кто во время моего путешествия по Западной и Экваториальной Африке оказал мне неоценимую помощь.

С. У.

ПРОЛОГ

Охотник

Непрерывно, месяц за месяцем, лили дожди. Вместе с ними снова пришло изобилие. Природа так торопилась плодоносить, что уже через несколько дней нигде не было видно обнаженного клочка земли. Переодевание в зеленый наряд происходило в лихорадочной спешке, в воздухе сразу разлилось дурманящее благовоние. Не стало саванны, джунглей, лесов — все смешалось в полном хаосе, в тесном объятии переплетенных стволов и стеблей. Все вокруг зеленело.

Обитатели деревень снова взялись за мотыгу. Удаляли сорняки с узких полосок проса, кукурузы, арахиса. Но бескончная чаща кустарников оставалась нетронутой зеленым морем. Даже небо приняло голубовато-изумрудную окраску. Над верхушками деревьев дрожал нагретый солнцем воздух. Многокрасочный шатер из листвы, ветвей, диковинных цветов и диких злаков развернулся над зеленым храмом; бабочки и птицы нектарницы сбросили свое серое облаченье сухого сезона и снова оделись в яркие, переливающиеся всеми цветами радуги одежды. Все радовалось влажному сиянью дня.

■

Полдень. Тихо, спокойно. Кажется, замерло само дыхание жизни. Неподвижны высокие стебли, ветвистые колючие кусты. Никого не видно на тропинках.

* Федерба (1818—1889) — французский генерал, утвердивший господство Франции над большей частью Сенегала.

Дигбе отдыхал. Он расположился под карликовым баобабом, в причудливых вертикально поставленных листьях которого отражался его же собственный рахитичный ствол. Дигбе полулежал. Он прислонился спиной к дереву и скрестил вытянутые длинные ноги. Отсюда ему виден большой участок зарослей. Здесь его наблюдательный пост в сухой сезон. Слева, рядом с ним, лежат лук и колчан. Он очень занят.

Он размышляет.

Вот уже год, как Антуан и Реми идут по его следам. В этом месте он прятался от них во время засухи. Сейчас все опять зазеленело. Ему не раз приходилось на своем веку «карать» людей — правда, он уже не помнит, за что именно. Но то были черные. Они оскорбляли богов, нарушали священные законы охоты, и по божественному велению он их наказывал. Это не было преступлением, и ничто тогда его не смущало.

Сейчас ему снова предстоит привести в исполнение приговор. Он должен отомстить за оскорбление, нанесенное Бите Йену и богам охоты. Но ведь он никогда еще не целился в Белого. Ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь покарает одного из них. Сердце его стучало, стучало быстрее и громче, чем тамтам в разгар бешеного танца. Миндалевидные глаза налились кровью, челюсти сжались, надрезы на щеках — по три с каждой стороны — сморщились, брови нахмурены, ноздри раздулись; он весь во власти страха. Покарать Белого? Не будет ли это вызовом всем злым силам? На время этих «да» или «нет» охота разрешена. Почему бы божествам не пощадить его? Он просит у них пощады для самого себя. Он не может вернуться домой, не выполнив возложенного на него поручения. В его глазах отражается ужас перед собственной нерешительностью: он только об этом и думает.

Дигбе ощутил между своей спиной и корой дерева что-то теплое. Он затаил дыхание и медленным движением — ему показалось, что это змея,— просунул левую руку под правый бок: по спине ручьем стекал пот. Он убрал руку, оглядел себя, свои руки, ноги — все было покрыто потом. Он не сдвинулся с места, задумчивый и озабоченный. Он знал, что приведет приговор в исполнение, покарает Антуана и Реми. Мысль о Реми его не тревожила. Но Антуан! Антуан — Белый. Что же произойдет потом?

Он согнул ноги, обхватил руками колени, мускулистая спина ссутулилась. В таком положении он чувствовал себя лучше — совсем как во время ночных бодрствований у костра. Дигбе был самым знаменитым из всех местных охотников. Он жил только охотой, полагаясь только на свою силу и храбрость. Его нервы и мускулы были надежны, как хорошо отточенный клинок, не знающий ножен. Подняв голову, он всматривался в далекий горизонт.

День клонился к вечеру. Дигбе поднялся — высокий, с гордо посаженной головой. Его статную фигуру опоясывала небольшая набедренная повязка; в осанке чувствовались гибкость и сдерживаемая сила. Длинные ноги словно созданы для быстрой ходьбы, а взгляд живой и настороженный, как у старого буйвола — вожака стада. Колчан со стрелами он повесил через плечо, лук держал в руке. Он пошел в том направлении, куда проехал «лендровер» * Антуана. Заросли звенели тысячами звуков — кричали попугаи, верещали туканы, стучали дятлы.

Дигбе обнаружил следы Антуана под вечер, когда звери потянулись на водопой: примятые листья и трава показывали, где прошел Белый. Он стороной обогнал Антуана и пошел ему навстречу. Он поджидал Белого, трясясь, как в лихорадке. Сначала мелко задрожали щеки, потом, как несущийся по склону поток лавы, затряслись губы и подбородок. Лицо покрылось испариной.

---

* Марка автомобиля.

В просветах между ветвями он видел за кустами Белого — в расстегнутой рубашке цвета хаки, с ружьем в руке тот оглядывался по сторонам, останавливался и снова начинал передвигаться вперед, то нагибаясь, то опять выпрямляясь. Чем ближе подходил Антуан Фор, тем сильнее волновался Дигбе. Он все еще колебался — белая кожа человека на лесной поляне парализовала его волю.

Дигбе чуть заметно повел плечом, и колчан соскользнул вниз; охотник переложил лук в правую руку, вытащил стрелу с тонким древком и колпачком на конце — стрела была отравлена. Он снял колпачок и внимательно осмотрел черноватый заостренный наконечник. Сердце его забилось еще сильнее. Он слышал его удары.

Антуан Фор был от него на расстоянии двухсот метров.

■

Антуан Фор и Реми Согло трое суток подряд гнались за охотником Дигбе. Вот и сегодня они весь день провели в машине. Они остановились на берегу реки. Вдали зубчатой лентой рисовалась в небе небольшая горная цепь, одетая в зеленый наряд из травы и мхов. Река вилась по равнине, делая замысловатые повороты. Буйная растительность по ее берегам любовалась своим отражением в воде, словно кокетливая женщина. Стайка веселых обезьянок утоляла жажду, удобно расположившись на гибких нижних ветвях.

— Опять мы остались в дураках,— сказал Антуан Фор, обращаясь к своему помощнику и шоферу. Он сидел в машине, зажав ружье между коленями.

Оба пытливо вглядывались в подлесок, в просеки, в дуплистые стволы деревьев. Они внимательно, пядь за пядью, обследовали местность.

«Лендровер» медленно, подпрыгивая на кочках, двинулся вперед. Дороги почти не было; повсюду лежали поваленные деревья, преграждавшие путь машине.

— Возьми вправо,— приказал Антуан, повесив ружье на плечо.

Реми повернул машину направо, к обширной прогалине, лежавшей на небольшом возвышении над лесной чащей. Он хмурился, все время молчал, глаза его покраснели от бессонной ночи. Он осторожно вел машину между деревьями.

— Остановимся здесь... Может быть, он придет к реке,— сказал Антуан.

Реми затормозил.

— Если он и сегодня не появится... завтра возвращаемся домой.

— По-моему, охотник следит за всеми нашими передвижениями,— заметил Реми, не отводя глаз от горизонта.

— Надо полагать! И все-таки больше водить нас за нос ему не удастся. А следы? Я не верю ни в привидения, ни в колдунов, ни в знахарей. Мы видели отпечатки его ног. Не мог же он улететь, правда? Я убежден, что он влез на какое-нибудь дерево...

— Он мог оставить отпечатки нарочно, повести нас по ложному следу. Вот так менять все время направление — это новая уловка. В соседнем племени говорят, что ничего о ней не знают.

Антуан опустил бинокль и взглянул на Реми:

— Значит, ты полагаешь... ты и в самом деле думаешь, что он колдун?

— Нет, нет,— живо возразил шофер.— Я просто перечисляю факты... Он убивает зверей и уносит мясо... Он охотится только за крупной дичью... стреляет из лука. Последний раз мы нашли вытоптанное место на берегу реки. Бегемот был убит в воде. Но чтобы разделать бегемота,

убитого в воде, нужно ждать сутки, а то и двое, пока его труп не всплывет на поверхность. Одному человеку не под силу перетаскивать тонны мяса и убирать все остатки.

Продолжая говорить, Реми привычным жестом взял бинокль. Его гортанный голос оставался спокойным:

— На берегу реки множество отпечатков, и все они принадлежат одному и тому же человеку. Там нет следов муравьев, стервятники там тоже не летали. Значит? Ничего не понятно. А с другой стороны, здесь ведь идет кампания по проведению референдума. Все деревни получили разрешение на охоту. Письмо управления лесного ведомства не оставляет на этот счет никаких сомнений. Оно прямо разрешает местным жителям столько убивать дичи, сколько они хотят и сколько могут, при условии, что на референдуме они скажут «да».

Антуан слушал своего помощника. Слова Реми не были лишены основания. Еще в начале месяца из управления лесного ведомства пришло письмо, в котором было недвусмысленно сказано: «Не вызывать недовольства туземцев во время кампании по проведению референдума».

— Я знаю, им разрешили убивать зверей. Они уничтожат всю крупную дичь. А этот охотник безнаказанно...

— Так я же об этом и говорю,— прервал Реми, оборачиваясь к Антуану, который поглаживал свои бакенбарды.

Антуан Фор задумался.

— Давай разделимся,— сказал он.— Бери свое ружье. Иди в ту сторону, пройдешь километра два, не меньше. А я пойду в эту. Смотри, не ходи вдоль самого берега, он может найти твои следы. Иди по верху... Главное, не убивай его, как того... Целься в ногу. И чтобы дать мне знать, выстрели три раза в воздух в моем направлении. Я сделаю то же самое. Пошли...

Он вылез из машины. Реми последовал его примеру.

— Уф! — произнес он глухим голосом.— Договорились.

Он взял с сиденья карабин — награду за многолетнюю службу.

— Встретимся здесь часа через два после захода солнца.

Они разошлись в разные стороны.

Антуан пошел берегом вверх по течению реки, на ходу заряжая ружье. Ему приходилось пробираться сквозь чащу, раздвигая кусты и ветви, преграждавшие путь. Он искал следы охотника, занятый своими мыслями: «Тоже придумали: не восстанавливать туземцев против референдума! Плевать мне на их референдум! И эти олухи из лесного ведомства тоже лезут в политику. Неужели они воображают, что я торчу в Африке ради этого? Ошибаются, болваны. Разве можно позволить дикарям уничтожить всех животных!»

С дерева неожиданно свалилась потерявшая равновесие белка.

Антуан испуганно схватился за ружье, но успел вовремя заметить зверька: белка поспешно вскарабкалась по стволу и перепрыгнула с ветки на ветку, подняв кверху свой пушистый хвост.

■

Дигбе наблюдал за Белым. Рубашка на Белом была расстегнута, и охотник отчетливо видел в ее разрезе обнаженную грудь. Он целился в нее. Между большим и указательным пальцами правой руки, прямо по линии древка стрелы и натянутой тетивы лука виднелась нижняя часть обнаженной груди. Тетива медленно натягивалась. Дигбе затаил дыхание, закрыл правый глаз. Он оставался в таком положении какую-то долю секунды, но ему она показалась вечностью. Он все еще колебался; в глубине души он хотел, чтобы тетива лопнула.

Антуан Фор шел вперед. Он как раз пересекал озаренный солнцем участок — косые лучи света просачивались между листвой.

Белый все приближался. Осталось сто метров. Восемьдесят. Шестьдесят метров.

Дигбе стиснул челюсти и застыл. Мгновение — и по левой руке охотника пробежал горячий, обжигающий ток. Стрела попала в цель.

— Реми! Реми!.. Ко мне! — вскрикнул Антуан Фор, бросив ружье и схватившись руками за древко стрелы, вонзившейся в нижнюю часть грудной клетки.

Дигбе глубоко вздохнул, словно высвободился из чьих-то цепких объятий. Потом он наложил на тетиву вторую стрелу, тоже отравленную, и вышел из скрывавшей его чащи. Увидев охотника, мертвенно побледневший Антуан бросился бежать, крича от боли и страха. Дигбе помчался за ним... и на ходу всадил ему в затылок вторую стрелу. Антуан повалился наземь, задетая им ветка с треском переломилась. Он успел крикнуть:

— Мама!.. Мама!.. Шарлотта!.. Ко мне, Реми!..

Дигбе не знал, должен ли он добить Белого. Он боязливо стоял, насторожившись, и не отрывал взгляда от Антуана, который корчился в траве. Первая стрела сломалась, ее наконечник остался в теле. Последний луч заходящего солнца, пробившись сквозь листву, скользнул по лицу Антуана. Тот судорожно встрепенулся и опять задергался.

Дигбе поспешно отскочил.

Бита Йен сказал ему, что Белый умрет сразу. Однако время тянулось бесконечно, а тот все еще дышал. Дигбе подумал, что, пожалуй, было бы лучше, если бы Белый истекал кровью. Почуяв кровь, прибежали бы гиены. Они съели бы его еще до наступления темноты. Правда, он не знает, ест ли гиена Белых. Разве не говорят, что у этого зверя под лохматой шкурой такое же мясо, как и у них? Гиена ест все, а ее не ест никто.

Дигбе вдруг широко раскрыл глаза, беззвучно засмеялся. На лице появилась детская радостная улыбка. К распростертому телу спешили целые полчища муравьев-солдат. В вышине, над кронами деревьев, вереницей тянулись птицы; в густых ветвях, играя и ссорясь, резвились мартышки; две антилопы, самец и самка, благородной поступью медленно шли к водопою.

Дигбе крепче сжал в руке лук, поправил колчан на плече и убежал.

■

В километре оттуда Реми Согло нервно кусал губы. Сердце его сжималось, он дрожал от страха. Воображению рисовались какие-то фантастические, огромные, безобразные чудовища, они улюлюкали, живьем рвали его на куски. Малейший шум, тихий шелест листвы окончательно путали мысли, ему вспоминалась всякая чертовщина. Он опять видел грозно упирающийся ему в грудь узловатый палец Биты Йена. Опять слышал его громовой голос: «Ты умрешь!»

Реми не был в прошлом ни слугой, ни посильщиком, ни следопытом. Выйдя после двадцати пяти лет действительной службы в колониальных войсках в отставку, он получил должность помощника Антуана Фора. Ему сказали: «Ты человек опытный, поможешь лесничему уберечь зверей от охотников». Он ревностно исполнял свои обязанности, и охотники, зная это, его побаивались. Но хотя он и провел четверть века в казармах, хотя и «посмотрел мир», окончательно избавиться от власти суеверий он все же не сумел. В течение двадцати пяти лет он участвовал во всех колониальных походах под сенью трехцветного флага. И сейчас ему тоже хотелось быть вместе с Антуаном, знать, что Белый рядом. Ему было

страшно одному. Он дошел до опушки леса, увидел впереди поляну, поросшую высокой травой. Он свернул налево. Извилистая тропинка вела то вверх, то вниз — в овраг, в котором густо росли деревья.

Стараясь, чтобы Антуан его не увидел, Реми пошел по траве. Она была вдвое выше его роста. Он вышел на небольшую — метров десять — лужайку с примятой травой. На лужайке лежала львиная чета. Хищники лениво повернули головы, посмотрели на неожиданного пришельца, широко раскрыли пасти. Самец повернулся на бок, вытянул задние лапы. Самка поднялась, словно ничего не заметив, и равнодушно побрела прочь. Лев на мгновение — на одно только мгновение — задержался, потом последовал за ней: звери уступили свое место. Над зеленой травой, усеянной золотисто-желтыми чашечками цветов, разнеслось их хриплое рычание.

■

Это началось около года назад. Возвращаясь из обхода заповедника, Реми и Антуан Фор столкнулись с Битой Йеном — великим колдуном, последним из Мудрецов, священным хранителем воли богов. Старика сопровождал десяток вооруженных учеников. Они шли торопливым шагом. Реми обратил на них внимание Антуана, тот остановил их и предупредил, что «в заповеднике охотиться запрещено». Реми переводил.

Бита Йен, человек неопределенного возраста, с морщинистым лицом и хитрыми, глубоко посаженными глазками, окинул взглядом сначала Белого, потом Реми и, наконец, произнес:

— Уста, которые не говорят правды, изрекают ложь. Объясни, белый человек, как может жить охотник, если он не будет охотиться?

Реми перевел слова чародея. Бита Йен, как истинный служитель культа, выпрямился и стоял с непреклонным видом.

— Скажи, что я велю посадить его в тюрьму.

Бита Йен оперся на палку чуть повыше его самого и, вызывающе склонив голову набок, с высокомерной улыбкой слушал Реми. При слове «тюрьма» он поднял голову, его глаза заблестели от удовольствия. Его постоянные стычки с колониальной администрацией были вечной темой деревенских разговоров.

— Я выйду из тюрьмы,— сказал он.

Глаза у него загорелись ярче, на лице, покрытом морщинами и серыми пятнами дорожной пыли, появилось надменное выражение. Прищуренные от солнца веки широко раскрылись.

— Если он попадется опять, я заставлю продержать его в тюрьме подольше, а в четвертый раз не видать ему больше солнца,— заявил Антуан.

Услышав эту угрозу, спутники старика протестующе переглянулись. Бита Йен откашлялся. Все замолчали, приготовившись слушать.

— Истина есть истина!.. То, что говорит Белый, не есть вечная истина и никогда не будет вечной истиной. Не может быть двух истин в одном и том же споре. Если я — вор, то пусть бог, карающий за воровство, покарает меня так же, как он поражает гневом своим всех воров! Но нельзя помешать обычному быть обычным, нельзя помешать охотнику заниматься охотой! В этом нет истины.

— В этом нет истины! Правильно! Нет истины! — подхватили ученики.

Бита Йен подчеркнул последние слова. Его глаза, прикрытые мохнатыми от пыли ресницами, метали молнии. Худая, почти высохшая, рука поднялась и опустилась. Стараясь говорить спокойно и сдержать гнев, он добавил:

— Я не боюсь тюрьмы. Меня не будет там тяготить бремя вины.

Прошло несколько недель, и Антуан со своим помощником поймали Биту Йена с поличным — он вместе с учениками коптил в заповеднике мясо убитого зверя.

Их посадили в тюрьму. Но охотники остались верны себе. Выйдя на свободу, они снова стали выслеживать зверя. Бита был вторично пойман на месте преступления. Антуан грубо оскорбил старика в присутствии его учеников, отобрал у всех оружие и охотничий инвентарь, поджег их хижины.

— О! Знай, белый человек, второй раз ты этого уже не сделаешь! Никогда!

Дигбе бросился вперед, чтобы схватить Антуана, остальные приготовились стрелять. Бита их остановил. Он простер руку, как бы моля невидимого и вездесущего бога о поддержке. Переброшенная через плечо пола повязки соскользнула вниз, он подхватил ее на лету и величественным жестом обернул вокруг кисти. В его глазах горела ненависть Он выпрямился и со всей властностью, какая подобала его рангу и положению Мудреца, словно заклинание, провозгласил:

— Именем богов моих предков заявляю, что в тюрьму я больше не пойду. А ты... ты... ты,— он трижды ткнул пальцем в сторону Реми,— ты умрешь той смертью, которую заслужил. Восемь дней будут пухнуть твой язык, твое тело, твои внутренности, и никто, слышишь, никто не сможет тебе помочь. То, что сделает моя рука,— он поднял кверху кисть с длинными узловатыми пальцами,— того уже никто не переделает. Как только ты раскроешь рот, чтобы заговорить, твой язык вздуется, как пузырь, и заполнит его. Многие станут свидетелями твоей агонии, но все будут беспомощны. А он,— Бита перевел взгляд на Антуана,— он уже никогда не увидит своей страны. Ни через три дня, ни через три недели, ни через три месяца, ни через три года. Теперь, раб, можешь перевести ему мои слова.

Реми выслушал старика до конца. Потом схватил Биту Йена за шиворот, плюнул ему в лицо и выкрикнул по-французски:

— Дикарь, тебя сгноят в каталажке!

Так Бита Йен снова попал в тюрьму. Однако с тех пор Реми не знал больше покоя.

— Право же, нужно быть кретином, чтобы верить в эти выдумки,— заметил Антуан, когда Реми перевел ему пророчество Биты Йена.

— Пусть ему верят другие,— храбрился Реми в присутствии европейца. Ему не хотелось признаваться в своем малодушии. На самом же деле опасения не покидали его. Как паук неустанно плетет свою паутину, как капля воды упорно точит камень, так и Реми постоянно, изо дня в день жил в ожидании неизбежной смерти. Малейшая боль уже казалась ему началом конца, напоминала о зловещем пророчестве.

■

Солнце садилось; угасающий дневной свет заливал красными, пурпурными и фиолетовыми красками трáвы и цветы. Заросли походили на тонкое руно. Высокие хрупкие стебли трепетали под ласковым прикосновением ветра.

Реми решил пробраться поближе к машине, чтобы, оставаясь незамеченным, увидеть, когда вернется Антуан. Он шел к тому месту, с которого начал обход. И внезапно замер на месте. На земле копошилась стая стервятников. Они горой громоздились над своей добычей, закрывая ее от Реми. Некоторые из птиц отскочили в сторону и грузно, как бы с сожалением, взлетели вверх, остальные продолжали рвать труп, ни на что не обращая внимания. У Реми сначала промелькнула страшная мысль, что это тело Антуана Фора. Потом он разглядел голову буйвола и сразу успокоился.

Он обошел хищных птиц стороной и, весь в поту, измученный непреодолимым страхом, решил больше никуда не ходить. Впервые в жизни он решился на неповиновение. Он перебирал в уме свое поведение за все прошлые годы с того момента, как надел мундир стрелка,— и ни в чем не мог себя упрекнуть. Его начальниками были Белые. Они командовали, они отдавали приказы. Но это подобие мысленного суда над собой не принесло Реми облегчения, не освободило от мучительного страха. Он готов был принести публичное покаяние, повиниться перед всеми, лишь бы Бита Йен не привел свою угрозу в исполнение.

Предчувствие близкой гибели окончательно надломило его и без того хрупкую веру в христианского бога. «Неужели же я, сын моего народа, помешаю им охотиться?» — спрашивал он себя. Карабин выскользнул из его руки. Он вглядывался в кустарник, в ту сторону, куда ушел Антуан. Он хотел, чтобы тот поскорее вернулся. «На его жизнь никто не посягнет, он ведь Белый,— размышлял он,— его-то уж во всяком случае пощадят. До сих пор Белый приказывал, Белый выносил приговоры. До сих пор ни у одного черного не хватало мужества поднять руку на Белого. Почему же должен быть изменен этот порядок вещей, установленный так давно, еще до того, как родился я, как родился Бита Йен? Какие есть для этого основания?»

Он уселся под деревом. Переходившие дорогу антилопы, заметив его, повернули обратно.

Бежали минуты. Тени, отбрасываемые деревьями, переплелись, стали гуще. От земли запахло сыростью. В вышине парили грифы, вычерчивая на канве неба невидимые глазу затейливые узоры; их тени мрачными пятнами скользили по деревьям, по траве, по земле. Мелькание «небесной нечисти» снова напомнило Реми о роковом предсказании. Конечно же, грифы — зловещее предзнаменование, а сам он, сидящий с расширенными от страха зрачками,— словно насторожившийся заяц.

Он машинально встал, охваченный дрожью. Грифы, носившиеся в воздухе над его головой, последовали за ним.

■

Через час он добрался до машины и уселся в нее. Несколько раз громко окликнул Антуана. Потом замолчал, боясь, что его голос может кого-то привлечь,— мало ли что? Его лихорадило.

В семи шагах от «лендровера», укрывшись за деревом, притаился охотник. Увидев черного, он натянул лук. На этот раз в душе Дигбе не было смятения. Он крикнул:

— Эй, ты!

Реми не успел обернуться, как стрела вонзилась ему в плечо. Он завопил:

— Антуан!.. Антуан!.. Меня убили... Ко мне!..

Дигбе подошел поближе. Реми, упав на сиденье, плакал, кричал, стонал

— Можешь завести свою штуковину... Белый мертв,— сказал он, вырывая стрелу из плеча Реми. Потом быстро скрылся в зарослях.

■

День угас, на смену яркому свету пришла темнота, черная, как чернила каракатицы. Сразу же наступила тишина. Она порождала ощущение пустоты, казалось, что все кругом перестало дышать. И тем не менее жизнь была тут — необъятная, беззвучная, невидимая, чарующая и прожорливая. Воды, растения, звери, пресмыкающиеся, люди — все начинали свою ночную жизнь.

I

Повитуха

Вдали горят огни города — там живут белые. Дальше, позади этой полосы звездочек, тихо гудит туземный квартал. Мань Комбети сидит одна на веранде; на нее падает свет из раскрытого окна. Уже ночь. Где-то рядом, как корабль, застопоривший машины в море и поднявший стояночные огни, притихла больница.

Мань Комбети, женщина дородная и немного чудаковатая, любит пораскинуть умом. События последнего дня, недели и даже месяца приняли неожиданный для нее оборот, заставили призадуматься. Они безжалостно врываются в ее мысли, и она поневоле следит теперь за их развитием. Она пыталась разобраться в них, но всякий раз оказывалась в тупике. И опять возвращалась к отправной точке своих рассуждений — к самой себе.

«Почему доктор хочет, чтобы я оставалась в больнице и ухаживала за роженицами? Почему я живу в доме белых, вдали от всей моей родни? Потому, что я должна показывать ему разные травы. Предки мои! Быть акушеркой — да разве это настоящее занятие? Каждая женщина должна сама родить, ведь каждая может забеременеть. Конечно, если только она не бесплодна, если ее не околдовала другая ревнивая жена! Но ведь и колдовство можно снять. Предки мои! Тут что-то другое, а доктор мне не говорит. И что такое эти «да» и «нет»?»

Неподвижно сидя в шезлонге, словно деревянный божок, утративший свое могущество, Мань Комбети снова и снова перебирает свои мысли. Каждая из них что-то ей открывает, дает ей новую пищу для размышлений.

«Чем в былые времена гордились люди? Если кто соберет самый большой урожай, у кого огромное стадо, кто умеет со всеми ладить, умеет хорошо принять друзей, кто делится своим добром, не жадничает, умеет со всеми страдать, со всеми веселиться. В наши дни старинные обычаи забываются — да что там говорить, они уже забыты. К чему стремятся люди теперь? Стать «депутатом», «министером», важной персоной, быть выше всех и ничего не делать. Потому-то теряют свою былую силу наши семьи, племена, деревни, потому-то в них и остаются одни калеки. Молодежь либо отбывает службу в армии, либо сама уходит в прибрежные города. А старшие остаются одинокими, как дерево с обрубленными корнями, лишенное живительных соков.

Доктор приветлив с больными, с их родственниками. А вот со священником? Нет, с ним он не такой... Признаться, и я недолюбливаю священников белых. У нас свои боги. У белых свои. Доктор правильно говорит, что священники занимаются политикой. Они, скажем, лечат детей... а потом дают им другие имена. Предки мои! Зачем это нужно? Чем плохи имена наших дедов? Меня вот зовут Мань Комбети! Почему я должна менять имя? Самый главный священник — так мне рассказывали, может, оно и правда, кто его знает? — велел проголосовать «да». А молодежь против, она хочет голосовать «нет». Доктор с ними заодно. А доктор — человек надежный. Я ему верю. Я проголосую «нет».

Прежняя жизнь Мань Комбети не требовала от нее никаких умственных усилий. Это было бездумное существование, размеченное лишь датами отдельных событий. Но с тех пор, как она стала работать с главврачом, который был одновременно и директором больницы, разные мелочи начали привлекать ее внимание. В девственном мозгу закипела работа. Он оказался нетронутой и плодотворной почвой. Еще со-

всем недавно все ее поступки диктовались только чувством, их подсказывали горячая кровь и физические радости, а ум бездействовал.

«Предки мои! — воскликнула она про себя.— Молодежь то ли плывет против течения прошлого, то ли по течению. Нельзя ведь рассказывать о том, чего никогда не видел».

Волна размышлений уносила Мань Комбети далеко, очень далеко. То она жила в мире старинных поверий. То начинала проникать в смысл событий, сравнивала прошлое с настоящим. Из объяснений доктора она поняла, что сейчас перед ней открывается дорога в будущее. И тогда прошлое, его обычаи и законы куда-то проваливались, исчезали безвозвратно. Она страдала от того, что никак не могла соединить прошлое с настоящим.

— Приветствую тебя, добрая женщина. Как ты себя чувствуешь?— почтительно окликнул ее больничный шеф-повар Фуссейну.

Не ожидая приглашения, он вынырнул из мглы и вытянул руки по направлению к веранде.

Было очень темно, но Мань Комбети почувствовала, что повар пьян. Недовольная тем, что он прервал ее размышления, она встретила его неприязненно. Между тем уже давно, в течение нескольких месяцев, она каждый вечер неизменно усаживалась на веранде, и каждый вечер как бы случайно — они оба ждали этой случайности — мимо проходил Фуссейну. Он каждый раз заговаривал с ней об одном и том же. И сейчас враждебность Мань Комбети входила в правила затеянной игры: это была подготовка к предстоящему состязанию в красноречии. Она собиралась с силами, призывая на помощь все свое остроумие.

Фуссейну удобно устроился на ступеньках веранды, повернувшись в сторону женщины, и, вздохнув, настороженно ждал ответа на свое вежливое приветствие. С минуту длилось молчание, слышно было только, как тяжело дышит повар. Про себя он подумал:

«Кляча, но еще сойдет. Старовата, конечно. И кривляется к тому же. В свое время мне приходилось объезжать и не таких строптивых кобыл. Хо! Приручу ее и буду иметь пристанище. Вот уже восемь месяцев, как она водит меня за нос, потому что будто бы не любит мужчин, которые выпивают. Чертова баба! Я начал пить еще до того, как твоя мать впервые прикрыла свой зад повязкой. Может быть, даже раньше, чем твой отец натянул вторую пару штанов».

Он снова спросил:

— Как ты себя чувствуешь, добрая женщина?

Мань Комбети недоверчиво обдумывала его вопрос. Она знала, чего хочет от нее сидящий рядом мужчина, ей казалось даже, что она различает в его голосе нотки нетерпения. Она ответила:

— Все зависит от того, что ты понимаешь под словами «как я себя чувствую».

— Ну, добрая женщина! — Фуссейну говорил отрывисто, стараясь покашливанием скрыть хрипоту, вызванную основательной дозой алкоголя.— Я только хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Не больна ли ты? Не тревожит ли тебя что-нибудь? Вот что заключалось в моем приветствии.

«Ну и обманщик! Какой лживый язык! Сын отца-лжеца и матери-лгуньи! Весь его род лжет! И почему все мужчины — обманщики?» — подумала Мань Комбети и сказала вслух безразличным тоном:

— Я чувствую себя хорошо. На душе у меня спокойно. Но почему тебя занимает мое здоровье?

— Ох! — Фуссейну, пересаживаясь повыше, нечаянно рыгнул винным перегаром, пробормотал обычное «во славу божью!» и продолжал: — К чему, добрая женщина, к чему беречь воду, если она не утоляет жажды?

— Знай, напрасно старается тот, кто пытается вскипятить стоячую воду.

— Но вода все убивает. Все. Все, кроме лягушек.

— Давай лучше не будем бросать лягушек в кипящую воду!

Фуссейну проглотил намек: «Ну и пройдоха! Изворачивается, как змея в траве. Люблю диких лошадок, мне нравится их укрощать. Для женщины у нее хорошо подвешен язык. Ничего, видали и почище».

Шеф-повар понимал, что одержать верх над Мань Комбети не легко. Он и так уже выложил все свои козыри: готовил для нее самые вкусные блюда. Но при каждой словесной стычке предмет его вожделений ускользал у него между пальцами. Он всегда мечтал именно о такой женщине, как Мань Комбети,— пышной, статной и к тому же на редкость умной и достойной сопернице в ораторском искусстве.

— Видишь ли, добрая женщина, одиночество вредно для людей... несколько пожилых. Не так ли?

«Предки мои! Он подъезжает ко мне с другой стороны, хочет подразнить. Сейчас я ему покажу, что не зря слушала старших в роду».

— Я не одинока. В моем сердце живет целый народ, он вместе со мной. И не так уж я стара, могу справляться и одна.

«Так, так! Еще пять лет назад она бросилась бы мне на шею при первой же встрече! Она немного «напускает на себя», как говорят белые. Это все из-за доктора»,— подумал Фуссейну и возразил:

— Когда приближается гроза, дружеская рука не бывает лишней.

«Обойдусь и без твоих рук, пьянчужка! Доктор правильно говорит, что ты уже с утра пьян. Свои руки можешь держать при себе. Жаль, что тебе так по вкусу это зелье». Мань Комбети скрестила ноги, опершись на локоть и поглядела на Фуссейну. У нее мелькнула коварная мысль:

— Скажи, неужели тебе нужно каждый вечер напиваться, чтобы быть мужчиной?

«Ну, ну! Вот куда она гнет! Сомневается в моей мужской силе! Сейчас ты у меня получишь!»

Фуссейну уселся поудобнее, подогнул под себя ногу и заговорил:

— Пойми, если я брошу пить, то непременно заболею. Я слишком привык к вину, а когда часами стоишь у плиты, огонь гложет тебя и сушит сердце. Приходится его заливать. Поверь, мне так же жалко себя, как если бы речь шла о моем отце или матери.

Фуссейну заранее знал, куда заведет его собственное красноречие. Стараясь не сбиться с патетического тона, он продолжал голосом опытного декламатора:

— Раньше, еще до того, как я навсегда покинул родной дом, я был самым завидным парнем в своей деревне. Я лучше всех играл на коре*. Еще и сейчас никто не сыграет на ней так, как я. Ну, да ладно, я не об этом. У меня тогда было все, чего может ждать от жизни молодой человек. И в некий день — очень печальный для меня день — я бросил все: и хозяйство, и семью, и почетное положение. Словно упавший лист, подхваченный ветром. И ветер понес меня — я не знал куда.

Фуссейну сидел, согнувшись, раскачиваясь из стороны в сторону, и тяжело вздыхал, устремив взгляд в темноту. Издали доносились чьи-то тихие голоса. В полосе света, падавшего из окна, пролетело какое-то насекомое. В зарослях кричала сова.

— Больше двадцати лет я работал, из кожи вон лез, чтобы платить знаменитейшим колдунам, предсказателям, знахарям. Они в один голос твердили, что меня околдовали, чтобы удалить от родного дома. Соперничество! Ревность! Зависть! Но никто не сумел избавить меня от злых

* Африканская мандолина.

чар. Проходили годы, сухие сезоны сменялись дождями, а я все бродил по Африке, я исходил ее вдоль и поперек. Да! Чего только я не повидал! Видел людей и города, слышал разную речь, ел всякую пищу! Я пью, да, да, я пью. Я ведь знаю. Знаю, что так не годится. Я это знаю. Я люблю, очень люблю то, что осталось мне от жизни... Я хотел бы стать таким, каким был когда-то. О женщина, ты заставила открыться рану моего сердца... Да! Ты заставила открыться рану...

Мань Комбети мысленно снова видела себя молоденькой девушкой. Люди тогда говорили, что она красивее всех. Особенно когда отдавала свои густые волосы во власть женщины, умевшей искусно причесывать. Та расплетала, расчесывала вымытые накануне густые пряди и создавала из них поразительное сооружение: делила волнистую массу волос на десятки крошечных тугих завитков, тщательно выложенных на затылке маленькими квадратиками. На ее запястьях и щиколотках блестели тогда серебряные и медные обручи; на уши были надеты маленькие кольца из витого золота. А потом она надевала красивую материю и была похожа на древнюю египтянку.

Фуссейну между тем продолжал:

— Да, женщина... Я узнал и испытал много горя... Я знал, что огорчаю всех. Я обречен жить один, совсем один. А мне так хотелось бы иметь надежную трость! Чтобы опереться на нее и пройти с ней остаток жизненного пути. Я не жалуюсь... Лишь временами... Посмотри на доктора! У него опять горит свет — и так все ночи напролет... Он все время работает. Он изнуряет себя. Но у него хоть есть ребенок, матери которого никто не знает. Мне куда хуже. Иметь своего ребенка! Посадить деревце, под которым смогут отдохнуть усталые путники... Отдохнуть и пойти дальше... И знать, что кто-нибудь из них скажет: «Как приятна тень, отбрасываемая этим деревцем! Спасибо тому, кто его посадил!» Вот о чем я мечтаю.

Фуссейну продолжал разглагольствовать. Он искренне увлекся собственной речью. Но Мань Комбети больше его не слушала. Она понимала, что Фуссейну говорит для себя самого. Она предпочла бы, чтобы он замолчал, потому что думала: «Он и в самом деле много страдал». Его слова звучали, как вырвавшийся из груди вопль. Перед ней сидел истощенный человек, изнуренный алкоголем, с поблекшей от кухонного жара кожей. Она спрашивала себя: «Что это за невидимая сила, которая толкает человека на один путь, а не на другой?»

— Семя капока прорастает далеко, очень далеко от дерева-матери. Муж для жены — всегда сын. Для женщины муж — ее первенец,— философски заметила она.

Фуссейну не притворялся больше, он действительно разбередил старые раны. Он страдал по-настоящему. Перед ним как бы впервые предстала вся его жизнь — бесцельное шатанье по континенту, без руля и ветрил, без пристанища. Он сам не мог бы сказать, чем вызвана его теперешняя скорбь. Выпил лишнее? Тоскует по семейному очагу? А может быть, это годы и боязнь одиночества? Или он и вправду воспылал возвышенным чувством к этой женщине? Ее равнодушное, философское замечание обожгло его, как удар хлыста. Он сразу прекратил игру.

— Я вижу, женщина, что моя скорбь тебя не трогает. Избавлю тебя от своего общества. Да, пойду к таким, как я, к никому не нужным бродягам,— сказал он, вставая. И, помолчав, добавил: — Да будет мир с тобой, женщина.

Он спустился с крыльца, сделал несколько шагов, остановился, покачнувшись, и, чуть наклонившись вперед, снова подошел к веранде:

— Да, женщина! Знай, что лучше быть в накренившейся пироге, чем в той, которая тонет. Пусть будет мирной твоя ночь.

И он скрылся в темноте.

«Предки мои!.. Что я такого сказала? Этот человек не стоит даже плевка. Бездельник, он еще меня оскорбляет! Обманщик! Сын обманщика! Слова больше ему не скажу. Пусть сам жрет свои вкусные блюда. Я тоже не ребенок, сама знаю, чего хочу. Козел этакий, он у меня поплатится за свою дерзость»...

Мань Комбети была не прочь посидеть еще немного, но глаза у нее слипались; лень было встать с места, пойти спать. Она бормотала:

«Одинокое дерево, тоже скажет! Разве доктор одинок? Нет! У него есть его работа. Просто болтает спьяну! С чего это повар взял, что доктор одинок, что он тоскует по семье? Не такой человек доктор, чтобы довериться пьянчуге. Если бы он захотел взять в жены молодую девушку, даже двух или трех, он бы их нашел. Деньги у него есть, и к нему приходили какие-то мужчины. А когда мужчины встречаются вот так, значит, у них идет разговор о женитьбе. Доктор помалкивает. Но я-то вижу. Я все вижу. А его сынок? Они разговаривают между собой на языке белых. Говорят, что... Ну, злые языки всегда болтают. Конечно, чтобы появиться на свет, надо иметь мать. Где же она? Его мать была белой. Почему она не вместе с ребенком? Белые бросили здесь немало своих детей. Почему доктор не поступил так же? Может быть, это не его ребенок? А может быть, он прогнал ее? Говорят, что в стране белых все не так, как у нас. Надо будет узнать. Это необходимо. Он смотрит на меня, как на старшую сестру. Я могла бы найти ему жену. Надо узнать, какие ему нравятся: полные, худые... Ну нет, только не худые! Худые девушки некрасивы — словно рыбьи кости. Как у меня горит во рту! А все оттого, что болтала с пьяницей. Предки мои! Почему люди не идут одним и тем же путем? Было бы гораздо проще все понять...»

Продолжая распутывать клубок своих мыслей и строя планы, как найти спутницу жизни для доктора, Мань Комбети поднялась, наконец, с шезлонга. Она посмотрела вверх, на созвездие Южного Креста, затем прошла вдоль веранды и остановилась под окном лаборатории. Доктор Тангара, главный врач и директор больницы, все еще не снял белый халат. Он продолжал работать. Он изучал свойства лекарственных трав. На длинном столе поблескивало много стеклянных сосудов, коленчатых трубок, под потолком клубился пар. В большой банке кипела вода.

Время от времени Тангара смотрел в микроскоп, потом что-то записывал в лежавшей рядом тетради. Мань Комбети всегда с любопытством рассматривала это оборудование.

— Это ты, Комбети? — сказал доктор, оборачиваясь и снимая очки в роговой оправе.— Уже поздно. Я думал, ты спишь. Фуссейну ушел?

— Фуссейну...— равнодушно повторила она.— Он прошел туда.— Она махнула рукой в сторону выхода.— А ты? Все вечера работаешь. Неужели ты еще учишься?

— Да. Изучаю то, о чем ты мне рассказываешь,— ответил он, потягиваясь и энергично протирая глаза.— У меня осталось работы на пять минут. Пока вода не перельется в трубку. А зелень, которую ты там видишь, осядет на дно. Очень хорошее лекарство для детей.

— Неужели докторам надо всегда учиться?

— Всем надо всегда учиться. Не только докторам. Знаменитые врачи в других странах посвятили всю свою жизнь тому, чтобы найти лекарства против болезней, которые несут смерть людям. А у нас не хватает даже самых простых лекарств. Болезни, которые здесь убивают людей, там уже не смертельны. И пока нам нужно найти свои средства от них. И ты тоже можешь помочь в этих поисках.

— Предки мои! Ты говоришь обо мне?

— Да, о тебе.

Тангара облокотился на подоконник. Город уже спал, повсюду в очагах дотлевали последние поленья. Воздух был напоен ароматами цветущих растений. Земля, отдыхавшая от дневного зноя, щедро изливала из своих глубин благоухание, беспощадно загоняемое туда солнцем в течение долгих месяцев бездождья. Дышалось легко и свободно.

— Я написал моему профессору. Тому, который научил меня делать операции. Он интересуется тобой. Он прочел мою статью о тебе. Помнишь свою фотографию? Она была напечатана в газете... Это газета для докторов...

— Но я же не знакома с ним, с твоим главным доктором!

— Постой! Сейчас я покажу, что писал о тебе.

Он быстро подошел к столу и взял «Врачебную газету».

— Вот, послушай, я переведу то, что касается тебя: «Несмотря на достижения современной терапии, нельзя забывать и об умении пользоваться лекарственными травами,— в частности, в Черной Африке, где оно переходит из рода в род, от отца к сыну, от матери к дочери. Тайны растений передаются по наследству, но, согласно местным обычаям, они должны быть общим достоянием всего племени и их нельзя открывать чужеземцам.

Работающая у меня в больнице Мань Комбети получила свои познания от бабушки. Она не занимает никакой официальной должности, но исполняет обязанности акушерки. Ее примитивный эмпиризм не имеет ничего общего ни со слепой верой в божественные силы, ни с мистификациями колдунов. Если соединить этот эмпиризм с достаточными сведениями по анатомии, она, благодаря своей многолетней практике, станет кладезем подлинно научных знаний для африканских врачей в стране, где лечебные пункты удалены на сотни километров один от другого.

Мань Комбети пятьдесят лет. Знакомство с анатомией оказалось величайшим откровением в ее жизни. Элементарные сведения об этой науке она получает на занятиях, которые я провожу с ней дважды в неделю.

Ради будущего Африки остается пожелать, чтобы во время переходного периода африканские врачи работали в тесном сотрудничестве с африканскими ботаниками. Еще более необходимо, чтобы местные власти, и в частности министры здравоохранения, занялись подготовкой африканских медицинских работников. Первоочередная задача подготовки — это создание учебного заведения, в котором получали бы знания будущие врачи, научные работники, фармакологи и др. Африке нужны медики, нужен приспособленный к ее условиям медицинский персонал».

Тангара закончил чтение. Мань Комбети не все поняла, но тем не менее была довольна. Она и сама не могла бы объяснить почему. По темному лицу, освещенному огнем лампы, серебристыми ручейками текли слезы, толстые губы приоткрылись, обнажив крепкие белые зубы.

— Ты обиделась, Мань Комбети? Я получил много писем от врачей. Одни со мной не соглашаются, другие просят дополнительных разъяснений.

— Никак в толк не возьму... никак! Ты сам говоришь, что все знания — в книгах. Так как же я, не имея понятия об этих книгах, могу знать больше, чем ты? Предки мои! Я ничего не понимаю, как есть ничего.

— Я объясню тебе.— Врач опять облокотился на подоконник.— Это верно, мы знаем все об устройстве человеческого тела. Тут для нас нет никаких тайн. Но не смешивай тело с его болезнями. Помнишь, я показал тебе на днях микроб, такого крошечного зверька, который живет в некоторых телах. Существует множество таких микробов, и притом самых разных. При некоторых болезнях с помощью некоторых

лекарств... можно убить микроба или обезвредить его. Есть травы, которые хорошо действуют на почки, кожу, на боли в суставах, на кишечник или нервы. Но чтобы знать травы, надо их изучить. А ты их знаешь. Вот, например, очень полезным оказалось растение, которое помогает появлению молока у женщины. Мы узнали о нем благодаря тебе. Сейчас его изучают в Париже. Я должен послать туда более свежие растения. Поняла теперь? В книгах есть еще не все.

— Я ничего не поняла! Ничего. Но я все-таки довольна. Рада, что тебе это доставляет удовольствие. Я не знаю тех людей, которые тебе пишут! Но мне приятно быть полезной. Ты правильно написал обо всем, молодежь бежит из деревень и многие сведения пропадают. Верно это. Эх, если бы ты был знаком с моей бабушкой! Она знала о растениях больше, чем самый большой доктор. Раньше у нас никто не обращался к священникам. Ты ведь знаешь, прежде здесь людей лечили белые священники. А моя бабушка, она все видела, и она говорила: «Если кто пойдет за советом к этим людям в длиннополых одеждах, они будут лечить его тело и оставят у себя его душу. Почему это, как побываешь у них раза два, возвращаешься с веревкой на шее? И все, кто надел такую веревку, девушки и парни, так и остаются в деревне до конца своих дней либо попадают в тюрьму». Так говорила моя бабушка. Да, ты бы с ней столковался. Ты ведь не любишь священников.

— Кто тебе сказал?

— Предки мои! Моя мать умерла за месяц до того, как меня надо было отнимать от груди. Я сосала молоко моей бабушки. Она многое видела, кое-что и я от нее унаследовала.

— Мне не нравится, как они ведут себя, а не то, что они — священники. Я доволен, что работаю с тобой. Рад был бы познакомиться с твоей бабушкой. Но иногда тебя не поймешь.

— С каждым из нас порой бывает трудно. С тобой тоже не всегда легко.— Мань Комбети говорила доверчиво и дружески, но украдкой улыбалась, прикрыв лицо платком.

Тангара, продолжая возиться с препаратами, вспоминал о мелких инцидентах, которые иногда возникали между ним и Мань Комбети.

■

Однажды утром в больнице, как обычно, собрались посетители. Их было много, большинство составляли дети и женщины, устроившиеся на скамьях вдоль стен; мужчины сидели на кирпичах. Часть больных оставалась во дворе, так как в длинной галерее для ожидания не хватало места. Народу было полно. Молва о добросовестности главного врача и его помощников разнеслась за пределы их участка и привлекала людей из разных мест. Все терпеливо ждали своей очереди.

Чтобы свободно ходить по больнице, Мань Комбети надевала белый халат. В это утро, проходя через толпу ожидающих, она столкнулась лицом к лицу с какой-то не то троюродной, не то четвероюродной сестрой. Обе женщины долго вглядывались друг в друга, припоминая, где им доводилось встречаться. Первой сосчиталась родством незнакомка — она оказалась женой брата мужа одной двоюродной сестры Мань Комбети.

— Что ты тут делаешь? — спросила Мань Комбети, упершись руками в бока и гордо поглядывая на окружающих.

Мимо все время сновали санитарки и сестры, на ходу здороваясь с ней.

— О! Комбети...— «Родственница» изумленно схватилась за подбородок и прерывающимся от волнения голосом продолжала: — Пока мы с тобой не виделись, ты стала большим доктором. У нас в деревне говорили, что ты теперь главный начальник в больнице.

К их разговору прислушивались. Все страдальческие лица обратились в сторону Мань Комбети. Те женщины, которые пришли с «родственницей», гримасами старались привлечь к себе внимание. Ее соседка (из той же деревни), услышав слово «начальник», придвинулась поближе и покашливала, намекая, что ее тоже надо познакомить со знаменитой землячкой. Не дождавшись, она решилась заговорить сама:

— Не беспокойся... Я посмотрю за твоей очередью. Да! Если приходишь из дальних мест, торчишь день и ночь на деревенской площади, и никто к себе не приглашает, значит, нет у тебя здесь родного человека.

Мань Комбети поняла намек. Она еще не забыла, сколь священны родственные узы.

— Что у тебя болит? — спросила она.

— У меня?..— «Родственница» горестно вздохнула, коварно рассчитывая вызвать жалость и сочувствие.— Я шла до твоей больницы пять дней. Ты ведь знаешь, где наша деревня. А в этом году мы с мужем и детьми перебрались еще дальше. Оставили наши поля... ушли в другие места. Там земля лучше... Что у меня болит?.. Вот, посмотри сама...— Она показала пятку правой ноги, к которой была приложена дощечка, обмотанная волокном и привязанная корой к ноге.— Видишь... пухнет. Но не идти же мне к другому врачу? Я не могу нанести тебе такую обиду. Если у твоей родственницы своя больница, зачем идти к чужим людям?

Мань Комбети раздумывала. «Кому же и помогать, если не своей родне?» А, кроме того, с тех пор, как она поступила на работу в больницу, у нее еще не было случая показать, что она тоже доктор. Ей льстило, что молва о ней докатилась до родной деревни, и она гордо обвела взглядом больных. Рядом на полу, выложенном плитками, ползало двое маленьких детей.

— Пойдем со мной,— повелительно сказала она.

— Я не одна, Мань Комбети. Тут со мной еще четыре женщины и семеро детей. Вот та, видишь, это старшая жена моего мужа. Мы пришли все вместе. Как же будут гордиться люди из нашей деревни, когда я им все расскажу! Все до единого придут лечиться в твою больницу.

«Родственница» без умолку тараторила, подталкивая кучку детей и женщин и приглашая остальных последовать за ней. Мань Комбети пошла впереди. Стоявшие первыми в очереди робко ворчали. Когда они подошли к кабинету, где шел прием больных, санитар пропустил Мань Комбети, но остальным войти не позволил. Поднялся шум.

— Что там такое? Нельзя ли потише? — властно потребовал Тангара, который в это время осматривал старую женщину, страдавшую хроническим малокровием. Пациентка, услышав окрик доктора, испуганно вздрогнула.

— Не бойся,— успокоил ее Тангара.— Коффи, что там происходит?

— Да это все Мань Комбети! Она хочет провести сюда нескольких женщин, доктор. Все врачи и сестры заняты,— объяснил стоявший у дверей санитар.

Коффи, помощник главврача, смеясь, сказал по-французски:

— Твоя любимица доставляет нам иногда немало хлопот.

— Комбети, скажи твоим родственникам, пусть подождут за дверью. Сядь-ка сюда, на этот стул... Посиди, пока я кончу.— Тангара наклонился над старухой, оттянул ее веки. Поговорил с ней минуты три. Подозвал к себе Коффи. После долгих уговоров старуха, наконец, согласилась лечь в стационар.

— Фанта, сделай все необходимое. Мы берем эту больную.

— Хорошо,— ответила медсестра.

Тангара повернулся к Мань Комбети.

— Ты же знаешь, что здесь работают: постой, дай мне закончить. В больнице нам нужны дисциплина и полное согласие. Ты здесь на таком

же положении, как и все. И все больные, которые сюда приходят, должны быть на равных правах. Ты знаешь этих женщин? Вероятно, они твои родственницы? Представь себе на минуту, что получится, если каждый из нас приведет сюда двух-трех человек. Что скажут другие, глядя на тебя?

Мань Комбети сидела, отвернувшись к окну. Высокая пальма, похожая на обелиск, как бы рассекла пополам окно и небо. В вышине неподвижно висели обрывки яично-желтых облаков.

— Это моя двоюродная сестра! Она знает, что я здесь работаю. Она не может пойти в другое место. Ты же лечишь людей, которых не знаешь, и никому не повредит, ничего не случится, если лечить родных. Она шла сюда пять дней. Да я со стыда помру, если вернусь и скажу ей, что доктор ее лечить не будет,— сердито заявила Мань Комбети.

Тангара переглянулся с Коффи. Сестры и санитары прислушивались к разговору.

— Ты пойдешь и скажешь им, чтобы они заняли свое место в очереди.

— Она больна. У нее покалечены ноги. Ей очень больно. Я даже думаю, что если ты ее посмотришь, то положишь в больницу. Я ничего не понимаю. Ты ведь не можешь сказать, что я бездельничаю. Окажи мне услугу, прошу тебя.

— Не знаю, как быть,— сказал Тангара по-французски Коффи.— Если уступить ей сейчас, каждый день будет то же самое.

— А что делать? Мне очень не нравится это особое покровительство,— ответил Коффи, возившийся с грудным ребенком.

— У нас не хватает коек. Я не могу сразу решить, нужно ли класть твою родственницу в больницу.

— Она может спать со мной. У меня большая комната.

Коффи расхохотался. Тангара, тронутый ее непосредственностью, в затруднении потер лоб и покачал головой.

— Послушай, Комбети... Вот что я могу сделать. Отведи их к нам домой. Но не в комнаты! Как только я освобожусь, я приду и осмотрю ее.

— Но... Их, кажется, десять человек, доктор.

— Хватит, Комбети! Не то нам придется с тобой распрощаться. Отведи ее в дом...

— Ведь у меня много родных! Понимаешь... Им теперь захочется... Нет, ничего не понимаю! Лечить чужих и не позаботиться о своих,— подчеркнуто бросила она, выходя из кабинета.

После этого случая ничто больше не омрачало их совместной работы.

■

— Ну, вот я почти и кончил. Послезавтра у нас будет мазь,— сказал Тангара, увидев, что Мань Комбети все еще стоит у окна.

— Доктор,— она называла его так только в исключительных случаях,— а твой сынок? Он очень умен! Он научился говорить по-нашему. Забавная пара, он и Какпо...

Лицо доктора мгновенно изменилось, стало суровым, замкнутым. Мань Комбети даже в темноте увидела, как он насупился.

— Они давно уже спят. Я думаю, и тебе пора лечь. Хороший сон — лучшее лекарство,— сказал Тангара, отклоняя ее попытку вторгнуться в его личную жизнь.

Мань Комбети рассердилась. «Предки мои! Он мне скажет, где мать малыша. А потом я найду ему хорошую жену. Такую же, как он сам. Чтобы умела читать и писать. Где это видано, чтобы мужчина оставался без женщины. Да еще в его возрасте!»

Вслух она произнесла:

— Я пойду в лес за молочной травой. Принесу тебе еще всякие коренья и зайду в свою деревню.

— У меня на этой неделе много работы. Нужно оперировать трех человек в больнице для белых, не говоря уже о наших больных. Я не смогу пойти с тобой.

— Пусть будет мирной твоя ночь!

— И твоя тоже.

Мань Комбети прошла в столовую, служившую одновременно гостиной.

«Предки мои, он считает меня дурой! А сам как каменный. Не выдает своей тайны. Ничего, и камень в конце концов трескается. Подумать только, до чего может довести болтовня с этим пьянчугой. Он возбуждает мое любопытство и уходит, не удовлетворив его. Больше я с этим злосчастным поваром словом не обмолвлюсь. Пусть он хоть трижды будет при смерти, проклятие тому, кто вздумает сообщить мне об этом! Пойду взгляну на детей. У меня голова кругом идет, я теперь сто ночей не засну».

Она прошла к себе, в большую, хорошо обставленную комнату, и долго сидела на кровати, перебирая в уме все местные семьи, вспоминая всех молодых девушек и отвергая их одну за другой. Одни были, по ее скромному мнению, слишком кокетливы, другие — слишком легкомысленны. Наконец она поднялась и начала раздеваться.

II

Врач

Главный корпус туземной больницы был выстроен в обычном колониальном стиле — побеленное для защиты от жары двухэтажное здание с низкими боковыми пристройками, опирающееся на бесчисленные бетонные колонны, напоминало раненого орла, распластавшегося на зеленой траве. Больница помещалась на взгорье между туземной частью города и резиденцией французов. Вдоль северного склона возвышенности извивалась узкая лента реки, убегающая куда-то в бесконечную влажно-зеленую даль. За рекой кудрявилась темная масса деревьев. Над ними плыли лохматые облака. На юго-востоке лежал деловой центр города — тут стояли высокие дома, выкрашенные в белый цвет, улицы были обсажены деревьями, цвели сады, украшенные статуями, внушительно вздымался недавно выстроенный огромный собор. Дальше шла «ничейная земля» — то ли случайно, то ли умышленно оставленная здесь полоса деревьев отделяла эту часть города от туземного поселка. В поселке — море низеньких, словно придавленных солнцем к земле крыш, море, прорезанное улицами и переулками, пропитанное густыми запахами пряностей, пальмового масла, ананасов, сока карите и пота; там же находились ощетинившиеся минаретами мечети, четыре церкви.

■

Было уже за полдень. Главный врач больницы Тангара отдыхал. С утра он совершил обычный обход палат, потом принимал амбулаторных больных, которые шли непрерывным потоком. Несмотря на свирепые ветры, они в этом году без конца прибывали из трех соседних государств. Тангара пользовался большой известностью...

— У меня сегодня что-то душа к работе не лежала. Я уж думал, этому конца не будет. Казалось, весь мир чем-то болен. Глаза. Ноги.

Голова. Грудь. Живот. Почки. Словом, кругосветное путешествие по человеческому телу,— говорил он, сидя за своим столом и убирая стетоскоп.— А я-то строил планы на этот дождливый сезон! Но изготовил за все время только одну мазь. Кстати, что ты думаешь о женщине с раком печени?

— Прежде всего, с больной, которую ты мне передал, мы ничего сделать не сможем. Разве что уколы... и все! Нам еще везет, что больных раком не так уж много. И еще прокаженные,— ответил помощник главврача Коффи, расстегивая халат. Он был года на три моложе Тангары.— Но зато на прошлой неделе, когда меня не было в больнице... я обнаружил причину повальных глазных заболеваний. Мне, по крайней мере, кажется, что причина именно в этом. Понимаешь, во время дождей хозяйки варят приправу к пище из листьев баобаба и готовят блюда из его плодов. Но в сухой сезон баобаб сбрасывает листву. А распускается другое дерево того же семейства, что и баобаб, и похожее на него. В засуху и в переходные месяцы хозяйки используют в пищу листья и плоды мнимого баобаба. Помнишь, все с больными глазами — из одной и той же деревни. Вот тут пакетик, ты найдешь в нем прошлогодние листья этого дерева. Сейчас, когда все зеленеет, оно стоит голое, без единого листочка. Тут нам, пожалуй, может помочь Мань Комбети.

— Очень любопытно. Не зайдешь ли ко мне вечерком? Мы поговорим с ней вдвоем.

— Я должен быть на собрании...

В кабинет, громко разговаривая, вошли медсестра и два фельдшера; при виде врачей они умолкли. Коффи продолжал:

— Я зайду... ну, скажем, послезавтра. Между прочим, моя жена частенько справляется о тебе. Да! Скажи, могу я передать Фронту, что ты согласен?

— Сначала мне хотелось бы знать, Коффи, как у тебя хватает времени. Больница. Собрания. Семья... И заочные лекции. Ты много успеваешь сделать. Чересчур много, на мой взгляд. Я иногда говорю себе, что Коффи и его друзья должны считать меня буржуа. Между тем я — сторонник независимости.

— Благодарю за заботу! Мне лично кажется, что я делаю недостаточно. У нас с тобой очень разное представление о теперешней жизни и о той, которая нам предстоит. Моя жизнь осмысленна — моя партия, ее принципы придают ей смысл. А считать тебя буржуа?.. Что такое буржуа? Я имею в виду нынешние условия... в Африке...

Коффи собрался было уходить, но, как всегда по окончании работы, они затеяли все тот же спор.

— Ты же понимаешь, Коффи, что я хочу сказать. Буржуа — это человек, который любит свой покой, свой маленький мирок; в общем, нечто в этом роде. Словом — индивидуалист. Мне не нравится, что ты позволяешь партии командовать собой. Я сам — за независимость. Но я обещал не заниматься политикой. И если быть откровенным, дело не в том, что я не люблю политики. Просто я в ней ничего не понимаю. На референдуме я проголосую «нет», тут у меня никаких разногласий с Фронтом. Но я часто не разделяю идеалов, которые провозглашает твоя партия.

— Фронт борьбы за независимость — это союз всех течений, решивших сказать на референдуме «нет». Премьер-министр ведет кампанию за «да», а Дьембе, вице-президент территориального собрания, участвовал в работе Фронта. Его представление о будущем в корне противоречит нашему. И тем не менее его арестовали. Арестовали фактически за то, что он руководил Фронтом. Президент, он же премьер-министр, вероятно, надеется, что, бросив в тюрьму Дьембе, он тем самым обезоружил Фронт. Но нет...

— Будь он на моем месте, он давно бы понял, что твою партию не обезоружишь,— возразил, улыбаясь, Тангара.

— Я уже говорил тебе и еще раз повторяю: партия — не единственный участник Фронта. Правда, мы организованны, требуем от всех членов партии соблюдения дисциплины. У нас есть научная теория. Уж не потому ли от нас шарахаются?

Коффи выше ростом и худощавее Тангары, волосы на его голове разделены справа ровным пробором. Он — активист, член марксистской партии. Официального звания врача у него нет. Он проучился пять лет в Дакаре на курсах для колониального медицинского персонала и получил там соответствующий диплом.

— В организации Фронта хотят знать, примешь ли ты участие в очередном — и кстати последнем — собрании, которое состоится двадцать первого,— продолжал он.— Пойми, сейчас уже недостаточно бороться за независимость на словах. Правда, ты несешь ответственность за всю больницу. Но на мне тоже лежит ответственность... за будущее Африки. И это тяжелая ноша.

Тангара с минуту внимательно разглядывал свою огромную американскую авторучку. Его коротко подстриженные волосы уже серебрились сединой. Узкие глаза с длинными загнутыми ресницами глубоко запали, пять вертикальных надрезов тянулись на каждой щеке от виска к волевому квадратному подбородку. За время заведования больницей у него ни разу не было повода жаловаться на работу своего помощника, но взгляды Коффи, его открытая защита теории диалектического материализма смущали главврача. Тангара побаивался крайностей во взглядах.

— Я уже обещал присоединиться к Фронту.

— Ну, до завтра,— сказал Коффи, поворачиваясь к своему шефу.— Я знаю, нас с тобой многое разделяет. Я тебя не виню, вероятно, я сам отчасти виноват в этом. Пойми, мы — сторонники научного социализма и действуем согласно его принципам.

— Представь себе, что у меня тоже есть своя точка зрения на будущее Африки. И когда я говорю о моих разногласиях с партией, я имею в виду будущее Африки, имею в виду коммунизм.

— Очень рад, что ты, наконец, заговорил откровенно. Ведь мы как раз и хотим сопоставить наши точки зрения на настоящее и будущее Африки,— живо возразил Коффи, подходя к Тангаре.

— Например, марксизм,— продолжал Тангара.— Я лично — за африканский марксизм, за африканское социалистическое общество. Для этого нужно, чтобы сначала из всей массы выделилась избранная часть, элита,— да нет же, совсем не в том смысле, как ты думаешь,— элита, то есть достойные и способные кадры. В какой-то переходный период эти люди будут нести ответственность за судьбы страны. А потом, когда массы приобретут опыт и знания, они возьмут управление в свои руки.

Тангара поднялся из-за стола, подошел к умывальнику и тоже стал мыть руки. Коффи возразил:

— Никакого африканского марксизма нет и не будет. Маркс — это имя человека. От твоей теории пахнет церковными проповедями. Что, скажешь, не так? А насчет африканского социалистического общества... Согласен. Мы применим марксистскую теорию к нашим африканским условиям — политическим, экономическим и культурным. Но для начала надо не только глубоко изучить теорию диалектического материализма Маркса и Ленина, надо также вооружить этой теорией широкие массы. А ждать появления некоего африканского Маркса... Это же утопия! Грубая фальшивка! Почему ты сам не ждал создания африканского факультета, чтобы стать терапевтом и хирургом? Почему тебе приходится изучать лечебные свойства трав? Почему вызывают недовольство твои доклады и финансовые наметки насчет перестройки больницы?.. Подумай

над всем этим. Коммунизм — наука всеобъемлющая. Неужели ты не слышишь раздающихся в небе сигналов спутников? Будь уверен, мы проделаем путь, который предстоит проделать сообща. Фронт борьбы за независимость открыт для всех.

Тангара вымыл руки. Он взял со стола свои вещи и, обернувшись, иронически сказал:

— С тобой опасно разговаривать. Достаточно упомянуть твою партию, и ты уже встаешь на дыбы. Я не хочу спорить. Я — беспартийный. Неорганизованный. Обыватель. Ладно, на собрание я приду. Жаль, что не хочешь отведать мою стряпню. Но твои листья я забираю. Может быть, нам действительно удастся обнаружить в них вирус заболевания сетчатки. Передай привет жене,— добавил он, уходя.

В кабинете остались Коффи и медсестра.

■

До дому Тангаре рукой подать. Надо только миновать больничную кухню и прачечную. Он жил в соседнем флигеле, принадлежавшем больнице. Туда вела протоптанная дорожка. На протянутых веревках сушились перевязочные бинты, простыни, застиранные одеяла. В воздухе резко пахло мыльной водой и кухней.

— Фуссейну... Фуссейну...

— Я тут, доктор, я тут,— отозвался шеф-повар, появляясь на пороге своих владений в высоком белом колпаке, покрытом жирными пятнами.

— Обед готов? Я умираю с голода, а мне еще надо поспеть сегодня к трем часам на операцию в европейскую больницу.

— Один минютка, доктор,— ответил повар по-французски и, переходя на местное наречие, заметил: — Я что-то не видел сегодня утром Мань Комбети.

— Она ушла от нас еще с утра.

Одутловатое лицо Фуссейну помрачнело. Он грустно посмотрел на доктора.

— Я пошутил. Она вернется. Бросил бы ты пить, Фуссейну.

— Да, доктор,— повар виновато опустил голову.

Доктор пошел дальше. Решетчатая ограда отделяла его дом от территории больницы. Дом со всех сторон опоясывала веранда, а вокруг тянулся сад. У веранды цвел крапчатый базилик.

— Гезо!.. Какпо!..— позвал доктор.

Ответа не последовало. Он снова окликнул детей. Никто не отозвался. Он поднялся на веранду. На балках под крышей висели глиняные горшочки, калебасы, из которых гривами ниспадали ветви ползучих растений с крошечными цветами — розовыми, красными, белыми, желтыми, черными. На веранде стояли два шезлонга и стол. Фреска на стене изображала историю Африки от эпохи рабства до наших дней. Доктор толкнул дверь, затянутую металлической сеткой.

Он вошел в столовую и положил свои вещи на стул. В комнате стоял сервант, на нем — стаканы в плетеных соломенных подстаканниках, суповые миски, тарелки. Три картины украшали стены.

— Какпо! Гезо!

Он заглянул в детскую. Там у окна были устроены одна над другой две койки, по бокам которых стояли две парты. Все игрушки были на месте. «Наверно, они где-то тут поблизости»,— подумал доктор и, выйдя на веранду, уселся в шезлонг. Он задумался. Референдум раздражал его. Сам он был сторонником независимости.

«И пусть теперь меня никто больше не теребит. У каждого свои убеждения. Я отдал медицине восемнадцать лет своей молодости. Восемнадцать лет, чтобы стать врачом, хирургом в родной стране. Чего еще от меня хотят? Если бы все следовали моему примеру, то никакого вопроса

и не возникло бы. Я считаю, что имею право на кое-какие привилегии. Коффи — человек ограниченный. Все они — люди ограниченные. С другой стороны, верно и то, что я ночи подряд трудился над сметой на ремонт больницы, а мне заявили, что с этим надо подождать. До каких же пор? В самой Франции больницы в плачевном состоянии. А тут дела обстоят еще хуже. Министр здравоохранения твердит: нет денег, нет ассигнований. И вот уже год, как я бьюсь без толку».

Тангара начал перебирать в памяти события последнего года.

■

В 1957 году, после того как во Франции вышло новое законодательство для колоний, Тангара, работавший в туземной больнице в Дакаре, стал добиваться назначения главным врачом. После двухмесячных хлопот его направили в здешнюю больницу хирургом и заместителем главного врача полковника Люка. Местные газеты не переставали восхвалять этот жест колониальной администрации. Но никто не удосужился сообщить Тангаре, что в больнице по существу торгуют медицинскими услугами. Взяточничество стало в ней правилом. Платить надо было за все: за койку, за уход, за уколы, даже за еду. Постепенно улетучивались и те немногие лекарства, что имелись в запасе, исчезали даже перевязочные материалы.

Главврач больницы полковник Люк долгие годы прослужил медиком в колониальных войсках и, когда ушел в отставку, был назначен директором и главврачом туземной больницы. В колонии он жил давно, со времен шлемов, шортов и фланелевых поясов в качестве средства от нестерпимой дневной жары. За десятилетия хозяйничанья белых в Африке появился целый отряд колониальных дельцов — плантаторов, коммерсантов, разных чиновников первого и второго сорта, создавших свой собственный мирок, совершенно обособленный от «туземцев». В этом мирке текла скучная, однообразная жизнь, лишенная всякого смысла, наполненная всевозможными прожектами, которые никогда никем не осуществлялись. В долгие дождливые месяцы эти люди, стремясь избавиться от скуки, предавались низменным страстям. Они пьянствовали, развратничали, сплетничали и мечтали о новых званиях и чинах.

Альбер Люк, уроженец Восточных Пиренеев, прожил в тропиках тридцать лет, лишь дважды побывав за это время на родине. Он считал, что в Африке стесняться нечего, и, как сам говорил друзьям, стал циником.

Он уже в течение десяти лет стоял во главе туземной больницы. Развращенный сознанием своей принадлежности к расе, самим богом предназначенной руководить другими расами, убежденный в незыблемости колониальной системы, он, как и ему подобные, не заметил симптомов наступления новой эпохи и по-прежнему верил в свои исчезающие привилегии.

Благодаря длительному пребыванию в колониях он бегло говорил на трех африканских языках и стал поэтому незаменимым сотрудником для всяких правительственных чиновников и администраторов. Без него не обходилось теперь ни одно совещание, он постоянно высказывал свое мнение, советовал, диктовал, направлял всевозможные мероприятия, касавшиеся «туземцев».

Когда в больнице появился доктор Тангара, он провел его по всем палатам и флигелям, представляя нового хирурга больным и персоналу, похлопывая его по плечу и дружески толкая в бок.

— Вот наш новый врач. Здешний уроженец. Теперь вы уже не сможете сказать, будто французы ничего для вас не сделали. Мы, европейцы, гордимся им...— И обращаясь к хирургу, тут же добавлял: — Чертовски

приятно... За тридцать лет впервые вижу негра, занявшего такое место... Я чертовски рад.

Доктора Тангару эти слова обожгли, как удар кнута. Мягкий, немного неуклюжий, он чувствовал себя неважно. Сам того не желая, он очень скоро стал враждебно относиться к полковнику Люку. Он не мог не видеть царившего кругом беспорядка: за больными не было систематического ухода; на кухне царила грязь, больных плохо кормили; полковник постоянно отлучался из больницы, и его отлучки становились все чаще и длительнее. Тангара не хотел с первых же дней восстанавливать против себя персонал и решил сначала поговорить с Коффи, который занимал теперь по рангу третье место в больнице.

— Чего-то я здесь не понимаю. Может быть, ты можешь мне объяснить кое-что? По утрам полковника никогда нет на месте. А если он и появляется, то немедленно опять исчезает. Ты ведь был его заместителем. Как ты это объясняешь?

Коффи, осторожно присматривавшийся к новому начальнику, предпочел отделаться общими фразами.

Дни шли. Тангара постепенно убедился, что он может рассчитывать на поддержку Коффи, и решил взяться за чистку больницы.

Полковник, как обычно, явился в этот день около одиннадцати часов с покровительственно веселым видом.

— Ну как, дети мои? Здравствуй, Тангара.— Он хлопнул доктора по спине.— Как вижу, все идет отлично. Вот и прекрасно! Ну, а я побегу, у меня дела... Если я зачем-нибудь понадоблюсь... вы найдете меня в большой пивной.

— Доктор Люк!

— Да? В чем дело?

Тангара оставил своего больного и с минуту нерешительно глядел на полковника, а потом, пожав плечами, заговорил:

— Здесь не больница, а свиной хлев. За больными нет никакого ухода. Утром, когда я прихожу сюда, меня начинает тошнить. А вы появляетесь и сразу же уходите. Вам платят деньги за то, чтобы вы работали. Дайте мне докончить... Коффи, вели вывести отсюда больных, медсестры и фельдшера пусть тоже выйдут.

Через пять секунд кабинет опустел. Тангара снова обратился к Люку:

— За все эти беспорядки несете ответственность только вы, полковник. Медикаменты исчезают. Ведь это же грабеж! С негодными врачами я работать не намерен. А вы принадлежите к их числу.

Неожиданная резкость Тангары ошеломила полковника Люка. Он растерялся, дряблые мешки под его глазами затряслись. Запинаясь от изумления, он пробормотал:

— Вы с ума сошли? Я практикую тридцать шесть лет. Да как вы смеете? Называть меня вором? Это черт знает что! Обратились бы лучше... к своим помощникам.

— Я бы не взял вас даже на должность фельдшера. Что же касается вашей тридцатишестилетней практики... Она годилась в колониальных войсках... Но эти времена прошли безвозвратно.

— Попрошу без оскорблений!

— Дозожу до вашего сведения, что я проверил работу всего персонала. Из пяти числящихся по штату поваров один постоянно работает у вас, хотя жалованье ему выплачивает больница. В ваших карманах... спрятаны ампулы пенициллина. И мне известно, что вы торгуете лекарствами; не вздумайте только уверять меня, что вы их берете для какого-нибудь лежащего здесь больного. А для вашей частной клиентуры доставайте лекарства как хотите, тем более что частная практика вообще запрещена.

Тангара кипел от негодования. Шрамы на его лице беспрерывно шевелились. Он нервным движением поправлял на носу очки. Коффи стоял в выжидательной позе. Он боялся, как бы Тангара не набросился на Люка с кулаками. Две медсестры, услышав возбужденные голоса в кабинете, подслушивали за дверью.

— Вы преувеличиваете, Тангара,— примирительным тоном заговорил Люк,— вы, правда, хирург, но это еще не дает вам права так со мной разговаривать.

— Не о том речь! Я прежде всего врач. И всегда буду отстаивать честь моей профессии.

— Я знаю, вас этот коммунист подстрекает. У самого-то смелости не хватило бы,— зарычал Люк, поворачиваясь к Коффи.

— Не считаю нужным отвечать. Объясните, что вы имеете в виду,— возразил Коффи.

— Он тут ни при чем. Я все проверил и знаю, что он в ваших махинациях не участвовал. Поэтому я и настаивал на его присутствии.

В комнату вошел Дьябате, один из африканских врачей больницы; почувствовав в воздухе грозу, он повернулся, чтобы уйти.

— Останьтесь, Дьябате,— сказал Тангара.— Вас это тоже касается.

Дьябате и полковник переглянулись. Люк стоял мертвенно бледный. Скулы на его лице беспрерывно двигались, щеки подергивались, рот кривился — все выдавало бешеную злобу.

— Ого! Вы, кажется, уже считаете себя здесь хозяином! Но я могу потребовать, чтоб вас отозвали. Не забывайте этого,— пригрозил он.

— Хватит! — крикнул Тангара.— Я не собираюсь действовать тайком от вас. Сегодня же пошлю рапорт министру здравоохранения. Пока что вы свободны. Вы ведь, кстати, привыкли бездельничать. А с вами, Дьябате, у меня будет особый разговор...

Тангара подошел к двери, раскрыл ее и позвал всех работников больницы. Полковник, секунду поколебавшись, с угрюмым видом вышел из комнаты.

С этого дня началось оздоровление обстановки в больнице. Полковник Люк приходил на работу аккуратно каждое утро. Он даже совершал обходы и дежурил, хоть и делал это спустя рукава. Так прошло недели четыре. Как-то во второй половине дня Тангара созвал весь персонал, включая шеф-повара и его помощников. Пришло человек шестьдесят.

— Я созвал вас сюда для того, чтобы мы могли поговорить откровенно,— начал он, оглядывая собравшихся.— Среди вас есть нечестные люди, есть воры. В этом заведении процветает взяточничество. Деньги берут за койку, за лечение, за уход. Сколько времени это уже продолжается, я не знаю.

Тангара остановился перед Фуссейну. От чрезмерного употребления спиртного губы повара потрескались и покрылись розовыми пятнами.

— Вот ты, например, ты занимаешь пост шеф-повара. На кухне у тебя грязь! Еда для больных отвратительная. И вспомни, что растительное масло выдается для приготовления пищи, а не для обмена на алкоголь.

Фуссейну смущенно опустил бритую голову.

— Что ты можешь возразить? Скажи, правда или нет, что ты продаешь масло, которое отпускается для больных?

— Доктор, я никогда этого не делал... Как мог бы я, старый человек...

— Коффи, позови повареика.

Коффи вышел и вернулся с подростком; тот шел робкими шагами, с опаской поглядывая на присутствующих.

— Кто давал тебе растительное масло? Отвечай! — сказал Тангара, пристально глядя на мальчика.— Говори, сейчас не время молчать.—

Обращаясь к сестрам, сидевшим в ряд на скамье, он объяснил: — Его поймали с поличным. Как раз, когда он обменивал масло на вино... Отвечай!

— Его надо посадить в тюрьму! — воскликнул полковник Люк, сидевший на краешке стола, скрестив руки.

— О вас мы еще поговорим, доктор Люк. Если парнишке придется сесть в тюрьму, он сядет не один. Скажи, дружок, кто давал тебе масло? Или ты предпочитаешь попасть в тюрьму?

— Шеф давал, доктор.

— И что он тебе говорил?

— Он говорил — все кругом крадут! Чем мы хуже других?

— Хорошо!.. Можешь сесть. Ну, Фуссейну, я тебя слушаю.

Присутствующие молча переглядывались, лица у них были растерянные. Тангара видел, что старик от стыда не знает, куда деваться, и решил больше не мучить его. Он обратился к остальным.

— Ну, вы, кажется, хотите знать, чем это кончится? Так вот, я начал с повара, но мог с таким же успехом начать с прачечной, с экономa или аптеки. Везде набивают карманы, стараясь перещеголять друг друга. За чей счет это делается? За счет крестьян, скромных и честных тружеников. А кто виноват больше всех? Кто, я вас спрашиваю? Не те ли, кто отвечает за больницу, то есть доктор Люк и доктор Дьябате? Да, они виноваты больше всех. Они каждый день уносят из больницы лекарства. А вы что, считаете это в порядке вещей и подражаете им? Почему вы так поступаете? Потому что так поступают начальники? Поймите, судьба страны в наших руках. Вы чем-нибудь недовольны? Вам мало платят? Ну что ж, можете бастовать. Но воровства я не допущу! Никогда! Доктор Люк освобожден от своих обязанностей. Вот, Люк, возьмите выписку из приказа министра. Дьябате, тебя почему-то оставили. Не знаю уж, как это получилось, но тебя не тронули...

— Ага! Понятно! Он ведь африканец! Это же расизм! — в ярости крикнул Люк.

— Мне известно, что он тоже виноват. Но его оставили, хоть я и не знаю почему... Так решил министр...

— Но я-то ему не подчинен! Не этот министришко назначал меня,— запротестовал Люк.— Я обращусь к губернатору...

— Вы виноваты больше всех. Жалуйтесь кому угодно У меня достаточно доказательств, чтобы упрятать вас в тюрьму...

— Кого?.. Меня?..

— Да, вас. Достаточно доказательств для того, чтобы вы сели в тюрьму. А вы все запомните, что я своих слов обратно никогда не беру. Знайте, первый же, кого я уличу во взятке — будь то курица, кукуруза, пучок маниока или деньги,— будет уволен и отправлен в тюрьму. Отныне Коффи — мой первый помощник, а Дьябате — второй. Составьте каждый опись имеющегося у вас инструментария и передайте его мне или Коффи... Прошу извинения у тех, кто ни в чем не виноват. Я знаю — не все здесь воры. И ты, Фуссейну, не единственный, кто занимался кражами. Можешь передать повару, который работает у полковника,— я видел его на днях,— что полковник задолжал ему жалованье за два месяца. Понял?

— Да, доктор.

— А теперь можете идти.

■

Эпизод с полковником Люком глубоко врезался в память Тангары. Вся его прошлая жизнь была заполнена подобными столкновениями.

Тангара боролся с непорядками в одиночку. С Коффи он вел себя

сдержанно. Между тем тот был трудолюбив и честен. Он оказался замечательным помощником, очень исполнительным и серьезным. Главврача смущало только одно обстоятельство — Коффи был коммунистом. Тангара часто думал: «Страна развивается, этого никто не отрицает; но было бы утопией рассматривать эту эволюцию как радикальное преобразование. Поспешный диагноз может привести к самым серьезным последствиям. Завтра я поговорю с ним. Ах, это двадцать восьмое сентября!.. Я не могу быть сторонником какой-то новой теории. Я — сторонник независимости... А собственно говоря, почему я за независимость?»

— Не «па», а «папа», Гезо. Сколько раз я говорил тебе, что не следует коверкать слова,— сказал Тангара, отрываясь от своих мыслей.

— Здравствуй, папа,— повторили оба мальчика, переглядываясь и подмигивая друг другу.

Гезо взял отца за руку. Это был крупный для своих девяти лет ребенок с кожей метиса, темно-желтой, как зрелый банан, круглым личиком и раскосыми глазами. За ним подошел Какпо, мальчуган года на два старше,— его черная кожа отливала синевой, лоб был выпуклым, глаза сидели в глубоких впадинах. Оба мальчика жили в доме врача. Первый был его сыном, второй — родственником, которого он усыновил, чтобы Гезо не рос один. Жили они втроем дружно. Тангара относился к обоим совершенно одинаково. Мальчики считали себя родными братьями.

— Подойдите поближе! Покажите, в каком виде ваши штаны?

Дети встали рядом и повернулись к отцу спиной.

— Хорошо! Как руки? Туфли... Обувь буквально горит на вас...

— Нет, нет, папа! Мы не играли в туфлях. Это грязь к ним прилипла. Мы были с тетей Комбети. Она ушла,— сказал Какпо, соскребая грязь с подошв своих теннисных туфель о край ступеньки.

— А уроки?

— Угадай, папа, сколько ошибок сделал Какпо? Мы писали под диктовку... и решили задачу,— рассказывал Гезо, переминаясь с ноги на ногу.

Какпо за его спиной делал какие-то знаки.

— Не жульничай. Не смотри на него, папа... А ты, Какпо, отвернись.

Тангара, заложив руки за голову, долго думал, а потом спросил:

— Что вы писали под диктовку?

— «Моя деревня».

— «Моя деревня»,— повторил отец.— Пять ошибок?

— Нет, ни одной... Ты проиграл.

— Молодец, Какпо. А сколько ошибок у тебя?

— У меня?.. Три ошибки. Понимаешь, папа, Какпо неправильно произносит слова. Он говорил «се» вместо «же» и опять-таки «се» вместо «ше». Поэтому я и делаю ошибки.

— Это неправда, папа,— запротестовал Какпо, становясь между ними.

Гезо толкнул его.

Они разговаривали по-французски, как делали это всегда, оставаясь втроем.

— Вы оба — молодцы! Если получите через год свидетельства об окончании начальной школы, я возьму вас во Францию.

— Правда, па?

— Гезо!

— Извини, папа! Это правда?

— Я уже сказал... Выдержите экзамены, тогда сами убедитесь...

Гезо, запрыгав от радости, возбужденно жестикулируя и зажмурив глаза от восторга, повернулся к более сдержанному брату:

— Ну и насмотришься же ты, Какпо... Папа, мы съездим к Тати?

— Да.

— Я научу тебя кататься на коньках. Какпо, познакомлю с ребятами, с мальчишками. Мы вместе играли во дворе.

Гезо приехал из Франции два года назад. Он до сих пор с тоской вспоминал ее. Тати была его кормилицей. И Какпо, наслушавшийся рассказов Гезо, тоже очень хотел увидеть далекую страну.

— Папа, а метро мы увидим?

— Да. И не раз проедемся в нем.

Услышав ответ отца, Какпо засиял от радости. На его лице появилась восторженная, мечтательная улыбка.

— А снег мы тоже увидим? — снова спросил он.

— Для этого в летнее время придется съездить подальше. Но это зависит от вас обоих. Постарайтесь получить свидетельства...

— Я его получу,— уверенно заявил Какпо.

Тангара внимательно посмотрел на него. В голосе мальчика прозвучали такая убежденность и решимость, что сомневаться в его словах не приходилось.

— А ты, Гезо?

— Я?.. Я тоже получу свидетельство.

— Посмотрим... Если не сдадите экзаменов, останетесь здесь. А сейчас ступайте поторопите Фуссейну.

■

— Ты увидишь Париж, Какпо! Я так рад! Познакомишься с моими приятелями. У нас была своя компания, мы играли в кино. Было очень интересно!

— Как здесь?

— Скажешь тоже! Еще лучше! Зимой мы лепили из снега деда-мороза. Ты знаешь, что такое дед-мороз?

— А какой он, снег?

— Снег? Снег — это снег,— Гезо, как маленький парижанин, пожал плечами.

Мальчики побежали к кухне, и по пути Гезо продолжал делиться с братом своими воспоминаниями.

Через полтора часа, пообедав, они все еще сидели втроем — строили всяческие планы, дети задавали вопросы, что-то обсуждали. Много говорили о кино. Тангара обдумывал свои собственные планы, которые вынашивал с тех пор еще, как закончил медицинский институт. Он рассчитывал сделать в Париже кое-какие доклады, ознакомить научный мир с перспективами развития так называемой «африканской медицины». Он часто возвращался к мысли о том, что в странах, лишь недавно вступивших на путь развития, отставших в области медицины, нужно сочетать новейшие открытия со старинными способами лечения. Он писал об этом статьи в научные журналы и, кроме того, переписывался с канадскими и европейскими учеными. Он готовил различные материалы, подтверждающие его точку зрения.

— Доктор! Доктор! — окликнул его прибежавший санитар.

— Что произошло?

— Срочный случай, даже не один, а два. В больнице белая женщина и ее слуга. Доктор Коффи послал за тобой.

Тангара категорически запретил всему персоналу обращаться к нему на «вы», потому что на африканских языках все говорят друг другу «ты».

— Ладно! Сейчас же иду.

Санитар помчался обратно. Тангара сказал детям:

— Когда я вернусь, чтобы никого за столом не было. Понятно?

Но думал он в это время о другом: «Белая женщина со своим слугой! Веселая штука, нечего сказать».

Он поспешно направился в больницу. На столе в перевязочной лежал Реми Согло. Коффи, растерянно стоявший рядом, сказал:

— Его хозяйка свалилась как снег на голову, как раз тогда, когда я собрался уходить. Она едва успела произнести твое имя. Приступ аппендицита. Она там, в соседней палате. А этот... не понимаю, что с ним.

— Он не слуга. Это помощник ее мужа, Антуана Фора, лесничего, директора заповедника. Того самого, которого прозвали «звериным депутатом».

Тангара пощупал пульс Реми. На первый взгляд, у больного не было ничего особенного. Рот приоткрылся, между отвислыми губами пузырилась желтоватая пена. Тангара вытер ему рот кусочком ваты. Показался кончик разбухшего языка. На помертвевшем лице Реми жизнь теплилась только в глазах. Он не мог произнести ни одного слова.

— Что у тебя болит, Реми?

Вместо ответа глаза на землистом лице расширились еще больше.

— Пульс у него нормальный,— сказал Коффи.— Может быть, он немой...

— Нет... Постой! Взгляни-ка!

Тангара надавил на челюсти больного, рот широко раскрылся, показался заполнивший его распухший язык.

— Что же это такое?.. Он жив и все понимает. Посмотри его глаза. Реми, что с тобой произошло?

— Он хочет нам что-то объяснить глазами. Это, конечно, не обычное заболевание. Скорее, похоже на колдовство...

— Я не верю в колдовство,— сухо возразил Тангара.

Он тщательно осмотрел Реми и сказал:

— Я займусь женщиной, а ты пока возьми у него кровь. Сделаем анализ. Отравление, что ли?.. Но у него совершенно нормальные глаза.

— Что же с ним случилось? Не пойму. На теле никаких следов насилия. Женщина, надо полагать, сумеет объяснить, в чем дело.

— Доктор, к операции все готово,— сообщила старшая сестра.

— Мы идем, сестра, а ты пока возьми у этого больного кровь на анализ. И найди ему койку в большой палате. Коффи я забираю с собой. Пошли, Коффи!

Оба врача пошли в хирургическое отделение.

По окончании операции мадам Фор, еще не очнувшуюся от наркоза, перенесли в общую палату. В ней было около шестидесяти коек. Женщины, удивленные появлением среди них белой, ворчали. По их мнению, столь близкое соседство с иностранкой было неприлично. Больные, лежавшие по обе стороны койки мадам Фор, открыто выражали свое недовольство. Новость о появлении белой уже облетела всю больницу. Женщины из других палат прибежали якобы навестить знакомых, на самом же деле все спешили взглянуть на «приблудную», как они выразились.

Сестра, сидевшая у койки Шарлотты, решительно заявила:

— Если вы недовольны... тем хуже для вас! Доктор говорит, что вы находитесь здесь, чтобы вас лечили. Когда вернетесь домой, можете закрывать свою дверь перед кем хотите. А здесь распоряжается он.

— У белых своя больница, она могла лечь туда,— заметила соседка Шарлотты слева.— Африканцев туда не принимают. Почему мы должны их принимать?

— Правильно! Еще вздумает выкидывать тут свои штучки! — заявила другая. Она надула губы и, скорчив презрительную гримасу, добавила:

— Ты небось будешь дежурить возле нее? Когда мне резали живот, возле меня никто не дежурил.

Вкрадчиво, тоненьким голоском высказала свое неудовольствие еще одна. Каждой хотелось вставить слово, посудачить о разных «мадам», об их поведении, об их предрассудках.

— Перестаньте молоть вздор. Разойдитесь по своим койкам, не то я позову старшую сестру. Если бы наш врач был белый, я сама отказалась бы ухаживать за ней. Но наш доктор африканец, он знает, что делает. Разве не он добился, чтобы уволили полковника, который брал деньги за койку? — пыталась их успокоить сиделка.

— Что бы там ни говорили, а это соседство мне не нравится. Я уже плохо себя чувствую,— упорствовала соседка Шарлотты справа.

Раздался дружный смех. Разговор принял другой оборот — он перешел на отношения между европейцами и африканцами вообще.

■

Тангара и Коффи шли к выходу из больницы, горячо споря между собой.

— Как бы я ни был занят, я всегда находил время для больных. Но сегодня — пойми! — я не могу пойти с тобой,— говорил Коффи.— Я и так опаздываю. Меня ждут...

— Опаздываешь! Ты думаешь только о собраниях. О референдуме! Этим делом могут заняться другие. Твое место здесь! Я тоже занят, мне предстоят сегодня операции в европейской больнице.

Они прошли мимо машины Фора. Коффи заметил, что внутри «лендровера» свалены луки, колчан и стрелы. Тангара проследил за взглядом своего помощника. Потом они посмотрели друг на друга. Тангара был явно смущен. Он-то знал, как Антуан держался с туземцами, и подумал, что Коффи, вероятно, тоже знает об этом и сейчас осуждает его. Он по привычке пожал плечами с безразличным видом, как бы желая сказать, что все это не имеет значения, и, словно протестуя против того, что его могут принять за расиста, сторонника белых, произнес:

— Действительно, зачем тут две больницы! Вполне очевидная сегрегация. Но не я в этом виноват. Мне понятно поведение женщин, но я этого не приемлю. Я решительно против сегрегации.

— Поезжай, предупреди ее мужа. Я убежден, что она обрадуется, если увидит его, очнувшись. Я с ними не знаком. Но, кажется, начинаю представлять себе поведение этого «звериного депутата».

— Тебе повсюду мерещится политика,— раздраженно возразил Тангара.— Я уже начинаю сомневаться — не делятся ли болезни тоже на политические и прочие?

Коффи пропустил колкость мимо ушей. Он стоял у крыла машины и смотрел на главврача. Глаза Тангары были печальны. Он тяжело переживал всякие разногласия с близкими ему людьми. Сейчас он стоял, по привычке втянув голову в плечи, и был похож на промокшую, продрогшую цаплю, одиноко стоящую на берегу Казаманса. Коффи почувствовал острую жалость к этому человеку. Он хорошо знал характер хирурга и его болезненную чувствительность.

— Это верно, бывают политические болезни. Поезжай, однако, предупреди ее мужа. Ты, пожалуй, прав... До завтра...

Тангара не умел водить машину. «Придется найти шофера скорой помощи, чтобы он отвез меня в заповедник»,— подумал он. Но его не покидала мысль о запрещении помещать европейских женщин вместе с африканками.

Он отошел от «лендровера» и отправился на поиски водителя.

III

Фронт борьбы за независимость

По базару бродил человек среднего роста, одетый по-крестьянски — в штаны и длинную куртку без рукавов. Его внимательный взгляд переходил с предмета на предмет, иногда на мгновение задерживался, как бы стремясь проникнуть внутрь заинтересовавшей его вещи. Лей, художник и поэт, всегда находил на базаре богатейшую пищу для вдохновения.

Большую круглую площадь окаймляли деревья — акажу, капоки, карите, огромные сказочные бавольники. По сторонам выстроились большие лавки, лотки мелких торговцев, навесы, под которыми возились ремесленники. Центр площади занимал крытый двухрядный рынок. Здесь от земли несло сыростью, воздух был напоен живительным теплом древесных соков, дразнили обоняние пряности — лук, чеснок, надио, диату, бранги, зеленый, красный, лиловый перец, благоухали бесчисленные фрукты — виноград, гуява, ананасы, последние плоды манго, бананы, кроваво-красные гранаты, ароматно пахли свежее буковое и пальмовое масло, тушеные бананы, поджаренные на углях термиты и ломтики мяса.

Лей, как зачарованный, слонялся по базару и, возможно, уже обдумывал сюжет новой картины. Он забрел в аллею, по обе стороны которой расселись торговки — самая шумная и самая многочисленная часть базарной толпы. В дальнем конце аллеи показались три молоденькие девушки; они шли, весело поглядывая на окружающих и неся на головах многоэтажное сооружение из затейливо разукрашенных калебас. Волосы их были туго стянуты в три продольных валика, заканчивавшихся тоненькими косичками. Между островками волос просвечивал круглый, тщательно выбритый череп. Вся одежда девушек состояла из пояса, украшенного тремя рядами ярко-синих и красных бус, с которого спереди и сзади свисали, едва прикрывая колени, два узких фартучка в белую и синюю полоску. Девушки помогли друг другу снять с головы ношу. Потом расселись и, не шевелясь, стали прислушиваться к шумному говору соседок.

Лей, затерявшись в толпе, с улыбкой оглядывался вокруг. «Эх, если бы не референдум! У меня нет из-за него ни минуты свободной!» Мимо прошли крестьяне, прибывшие из лесной деревни. Они двигались гуськом, как по тропинке, и тихо переговаривались.

Оживление на рынке нарастало с каждым часом, все ярче и богаче переливались краски, чаще мелькали пышные традиционные украшения, ощутительнее становился крепкий запах, исходивший от людей и вещей,— запах самой жизни.

По базару с деловым видом сновали мужчины, пешком и на велосипедах. Возле золотых дел мастера, расположившегося на земле в углублении между толстыми корнями бавольника, о чем-то беседовали, присев на корточки, несколько человек. Проходили часы, а они не двигались с места. Двое, положив руки горизонтально на колени, жестикулировали только пальцами. Остальные широко раздвинули поджатые под себя ноги и опустили локти книзу, так что кисти рук лишь слегка покачивались. А один умудрился вытянуть за спиной длинную руку и, опираясь на нее всей своей тяжестью, помахивал в воздухе второй рукой с длинными, как побеги филао, пальцами. Рядом, с другой стороны дерева, расположились диула *, облаченные в бело-синие цвета всевозможных

* Одна из народностей Западной Африки.

оттенков. Они разложили на изумрудно-зеленых листьях свой товар: белые и розовые орехи кола. Чуть подальше шла торговля цветистыми тканями, завезенными из Англии и Америки, Швеции, Голландии и Франции. Горы бисера всех видов и размеров сверкали под лучами солнца, отбрасывая яркие блики на шумную толпу.

Что ни шаг — то новая живописная картина.

С шумом двигалась по базару процессия юношей, над которыми был совершен обряд обрезания, они шли и выпрашивали у торговцев подношения — раньше они, согласно обычаю, безнаказанно брали их сами, никого не спросясь. Толпа, еще не позабывшая традиций прошлого, расступалась, освобождая им дорогу. Молодые люди были одеты в широкие одежды огненно-рыжего цвета; на макушке у них торчали сдвинутые набок длинные колпаки с помпоном на конце; лбы и бедра были опоясаны повязками, согласно ритуалу. Продвигаясь цепочкой, юноши пели обрядовую песнь, размахивая в такт руками. Распорядитель церемонии, суровый на вид, обвешанный по старинке амулетами, внимательно наблюдал за ходом процессии. Сопровождавшие ее ревнители веры проворно запихивали подношения в висевшие на боку сумы.

Яркий дневной свет словно впитывал в себя отдельные краски и смешивал их в единое и единственное в своем роде творение. Над площадью плескалось светлое красочное море, а между небольшими, набегавшими одна на другую волнами покачивались хрупкие, необычайного вида круглые и овальные лодочки, разрисованные оранжевыми и лиловатыми полосами,— то были калебасы, которые колыхались на головах торговок.

Гул на базаре становился громче, сильнее, перекатывался с одного конца площади на другой, тонул в листве деревьев, в разложенных на земле тканях, на мгновение стихал и вспыхивал снова, еще более пронзительный.

Минут пятнадцать Лей, не отрываясь, созерцал базарную толчею. Его взгляд жадно ловил яркие краски. В безмятежной картине, которая возникала здесь перед ним каждое утро, он угадывал затаенную жизненную силу. «Шальная Африка»,— повторял он про себя: так назывался последний сборник его стихов. Он заявил после выхода этого сборника, что больше не намерен писать.

«Писать по-французски — это значит обогащать французский язык. Я буду рисовать. Краски не имеют национальности».

Он выбрался из толпы.

За пределами базарной площади повсюду на деревьях висели щиты с плакатами, призывавшими местных жителей ответить на референдуме «да». На стенах магазинов красовались написанные огромными буквами лозунги: «Да здравствует сообщество!», «Да здравствует де Голль!», а на углах шести основных магистралей, ведущих к рынку, стояли солдаты в походном снаряжении, за изображениями де Голля прятались тяжелые танки, башни которых были покрыты надписями. По всему городу патрулировали группы парашютистов в пестрой — «под леопарда» — защитной форме.

Из колониальной лавки вышла беременная женщина уже на сносях, под ее короткой юбкой торчал огромный живот; она чуть не столкнулась лицом к лицу с тремя парашютистами. Из груди будущей матери вырвался сдавленный возглас, она с трудом перевела дыхание, задрожала с головы до ног и инстинктивно скрестила руки под животом, подтянув его, как ремнем, любовно прижимая к себе теплившуюся в нем новую жизнь. Она испуганно пошла прочь, поминутно оборачиваясь. Мрачное лицо, тревога в глазах — скорбный образ африканки в эпоху оккупации.

«Она так и просится на полотно»,— подумал Лей.

В нескольких шагах от него раздался звонкий смех.

— Ты видел эту женщину? — спросила Номе, все еще смеясь и не выпуская изо рта зубочистку.

— Нет,— ответил Гиби, повернувшись на деревянной ноге и посмотрев в сторону, куда показала Номе.— Ничего не вижу.

— Тебе смешно, что она испугалась? — спросил Лей.

Номе умолкла и опустила глаза. Она прикусила губы, но в уголках рта затаилась насмешка. Она несла на голове свою «лавку» — лоток размером шестьдесят на сорок сантиметров, на котором лежали замки, игольники, нитки разных сортов и цветов, наперстки, позолоченные браслеты, шнурки для ботинок, конверты, коробки с кремом для обуви, аспирин — словом, смесь всякой галантереи и аптечных товаров. Она ходила полуголая, выпячивая вперед свои большие и упругие, похожие на бутылочки, груди; между ними, на гладкой и блестящей, как агат, коже болтались концы войлочных лямок, прикреплявших «лавку» к голове.

— Я не могу прийти сегодня, Лей,— сказала она, все еще не поднимая головы. Имя художника она произносила как-то особенно протяжно.

— Не смейся больше над такими вещами. Поняла?

— Да! Поняла! — ответила она, подняв наконец глаза на Лея. В них светилась нежность.

Она нерешительно двинулась дальше, как бы нехотя передвигая ноги. И, едва отойдя, сразу же громко затянула свой обычный припев: «У меня есть все, что нужно. Я продаю все! У меня маленькая лавочка, но в ней есть все, что нужно. Все. Не торопитесь, люди добрые. Я иду к вам. У меня есть все. Я продаю все. Все». Она размахивала руками, выступая величаво, как изваяние, с «лавкой», прочно державшейся на голове.

■

— Знакомься, земляк, это мой родственник Дигбе.

Лей протянул руку. Дигбе немного оробел, увидев перед собой человека с козлиной бородкой.

— Он пришел из леса. Хочет остаться в городе и работать,— пояснил Гиби.

— Как обстоят в лесу дела с референдумом?

Дигбе уклончиво пожал плечами. На нем были солдатские штаны цвета хаки, протертые на коленях, и потрепанная рубаха навыпуск — подарок Гиби.

— Здоровый парень,— продолжал Гиби, похлопывая Дигбе, как барышник кобылу, и с простодушной улыбкой добавил: — Годен в дело.— Широкий лоб, впалые щеки и вытянутые губы делали Гиби похожим на дельфина.— А это Лей, мой товарищ по убеждениям, читает и пишет почище любого белого,— представил он художника.— Здесь лучше, чем в лесах. Сам увидишь. Получишь работу и заработаешь много денег.

Гиби, как и многих его товарищей, призвали в армию и отправили сначала во Францию, а потом в Индокитай. Через три года он вернулся без ноги. Пока не началась кампания за референдум, он занимался тем, что сочинял всякие заявления и прошения, добиваясь пенсии. Он повидал другие страны и потому считал себя специалистом по отбору борцов за независимость.

— Погоди, земляк, я куплю сигареты,— сказал Лей.

Штаб-квартира Фронта находилась недалеко от рынка. Длинный сарай, сооруженный силами членов организации, состоял из конусообразной крыши, опиравшейся на шесть свай, и плетня, заменявшего стены. У входа стоял высокий шест, на его верхушке развевалось знамя.

Чуть правее расположилась мастерская по ремонту велосипедов, принадлежавшая Сори. На переднем плане — всевозможные велосипедные рамы — хромированные, никелированные, покрытые красной, черной, синей краской. Вместо полок — стволы акажу, утыканные гвоздями, на которых висели цепи, шестеренки, велосипедные спицы, клапаны, ключи, резина для ремонта камер. Сам Сори около мастерской менял в колесе спицы.

— Здравствуй, земляк. Агемон тут?

— Привет,— ответил Сори.— Агемон там, в помещении Фронта. Это он поднял флаг.

— Прекрасно.— Лей уселся на скамейке рядом с мастером.— Ты успел повидать вчера того парня? Мне надо срочно закончить статью.

— Он не рассказал ничего интересного. Агемон, пожалуй, знает больше. Слыхал последнюю новость? В утренних известиях по радио сообщили, что запрещены передачи, агитирующие за «нет». И еще по радио сообщили, что Дьембе арестован за злоупотребления правительственными машинами. Вчера арестовали еще трех территориальных советников.

— Да это же открытая война,— заметил Гиби, взмахнув костылем.

Продолжая возиться с колесом, Сори рассказывал:

— Партия Дьембе запрещена. Его место занял второй вице-президент территориального собрания...

— Эти господа то присоединяются к борьбе, то отходят от нее. Старая история. Все они поют с чужого голоса...

— Ты видел грека? — перебил его Сори.

— Нет.

— Он хочет купить картину...

— У меня есть только одна, но он старается сбить цену. Негодяй явно обогащается за мой счет. За четыре месяца он купил у меня двадцать картин. Я работал над ними целый год, а заплатил он...— Лей закурил сигарету и пристально взглянул на Сори.

— Вполне возможно. Но Фронт должен как-то жить. А если верить Тьюмбе, у нас не осталось ни гроша...

— Ах, деньги, деньги...— вмешался в разговор Гиби. Он успел снять протез и растирал руками культю.— Сори, познакомься, это мой родственник... Его зовут Дигбе. Он только вчера пришел из леса. Он остается у меня. Дигбе, это Сори. Соратник по убеждениям.

— Здравствуйте, братья,— слащавым голосом сказал подошедший священник.

Белый накрахмаленный воротник аббата Бернара с широкой белой оборкой подчеркивал черноту его сутаны и его кожи. Аббат был хорошо известен среди местных сторонников национальной независимости. Про него говорили, что он — прогрессивно настроенный кюре.

— Здравствуй,— откликнулся Сори.

— Как мой велосипед?

— Готов.— Сори отложил в сторону колесо.

— Я дважды заходил вчера. У тебя было закрыто.

Лей поднялся:

— Если меня будут спрашивать, скажешь, что я в организации.

— Хорошо.— Сори подошел к груде велосипедов и извлек оттуда машину священника.— Получай. Я сменил подшипники, поставил новые педали, проверил тормоза. Три спицы были сломаны. Они тоже заменены. Никогда не тормози одним передним колесом, а всегда обоими сразу...

Священник осмотрел машину, приподнял заднее колесо, повертел ногой педаль, притормозил и, судя по всему, остался доволен.

— Сколько? — спросил он.

— Шестьсот франков. Как было уговорено.

— Дороговато немного.

— Когда появляются войска, жизнь для кое-кого дорожает.

— А для остальных?

— Им легче,— иронически заметил Сори, беря деньги.

— Здравствуй, Тьюмбе,— аббат Бернар протянул руку подошедшей девушке.— Где твой отец?

— Он в семинарии, ты же сам прекрасно знаешь.— Ответив на рукопожатие священника, девушка протянула руку Сори.— Ты бы сходил в больницу, Гиби,— посоветовала она калеке.

— Ты совсем не бываешь в церкви,— заговорил аббат Бернар, опершись на велосипед и пряча в карман кошелек.— Можно бороться за независимость, но это не должно отражаться на религии. Если...

— Если только я не атеистка, так, что ли? Да, я не католичка. К чему же мне ходить в церковь? За последнюю неделю все стали что-то очень заботиться о моей душе и моем предполагаемом счастье.

— Твой отец — проповедник. Когда имеешь дело с таким верующим отцом, как твой, то, естественно, интересуешься, какая у него семья. Кроме того, ты ведь учительница, Тьюмбе. Ты должна подавать пример... и притом хороший...

Тьюмбе в упор посмотрела на аббата. Она была лет на семь моложе его.

— Мой отец утверждает, что он верующий. Ему дали религиозное образование. Он проповедует Евангелие. И получает за это деньги. Помнишь доклад на тему «Христианство в Черной Африке»? Я тогда говорила, что африканцы принимают католичество, потому что привыкли покоряться, привыкли к своему порабощению, и еще потому, что вы пока располагаете лучшими лечебными учреждениями и не останавливаетесь ни перед какими денежными тратами, чтобы совратить людей. Ты ведь и сам понимаешь — ни одна мать не даст умереть своему ребенку, и, когда он заболеет, она несет его к вам, но лишь потому, что не знает, куда еще можно обратиться. Я убеждена, что основная масса вашей паствы разбирается в католицизме не лучше вот этой палки.— Она кивнула на шест с флагом.— Но скоро народ станет хозяином и своей судьбы, и лечебных учреждений. И тогда вы сами увидите, пойдет он к вам или нет. Католическая религия не пустила здесь глубоких корней, тебе это самому известно. Вы продолжаете набирать проповедников, вы пока что еще залезаете в государственную казну, а правительство, как территориальное, так и во Франции, да еще крупные капиталисты отпускают средства на благотворительность за счет общенародных школ. И позволь еще добавить от себя лично! В народных преданиях говорится, что мыши гложут ногу спящего попарно: одна грызет, а другая дует, чтоб не больно было. Знаешь, кто та мышь, которая дует?

— Ты кощунствуешь, Тьюмбе...

— Дует религия, а грызет империализм.

Возмущенный аббат Бернар поспешил сесть на велосипед, сказав:

— Ты — настоящая коммунистка.

Он с силой нажал на педали, словно спасаясь от самого дьявола. Сори, посмеиваясь в глубине души, сообщил девушке:

— Лей и Агемон здесь.

— Я голодна. У меня со вчерашнего дня крошки во рту не было,— призналась Тьюмбе. Ее длинная кофта с воланами была стянута в талии, голову она повязала лиловой косынкой, концы которой болтались на затылке. У нее было продолговатое лицо, чуть косящие глаза с пепельными зрачками, темные длинные ресницы. Вначале, когда Тьюмбе сошлась с Сори, товарищи по партии подтрунивали над мастером, говоря:

— Взять в жены Тьюмбе — все равно что жениться на принципах марксизма.

Однако они ошибались. Тьюмбе выполняла ответственную работу секретаря областного комитета партии, но тем не менее она оставалась женщиной. Все относились к ней с искренним уважением. Если на собраниях возникал острый спор и ей приходилось брать слово после выступления Сори, она никогда не забывала о своей ответственности и не считалась со своим чувством или личными симпатиями. Ее трезвый ум, умение подчинить личное общественному заставили в конце концов Сори признать ее авторитет. Но совместная работа и борьба не помешали, а скорее помогли им стать счастливой семейной парой.

— Гиби, пристегни протез и сходи купить что-нибудь поесть. Чего бы ты хотела? — спросил Сори, нежно и виновато глядя на учительницу.

— Супа,— ответила Тьюмбе. И незаметно улыбнулась уголками рта.

— Возьмешь еще маниока.

— Не стоит, маниок в это время года не вкусный, одна вода,— нерешительно заметил Дигбе, который молча сидел в углу, глядя на этих странных людей.

— Это мой родственник, он пришел сюда из леса,— сообщил Гиби учительнице. Он в это время как раз прилаживал свой протез. Прокладка, как он говорил, была «слишком суха». Он получше укрепил ее на культе, но боль не проходила.

— Твой родственник, я вижу, охотник,— сказала Тьюмбе, посмотрев на длинные ноги Дигбе, который никак не мог привыкнуть к штанам.— Что слышно в лесу? Как там обстоят дела с голосованием?

К мастерской подошли два человека. Они вели руками свои велосипеды, на которых лежал солидный груз — по два мешка кола на раме и еще по одному на багажнике. Они тяжело дышали от усталости, потрепанная одежда прилипла к их телам. После долгих переговоров каждый разгрузил свою машину и взвалил по мешку на голову. Сори дал Гиби денег на покупку еды. Дигбе следовал за родственником по пятам.

Сори и Тьюмбе остались одни.

— Знаешь, срывают наши плакаты. Этим заняты все — полиция, стражники, солдаты,— сообщила Тьюмбе, провожая взглядом Гиби и Дигбе.

— Я тоже заметил это. Придется искать другие пути,— сказал Сори. Он отвечал за расклейку плакатов Фронта.

— Ты в самом деле собираешься уезжать? — спросила девушка.

— Да. Не все ли равно, где работать? Лишь бы это была Африка. Важно только, чтобы там голосовали за независимость.

Тьюмбе перевела взгляд на колесо, зажатое между ногами Сори. Мастер искусно натянул спицу, повернул колесо, вставил еще одну.

— Я поеду, вероятно, в Сенегал или в Гвинею,— снова заговорил он.— Нас, готовых ехать, набралось уже человек десять.

— Вас было десять позавчера. Теперь уже пятнадцать: два воспитателя, кузнец, еще два парня. И сам Эль-Эй.

— Как? Эль-Эй Этиан тоже?

Она промолчала.

Недели три назад Фронт борьбы за независимость стал набирать добровольцев для укрепления кадров организации в районах, которые могли ответить «нет». В связи с этим разгорелась оживленная, даже бурная дискуссия. Спорили о родине — Африке, о сезонах дождей, о периодической засухе, об иностранном господстве, о неграмотности. Ничего не упустили. Идеи революции, идеи независимости овладели людьми с небывалой дотоле силой.

Они не могли удовлетвориться тем, что кусочек африканской земли уже избавился от колониальной диктатуры. Они хотели видеть объединенной всю Африку. Они хотели добиться полной независимости, стремились стать хозяевами своей судьбы — и *ради этого* они шли на любые жертвы.

— Я готов поехать,— решительно заявил на собрании Сори.

— Подумаешь, какой героизм! По-моему, уехать — значит уйти в кусты,— резко возразил Маига, невысокий человек с круглыми, как у совы, глазами.

— Все мы — сторонники африканского единства,— вмешалась в спор Тьюмбе, в упор посмотрев на Сори.— Уроженцы других районов могут туда вернуться... а для остальных отъезд равносилен бегству...

— Сколько среди нас уроженцев Гвинеи и Сенегала?

— Двое — Сори и Лей,— уточнил Эль-Эй Этиан.

— Пусть эти двое и едут. Но нечего требовать, чтобы мы все разбежались,— упрямо повторил Маига, цедя слова сквозь зубы.

— Нет. Я говорил о другом,— возразил Агемон, председательствовавший на собрании.— После того как французскому экспедиционному корпусу пришлось убраться из Индокитая, он разгромил все организации; мы посылаем людей, чтобы укрепить кадры на местах, и я не считаю это бегством... Фронт позаботится об отправке. Я присоединяюсь к тем, кто остается.

— И я,— отчеканила Тьюмбе.

— А я — к тем, кто едет,— выкрикнул Сори, как бы бросая вызов учительнице.

— Я тоже,— Эль-Эй Этиан протянул руку Сори.

— Хорошо, пусть те, кто собирается уезжать, заявят об этом. Сори, ты кроме расклейки плакатов займешься отъезжающими: надо составить список, записать их профессии, место рождения и прочее.

Тьюмбе хорошо помнила о разгоревшемся тогда споре. Сори был ее возлюбленным, больше, чем возлюбленным. И теперь, глядя на него, она не могла не думать о его решении.

— Да, еще вот что! — сказал Сори.— Я хочу, чтобы моя мастерская была передана партии. Все, что в ней находится, принадлежит мне. Имеется список, в него все занесено.

— Партия будет довольна. Твоего дохода хватит на два месяца, будет чем заткнуть дыры. Сегодня вечером партийное собрание, там и скажешь о своем решении.

— Я принес хороший суп и свою часть уже съел,— сказал Гиби, за которым неотступно следовал Дигбе. Лицо охотника выражало удивление, смешанное с испугом.

— Я иду в комитет. Дай-ка сюда суп, может быть, там тоже проголодались. Пойдем со мной, Гиби... и твой родственник тоже,— сказала Тьюмбе.

■

Помещение Фронта было уставлено полками. На них навалом лежали материалы для расклейки лозунгов: калебасы, банки с клеем, кисти; на других — бумага, старые газеты. В углу — ручной ротатор и пишущая машинка в чехле, в другом углу стоял письменный стол Агемона, секретаря Фронта по связи с различными организациями — сторонниками «нет»; в их число входили Демократический союз женщин, местная секция студенческого союза, профсоюзы, Всеобщая федерация трудящихся Черной Африки, территориальная секция Африканской партии независимости и ряд других объединений. У входа сложены были палицы, дротики — арсенал разношерстного оружия на случай нападения.

— Здравствуйте, земляки,— приветствовала товарищей Тьюмбе.— Кто хочет поесть? Могу предложить горячий суп.

— Я голоден,— заявил Агемон, откладывая в сторону французскую газету.— Я ничего не ел сегодня. Получил из Франции прессу — «Монд», «Юма», газетные вырезки о подготовке к референдуму в Африке.— Он пододвинул к девушке лежавшие на столе газеты.

— Я уже поел,— отозвался Лей с другого конца стола.

Тьюмбе поднесла ко рту небольшой калебас, отпила из него и передала сосуд Агемону. Тот тоже выпил немного супа и в свою очередь передал калебас Нуру, перелистывавшему газеты.

На стене напротив входа висела огромная карта Африки и черная звезда, к углам которой были прикреплены фотографии и нарисованные Леем портреты Самори, Сундиаты, Эль-Хадж Умара, Беханзина. Над изображениями борцов за независимость Африки крупными буквами было написано:

Легкого труда не существует.
Бояться надо одного — отсутствия выдержки.
Рассечь гору и наполнить доверху море —
Все возможно, если твердо решил сделать это.
Дядя Хо.*

— Нам запретили выступать по радио. Сегодня утром я обнаружил, что все наши плакаты сорваны. Придется вечером снова их наклеить. В европейском квартале тоже. Я заново составил список групп для этой работы.— Агемон говорил, сунув палец за ворот рубашки. Он учился в Париже и привык прилично одеваться. Взяв сигарету из лежавшей на столе пачки, он прикурил, потом спросил: — Вчерашнее собрание прошло благополучно?

— Да. Коффи пришел уже под конец. Ему срочно пришлось задержаться. Кажется, жену «звериного депутата» положили в туземную больницу.

— А почему, собственно? — быстро спросил Лей, отрываясь от чтения; обязанности газетного репортера заставляли его интересоваться всем.

— Вероятно, произошла ошибка, какой-то непредвиденный случай. Во всяком случае, она там. Привезла помощника мужа и — хлоп! — свалилась сама,— объяснил Нуру.

— Повод не очень убедительный... А что случилось с помощником «звериного депутата»?

— Вот что, Лей, выясни, нельзя ли написать об этом статью. Наша газета должна давать самую точную информацию. К тому же трудно сказать, чем кончится история с охотниками,— заметил Маига.

Энергичный, деятельный Маига свободно владел четырьмя африканскими языками и был прирожденным оратором. Соперничать с ним в красноречии мог только Эль-Эй Этиан.

— У меня еще нет всех нужных сведений. Как зовут белую? — спросил Лей.

— Мужа зовут Фор... Поговори с Коффи. Кстати, вот и его жена.

— Мы как раз вспоминали тебя... вернее, твоего мужа. Что ты знаешь про случай с белой, попавшей в туземную больницу? — спросил Агемон.

— Очень туманная история. Коффи после собрания опять пошел туда. По словам Тангары, у Форов в заповеднике никого не оказалось. Обе жены африканца исчезли. Тангара предупредил власти. Пока это

* Хо Ши Мин, президент Демократической Республики Вьетнам.

все, что я знаю,— рассказала худенькая О'Пае со своей обычной приветливой улыбкой.

Она выполняла в организации обязанности машинистки. Коффи пришлось долго убеждать ее, прежде чем она согласилась.

— Как тебе это нравится, Лей? Особенно сейчас. Я слышала, что «звериный депутат» здорово отравлял жизнь охотникам. Они часто ссорились с ним. А с другой стороны, говорят, что охотникам разрешили охоту на крупного зверя, лишь бы они сказали «да» на референдуме.

Тьюмбе подсела к Дигбе. Тот сидел на краешке скамьи у двери. Он переводил взгляд с одного собеседника на другого, не совсем понимая, о чем идет речь. Он пришел в город, чтобы скрыться от белых.

— Ты ведь охотник, не так ли? — спросила она его.

— Да,— ответил он, не подымая глаз.

— Что ты знаешь об этой истории?

— Ничего.

— Это родственник Гиби, он охотник,— пояснила Тьюмбе присутствующим.

Дигбе почувствовал, что на него смотрят, и еще ниже опустил голову.

— Оставь его в покое,— заметил Лей.— Я сделаю статью на основании имеющихся сведений, если это нужно.

— Да, если это имеет смысл при создавшемся положении. Приступим к работе. Уже все собрались,— предложил Агемон.

Они расставили вдоль стен скамьи. Постепенно, группами по два-три человека, подошли другие члены Фронта. Собралось человек тридцать. Фронт заседал в любое время суток.

Эти люди уже ничем не напоминали распространенный еще на континенте тип бездеятельного и безынициативного африканца: присутствовавшие здесь несли в себе зародыш человека будущего. Они сбросили с себя оковы пассивного повиновения. С момента возникновения Фронта борьбы за независимость они приходили сюда ежедневно и слушали речи, произносимые на языке родной страны. Они были молоды. Их обуревала жажда созидания, и, чтобы удовлетворить ее, они хотели овладеть простором всей африканской земли.

IV

Колониалисты

— Опять эти звезды! Терпеть их не могу. Они напоминают мне Индокитай и Корею. Вам это понятно, полковник? Там звезды были красные, здесь — черные, но все они коммунистические. И если мы допустим, что черномазые станут красными, нашей империи придет конец. Прощай тогда, Африка, а мы — складывай чемоданы. Стоит вспомнить хотя бы историю с оружием для Туниса. Англичане поставляют оружие Бургибе... А этот негодяй сплавляет его ФЛН *. Тринадцатое мая укрепило позиции Франции... Теперь здесь все черномазые сплотятся вокруг де Голля. Как только протащим конституцию, выметем начисто всех пораженцев, начиная с Тореза и кончая Мендес-Франсом... Франция вновь обретет прежнее величие.

Капитан Ги де Ломбар и полковник Люк сидели на террасе «Гран кафе де Франс». За столиками вполголоса разговаривали посетители — европейцы и африканцы. Все разговоры вертелись вокруг референдума.

---

* Алжирский Фронт национального освобождения.

Время было послеобеденное, и в европейском квартале все дышало спокойствием. На проспекте, обсаженном с двух сторон деревьями с большими красными цветами, не было почти никакого движения. Машины неподвижно выстроились вдоль тротуаров.

— Видите ли, капитан,— полковник Люк говорил покровительственным тоном, как человек бывалый.— Видите ли, мы ведем здесь крупную игру. И доведем ее до конца! Вы считаете, что на карту поставлено будущее Франции... Больше, капитан, гораздо больше! На карту поставлена судьба белой расы. Я ведь находился здесь еще тогда, когда европейцев в этих местах почти не было. С тех пор настроения туземцев сильно изменились. Территориальное правительство добивается, чтобы население ответило «да». Единственный человек, который ставил палки в колеса,— это вице-президент территориального собрания Дьембе, но он сидит за решеткой. Вокруг него объединились молодые смутьяны. Сейчас им подрезали крылышки: вчера им официально сообщили, что по радио они больше выступать не будут. В местных условиях надо действовать подкупом. Это достигает цели.

— Мне всегда не нравился этот Дьембе. Как и те его речи, которые довелось прочесть. Они меня оскорбляют,— прервал полковника Люка капитан, залпом осушив кружку пива. Левая бровь у него подергивалась.— Все вы — я имею в виду здешних старожилов,— все вы либералы и пораженцы. Да, да! Именно поэтому мы теряем колонии одну за другой. Сначала Индокитай, потом Тунис, Марокко, теперь Алжир, а затем придет очередь Черной Африки...

Капитан нервничал. У него были светлые, как будто вылинявшие, волосы, брови и ресницы. Его неотступно преследовали воспоминания о поражениях французской армии в Корее и Индокитае. Он постоянно кипел злобой. В картотеке личного состава экспедиционного корпуса значилось, что за время двухкратного пребывания в дельте Тонкинского залива он специализировался на вылавливании так называемых «антифранцузских элементов». И был даже награжден за тонкость изобретенных им методов: так, например, он придумал морить собаку голодом, завернув ее в одеяло или спальный мешок, которым пользовался до этого индокитаец. Собака, вдыхавшая в течение трех суток запах, исходивший от мешка, с остервенением кидалась на первого же попавшегося ей туземца. «Даже щенки, и те у меня сразу чуют коммуниста»,— хвастал де Ломбар под веселый хохот офицеров. Последние два года он служил в Африке.

Полковник Люк вытащил пачку сигарет и закурил. Затем, отгоняя рукой табачный дым, продолжал:

— Теперь надо думать не о прошлом. А о настоящем. И подходить к нему с точки зрения политики дальнего прицела. Мне кажется, что де Голль подходит к вопросу именно так. Я опять-таки имею в виду Африку. Нужно отказаться от прежних колонизаторских методов, тем самым мы нанесем жестокий удар раздутым националистическим настроениям. Надо реально смотреть на вещи. Времена крестоносцев давно миновали, времена Федерба и Буэ-Вилломеза тоже... Если действовать сейчас огнем и мечом, мы окончательно все потеряем. Я провел здесь свои юные годы, лучшие годы моей жизни. И я вижу, как с каждым новым поколением растут требования туземцев. Раньше, бывало, они не осмеливались ходить по тому же тротуару, что и «анназара» *, и обязаны были нас приветствовать: при встрече с «анназара» старики и молодежь обязательно снимали головной убор. Теперь дело обстоит иначе... Боги, и те умирают, как сказал поэт.

---

* Прозвище французов в Западной Африке.

Полковник затянулся, выпустил струю дыма. Его взгляд рассеянно блуждал по сторонам, в памяти всплывали эпизоды из прошлого, ему вспоминались ветераны колониальной администрации, маленькое кладбище с покосившимися крестами и разрушенными могилами. С тоской в голосе он говорил о миновавших временах.

— После многолетней службы в медицинских частях колониальных войск я попросил назначение в туземную больницу в качестве главврача. И жил спокойно. Но тут появился Тангара — после того, как ввели новое законодательство. Он потребовал, чтобы меня отстранили от моих обязанностей. Я пошел к губернатору. Я ведь уполномоченный советник медицинского корпуса. Негра вижу насквозь, знаю, что творится у него в душе. Молодежь слишком требовательна. Надо выбить у нее из-под ног почву. Не идти на уступки, но не прибегать к принуждению. Действовать так, чтобы силой они ничего не могли добиться. Туземцы — народ спесивый. Стоит им почувствовать свою силу, и они немедленно пускают ее в ход.

— Тут я с вами согласен. Я знаю, вы неравнодушны к этой стране. Это естественно. Здесь ваша вторая родина. Об этом Тангаре все говорят. Он, может быть, и хороший хирург, но тем не менее ему нельзя доверять. Я не принадлежу к так называемым левым. Скорее я консерватор. Мы немало потрудились в этих странах. Было бы несправедливо потерять их... Посмотрите, что творится в Южном Вьетнаме... там с голоду подыхают при американцах. В Алжире после вспышки тринадцатого мая наступило полное умиротворение... Кстати, обратите внимание на эти черные звезды и карту Африки.

На асфальте была нарисована красным Африка, а над ней — черная звезда, обведенная белой каймой. Вокруг было выведено печатными буквами: «Голосуйте «нет»!», «Да здравствует Африка!», «Да здравствует ФЛН!».

— Неужели вы полагаете, что все это лишь обычная агитация за «нет»? В Индокитае, в Корее происходило то же самое. Там тоже утешали себя: это, мол, только националисты, коммунисты...

— Официант! Эй, официант!.. Еще два пива! — распорядился полковник.— Да, как вы сказали?.. Конечно. Среди них действительно есть убежденные коммунисты. В своей газетенке они кричат о социализме...

— Тогда почему же с ними церемонятся и не упрячут их в тюрьму? Ведь я что говорю? И тут действуют коммунисты, которым платит Москва.

Официант в белом костюме, особенно подчеркивавшем его темную кожу, поставил на стол две бутылки, откупорил их и подошел к соседнему столику, за которым сидел Эль-Эй Этиан, прислушивавшийся к разговору двух европейцев. Эль-Эй Этиан и раньше знал полковника в лицо, а теперь ему представился случай познакомиться и с его взглядами. Откупорив пиво, официант ушел. Эй Этиан опустил горлышко бутылки в наклоненный стакан, чтобы пиво не очень пенилось. В стакан медленно полилась золотистая жидкость.

— Тут вы не правы, капитан! К нам каждую неделю прибывают беженцы из Марокко, Туниса, Египта, а вы видите спасение только в применении силы. Вы просто отстаете от жизни. Присмотритесь внимательно к положению вещей. Что, собственно, изменилось? Конечно, от явных привилегий придется отказаться, но мы будем находиться здесь, как и раньше. Позиции, утраченные нами в массах и из-за масс, мы наверстываем в верхах. А вы потерпели поражение и надеетесь, что можно повернуть колесо истории вспять. Поймите, я не пораженец... вовсе нет. Но нам надо удержаться здесь, надо маневрировать... Надо поставить на наше место туземцев, заставить их собственными руками делать то,

что нам нужно. А пока что лучше помалкивать и не делать ничего такого, что может их раздразнить...

По террасе прошли две европейки. От них слегка пахло лавандой.

— Гм, недурны,— заметил капитан, проводив их внимательным взглядом.

Девицы уселись на высокие табуреты. Одна из них, рыжая, мило улыбалась. Встретившись глазами со светловолосым капитаном, она улыбнулась еще шире и повернулась к стоявшему за стойкой буфетчику. Потом наклонилась к спутнице и что-то шепнула ей на ухо. Обе обернулись и посмотрели на капитана.

— Они берут пять тысяч колониальных франков,— недовольно сказал полковник Люк.— Воображают, что «анназара» — те же туземцы, и пользуются тем, что такой товарец тут в редкость.

Капитан Ги де Ломбар подмигнул расточавшим улыбки женщинам. Люк старался ничего не упустить из красноречивого обмена взглядами между офицером и рыжеволосой проституткой. Ги де Ломбар растаял и улыбался во весь рот. Полковник кипел от злобы. Он в ярости сжимал зубы.

— Шлюхи,— сказал он,— без стыда и совести. Учтите, здесь проститутки не проходят медицинской проверки.

— Как вы сказали?

Люк промолчал. Он угрожающе посмотрел на женщин. Те отвели глаза в сторону, как бы говоря: как вам угодно.

— Я человек осторожный,— заметил капитан.

— Так все говорят! Но это ваше дело...

— Да, так возвращаясь к нашему разговору...

— В этом нет больше необходимости. Вы находитесь здесь в распоряжении французского правительства... О, вот и комиссар Рауль пришел,— перебил себя Люк, с шумом отодвигая стул.

Ги де Ломбар нерешительно взглянул на проституток. Этот мимолетный взгляд не ускользнул, однако, от внимания Люка.

— Рауль!.. Идите сюда!..

— А, это вы, Люк. Здравствуйте, капитан,— полицейский офицер уселся на пододвинутый стул.— Как ваши солдаты, что нового?

— Все нормально, ничего особенного.

— Вам известно, что я должен вас сопровождать?

— Да.

— Глупейшая история. Я навестил сегодня утром мадам Фор. Наркоз еще действует. Вас интересует черномазый? От него ничего не добьешься. Круглый идиот. Доктор уверяет, что его еще нельзя допрашивать...

— Как вы считаете, Фора действительно убили? Или тут что-то другое?

— Трудно сказать, мы не нашли никаких следов. Два дня подряд шли дожди. В такую собачью погоду можно было ждать ливней,— ответил комиссар Рауль, поглядывая по сторонам в поисках официанта.

— Не доверяю я ученым неграм. Этот доктор Тангара очень подозрителен...

— Судя по первому впечатлению, трудно установить какую-либо связь между исчезновением Фора и... националистами. Во всей этой истории не подлежит сомнению только один факт — мадам Фор решилась лечь в туземную больницу. Тангара навещал ее. Какие между ними отношения? Имя Тангары фигурирует в списке сторонников отрицательного ответа на референдуме.

— Белая женщина могла бы лечь в европейскую больницу.

— Конечно,— согласился комиссар.— Но Тангара пока что единственный хирург в этих краях. Он оперирует в обеих больницах.

— Я уверен, что, если заставить его заговорить, многое разъяснится,— настаивал капитан.— Это не обыкновенное убийство, не простое исчезновение. За этим кроется чья-то подрывная деятельность. Обратите внимание, комиссар, на лозунги, выведенные по склонам...

— Предупреждаю, Рауль, капитану всюду мерещатся коммунисты... Официант! — крикнул полковник.

— Да, мосье...

— Еще пива! Выпьете с нами, Ломбар?

— Нет, полковник.

— Два пива...

Между столиками шмыгал мальчонка — чистильщик сапог. Увидев комиссара, он бросился наутек. Официант принес пиво.

Эль-Эй Этиан поднялся и пошел к выходу. Полковник смотрел ему вслед.

— Видели этого типа? Это националист, он слышал весь наш разговор.

— То есть как? — Ги де Ломбар широко раскрыл глаза.

— Да, да, я тоже веду игру. Тут все очень быстро становится известным. У туземцев немало здравого смысла. Не верьте тому, что пишут этнографы. Они вечно запаздывают со своими данными, как, впрочем, и люди вашего толка.

— Он все передаст националистам,— добавил комиссар.

— Я сейчас вернусь,— капитан поднялся и подошел к женщинам.

— Какая невоспитанность!

— Он уже давно перемигивался с ними.

Ги де Ломбар вернулся к столику и допил пиво.

— Я вас покидаю,— гордо заявил он, словно докладывал о взятии крепости.

— Что ж, у каждого свой вкус,— съязвил Рауль.

— Приглашаю вас четвертым в компанию, если хотите... Не то поищу партнера в казарме.

Капитан вышел из кафе в сопровождении девиц.

— Мне пришла в голову одна мысль...

— Какая именно?

— Насчет Тангары,— ответил полковник Люк.— Вы полагаете, что он заодно с экстремистами вроде Агемона, Лея и Тьюмбе?

— Он числится в списке, но это еще ни о чем не говорит... Я думаю, что это чистая случайность, никаких твердых убеждений у него нет.

— Надо присмотреться к нему поближе... Его имя начинает приобретать определенный вес.

V

Расклейщики плакатов

В помещении Фронта беспрерывно толклись люди; дожди не портили им настроения, не охлаждали их усердия, даже наоборот. В это утро, как всегда, каждый занимался своим делом под шум общих разговоров и споров. В течение целого дня здесь появлялись и исчезали организаторы митингов и распространители размноженных на ротаторе листовок. Помещение Фронта было чем-то средним между типографией и военным штабом. Как и в тысячах других таких же пунктов, разбросанных в эти дни по всему континенту, сюда стекались все, кто боролся за независимость.

Клейщики раскладывали по своим местам взятые для работы материалы, старались навести в помещении порядок. Рассказывали о приключениях за день.

— Мы еще издали увидели солдат. Спрятали банки с клеем и как ни в чем не бывало двинулись им навстречу. Мерзавцы довольно косо поглядывали на нас. А когда они скрылись, мы вернулись. Вы спрашиваете, испугались ли мы? Еще бы, душа в пятки ушла.

Они беззлобно подшучивали друг над другом, радуясь тому, что сумели провести врага. Нашлись смельчаки, решившие действовать в открытую. Этим стражники даже помогли немного, посоветовали пойти туда, куда сами они доберутся не раньше, чем часа через два. Клейщики покрыли плакатами все стены, места больше не оставалось. Тогда они занялись деревьями.

Калилу подробно объяснял:

— Наложишь клей на дерево, а он стекает. А когда прилепишь плакат, он сползает вниз, как человек, которого ноги больше не держат. Поэтому, если хочешь укрепить плакат, надо смотреть, с каким деревом имеешь дело. Если это бавольник, то все просто. Плакат остается висеть на колючках. Но тут смотри в оба, чтобы уцелели ладони. Зато кисть, та сразу летит к черту! Хоть рви на куски собственные штаны и мастери новую. А если попался красноцвет, то сначала скребешь ствол, сглаживаешь его, намазываешь клеем, а потом накладываешь плакат. Да, но это еще не все. Бумагу надо придержать за верхний край, иначе она отвалится. Многие стволы...

— Ты, как я посмотрю, специалист по стволам,— шутливо прервал кто-то и добавил с насмешкой.— Придется заняться специализацией по деревьям.

— Я предпочитаю клеить на деревьях, это интереснее, чем на стенах. На стенах все просто, там и думать нечего.

— Да ты, кажется, воображаешь, что я ищу, где полегче,— возразил задетый за живое собеседник.— Я клею лучше любого из вас. Можешь пойти со мной, сам убедишься. Хочешь, пойдем завтра вечером? Ведь нам еще предстоит работа завтра вечером, верно, Сори?

Собравшиеся — а их было немало — лежали на полу на циновках. Те, что пришли пораньше, сдвинули скамьи и улеглись на них. Горели две лампы; они стояли возле Сори, который тщательно, звено за звеном, проверял велосипедную цепь. Ему помогал один из клейщиков. Дигбе, проведший весь день с Леем, тоже был здесь. Он слушал их разговоры с молчаливой покорностью, ничего не понимая. Эти люди, с которыми он провел свой первый день в городе, совсем не были похожи на его прежних соседей и друзей. Они шумели, все время толковали об Африке, о рабочих, о крестьянах, а Дигбе прислушивался, разинув рот.

— Дела хватит всем до двадцать седьмого,— ответил Сори, не отрываясь от работы.

— Между прочим, Сори, ты действительно уезжаешь?

— Да, друг. Уезжаю.

— Куда? — донесся вопрос из глубины комнаты.

— Пока сам не знаю. В Сенегал или в Гвинею. Все зависит от того, в какой стране проголосуют за независимость.

— Скажи, Сори, ты в самом деле уроженец Гвинеи? — полюбопытствовал кто-то из лежавших на скамьях.

— Да.

— А где эта Гвинея?.. Сенегал — это где Дакар, я знаю, я много о нем слышал от стрелков и от молодежи. Но где Гвинея, понятия не имею.

— Гвинея рядом с Сенегалом.

— Поближе к нам или подальше?

— Немного ближе.

— Так... А что ты там собираешься делать? Будешь ремонтировать велосипеды?

— Нет... Еще неизвестно. Ну-ка, подержи,— попросил Сори своего случайного помощника.

— А правду говорят, что генерал де Голль забросает бомбами страну, которая скажет «нет», и что ее население умрет с голоду?

— Нет, неправда, это говорят, чтобы нас запугать,— ответил специалист по деревьям Калилу.— Ты действуешь с нами заодно, а прислушиваешься к тому, что болтают другие. Почему? Оставался бы в их компании.

— Я не у тебя спрашиваю. Я только хочу знать, а когда человек не знает чего-нибудь, он справляется у других. Ну и народ пошел сейчас! Слова нельзя сказать... Я слышал разговоры о том, что, если мы проголосуем «нет», французы заберут из страны свои деньги. Ты ничего об этом не слышал? — Он толкнул в бок лежавшего рядом на скамье товарища.

— Слышал,— ответил тот.

— Деньги... Опять деньги,— повторил Гиби. Он устроился на полу, положив рядом свой костыль.

— Да, деньги! Ты разве не ради них работаешь? Отвечай!

— Я работаю, чтобы мне платили. А того, что мне платят, не хватает.

— Но тебе все-таки платят,— не унимался сосед.

— Не хочу говорить с тобой, ты все равно ни черта не смыслишь,— угрюмо заявил Калилу и отвернулся.

— Я в самом деле ничего не понимаю. Только о том и мечтаю, чтобы понять. Но ты-то ученый, так помоги мне разобраться.

— Хочешь стать дельным человеком, пойдем завтра со мной!

— Говорите потише! Тут ведь спят, им с утра идти на работу,— потребовала Тьюмбе, потягиваясь спросонья.

— Я думал, ты спишь, сестра.

— Нет, я не спала. Слушала ваши разговоры. Полночь пробило?

— Давно уже.

— Лей, видно, уже не явится. Пойду домой,— Тьюмбе поднялась.

— Я провожу тебя,— отозвался со своего места Сори.

Она не поняла, что кроется за его словами. Если он спрашивает ее, то она с ним не пойдет. До сих пор он сам решал, что ему делать, и не задавал ей никаких вопросов. Конечно, ей хочется, чтобы он проводил ее. В последние дни она заметила, что Сори сторонится ее. Ей было больно.

«Я как-никак твоя жена, Сори. И не стыжусь быть не венчанной женой»,— сказала ему она однажды, когда их обоих пригласили на чью-то свадьбу.

Сегодня после собрания она пришла сюда, опасаясь в глубине души, что уже не застанет его. И потому, увидев, что он тут и по обыкновению занят работой, вся просияла. В глазах запрыгали серебряные зайчики, губы растянулись в улыбке, обнажив мелкие, плотно посаженные крепкие зубы.

Сори сразу подошел к ней и сказал:

— У меня тут есть еда. Ты голодна?

— Да, я еще не ела.

— Я тоже. Я ждал тебя.

Его слова обрадовали ее. Ничтожный знак внимания, но тем не менее он сказал ей все. Она поняла, что Сори относится к ней по-прежнему.

За едой они, будто сговорившись, почти все время молчали и поочередно протягивали руку к одной миске. Произносили только самые необходимые слова, боясь растревожить не утихавшую внутреннюю боль. Тьюмбе сознавала, что каждый истекший день приближает разлуку, углубляет возникшее между ними отчуждение, придает более глубокий смысл словам и поступкам...

Сори закончил работу. Он поставил исправленный велосипед возле стола и подошел к ней. Поблизости раздался свист.

— Кто там?

— Лей, вероятно,— ответила Тьюмбе.

Сори взмахнул рукой: пять парней с дубинками в руках побежали к выходу. Все напряженно ждали. Условленный сигнал повторился. Это и в самом деле был Лей — слышно было, как он спросил:

— Вы что, решили, что я на вас нападу?

— Мало ли что...— ответил один из парней, возвращаясь на место и кладя дубинку рядом с собой.

— Было бы проще поджечь дом, не так ли?

— Хватит, Лей,— в голосе Тьюмбе послышался упрек.

— А ведь он прав, я и сам об этом думал. Пожалуй, надо уходить. Осторожность никогда не мешает,— заметил «ученый» клейщик плакатов, поспешно собирая свое снаряжение.

— Что нового, Тьюмбе? — спросил Лей, роясь в бумагах на столе.

— Ничего особенного. Я собираюсь домой.

— Я иду с тобой,— сказал Сори.

— Спокойной ночи, друзья,— Тьюмбе направилась к выходу, следом за ней двинулся Сори. Девушка закуталась в накидку и осторожно перешагнула через спящих на полу людей.

За дверью тоже лежали мужчины. Один из них сильно дымил трубкой, в ней что-то булькало.

— Чудесная девушка эта Тьюмбе,— заметил он.— Эх, если бы все наши женщины походили на нее...

— Наши девушки, как только получают дипломы, сразу начинают задаваться, презирают нас, мечтают о «министерах», о «дипитатах».

— Если бы вы знали, каких женщин я видел в Индокитае...— завел свою обычную песню Гиби. Он мог без конца говорить о войне в Индокитае, неустанно расхваливая народную армию.

На базарной площади царила тишина. Стало свежо. Влажные испарения густым туманом стлались над землей. Тьюмбе и Сори пошли через площадь к домам. Оба молчали. Тьюмбе в душе не переставала робко надеяться, что он вот-вот скажет: «Я не поеду. Решил остаться здесь». Она уже много вечеров ждала, что услышит от него, наконец, эти слова.

VI

Агнцы Авраамовы

18 сентября, 7 часов утра

Третий день подряд шел проливной дождь. Густая мокрая пелена застлала небо и землю. Все попрятались от ненастья, не выходили из дому и те, кого призывали дела или служба; сидели взаперти, хмуро наблюдая за происходившим в природе поединком. Почву покрыла синевато-зеленая жижа.

Доктор Тангара решил поместить больную жену исчезнувшего лесничего у себя дома, но его терзали сомнения. Он поделился своим наме-

рением с детьми, и мальчики его поддержали. Утром, придя на работу, он застал в лечебном кабинете Коффи, Дьябате, сестер и фельдшеров. На длинной галерее, несмотря на непогоду, уже толпились первые больные. Порывистый ветер то и дело швырял в них брызги дождя. Тангара поздоровался со всеми.

— Здравствуй, доктор! Посмотри, сколько народу,— сказал один из фельдшеров, поправляя свою белую шапочку.

— Можно подумать, что им платят за посещение больницы,— добавил кто-то,— недаром в городе говорят, что у нашего доктора счастливая рука...

— Не в этом дело. Главное — разуверить их в том, что больница — преддверие смерти. Надо доказать им, что она скорее раскрывает дверь в жизнь,— мимоходом бросил Тангара, готовясь к приему.

— Но, доктор, у нас ведь никогда не было столько больных в это время года. Для нас период дождей всегда был мертвым сезоном. Что же будет во время бездождья? — громко спросила Фанта.

— Но разве мы не сами избрали себе этот удел, разве не в этом заключается наш профессиональный долг, наше призвание? — елейным тоном благочестивой католички возразила старшая сестра, расправляя складки своей косынки.— Я счастлива, я очень рада, что к нам приходит столько народу, что можно помочь стольким страждущим. К сожалению, нам мало платят за это...

— Еще бы! Наше жалованье... Подачки нищим. Знаешь, сколько даже в худшем случае зарабатывают господа министры?.. Да вот, почитай газету,— маленький фельдшер с юркими глазками положил окурок в пепельницу и, доставая из кармана «Фронт», добавил: — Кстати, здесь говорится и о Форе, о муже белой мадам...

— Да? А кем подписана статья? — спросила Фанта.

— Разве дело в подписи? Впрочем, я и забыл, что у тебя на уме один Лей. Можешь посмотреть, статью писал он.

Щупленькая Фанта со сконфуженным видом протянула руку. Но старшая сестра оказалась проворнее и быстро взяла газету.

— Дашь потом мне почитать,— попросил Тангара, надевая очки.— Коффи, ты мне нужен,— подозвал он своего помощника.

Из окна виднелось сплошь затянутое тучами небо.

— В такую погоду только дома сидеть да поджаривать кукурузу,— заметил Коффи, усаживаясь на стул возле главврача.

— Я вчера решил окончательно. Сегодня вечером переведу Шарлотту к себе. Что ты об этом думаешь?

Для Коффи это заявление не было неожиданностью.

— Ну что ж,— вслух произнес он.

— Это все, что ты можешь сказать?

Тангара надеялся, что Коффи одобрит его намерение. Ему очень хотелось бы услышать, что его помощник с первого дня думал о том же. Но Коффи держался нейтрально.

— Твое «ну что ж» звучит явно неодобрительно. Говори прямо.

Они беседовали вполголоса. Коффи пристально посмотрел на Тангару, долго разглядывал шрамы на его лице. Наконец он спросил:

— Почему ты хочешь перевести ее к себе, а не в европейскую больницу?

— Если бы «они» пришли за ней, я, само собою, не стал бы возражать. Но она не может дольше здесь оставаться. Она занимает койку, предназначенную для...

— Для черной? Ты хочешь сказать, что она белая и ей необходим другой режим? Насчет чужой койки ты, возможно, и прав, но рассуждаешь ты непоследовательно.

— Ты, значит, считаешь, что я, сам того не сознавая, провожу сегрегацию?

— Нам внушили немало предрассудков. В данном случае твое поведение обретает весьма определенный смысл: ты не хочешь допустить, чтобы белая находилась в одной палате с черными. Вот и все. Если, конечно, за этим не кроется что-то другое.

— За кого ты меня принимаешь?

— Почему она не может остаться? Решать должен ты. Я лично утверждаю, что она может лежать здесь.

— Оставим этот разговор,— нервно прервал его Тангара.

Он не спал перед этим всю ночь, тревожно обдумывая предстоящее объяснение со своим помощником. Сейчас он, скрестив на груди руки, отвел глаза в сторону, посмотрел на собравшийся в комнате персонал.

— Как хочешь,— задумчиво отозвался Коффи. Он сожалел, что был так резок.— Мы забегаем вперед. Кстати, как по-твоему, что стряслось с Реми Согло? — спросил он, поднимаясь.

— Я сейчас тоже пройду к нему. Посмотрю только газету.— Тангаре явно не терпелось узнать точку зрения «Фронта».

Фельдшера и сестры столпились вокруг газеты, обсуждая прочитанное. Фанта протянула ее главврачу.

— Пошли,— уже с порога позвал Коффи сестер.— Пора.

Комната опустела.

Тангара углубился в чтение. Он то и дело хмурил брови и шептал: «Нет, не верю! Это неправда! Немыслимо! Откуда они все это взяли? Конечно, Фор исчез. Но все же!..»

Тангара положил газету. Он уже не помнил точно, когда познакомился с Форами. Под впечатлением статьи Лея в его памяти ожила последняя встреча с ними. Это произошло в прошлый период дождей. Начался ливень, надо было где-то укрыться. Он находился как раз на территории заповедника, искал там лекарственные травы. Травы и кустарники буйно разрослись, природа снова вступала в свои права. Антуан Фор уже не мог охранять животных. Из-за дождей лесничий целых три месяца не уходил дальше озера, находившегося в трех километрах от его дома.

День клонился к вечеру. Над домом гремела гроза, молнии исполосовали все небо. Ветер с шумом обрушивался на соломенную крышу. Они сидели в гостиной лесничего, его жена угощала их ликерами.

— Это же массовое избиение! Вы знаете, сколько пород животных уже стерто с лица земли? Если так пойдет дальше, в Африке скоро не останется ни одного стоящего зверя. Животный мир надо оберегать. А вы, представители науки, безучастно взираете на его массовое истребление,— говорил Антуан Фор.

— Вы читали роман «Корни неба» *, доктор?

— Нет, мадам.

— Звери заслуживают нашего покровительства, доктор. Можно налить вам еще? — Шарлотта слегка наклонилась к врачу.

— Нет, благодарю. Я знаю, с научной точки зрения, несомненно, что полное исчезновение из природы какого-нибудь вида животных нарушает функциональное равновесие самой природы, как биологическое, так и физиологическое.

— Ага! Вот видите,— Антуан Фор с удовлетворением погладил бороду.

— Разрешите закончить! Мне понятно поэтому ваше возмущение...

— Которое вы, однако, не разделяете...

---

* Роман французского буржуазного писателя Ромена Гари, отмеченный в 1956 году Гонкуровской премией.

Тангара внимательно следил за лесничим. Он видел, что нервы у того напряжены до предела. И пытался объяснить себе, чем это вызвано. «Неужели дожди так действуют на него? Или он от природы такой? Курит восемнадцатую сигарету подряд, не говоря уж об алкоголе». Он продолжал развивать свою мысль:

— Увы, образование, которое я получил, было основано на преклонении перед формальной логикой. Но я с детства уверовал в иную логику, в рассуждения, не столь отвлеченные и с некоторых точек зрения не столь прямолинейные. У нас говорят, что в одном и том же споре двух истин не бывает. Однако я готов признать, что в данном случае мы имеем дело с двумя истинами. Охотники...

— Не охотники, а браконьеры...

— Допустим! Браконьеры...

Ему был неприятен этот научный спор с невеждой. Но он все-таки продолжал:

— Но охотники — прошу прощения, браконьеры — браконьерствуют не ради собственного удовольствия: для них это жизненная необходимость.

— Вы считаете, что они правы?

— Им надо жить.

— Пусть идут работать! Дел хватит!

— Легко сказать! Я-то вижу, сколько народу бывает в больнице.

— Слушать вас даже не хочу,— выкрикнул Антуан Фор, вскочив со стула.— С вами, африканцами, слова сказать нельзя, вы тут же переводите разговор на политику. Поймите же, наконец,— это наш гуманный долг.

— Я считаю, что гуманный долг состоит прежде всего в спасении людей. Скажите, как вы относитесь к крупным охотам, к организованным облавам на зверя? К зданию, которое возводится для сафари *? Сколько миллионов тратится на это? Я предпочел бы, чтобы эти суммы были ассигнованы на здравоохранение. Вы печетесь о фауне? Ее уничтожают не местные охотники, а пришельцы из Европы.

— Я говорю о другом, о том, что происходит здесь.

— Но вы же не правы! Европейцы наносят больше вреда, чем браконьеры, как вы изволили выразиться. Я сам никогда не охотился... Мои родители, те действительно были охотниками. Поймите же, туземцы делают это не потому, что ищут острых ощущений. Они убивают зверей, чтобы прокормиться, и я считаю это естественным.

— Можете не продолжать, я все равно не слушаю!

— Не волнуйся так, Антуан. Мне кажется, доктор хотел только пояснить свою мысль. Надо...

— Замолчи! Ты ничего в этом не смыслишь!

Шарлотту покоробила грубость мужа в присутствии черного (несмотря на свое образование, Тангара был в ее глазах всего лишь «туземцем»). Она вышла из комнаты. Между тем в Антуане говорила не ненависть. Он твердо решил защищать животный мир вопреки всем и всему. Тангару тоже не сердила его резкость, хотя он не совсем понимал, что именно приводит лесничего в такое раздражение.

— Неужели вы полагаете, что я в своих отчетах не упоминаю о сафари? Извольте, могу показать вам копии.

— Что вы, у меня и в мыслях этого не было. Но я не имею ни малейшего желания садиться в ваш Ноев ковчег. Я понимаю охотников, но и вас тоже. У вас меньше...

— Опять политика! Вы все заражены ею! Поэтому вы и не соглашаетесь со мной. Но я сделаю все возможное, чтобы прекратить истреб-

---

* Крупные охотничьи экспедиции туристов.

ление зверей. Если понадобится, мобилизую для этой цели всех местных европейцев, да и других тоже. У меня уже есть сторонники. Одни африканцы не хотят помочь.

— Не стоит дольше спорить. Мне пора домой,— сказал Тангара.

— Но ведь льет дождь!

— Я вижу. Кланяйтесь вашей супруге. А насчет ее здоровья, посоветуйте ей сходить в ближайшие дни к врачу...

На пороге снова появилась Шарлотта:

— Вы не обиделись, доктор? Это все дожди, они портят мужу настроение.

— Кто не любит зверей, тот не любит и людей,— не успокаивался Антуан.

— Афоризм, пригодный в европейских условиях, но не здесь.

■

Статья, появившаяся во «Фронте», не давала Тангаре покоя. Его тревожила мысль о том, как «они» воспримут новость. Он твердил себе, что в создавшихся условиях «она» не может оставаться в больнице. Он хотел убедить самого себя. Но в чем? Его целиком захватило внезапно вспыхнувшее желание помочь Шарлотте. С тех пор как она очутилась у него в больнице, главврач не раз мысленно возвращался к своему прошлому: вспоминал день, когда впервые научился читать, когда впервые слушал лекции по анатомии. Это было только началом, впереди лежал трудный и долгий путь.

Тангара всегда мечтал стать директором крупной больницы, управлять современным лечебным заведением, применять все новейшие открытия, чтобы не приходилось исцелять недуги в жалких, унизительных для человека условиях. Случай с Шарлоттой привел его в полную растерянность, его чувства странным образом раздвоились. Присутствие белой в его «заведении» унижало его. Он уделял ей почти все свое время, долго оставался возле нее; старался сделать все возможное, чтобы она не страдала от окружавшей ее отчужденности, от несовершенства больничного здания, от скудности медицинского оборудования и недостаточного ухода.

Приходя к ней в палату, он все время молчал или ограничивался скупыми, ничего не значащими фразами. Женщины, лежавшие рядом с Шарлоттой, при его появлении настораживались и напряженно прислушивались к их разговору, хоть и ни слова не понимали по-французски. Тангара испытывал ничем не объяснимое смущение, оно преследовало его повсюду. Он не раз спрашивал себя, не выказывает ли он слишком большого внимания к этой женщине. И в то же время его не покидала мысль об остальных больных, которые чувствовали себя хуже и физически и морально. Его мучило сознание собственной беспомощности. Он никогда не мечтал о личном благополучии, о богатстве. Ему хотелось добиться влияния только для того, чтобы помогать всем больным, страдающим от бедности, от крайней нужды. Но он был бессилен, не мог модернизировать свое «заведение», и от сознания этого в нем все громче говорил иной голос. Голос всеобъемлющей любви к человеку.

Итак, он решил. Решил бесповоротно. Шарлотта закончит лечение в его доме. У него было такое ощущение, будто он совершает необычайно смелый поступок. Беря на себя заботу о белой, он тем самым бросал вызов всем установленным нормам поведения.

Он снова прочитал заголовок статьи: «Агнцы Авраамовы». Отложил газету, встал. Шагая взад и вперед по галерее, пытался обдумать, осмыслить текст, задевший его за живое. «Неужели возможно, что Антуана Фора устранили сознательно, с целью заставить население дать положи-

тельный ответ на референдуме? Что за гнусность! Даже если все правда, не к чему было Лею так расписывать эту историю! Как отнесется к этому Шарлотта? Что она подумает? Нам, африканцам, нет нужды идти за «ними» по такому пути. Я поговорю с Леем».

Он чувствовал себя зажатым в тиски между двумя крайностями. Ни с одной из них он не был согласен. Само собою, он — сторонник независимости. Но ничего не хочет принимать на веру. Версия «Фронта» ему теперь ясна. Надо подождать, что скажут власти. Ведь он сам предупредил их. Приходил комиссар Рауль. Он должен был прийти снова. Почему никто не идет? Неужели газета и в самом деле говорит правду?

— Доктор...

— Да?..— машинально спросил он, с трудом отвлекаясь от своих мыслей.

— Тебя ждет доктор Коффи. Он в мужской палате.

■

Коффи в окружении помощников стоял у койки Реми Согло и говорил о «случае Реми», как они назвали непонятную болезнь помощника лесничего.

— ...Типичная история! Воздействие фетишизма проявляется только в форме панического ужаса. Злосчастное суеверие! Этот человек убежден в своей близкой гибели. Вся беда в том, что он не хочет даже бороться. Реми не борется, не верит в возможность исцеления. Он сам парализует свою волю, он впал в летаргию. Тут уже ничем не поможешь. Но предупредить это зло можно. Всякие якобы священные предметы сами по себе никакой сверхъестественной силой не обладают. Наши родители уверовали в фетишизм задолго до нашего появления на свет и с момента рождения внушали нам всякие суеверия, чтобы оградить от дурного глаза. Подумать только, что такое положение существовало даже в двадцатом веке и в зародыше уничтожало созидательный дух африканца! Но царству колдовства пришел конец, оно ушло в прошлое. Оно не может продолжаться в наше время, это немыслимо. Ведь ясно, что дальнейшее сохранение суеверий благоприятствует иностранному экономическому господству, помогает ему пускать здесь корни. Человеческий разум шагнул далеко вперед, а мы все еще вынуждены бороться с обскурантизмом, который закрывает нам все перспективы. Обскурантизм на руку иностранным поработителям, они делают его своим союзником, чтобы продлить свое господство...

При виде главврача Коффи умолк. Присутствующие обернулись. Реми Согло хорошо видел, что происходит вокруг него. Его переворачивали, щупали, раздвигали ему веки, сжимали челюсти. Он дышал нормально. Но его язык распухал, как только он раскрывал рот. В его памяти все время звучали зловещие слова Биты Йена: «Многие станут свидетелем твоей агонии, но все будут беспомощны».

— Время идет. Лучше всего, пожалуй, поручить коллеге Коффи сделать нам доклад о вреде суеверия. На том и решим.— Тангара засунул руки в карманы халата, нащупывая лежавшую там газету.— А пока что — по местам. Дадим Коффи время подготовиться.

— Я согласен,— заметил Коффи.

— Я все устрою. Ну-с, за работу.

Коффи и Тангара пошли впереди остальных.

— Я тоже согласен,— сказал по пути Тангара.— Но прошу тебя, избегай говорить о политике. Постарайся ограничиться научной точкой зрения.

— Ты требуешь невозможного. Нас придавило тяжкое бремя невежества четырехсотлетней давности. Мне трудно говорить об этой ноше, не указывая, откуда она взялась.

— На этот счет ты специалист, я знаю.— Тангара внимательно посмотрел на Коффи.— Ты читал газету? Я имею в виду «Фронт».

— Вчерашний номер? Статью «Агнцы Авраамовы»? Читал...

— Мог бы сказать мне еще утром. Ты думал о ней, когда я сообщил тебе о своем решении?

— Нет.

Коффи закурил сигарету, затянулся, пустил дым. Они остановились у порога. Медсестры разделились на две группы.

— Ты считаешь статью Лея приличной?

— А почему нет? Я же тебе сказал, что нисколько не удивлен твоим решением. Я нахожу статью очень объективной. Она показывает, до чего доводит стремление заставить нас принять конституцию. Ведь мы — сторонники независимости.

— Я тоже,— возразил Тангара, в упор посмотрев на собеседника.— Я — член Фронта, но статью не одобряю. Если «те» ведут себя недостойно, то это не дает нам права вести себя так же. Разве только имеется большинство, которое направляет деятельность Фронта...

— Не намерен отвечать на твой намек. Читая статью, я понял, до чего же я еще невероятно мало знаю. Мы можем — я говорю «мы», имея в виду врачей,— мы легко можем исцелить болезни человеческого тела, но нам понадобятся годы и годы, чтобы исцелить в человеке душу. Чем не понравилась тебе статья? Разве она задела тебя лично, твою профессию? Каждый борется как может. Но случай с Фором и его женой — это часть большого вопроса, и твои субъективные оценки здесь не имеют значения.

— Признайся, что это непорядочно. Человек погиб, а вы используете его смерть в целях пропаганды.

— Как по-твоему, он умер естественной смертью? Нет? Кто же убийца? Мы? Ты? Фронт? Жена? Кто? Тебе нечего ответить. Но мы тут спорим, а насчет Реми ты молчишь.

— Я заберу Шарлотту к себе,— упрямо заявил Тангара.— Вы убеждаете меня в моей правоте. Я выхожу из организации.

— Ох, сколько уже из нее ушло! Но гораздо больше пришло к нам! Однако я думаю, пора идти, как ты сам сказал. Да! Пока не забыл: я завтра дежурю, чтобы иметь потом два свободных дня для проведения кампании за «нет».

— Не возражаю, если ты найдешь себе замену. После обеда напишу письмо Фронту.

С этими словами Тангара вышел из комнаты. Его группа последовала за ним. Они направлялись в женское отделение.

VII

Шарлотта

Наступили послеобеденные часы. Солнце лениво сползало на запад. В это время дня больные остаются в палате одни, наедине со своими недугами.

Ежедневно при приближении полудня Шарлотта впадала в забытье. Эти дневные часы были очень тяжелы для нее: ее начинало лихорадить, ей упорно что-то мерещилось, бесконечно тянулись минуты, навевая гнетущую тоску, восприятие окружающего резко притуплялось, по временам она почти теряла сознание. Исчезали мелькавшие перед глазами образы, реальные и подсказанные больным воображением.

Остальные женщины, сгорая от любопытства, настороженно следили за первыми признаками пробуждения белой. С раннего утра то на одной,

то на другой койке раздавался возбужденный шепот. Взволнованные необычностью и новизной положения — ведь среди них очутилась «мадам»,— женщины старались не шуметь, не переговаривались через всю комнату, ходячие больные не бродили от одной кровати к другой. За последние дни их поведение резко изменилось, казалось, они живут в каком-то радостном ожидании.

Дождь, шедший двое суток подряд, принес прохладу. В раскрытые окна лились ароматы свежей зелени и напоенной влагой земли.

— Как дела, мадам? — спросила сиделка.

Высокий приветливый голос! И темное лицо! Чернота кожи, подчеркнутая белой косынкой, болезненно поразила сознание Шарлотты.

Сиделка появлялась через каждые полчаса. Она пододвигала стул и усаживалась рядом с койкой Шарлотты. Вся больница следила за состоянием здоровья белой, интересовалась любыми подробностями лечения.

— Да... Я немного расклеилась,— ответила Шарлотта. Она лежала на спине, устремив глаза на пожелтевший, покрытый пятнами потолок, и негромко стонала. Ей захотелось повернуться на правый бок.

— Не надо двигаться, мадам, я сейчас принесу вам судно... — Сиделка привычным движением ловко поправила постель. Она заметила, как по лицу Шарлотты скатились две слезинки.

Остальные больные не отрывали глаз от «мадам».

Полная тишина.

Все сочувственно молчали — они понимали, как она страдает, и не решались заговорить. Трудно сказать, что ими руководило. Солидарность больных? Женская солидарность? Сострадание к одиночеству белой? Кто-то закашлялся. Все встрепенулись. Два, три, пять, одиннадцать безмолвных лиц, одиннадцать пар сердитых глаз заставили кашлявшую подавить приступ. Жалобно-приглушенные стоны «мадам» отдавались в ушах остальных бурным шквалом.

Шарлотта сквозь слезы оглядела палату. Одни черные лица. Она медленно закрыла глаза. Лицо искривилось от боли.

Женщины отвели взгляды.

— Почему не отгородят ее койку? — спросила лежавшая на спине соседка справа.

— Наверное, доктор не хочет.

— Ей было бы легче.

Снова молчание.

Соседка слева внимательно рассматривала лицо Шарлотты: довольно крупный нос, бледные губы, зеленые с еле заметной синевой глаза, спутанные каштановые волосы. Намокшие от пота пряди завитками прилипли к затылку, обвились вокруг ушей с тонкими синими прожилками.

— Спроси ее, может быть, она съест банан? — сказала, наконец, соседка слева сиделке, когда та опять вошла в комнату.

— Она их не ест.

— Как? Не любит бананов? Они ведь вкусные, сама знаешь.

— Что она говорит? — спросила Шарлотта сиделку.

— Она предлагает вам бананы.

— Большое спасибо,— Шарлотта посмотрела на соседку.

— Вам лучше?

— Да. Голова перестала болеть. Мне кажется, операция прошла благополучно.

Затуманенный лихорадкой взор скользил по койкам, по окнам, задерживался на больных.

— Наша больница не очень хорошо оборудована,— заметила сиделка, следившая за взглядом Шарлотты.

Подошли три женщины, решившие навестить белую. Они постояли у кровати, о чем-то спросили сиделку, сочувственно улыбнулись Шарлотте — это был единственно возможный способ общения.

— Как она себя чувствует? — спросила та, что посмелее.

— Хорошо,— ответила сиделка и пояснила Шарлотте по-французски: — Они справляются о вашем здоровье.

— Я очень рада. Они каждый день утром и вечером приходят повидать меня. Еще раз спасибо.

Сиделка перевела женщинам ее слова и, памятуя о законах африканской вежливости, добавила:

— Она благодарит вас. Как только ей можно будет встать, она вас навестит.

— Надеемся увидеть ее у себя.— Имелось в виду: у наших коек.— Желаем, чтобы ее ноги скорее окрепли и она могла ходить.

Подошла еще одна группа больных из пяти человек. Весело посмеиваясь, показывая белые зубы, они сказали, что решили воспользоваться присутствием сиделки, чтобы познакомиться и подружиться.

Вначале эти «визиты» были неприятны Шарлотте. Ей приходилось принимать гостей каждый день после врачебного обхода и во второй половине дня. Мимо ее койки проходила вся палата, женщины улыбались, приветливо кивали головой. После этого они уходили «навестить еще одну лежачую больную». Когда приносили завтрак и обед, они ели и жестами, мимикой призывали Шарлотту последовать их примеру. Она получала легкий бульон из тапиока, кивала головой, как бы говоря, что это вкусно, и заставляла себя проглотить еду.

Шарлотта не могла общаться с окружающими и потому, когда ей становилось легче, предавалась размышлениям. Ловила себя на том, что собственные мысли застают ее врасплох. Она переводила взгляд с соседки на соседку, присматривалась к ним, к медицинскому персоналу, больничной обстановке. Особенно привлекали ее внимание сновавшие вокруг полуобнаженные люди. Еще совсем недавно она равнодушно проходила мимо полуголых тел. Они оживляли пейзаж, украшали его, как часть общей экзотической картины. Она сталкивалась с ними, видела их и тотчас же о них забывала.

Теперь же в непосредственной близости с ними у нее возникали какие-то новые вопросы. Нарушены были все обычные представления. До сих пор цвет собственной кожи определял весь строй ее мышления. Но здесь с ней произошло что-то непонятное, непостижимое. Она почувствовала себя ничтожной, увидела как в зеркале всю несостоятельность предрассудков, связанных с принадлежностью к белой расе. Не физический облик остальных женщин нарушил ее душевное равновесие — нет, виною тому был неожиданный крах привычного образа мысли, основанного на полученном воспитании, на сознании принадлежности к белой, культурной расе. Крах вызвал внутреннее опустошение. Она очутилась перед головокружительной пустотой. Идее ее превосходства был нанесен жестокий удар. Иная тональность в обращении, иной образ жизни усилили сознание собственной отчужденности.

Сиделка не успевала отвечать на вопросы женщин. Все они говорили почти одновременно. Под конец подошла больная со следами жертвенных обрядов на теле и спросила:

— Она живет в нашей стране?

— Хватит, дайте ей отдохнуть. Разойдитесь по своим койкам, сейчас я буду мерить температуру,— предупредила сиделка.

Шарлотта, ничего не понимая, прислушивалась к разговору. И с принужденной улыбкой взглядом благодарила посетительниц.

— А вот и дети,— воскликнула одна из больных.

В палату вошли Какпо и Гезо. Младший мальчик нес букет из роз, хризантем и бугенвилей.

— Приветствуем вас,— поздоровались они с больными и повернулись к Шарлотте.— Здравствуйте, мадам.

— Здравствуйте,— Шарлотта чуть вспыхнула, увидев хризантемы.

Сиделка взяла у детей цветы и вазу и сказала больным:

— Теперь вы можете разойтись по своим постелям. У нее посетители. Я сейчас вернусь, мадам,— добавила она.

Дети уселись у кровати Шарлотты. Какпо опустил глаза и смотрел на руку больной. Худая рука, на тыльной стороне кисти вздулись вены, локоть острый, кожа на предплечье отвисла и была усеяна прыщиками. Он не решался взглянуть на лицо и шею. Шарлотта тоже присматривалась к мальчикам. Они были одеты одинаково: белые короткие штаны, полотняные рубашки, коричневые туфли, белые носки.

— Спросите у нее, почему она не легла в больницу белых. Там ведь чище, чем здесь,— попросила соседка.

— Отец запретил нам говорить с ней об этом,— возразил Какпо.

— Что она сказала? — Шарлотта обрадовалась предлогу начать разговор.

Какпо сконфуженно пробормотал:

— Гм... Я не совсем понял ее, мадам. Переспрошу, в чем дело.— И обращаясь к соседке, с упреком сказал: — Вот видишь, она хочет знать, о чем ты говорила. А я не могу объяснить ей.

— Скажи ей, мы очень рады, что она лежит с нами... Как вы думаете, женщины, о чем бы нам с ней поговорить? Слыхали? Нельзя, оказывается, спрашивать, почему она не в больнице «красноухих»!

— Замолчи, наконец! Ты в больнице, а не у себя дома! — ответил кто-то.

— Какие красивые цветы! Кто их собрал? — спросила Шарлотта, пряча руку под одеяло. По выражению лица Какпо она поняла, что он чем-то смущен, и хотела вывести детей из затруднительного положения.

— Цветы собирали мы, мадам. Какпо и я. У нас есть сад и огород.

— Вот как! Очень хорошо. Как вы проводите время?

— У нас каникулы.

— Да, до октября,— вмешался в разговор Гезо.— Мы повторяем пройденное. Мы заканчиваем начальную школу. Теперь мы будем приходить к вам каждый день после обеда. До этого мы в больницу не ходили. Па не велит.

— Это очень мило с вашей стороны. Спасибо.

— Вам еще больно? — поинтересовался Какпо. Он по-прежнему сидел, опустив глаза, и смотрел на Шарлотту сквозь ресницы.

— Нет, я чувствую себя хорошо. А что вы собираетесь делать потом? Когда вырастете?

— Я буду врачом. И он тоже,— ответил Гезо.

— Да? Хорошо. Как ваш отец?

— Да.

Сиделка принесла вазу с цветами. Она поставила ее на столик и сказала:

— Пора мерить температуру. Идите домой, дети.

Мальчики в замешательстве переглянулись.

Их присутствие действовало на Шарлотту успокаивающе. Она не раз возвращалась к мыслям о личной жизни доктора. У нее установились с ним дружеские отношения, но они не выходили за официальные рамки общения врача с больной. Она полагала, что доктор — многоженец. Разве не твердили ей постоянно, что «все африканцы, от самых образованных до полных неучей», твердо придерживаются своих обычаев? Ей не терпелось расспросить малышей подробнее. Тем более, что у Гезо была

слишком светлая кожа для сына черной, а Какпо, наоборот, был слишком черен для сына белой женщины.

Какпо поднялся:

— Нам пора уходить, мадам.

— Ну что ж, до завтра,— грустно ответила Шарлотта, снова ощутив свое одиночество.— Спасибо, что навестили...

— Скажи ей ты,— шепнул Какпо брату на родном языке.

— Нет, это ты должен сказать.

— Я не знаю как! Скажи же...

Пререкания мальчиков удивили Шарлотту. Она настороженно спросила:

— Что случилось?

— Видите ли.. Вот что, мадам. Мы приглашаем вас к нам. Мы хотели бы, чтобы вы поселились у нас в доме,— торжественно сообщил Какпо, решившись наконец выполнить поручение отца.

— Я, право, не знаю...

— Па велел сказать вам об этом. Мы уже все подготовили. Сегодня к вечеру за вами придут,— объяснил Гезо.

— Да, да! Сегодня вечером вы покинете больницу. За вами придут санитары с носилками. После того как вам измерят температуру. До свидания, мадам.

Мальчики направились к двери. Шарлотта мягко сказала им вслед:

— До свидания, малыши.

VIII

В ожидании Тангары

18 сентября, 10 часов утра

Всю ночь шел дождь, и утром временами еще моросило. Все кругом пропиталось сыростью. Водяные капли стремительными каскадами сбегали по листве. У флигеля, который занимал доктор Тангара, зацвели кусты.

Какпо и Гезо сидели в шезлонгах на веранде; старший мальчик восхищенно следил за веселым падением капель. Зрелище целиком захватило его, на темном, почти черном лице блуждала задумчивая улыбка.

Капля упала на лист, он качнулся под ее тяжестью и чуть пригнулся книзу. Капля незаметно скользила по его центральной бороздке, докатилась до края, остановилась, как бы собираясь с силами для последнего прыжка. Прозрачная, хрупкая, трепещущая, она была похожа на сверкающую жемчужину. Потом жемчужина сорвалась и упала на нижний листик. Верхний листок выпрямился, качнулся и замер.

Мальчик рассмеялся — смеялись его лоб, глаза, рот. Он не радовался, он восторгался. Он сидел, подперев подбородок руками, поглощенный наблюдением. Это была его тайна, которой он ни с кем не делился. Он сидел так каждое утро.

Гезо прислушивался к тому, что происходит в доме. Окно в комнате отца было открыто, оттуда доносились голоса. Фанта делала перевязку Шарлотте.

— Все в порядке, мадам. Доктор наложил прекрасный шов, его почти не видно...— говорила медсестра.

— Спасибо за все!

— Благодарите доктора, мадам, не меня. Если вам что-нибудь понадобится, пришлите детей.

Гезо слушал, растянувшись в шезлонге. Время шло.

Солнце упорно старалось пробиться сквозь закрывшие его густые облака. Одинокий луч проник наконец через плотную завесу и упал на темно-зеленый, сморщенный, окоченевший лист. Лист согрелся, развернулся, готовый целиком отдаться теплу. Зубчатые края с лиловатой каемкой выпрямились; явственнее обозначились поперечные жилки. Лист раскрылся, как веер. На его стебельке уселась нектарница, пригнула его к земле, и он закачался. Птичка вспорхнула и улетела. Потревоженный лист затрепетал... Эх, побольше бы солнца! Лист медленно, как будто глубоко опечаленный, съежился и свернулся.

Выражение лица Какпо тоже изменилось. Он поднял голову и огорченно посмотрел на небо. Оно было закрыто тучами. Мальчик рассеянно оглянулся по сторонам...

— Вот и все, дети. Можете войти. У мадам все в порядке.— Фанта вышла из комнаты, держа под мышкой накрытый марлей тазик.— Кто это рисовал? — спросила она, кивнув на нарисованную на стенах фреску. В доме главврача она очутилась впервые.

— Дядя Лей. Ты знаешь, что это такое? — Какпо покинул свой наблюдательный пост и подошел к стене.

— Нет.

— Это история Африки,— объяснил Гезо, закинув руки за голову.

Фанта, втайне питавшая к художнику нежные чувства, считала рисунки великолепными. Она прошла по веранде, внимательно рассматривая картины. Мальчики вбежали в дом.

— Здравствуйте, мадам.

— Здравствуйте, дети.

Шарлотта перебралась сюда накануне вечером. Доктор уступил ей свою спальню, а сам расположился в одной комнате с сыновьями. С их помощью он в тот же вечер уговорил Шарлотту составить список нужных ей вещей и отправился за ними. Полулежа на двух подушках, Шарлотта причесывала волосы, свернув их высоким пучком на затылке. На ней была ночная рубашка, поверх которой она надела кофточку.

— Где ваш отец?

— В больнице,— ответил Гезо, усаживаясь на стул.

В комнате стояли диван с полочкой, уставленной книгами и журналами, тумбочка с ночником, книжный шкаф, стол. Над дверью висела увеличенная фотография мужчины и женщины, над нею — портрет Тангары в белом халате, рядом с ним — карточка Гезо в младенческом возрасте; ребенок был снят в классической для малышей позе — голенький и на животике.

— Вам больно, мадам? — спросил Какпо, остановившись в ногах кровати.

— Немного. Но я встану.

— Знаете, с нами живет еще Мань Комбети. Мы зовем ее тетей,— сообщил Какпо.

— Нет, не знаю. Где же она?

— Тетушка Комбети? Ушла в джунгли. Па говорит, что она многое знает... Но она не умеет читать.

— Тебе же не велят говорить «па»,— вмешался Какпо.

— Папа,— поправился Гезо, усаживаясь поудобнее.

— Чем вы обычно занимаетесь по утрам?

— Повторяем пройденное. Па... Папа сказал, что, если мы получим свидетельства об окончании школы, он повезет нас во Францию. Знаете, я ведь родился во Франции, в Монпелье. Но рос в Париже. В Африке я всего два года. В Париже я познакомлю Какпо с моими товарищами. Он никогда не видел снега.

— Подумаешь,— уронил Какпо.

— Хотите поработать вместе? Я буду вам диктовать...

— Да, мадам, конечно,— охотно отозвался Гезо.— Пошли возьмем тетради.

Они выбежали из комнаты и через несколько минут вернулись с тетрадями.

— Возьмите, пожалуйста,— Гезо протянул Шарлотте хрестоматию Мамаду и Бинета *.

Шарлотта села повыше. Дети устроились за столом. Она взглянула на них и встретила устремленный на нее взор Какпо. В его глазах можно было прочесть и неприязнь, и любопытство, и какое-то другое чувство, определить которое она затруднялась. Ребенок всегда был с нею сдержан — и когда приходил в больницу, и вчера, в присутствии отца. Она повторяла про себя непривычные имена детей. Как долго придется ей прожить с ними? Этот вопрос заставил ее призадуматься. Раньше туземные имена казались ей неотъемлемой частью экзотического ландшафта. Немногие африканцы, с которыми ей довелось встречаться, носили христианские имена — их звали Реми, Андре, Робер, Леонид,— и она видела в этом признак их принадлежности к той же цивилизации, к которой относила себя, своих дедов и прадедов.

В школе Шарлотта увлекалась историей своей страны, гордилась ее прошлым, ее гением. Величие и безграничная самоотверженность умиротворителей льстили ее национальному самолюбию. Отраженное сияние их славы, подвигов, замечательных свершений белой расы падало и на нее, ставило ее в привилегированное положение. Однако в глазах Какпо она увидела нечто такое, что перевернуло вверх дном ее прежние понятия. В них пылал огонь, неяркий, но способный вызвать огромный пожар. Неужели в этом ребенке действительно кроется такая сила? Или где-то в тайниках ее души зарождается новое чувство, о котором она и не подозревала? Шарлотта не могла бы на это ответить...

— Ну как, приготовились?

— Да, мадам,— с готовностью отозвался Гезо.

Шарлотте хотелось услышать ответ Какпо. Она спросила:

— А ты, Какпо?

— Я готов, мадам.

Он даже не обернулся. Ей видна была только его спина. Он сидел, прилежно нагнувшись над тетрадкой, с авторучкой в левой руке. В его позе, в молчании было столько неодолимой силы, что она невольно снова заговорила:

— Ты пишешь левой рукой? Так нельзя!

— Почему, мадам? — спросил Какпо, не посмотрев в ее сторону.

— Получится некрасиво.

— Но я всегда получаю очень хорошие отметки по чистописанию... Я умею писать правой рукой тоже. Но пишу ею очень плохо...

— Он говорит правду, мадам. Ему никогда не делают замечаний,— добавил Гезо.

— Хорошо! Начнем. Пишите...

■

— Доктора Тангару, пожалуйста,— произнес чей-то голос.

— Доктора Тангару,— повторил сидевший в приемной регистратор и, узнав полковника Люка, поспешно сказал: — Прошу прощения, полковник. Пойду поищу его. Я сейчас вернусь,— обратился он к другому работнику, снимая халат.

* Учебник для африканских школьников.

Альбер Люк в сопровождении де Ломбара и комиссара Рауля двинулся вслед за черным. У дверей врачебного кабинета толпился народ, и они шли, перешагивая через ползавших по полу младенцев. Шум в коридоре стих.

— Подождите здесь, полковник. Я вызову доктора Коффи.

— Здравствуйте, господа! Что вам угодно? — спросил Коффи.

— Попросите доктора Тангару, пожалуйста.

— Он на операции. У вас что-нибудь срочное?

— Да... и нет,— ответил Люк.— Капитан и комиссар хотели бы осведомиться насчет мадам Фор.

— Его нельзя сейчас отрывать. Может быть, вы подождете?

— Я хотел бы побеседовать с мадам Фор. Это возможно?

— Думаю, что возможно. Она лежит в квартире доктора.

Белые переглянулись с нескрываемым удивлением.

— Вот как! — заметил капитан.— Как туда пройти?

— Полковник знает дорогу.

— Можно ли заодно повидать Реми Согло? — спросил Ги де Ломбар, в упор посмотрев на Коффи.

— Да, можно и это.— Коффи спокойно выдержал взгляд капитана.— Бину, проводи этих господ к Реми Согло, двадцать восьмая койка в третьей палате...

— Передайте доктору, что мы будем ждать у него дома,— добавил капитан уходя.

■

Диктовка была закончена. Шарлотта начала исправлять ошибки. В это время в комнату вошли трое мужчин.

— Мы постучали, но никто не ответил, поэтому мы решились войти. Приносим свои извинения, мадам,— сказал Ги де Ломбар.— Дети, уйдите!

Какпо поднял голову и посмотрел на капитана. В полузакрытых глазах бушевал гнев. Он пристально взглянул на Шарлотту. Она ответила ему тем же. Выходя из комнаты вслед за Гезо, Какпо снова посмотрел на пришельцев.

— Негритенок плохо воспитан. По туземным обычаям, ребенок не должен смотреть взрослым в глаза. Да, они быстро теряют свою индивидуальность. Право же, это достойно сожаления,— непринужденно заметил полковник и, сразу изменив тон, спросил.— Как ваше здоровье, мадам Фор?

— Хорошо. Садитесь, пожалуйста.

Шарлотта рукой указала на стулья. В ее движении еще чувствовалась болезненная слабость. Тетради и книгу она положила на кровать и натянула на себя одеяло.

— Так вы хорошо себя чувствуете? — осведомился комиссар, который уселся в другом конце комнаты и облокотился на книжную полку.

— Хорошо...

— Разрешите представить вам капитана Ги де Ломбара.

— Мое почтенье, мадам,— церемонно поклонился офицер.

— Рада познакомиться с вами, мосье...

— Мы постараемся не утомлять вас, мадам. Не можете ли вы рассказать, что вам известно об исчезновении вашего мужа?

— Я уже говорила комиссару. Антуан поехал вместе с Реми на несколько дней в заповедник. Через три дня Реми вернулся один, в совер-

шенно непонятном состоянии. Он не мог вымолвить ни слова. Изо рта выступала пена. Единственное, что мне оставалось, это отвезти его в туземную больницу. Но едва я сюда доехала, у меня начался приступ аппендицита. И с тех пор я здесь...

В голосе Шарлотты сквозила усталость.

— Кто первым сообщил вам о гибели мужа?

— Комиссар. Потом уже доктор рассказал, что ездил в заповедник и никого не нашел в нашем доме. Тогда он предупредил власти.

— Говорил он вам об этом еще что-нибудь?

— Нет, капитан.

— А его помощник? Как его зовут, полковник?

— Коффи говорил с вами о чем-нибудь?

— Нет, никогда. Он приходил вместе с доктором...

Капитан, с минуту поколебавшись, задал новый вопрос:

— Вы раньше были знакомы с доктором?

— Конечно. Он бывал у нас в заповеднике,— поспешно сказала Шарлотта, как бы желая отвести тень подозрения, которое почувствовала в словах де Ломбара.

Разговор был ей неприятен, в глубине души она сейчас горько сожалела, что согласилась лечиться в квартире доктора и лежать на его кровати.

— Прошу извинить меня, если вас шокируют мои вопросы. Меня вынуждает к этому служебный долг. Скажите, доктор был другом вашего мужа или вашим лично?

— Мужа. Нет, вернее, он был нашим общим другом. Он однажды лечил Антуана, меня тоже осматривал. Он меня предупредил, что возможен приступ аппендицита.

— И посоветовал в этом случае обратиться к нему?

— Нет,— воскликнула она. И уже тише добавила:— Этого он не говорил.

Шарлотта умолкла, и постепенно ее возбуждение улеглось, лицо приняло обычное выражение. Она решила, что лучше всего объясниться раз и навсегда, и уже спокойно стала рассказывать:

— Когда доктор искал в заповеднике лекарственные травы, он иногда заходил к нам. Но только однажды провел у нас ночь. Да и то в сезон дождей. Антуан в это время не мог совершать объезды, мешала растительность. Антуан хотел во что бы то ни стало привлечь доктора к созданию лиги защиты африканской фауны...

— Доктор был за создание лиги или против? — перебил ее, закуривая, Ги де Ломбар.

Шарлотта с жадностью посмотрела на сигарету. Он, заметив ее взгляд, протянул ей пачку, дал прикурить.

— Ни за, ни против,— ответила она, затянувшись и выпуская тоненькой струйкой дым.— Доктор считал, что с точки зрения науки никто не имеет права уничтожать какую бы то ни было породу животных или человеческую расу, не рискуя при этом нарушить существующий в природе порядок вещей.

Она нервным движением поднесла сигарету ко рту, затянулась, выпустила кольцами дым и продолжала:

— Второе утверждение доктора сводилось к тому, что туземцы не могут отказаться от охоты. Он говорил, что для них это вопрос жизни. Они хотят есть, и вполне закономерно, что они охотятся. И поэтому он не может примкнуть к лиге, о которой мечтал Антуан.

Капитан наблюдал за Шарлоттой. Все молчали.

— Короче говоря, он относился к деятельности вашего мужа отрицательно. Но независимо от этого, говорил он о политике?

— Как и все. Обменивался мнениями с Антуаном.

— А помощник вашего мужа?

— Реми? Он часто бывал вместе с Антуаном. Мне кажется, они ладили между собой. Реми посвятил Антуана во все тонкости дела.

— Последний вопрос. Говорил ли вам доктор о газете? О статье, касающейся вашего мужа и написанной сторонниками ответа «нет»?

— Не говорил.

— Как же получилось, что вы очутились здесь? Вы просили доктора об этом?

— Нет. Меня пригласили дети. И вчера вечером доктор сказал мне, что, рассуждая логически, меня следовало бы перевезти в европейскую больницу, но так как меня никто не затребовал, как он выразился, он предпочитает, чтобы я оставалась тут.

— Вы сказали, что дети...

— Да, дети первые заговорили со мной об этом.

— Не понимаю,— пожал плечами полковник.

— Дети ежедневно приходили ко мне после обеда; мне здесь нравится больше, чем в общей палате.

— Где спит доктор?

— Доктор? В детской.

— Но ведь есть еще одна комната,— заметил полковник.

— Там живет какая-то туземка, как мне кажется. Ее сейчас нет. Надеюсь, капитан, вы без всякой задней мысли спросили меня, где спит доктор?

— Видите ли, мадам, я должен сказать, что гибель вашего мужа — далеко не обычный случай. Стоит вопрос о нашем пребывании в Африке. Ну что ж, дадим вам отдохнуть.

Мужчины поднялись и вышли на веранду.

Гезо тут же юркнул в комнату Шарлотты. Какпо держался по-прежнему серьезно. Его лицо выражало недовольство, брови хмурились. Глаза снова встретились со взглядом полковника. Он медленно вошел в гостиную и, как часовой, уселся у порога.

— Что это за мазня? — спросил капитан, показывая на фреску.

— Творение Лея. История Африки в картинах. Вот, посмотрите! Здесь — старинные города, возникшие еще до рабства. Ниже — негритянские корабли. А тут вот — охота на черных. Видите — белый священник, черномазый царек, подражающий во всем белым. На этой картине — пойманные негры, они в ошейниках и скованы цепями. На священнике — крест, а под сутаной он прячет цепи. Три вертикальные черты — символ трех веков. Дальше — колониальное господство, принудительный труд, опять корабли, они вывозят местные богатства, оставляя после себя обреченное на смерть население; на последней картине «Новая Африка» — гора скелетов, а на ней вырастают головы, руки, умеющие пользоваться хирургическим ножом, компасом, пером, молотом, рубанком и мотыгой... И, наконец, черная звезда, девушки катят ее по мосту...

Пока полковник излагал содержание картин, они обошли втроем весь дом.

— Неужели никто не догадался замазать эту пачкотню? — взорвался Ги де Ломбар.

— Трудно преследовать картины, капитан,— ответил комиссар.

— И вы еще сомневаетесь насчет доктора!

— Сейчас такие изображения можно увидеть во многих домах. Лей охотно рисует их,— объяснил полковник.

Они уселись на крыльце, ожидая возвращения доктора.

IX

Спички и сардины

Война плакатов шла беспрерывно. В помещении Фронта царило оживление. Сторонники «нет» приходили, брали материалы, шли дальше. Они покрыли плакатами весь город — стены, изгороди, деревья, откосы. Трудно было поверить, что маленькая группка людей смогла быстро и успешно справиться с таким большим делом. Чем ближе подходило двадцать восьмое сентября, тем энергичнее они действовали.

Гомон на базаре постепенно утих, по площади бегали облезлые бездомные собаки, ковыляли калеки, нищие, они ссорились, вырывали друг у друга валявшиеся на земле отбросы, вороны и грифы опасливо клевали обглоданные кости. Умытое дождем небо посветлело. То и дело появлялись патрули, а в нескольких шагах от штаб-квартиры Фронта застыли на своем посту парашютисты.

Дверь в мастерскую Сори была на запоре, он, против обыкновения, работал, укрывшись от постороннего глаза.

■

— Безобразие! Сущее безобразие! Среди нас завелись воры. У меня стащили спички! Я настаиваю, я требую, чтобы мне их вернули,— бушевал Лей, с сигаретой во рту расшвыривая бумаги на столе.

За длинным редакционным столом сидели круглолицый Аттиньон, похожий на общипанную птицу Самюэль с костлявым лицом и острым подбородком, Нуру и Агемон. Их удивило непонятное возбуждение Лея.

— Возьми спички у курильщиков и перестань орать,— посоветовала ему О'Пае, прекратив стучать на машинке.

— Покажите ваши спички! — настаивал Лей.

— Уж не собираешься ли ты учинить обыск? Поднимаешь шум из-за какой-то коробки спичек!

— Собираюсь! Из-за коробки спичек! — Лей продолжал метать громы и молнии, упрекая товарищей в «отсутствии порядочности», по его выражению.

Вытянув шею и задрав кверху свою бородку, он с вызывающим видом в упор посмотрел на Аттиньона.

— Это ты, Аттиньон... Выкладывай свой коробок!

— Парень рехнулся, товарищи! Надеюсь, ты не станешь утверждать, что употребляешь спички специальной марки...

— Нет. Но у меня с утра исчезла уже вторая коробка. На моей была метка.

— Какая?

— Не торопись, не торопись. Я скажу какая, но сначала покажи свои спички!

— Давайте все ваши спички на стол,— скомандовал Самюэль и выложил свой коробок.

Остальные сделали то же самое.

— Так вот. В моем лежали горелые спички тоже. Я же вам говорил, что у меня стащили два коробка. А теперь посмотрим, что в ваших.

Он просмотрел лежавшие на столе коробки.

— Пожалуйста, вот эта моя. Откуда она у тебя, Аттиньон? Ты ведь пришел сегодня без спичек. И эта — тоже моя, Нуру.

— То есть как?

— А вот так!.. Эх вы, шайка воришек!.. Ну хорошо, так и быть, отдаю вам половину, поделите их между собой,— Лей успокоился, сел и закурил.— За работу, воришки!

— А ведь он здорово нас разыграл, земляки,— посмеивался Аттиньон.— А теперь оставляет одну коробку на столе.

— Когда вы наконец бросите курить? Пить у нас запретили, скоро запретят и курить. Надо соблюдать дисциплину! Вы же не только губите свое здоровье, вы позволяете капиталистам наживаться за ваш счет,— поучала товарищей Тьюмбе, занятая укладкой продовольствия в вещевой мешок; ей помогали два парня.

— Эх, землячка, сама понимаешь, что у меня на этот счет другая точка зрения... Без табака трудновато придется! Тебе-то горя мало, ты ведь не куришь... Но что будет с нами?..

— Скоро сами увидите,— возразила Тьюмбе.

— Лей, как твоя статья о строительстве загородных вилл? — Агемон озабоченно почесывал карандашом голову.

— Черновик готов, он у меня с собой, можешь прочесть. Нужные сведения я собрал. К воскресенью закончу.

— Хорошо. Приготовь ее к воскресному заседанию редколлегии. А я свою речь никак не закончу,— посетовал секретарь Фронта, перелистывая книгу дежурств.— Послушай, Тьюмбе...

— В чем дело?

— Извини! Я хотел сказать — О'Пае. Ты не знаешь, О'Пае, Коффи говорил с председательницей женской организации?

— Да, говорил,— ответила машинистка,— она согласна, но ее муж никак не решится. Может быть, стоит побеседовать с ним?..

— Идет! Я схожу к нему. Передай Коффи, что его ждут ребята из Объединенного союза студентов и трудящихся Черной Африки: он знает, в чем дело. Отъезжающие, как у вас с продовольствием, хватит? У нас остались еще сардины, коробок двадцать. Можете взять половину.

— Кстати, Грек доставил ящик сардин? — спросил Лей.

— Да, я ведь должен был забрать его. Совсем забыл,— признался Нуру.

— Сходи за ним,— и Агемон тут же отметил в тетрадке новое поступление.

— У него закрыто сейчас,— заметил «специалист по деревьям» Калилу.

— Ну что ж, схожу в два часа,— согласился Нуру.

— Заодно получишь у него пять пачек сигарет для меня. Нет, вы только подумайте, ящик сардин и пять пачек сигарет за картину! Где это видано?

Лей пожал плечами, подошел к Тьюмбе и отдал ей черновик своей статьи. Тьюмбе, Агемон и Самюэль углубились в чтение. Щели в крыше пропускали зимний дневной свет, он полосами ложился на утрамбованный земляной пол.

Аттиньон, Нуру и еще несколько человек окружили Лея, доказывая ему что-то шепотом. Лей снова вскипел:

— Нет, нет и нет! Можете и не просить! Я твердо решил не писать по-французски. Не потому, что не умею, нет, но не хочу обогащать чужой язык. Это не язык народа! Наш народ говорит не на нем! Картины — пожалуйста! Язык рисунков понятен всем. Спросите у грека, он подтвердит!

— Ты говоришь чепуху! — заявил Аттиньон.

Он очень любил художественную литературу и вот уже несколько месяцев тщетно уговаривал Лея отказаться от необдуманного решения. И сейчас Лей, не желая его слушать, отошел к столу. Но Аттиньон не

отставал от него, продолжая сверлить художника своими маленькими глазками. Он заговорил громко, так, чтобы слышали все.

— Разве ты откажешься ездить на машине под тем предлогом, что она французской или другой иностранной марки? На какой-то сравнительно долгий переходный период мы вынуждены пользоваться французским языком. Ладно, поговорим о твоих картинах Слов нет, они нас кормят. Продаем картину, другую, а на эти деньги покупаем бумагу, сардины и тому подобное. Не спорю, мы существуем за счет твоих рисунков. Но кто их покупает? Грек. Он перепродает их. Кому? Африканским полубуржуям, европейским туристам, которым нужна экзотика. Здесь висела твоя картина «Харматтан». Она продана...

Аттиньон вышел на середину комнаты, выпрямился:

— Поговорим теперь о твоих стихах. Не забывай, что ты не только поэт, но и член партии, которая ко всему подходит диалектически. Кто читает твои произведения? Народ. Их переводят на сотни языков, их читают в Дагомее, в Нигере, в Чаде, в Конго, в Сенегале, даже в Мавритании. Молодежь повсюду твердит наизусть твою «Шальную Африку», при этом в ее глазах пылает пламя свободы... Пойми, ты должен писать.

— Аттиньон, ты тупица.

— И тем не менее вступаю в вашу партию. Тьюмбе, прошу рассмотреть мое заявление...

Лей не сдавался:

— Черта с два! Я перед множеством людей заявил, что по-французски писать больше не буду. Я пишу для газеты только потому, что иначе ее не сделаешь. Ты тут вспоминал «Шальную Африку» Очень рад, что она постепенно доходит до сознания каждого. Но теперь — я художник, и баста! Когда у тебя появится свой дом, позови меня! Изображу тебе в картинах историю Африки и денег не возьму. Но я не намерен больше обогащать французский язык...

— Ты спятил, Лей! — Аттиньон беспомощно развел руками, как бы признавая свое бессилие и прося поддержки у остальных.— Пойми, наконец, мы ведь тоже хотим знать...

Самюэль отделился от группы, окружавшей Тьюмбе, и оглядел всех. Стало тихо.

— Выслушайте меня!.. Прекрати стучать, О'Пае! Наш журналист отказывается писать стихи. Почему? Он же не отказывается излагать свои мысли в статьях на французском языке...

— Скажите, уж не ради ли меня вы устроили здесь сегодня собрание? Целый год никто даже не заговаривал о том, чтобы я написал книгу, а теперь в ваших башках созрела гениальная идея. Вы нежиданно затосковали по литературе.

— Если говорить правду, то собрались мы не для этого,— очень спокойно ответил Агемон, усаживаясь за стол и вертя в руках лежавшие на нем спички. Лей поспешил отобрать их у него.— У меня, скажем, есть заветная мечта... Хочу стать ученым-агрономом. Меня лишили стипендии из-за моих выступлений на французском языке... Допустим. . Я понимаю, конечно, что ограничиваться мечтами нельзя. Надо собственным трудом добиваться цели. Надо изучить природу и свойства почвы, семян. Такую же мечту лелеют врач и каменщик, кузнец и профсоюзный работник. В каждом деле надо уметь распознавать причины неполадок и устранять их. Но кто может изучить не профессию, а человека, его душевное состояние, его достоинства и пороки? Кто может раскрыть перед нами картину будущего? Разве не писатель может лучше всех рассказать об этом, о победе, которая нас ждет? Только он в состоянии разобраться в сознании каждого — агронома и врача, кузнеца и сапожника, и людей, которые правят нами сейчас. Писатель — не обособленное существо, он воплощает в себе все многообразие народа. Лей, твои родите-

ли — сенегальцы, ты родился здесь... Но Сенегал — лишь одна из многих частиц нашей Африки, частица со своими особенностями... Ты отвечаешь за единство нашей родины, Лей. Из всех наших особенностей ты должен создать единый сплав...

Агемон поднял голову, его глаза рассеянно блуждали по комнате, мысли были далеко. Лей напряженно смотрел на него, позабыв, что все ждут его ответа. Агемон между тем дружеским тоном продолжал:

— Я мало читал на своем веку — и сожалею об этом. Но твой сборничек стихов «Шальная Африка» у меня есть. Он неприятно поразил меня, да и всех наших ребят, находившихся тогда во Франции. Да! Больно слышать, когда нашу родину сравнивают с гулящей девкой... Это оскорбляет, ранит национальное достоинство. Но теперь, присмотревшись к действительности во время кампании референдума, я понял, что ты прав. Недаром у нас существует поговорка: «Смолоть зерно и тут же жадно проглотить его — не привычка, а дух времени...»

Агемон в волнении развязал галстук. Окружающие ждали, что ответит ему Лей. Молчание прервала Тьюмбе. Она положила на стол исписанные листки, которые держала в руках, и сказала:

— Хорошая статья. Она произведет впечатление. Я имею в виду ее политический смысл. Предлагаю немедленно размножить ее и изготовить специальные экземпляры для лесных деревень.

Лей, внешне равнодушный, подошел к машинистке:

— Ну-с, женщина, как себя чувствуешь?

— Как в первый день сотворения мира,— ответила О'Пае, энергично передвигая каретку.

— Говорят, Тангара поместил эту мадам Фор у себя дома...

— Да. Я уже написала ответ на его письмо о выходе из Фронта. Скажи, почему ты ни с кем не встречаешься? Полагаешь, что живопись и партийная работа могут все заменить?

— Ты же знаешь, у меня есть Номе, моя натурщица.

— Брось, всем известно, что между вами ничего нет. Номе твоя натурщица, и только. Я хочу сказать, что тебе надо жениться. Женишься и останешься здесь, не к чему будет возвращаться в Сенегал.

— Ты не возражаешь, если я заменю тебя?

— Не возражаю.— Она встала из-за стола, уступила ему место.

Мерно стучала пишущая машинка. Минуты бежали. Самюэль кончил читать статью, которую передала ему Тьюмбе, и громко заявил:

— Статья такая же хорошая, как и «Агнцы Авраамовы». Даже еще лучше. Надо отпечатать сотни экземпляров, изготовить плакаты. Пусть народ знает. Где Лей? — Он подошел к художнику и хлопнул его по плечу. Он радовался, как ребенок, получивший замечательную игрушку.

Сначала Лей с прежним деланно-равнодушным видом продолжал печатать на машинке, но потом не выдержал и спросил:

— Агемон, пятнадцать минут еще не наступили? — это был намек на четверть часа, положенные на курение и отдых.

— Лей, бери восковки,— вместо ответа распорядился Агемон.— А ты, Тьюмбе, получишь через час нужное количество экземпляров для джунглей.

— Сейчас закончу, осталась одна строчка... Текст надо сверить...

— Не к чему. По крайней мере, те экземпляры, что я возьму в лес,— возразила Тьюмбе, запихивая в мешок продовольствие и маты.— О'Пае, где Коффи? Ему пора быть здесь.

— Он должен прийти с минуты на минуту. Сколько вы пробудете в лесу?

— Все зависит от обстоятельств. Первая группа уже там.

Работа дружно закипела. Сняли с ротатора чехол, запустили его, Нуру прилежно вертел рычаг. Самюэль возился рядом.

— Передай-ка мне восковку,— попросил его Лей — Как видишь, скромностью я не отличаюсь, радуюсь, что моя писанина понравилась. Ты, надеюсь, меня понимаешь?

— Ты будешь писать, не правда ли?

— Я могу сообщить тебе интересную новость: я не поеду ни в Сенегал, ни в Гвинею. Еду в Ташкент...

— В Ташкент?.. Зачем?

— Я буду присутствовать на конференции писателей стран Азии и Африки. Мне прислали делегатский мандат. Как писателю, вернее, как поэту.

— Так вот отчего ты сегодня такой! Где состоится конференция?

— Я же сказал: в Ташкенте.

— Я спрашиваю, где он находится?

— Я и сам не знал. Посмотрел на карте. Это столица Узбекистана.

— Замечательное путешествие! Каким путем ты едешь?

— В Аккре сяду на самолет до Каира, потом Каир—Рим—Прага—Москва—Ташкент. Я никогда еще не летал.

— Рискованная штука! Аварии бывают частенько.

— Сам, оставь его в покое, пусть работает,— рассердился Агемон.— А если тебе нечего делать, возьмись за лозунги, пора кончать.

— Я пойду в мастерскую,— заявила Тьюмбе.

— Хорошо.

■

Носком стоптанной туфли Тьюмбе пять раз стукнула в дверь. Сори открыл и, впуская ее, окинул беглым взглядом площадь. Вдали маячили стрелки и парашютисты. Он запер дверь изнутри и забаррикадировал ее.

— Как дела? — спросил он, убирая со скамьи разложенные части.— Садись сюда.

Сори был не один. Маига разбирал машину, Дигбе чистил раму дамского велосипеда. Охотник уже три дня работал в мастерской, однако с новым окружением еще не освоился. Наделенный от природы наблюдательностью и терпением, он ко всему внимательно приглядывался.

— Как работается? — спросила Тьюмбе, чтобы нарушить воцарившееся молчание.

— Надоело сидеть взаперти. Дышать нечем,— пожаловался Сори.

— Пойми, «они» интересуются тем, откуда мы берем деньги. Если разнюхают, хлопот не оберешься. Потому тебе и велели держать дверь на запоре... Потерпи день-другой. Не так уж долго осталось ждать!

Тьюмбе говорила почти просительным тоном. Это было ново.

Девушка и Сори вели себя очень сдержанно, оба знали, что им осталось пробыть вместе считанные минуты. Светлые, с желтоватым отливом глаза Сори выражали глубокую нежность.

— Так решили... потому что правильно рассчитали. Не надо ворчать,— возобновила разговор Тьюмбе не столько из желания убедить его в пользе принятого партией решения, сколько стремясь уйти от вопроса, который волновал обоих.

— Я предпочел бы участвовать в кампании более активно, а не торчать весь день в этих стенах.

— Я понимаю! Но ведь нам нужно на что-то существовать. Это не менее важно, чем проводить митинги. Вы оба кормите секцию. У меня не осталось ни гроша. Деньги за отпуск я получила вперед. Коффи тоже дает. Но этого не хватает. Правда, нам не так уж много нужно. Вот тебе и приходится торчать тут...

— Мне все-таки хотелось бы активнее участвовать в борьбе. Передай мне маленький ключ... Нет, вон тот...

Тьюмбе посмотрела на пальцы мастера. Они были длинные, ногти испачканы в машинном масле. Она могла думать только о том, что он скоро уедет. Куда? В Сенегал? Гвинею? Слова застревали у нее в горле. Глаза горестно расширились. Она искоса наблюдала за движениями его пальцев. Интересы Африки были для нее дороже личных дел, она не имела права удерживать его, и это сознание собственного бессилия мучило ее, сковывало ее волю. Они старались не смотреть друг на друга и говорили о чем попало. Ночью им было легче, ночью глаза не выдавали чувств, можно было побороть дрожь в голосе. А день, дневной свет стал врагом, с ним надо было бороться, чтобы не предать себя.

— Когда вы едете?

— В лес?

— Да.— Желтоватые глаза Сори ласкали грудь девушки.

— Сейчас. Там заканчивают номер о виллах, делают от руки плакаты для вас, их надо будет расклеить. Ты слышал, что Лей едет...

Она испытывала потребность говорить, заставить его слушать, чтобы рассеяться, забыть о предстоящей разлуке.

— Когда он собирается в дорогу?

— Вероятно, после референдума, двадцать восьмого вечером.

— Так! Значит, с вами он не едет.— Сори решился взглянуть ей в глаза.— Будь осторожна в лесу. Помнишь, как там обошлись с товарищами? Велосипед с собой берешь?

— Нет.

— Вот и хорошо! Я тем временем подрегулирую мотор.

— Я даже не знаю, где велосипед.

Она обхватила руками колени, сгорбилась. «Застану ли я его здесь, когда вернусь?» — думала она.

— Дождись меня... Не уезжай.

Сори поднял голову. В углу рта промелькнула улыбка и тут же исчезла. Он ответил не сразу:

— Я не уеду... пока. Куда я денусь? И вообще, так я не поступлю!

Тьюмбе обрадованно вздохнула. Она поняла. «Ты ведь мне не безразлична»,— говорил Сори.

— Я, кажется, немного поглупела,— заметила она, вставая, чтобы уйти, и опустила голову.

— Нет. Ты просто храбрее меня.

— Тьюмбе,— крикнул Маига,— я думаю, пора перекусить. Скажи там, пусть пришлют нам сардины. И передай Эль-Эй Этиану, что он мне нужен.

— На столе давно лежат сто франков,— заметил Сори.

— А ты... разве не поешь тоже? — спросила она.

— Я не голоден.

— Ты должен поесть! Нельзя же лишать себя даже самого необходимого. Маига, Эль-Эй Этиана нет, он еще вчера ушел в лес...

X

Новообращенный

Реакционные силы повели борьбу с удесятеренной энергией. Были пущены в ход войска, полиция, религиозные учреждения — церкви и мечети,— печать. Щупальца реакции дотянулись до всех жизненных центров страны: административные власти единым фронтом выступали против каждого, кто решался открыто высказать свое мнение; чиновников

отзывали, перебрасывали с места на место. Так называемая демократия, подняв забрало, приняла лишь один облик — облик насилия.

Господствующие элементы, стоявшие за спиной феодалов и представителей местной власти, сознавали близкий конец своего владычества. Очутившись в тупике, они уже не знали удержу. Напуганные губернаторы, чиновники, представители крупных фирм, все слуги международного капитала вытащили на свет пугало расчленения страны, они подкупали мелких руководителей, переводчиков, депутатов территориального собрания, не брезгуя ничем в стремлении утвердить и упрочить свое господство.

Злобно подняли головы все, кто привык распоряжаться множеством черных слуг, кто по происхождению причислял себя к господствующей расе и судорожно цеплялся за этот предрассудок. Они опошляли науку, используя ее в своих целях. Ученые мужи проливали крокодиловы слезы и ахали по поводу того, что, дескать, «машина обесчеловечивает черного человека». Лжегуманисты уныло, бия себя в грудь, твердили о «приниженности черного человека», скорбели о прежней средневековой Африке. Они восхваляли ее былую красу. А сами втихомолку, в своем тесном кругу, лихорадочно следили за судьбою акций на биржах Парижа и Лондона, Рима и Нью-Йорка.

Святая римская церковь старалась пробудить панику в сердцах новых адептов. Духовенство служило торжественные мессы в честь африканской богоматери и тоже печалилось о грядущей судьбе глубоко верующего «черного человека». Оно подстрекало и запугивало фанатиков, звало их оказывать психологический нажим на людей, угрожать им вечной погибелью. Новообращенные в католическую веру причитали над судьбою Африки. «Что станется с голодной Африкой, в которой мать и дочь, отец и сын работают с песней?» — вопрошали они.

Африка — земля, на которой человек сотворил бога! Она в гигантском порыве восстала, пробудилась к настоящей жизни. Поднялись ее дети, потрясая мир своей силой, упорством, решимостью. Повсюду рухнула многолетняя, многовековая пора угнетения, несправедливых притеснений. С ростом самосознания отходили в прошлое прежний образ жизни, древние законы, правившие племенем и кланом, исчезало также всеобъемлющее право старшего в роде — право, дававшее когда-то неограниченную власть.

■

Из собора на паперть вышли проповедники в пестрых повязках, облаченные в тоги или длинные куртки без рукавов; всего человек шестьдесят.

Они возвращались к семьям после многодневного уединения в семинарии. К уединению их призвало духовенство, сам архиепископ и его помощник подали им пример. Они вознесли молитвы за детей африканского народа, очистились от грехов, укрепили свою веру и стойкость. В ушах проповедников еще звучали наставления архиепископа, который предостерегал их, предупреждал о деятельности антирелигиозных элементов, напоминал, что ряды язычников, марксистов и атеистов все растут, а мусульманская религия без помощи миссионеров вербует новых верующих.

Жозеф Коэбоги спустился с паперти и пошел к туземным кварталам вместе с двумя другими членами конгрегации. Все трое носили на шее крест новообращенного и значок, дающий официальное право произносить проповеди и причащать умирающих.

— Как ты себя чувствуешь, брат Жозеф? — спросил его шедший справа спутник, закутанный в плащ, который он застегнул огромной

булавкой; его тщательно выбритый череп блестел, тяжелые челюсти выдавались вперед.

— Я в полном здравии и тороплюсь домой,— ответил Жозеф Коэбоги; он был худощав, голову его украшал шерстяной колпак с красными и синими поперечными полосками. У рта залегли две глубокие морщины; на щеках виднелись вертикальные шрамы, по три на каждой, на подбородке торчал жиденький пучок волос. Он шел выпрямившись, короткие брюки с узкими штанинами обвисли сзади и при каждом шаге надувались и опадали, как кузнечный мех. Ноги были обуты в самара.

— У меня стало очень легко на душе,— елейным тоном снова заговорил спутник справа.— Ты торопишься, я тебя понимаю.— Он снова взглянул на Жозефа Коэбоги, но тот шел, устремив взгляд вперед, не поворачивая головы.— Когда монсеньер говорил о молодых атеистах, я думал, ты выступишь и кое-что скажешь.

— Я и сам об этом подумывал, брат Поль. Но мы с моей дочерью уже слишком давно почти не видимся и не разговариваем. Видит бог, я хотел бы развестись с ее матерью и остаться только с двумя женами. Но наша религия запрещает развод, да к тому же ее мать — моя старшая жена.

— У меня тоже в семье не все гладко. И не мне радоваться твоему несчастью, потому что ведь и в самом деле несчастье, когда дочь восстает против отца. У меня три жены, и это причиняет мне много забот. Моя христианская совесть не дает покоя... Жозеф, брат мой...— он с минуту помолчал.— Когда будешь беседовать с его преосвященством, доверься ему, расскажи о твоих бедах. Он поможет тебе, я уверен. Он же сам сказал: «Дети мои, если попадете в затруднительное положение, вспомните, что я здесь для того, чтобы вам помогать».

Они миновали центральный парк и повернули налево. По всему пути пестрели многочисленные надписи. Они были расположены одна за другой, в строгом порядке — чувствовалось, что здесь действовала опытная рука. Местами им попадалась нарисованная во всю ширину дороги карта Африки с черной звездой. Самые разные по размерам и по цвету лозунги призывали сказать «нет» на референдуме.

— Да поможет нам господь,— проповедник в ужасе перекрестился.

Все трое невольно поглядывали на надписи, хотя и старались сделать вид, что не замечают их. У входа в один из домов беседовали между собой три европейские женщины. Они посмотрели на новообращенных, на их медали и значки, проводили их долгим взглядом.

— Я сделаю так, чтобы дети пока читали только библию и катехизис.

— А я еще не решил, что буду делать,— заметил Жозеф Коэбоги.— Мне хотелось бы...

— Мы поможем тебе, дай только знать. Мы ведь первые африканские новообращенные,— добавил с гордостью спутник Жозефа, торопливо шагая рядом.— Его преосвященство говорит, что нам предстоит сыграть большую роль. Ведь если наши священники потерпят неудачу, страна будет отдана в руки мусульман, варваров, колдунов, международного коммунизма. Мы должны стать руководителями народа, его советчиками. И если тебе можно чем-нибудь помочь, скажи,— торжественно закончил он.

— Он говорит истину, брат Жозеф. Нам предстоит сыграть большую роль.

— Спасибо, братья мои! Принять решение легко. Но кто знает, какое окажется правильным? Одному богу известно...

Жозеф Коэбоги замолчал. Огромный кадык на его шее сильно выдавался вперед. Невольно казалось, что он проглотил саблю, которая встала у него поперек горла, и ее конец вот-вот выйдет наружу.

Они подошли к зеленой полосе деревьев, отделявшей европейскую часть города от африканской. Картина сразу изменилась. Здесь было грязно, кучами лежали нечистоты, в воздухе стояла вонь. В густой листве деревьев раздавалось пение птиц.

— А что говорит мать твоей дочери?

— Мать? У нее, как и у всех женщин, ум короток. Она ревновала меня ко второй жене еще задолго до того, как я перешел в христианскую веру. А когда появилась третья, стало и того хуже.

— Еще бы! Вечно у них одно и то же. Как только состарятся, так становятся дурами и надоедают вдобавок. Ревнуют к тем, кто помоложе! — воскликнул крепыш.

Лесок остался позади, показался туземный квартал. Перед ними лежало открытое пространство, на котором в беспорядке росли жалкие кусты, чахлая трава, копошились детишки и женщины, собиравшие съедобную зелень.

— Кроме того, мать Тьюмбе ничего толком делать не умеет. Я ее стряпню в рот не беру. Чего только она туда не намешает...

— Я тебя понимаю! Это невыносимо,— участливо обронил брат Поль.— Насчет референдума мне кое-что пришло в голову. Могу с тобой поделиться. Я сделал вот что...

— Говори же, брат Поль, прояви скромность, как того требует Христос.

— Я к тому и веду, брат Анри,— важничал Поль, перешагивая через рытвину на дороге.— Я хотел сказать, что с референдумом надо поступить так, как сделал я. Так как я ведаю участком, то собрал все бюллетени для голосования и двадцать восьмого сам опущу их в урну. Эту идею подсказал мне его преосвященство...

— Вот жаль, что я об этом не подумал,— признался Жозеф Коэбоги и тут же остановился.— Я сейчас пойду туда, в помещение Фронта.

— Молю бога, чтобы никто тебя не увидел,— заявил Поль, заранее вежливо отклоняя возможную просьбу пойти вместе.— Мне надо проведать моего наставника, он болен.

— Чуть не забыл... Мне ведь тоже туда надо,— Анри ткнул пальцем в сторону, противоположную той, где находился штаб Фронта.— Как это у меня из памяти вылетело!.. Так вот, брат Жозеф, если мы тебе будем нужны, тотчас же дай знать.

— Я вам сообщу. Во всяком случае, прошу вас, во имя создателя не рассказывайте никому про наш разговор. Даже при случае не надо говорить об этом ни монсеньеру, ни его помощнику или членам конгрегации.— Жозеф Коэбоги уже сожалел о том, что слишком разоткровенничался насчет своих взаимоотношений с Тьюмбе.

— Советую тебе глубоко продумать суть дела и действовать по справедливости. Прощай, брат Жозеф, будь здоров. Ты знаешь, где нас найти. Твой посланец может в любое время прийти за нами.

Жозеф Коэбоги продолжал свой путь в одиночестве, обдумывая по дороге все услышанное. Он был недоволен собой: не к чему изливать перед ними душу. «Зачем я так добивался их сочувствия?» — спрашивал он себя. Его мучило сознание, что он не в силах заставить дочь раскаяться или повиноваться ему. Он знал, что она руководит марксистской группой. В его глазах это был тяжкий грех. И кроме того, это мешало ему как проповеднику и старшему в роде. Его попытки обратить людей в новую веру и уговорить их проголосовать «да» наталкивались на непреодолимое препятствие: стоило ему начать убеждать кого-нибудь, и он сразу же слышал оскорбительно-иронический ответ:

— Коэбоги, прежде чем наставлять нас, посмотри, что делается у тебя под носом. Когда возделывают поле, то орудуют мотыгой там, где стоят. Твоя дочь — неверующая. Она советует нам проголосовать «нет».

Такой ответ унижал его достоинство «слуги господня», уязвлял мужское самолюбие и к тому же окончательно подрывал родительский авторитет. Он не знал, относится ли ирония к его роли главы семьи или проповедника, но ему неоднократно бросали в лицо этот упрек. Сегодня же Коэбоги прекрасно понял намек, прозвучавший в проповеди архиепископа. В голове назойливо вертелись слова его преосвященства: «Среди нас, в самом лоне церкви, у достойнейшего из наших братьев завелась в семье блудная овца. Разве не порождением дьявола являются сыновья и дочери, сеющие непокорность, отказывающиеся признать в Иисусе Христе нашего спасителя? Эта молодежь подрывает божественные установления... Нашим новообращенным, вооруженным словом божьим, следует поддерживать в своих семьях истинное согласие и веру в святую церковь...»

Жозеф Коэбоги понимал, что эти слова обращены к нему. В этом месте проповеди многие повернулись в его сторону. Он слушал с низко опущенной головой, взгляды собратьев жгли, как змеиное жало.

По дороге встречались знакомые, они здоровались, жали ему руку, он отвечал на приветствия, но мысли были заняты другим. Решительным шагом дойдя до базара, он некоторое время вертелся возле колониальной лавки, незаметно осматривая площадь. Ему хотелось увидеть кого-нибудь из членов Фронта. До него давно дошли слухи о том, что его дочь встречается с Сори. Его беспокоила мысль: «Что подумают люди, если увидят, как я наблюдаю за помещением Фронта?» Он решил, что лучше тут не задерживаться. Медленно и неуверенно он с бьющимся сердцем шел по направлению к штабу Фронта.

В дальнем углу площади шумели подростки. Из боковой аллеи показался солдатский патруль, шедший ему навстречу. Жозеф Коэбоги невольно посмотрел на свой значок, поправил висевший на шее крест. Потом вынул из кармана требник, раскрыл его и стал читать на ходу, не упуская, однако, из виду патруль и мастерскую Сори и украдкой наблюдая за всем, что делалось вокруг. От мастерской он был достаточно далеко, так что никто не должен был обратить на него внимание. Лишь поровнявшись с помещением Фронта, он, наконец, поднял голову. Высоко над деревьями колыхалось прикрепленное к шесту знамя.

Он сделал еще несколько шагов, остановился, подождал, заметил, что из помещения кто-то вышел, и не спеша двинулся навстречу.

— Эй!.. Сын мой,— позвал он и помахал рукой.

Калилу — это был он — тоже остановился.

— В чем дело, папаша?

— Сын мой, я хотел бы знать, не там ли моя дочь Тьюмбе?

— Тьюмбе... Тьюмбе...— протянул Калилу, рассматривая крест и значок.— Право, не знаю, уважаемый. Войди туда,— он кивнул на дверь,— там тебе скажут.

— Разве ты...

— Я тороплюсь,— прервал его Калилу и, уходя, добавил.— Да ты войди туда, уважаемый!

Не желая показывать свое смущение, Коэбоги пошел ко входу в помещение Фронта, обернулся по дороге и увидел, что незнакомец следит за ним. Тогда он, сделав еще шагов пять, выронил требник, нагнулся, чтобы поднять его, и быстро глянул назад. Калилу уже не было. Коэбоги выпрямился и пошел обратно, но в это время кто-то его окликнул:

— Отец Жозеф Коэбоги!

Сказано это было почтительным тоном, на местном наречии. Коэбоги обернулся.

— Ты, кажется, хотел войти, отец,— сказал Агемон.

— Нет. Я проходил мимо и думал увидеть Тьюмбе, но один из

ваших мне уже все объяснил,— ответил он, предпочитая не входить в подробности и напряженно прикидывая, не заметил ли Агемон его раньше.

Случайная встреча с Агемоном его не беспокоила. Он хорошо знал семью молодого человека.

Агемон обнажил голову и, здороваясь, протянул руку. Он видел, что старик довольно холодно ответил на его приветственный жест, и, надевая фуражку, добавил:

— Я как раз шел в твоем направлении.

— Как твой отец?..

— Живет с миром. С тех пор как я приехал, я все время помню, что должен нанести тебе визит вежливости. Даже сказал об этом Тьюмбе. Она мне ответила: «Мой отец сумеет оценить твою вежливость».

Агемон знал, что отец и дочь не разговаривают друг с другом. Их отношения напоминали ему смешной эпизод из фильма, в котором муж и жена жили в одной квартире, ели за одним столом и общались только письменно. Он добавил:

— Но я был так занят, что не имел времени навестить тебя. Сегодня же расскажу отцу о нашей встрече.

— Я слышал, что твой отец лишился должности?

— Да. Его уволили! Уволили за четыре года до выхода на пенсию... за его убеждения. Он отслужил тридцать один год. Меня самого уже два года назад лишили стипендии,— объяснил молодой человек.

— Да, такова жизнь, такова наша жизнь,— уклончиво заметил Жозеф Коэбоги, не поддерживая разговора, и искоса посмотрел на юношу.

Ему не хотелось оставаться в обществе Агемона. «Если нас увидят вместе, то скажут, что я веду двойную игру»,— подумал он и даже вспотел от волнения. Ему хотелось скрыться поскорее. Но упорство оказалось сильнее страха. Он заговорил:

— Почему вы не смягчаете свои выражения? Вчера в вашей газете оскорбили именитых лиц. У сенегальца злой язык. Он не задевает церковь прямо, но делает это намеками. То, что он говорит о священниках, очень невежливо. Очевидно, вы, местные уроженцы, ошиблись в выборе товарища.

— Отец Жозеф Коэбоги, я знаю, что ты проповедник. На религию никто не нападает. Но она служит людям, которые хотят нас разъединить. Мой отец — верующий католик. Религия — личное дело каждого. А Африка принадлежит нам всем.

— Возможно, ты говоришь правду. Почему же ваша компания не ходит в церковь? — спросил новообращенный, круто поворачиваясь к Агемону.

— Я могу говорить от своего имени, потому что среди нас есть люди разных убеждений,— я лично не хожу, вот и все. Каждый вправе верить или не верить.

— Вот ты побывал во Франции. Скажи, там все верующие? — Жозеф Коэбоги все время тревожно осматривался по сторонам.

— Ты ровесник моего отца, наверное, даже старше. Я не стану спорить с тобой. Но скажу, что знаю и что сам видел: нет, во Франции не все верующие.

— Пусть так,— проповедник благоговейно поднял руку, в которой держал требник.— Но учтивый сын должен повиноваться своим родителям,— добавил он бесстрастно, не повышая голоса. Он обращался к молодому человеку, но на самом деле вел разговор с отсутствующей Тьюмбе.— Пойми... Я говорю одно, Тьюмбе — другое. И я — в мои-то годы! — слыву обманщиком! Разве это учтиво, выставлять перед всеми своего отца обманщиком?

Агемон возразил:

— Повиновение родителям — священный долг. Но не следует превращать долг в принуждение.

— Я ее ни к чему не принуждаю,— сурово сказал отец. Он помрачнел, в глазах вспыхнули злобные искорки.

— Тьюмбе вправе иметь свои убеждения.

— Вот как! Но нельзя пользоваться этим правом, чтобы делать из меня лжеца. А она именно это и делает,— нервно сказал Жозеф Коэбоги.

— Случилось так, что вы оба отстаиваете совершенно противоположные взгляды. И если верно, как ты сам говоришь, что нужно почитать отца, семью и все святыни нашего племени, то ты, отец Жозеф,— я заранее прошу прощения за свои слова,— ты сам оказал неповиновение, став первым католиком в твоей семье, так же как и мой отец.

— Ох! — только и мог произнести оскорбленный Коэбоги. От волнения он потерял дар речи и некоторое время стоял с разинутым ртом. Потом с неожиданной живостью заявил: — Никогда не повторяй больше этих слов. Мои родители, может быть, и были правы, что верили в фетиши. Но они поклонялись ложным богам.

— Значит, ты считаешь, что они прожили свою жизнь в заблуждении и греховности? Грех — выдумка религии. В прежние времена грешников карали. В чем смысл затеи с проповедниками? Мракобесам понадобился приводной ремень для отвратительнейшей махинации. Они хотят посеять отчуждение, насадить в каждой семье реакционные элементы, чтобы помешать нам осознать свое национальное достоинство...

Агемон с трудом перевел дыхание. Сухо, чеканя слова, он продолжал:

— ...Почему мы должны ждать смерти, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы созидать? Где вы запаслись патентом на выкуп наших душ?

— Ты богохульствуешь,— возразил Жозеф Коэбоги. Он, не дрогнув, принял нанесенный удар, сдержал себя, всецело поглощенный мыслью о Тьюмбе.— Мне сюда,— заявил он и, забыв о правилах вежливости, поспешно ушел.

Агемон посмотрел ему вслед и прошептал: «Шальная Африка»! Надо предупредить Тьюмбе. Что у них произошло?»

Жозеф Коэбоги шел домой по одной из многочисленных улочек туземного квартала, покрытых серой бесплодной землей, утрамбованных дождями, изборожденных мелкими канавками, которые прорыли потоки воды. Местами почва осела и глинобитные изгороди наклонились; стены домов подперты пальмовыми стволами; по обе стороны — кучи отбросов ждут, когда случайный ливень смоет их, отнесет куда-нибудь подальше; на каждом шагу — лужи ржавой воды, затянутой паутиной; со всех сторон доносится оглушительный лягушачий концерт.

Он повернул направо, к своему дому, надеясь, что застанет там Тьюмбе. Дом с возвышающимся над ним белым деревянным крестом, окруженный высокими толстыми стенами, выглядел мрачно. Досчатая дверь вела через узкий проход во двор; по обе стороны — два ряда глинобитных строений.

Без единого слова приветствия, обычного по возвращении после более или менее длительного отсутствия, он направился к правому крылу одной из построек, туда, где находилась комнатушка дочери. На двери из оцинкованного железа висел замок.

— Принесите мне что-нибудь потяжелее,— приказал он двум женам, спешившим ему навстречу, чтобы, как велит им супружеский долг, приветствовать мужа.

Одна из них исчезла в землянке и быстро вернулась.

— Супруг, выражаю тебе свое уважение и разделяю с тобой твою усталость,— сказала она и протянула ему железный прут. Он всунул его между болтами. Болты поддались, дверь раскрылась. Подошли остальные обитатели дома и остановились, ожидая, что будет дальше. Номе, сводная сестра Тьюмбе, впилась глазами перепуганной лани в Ухигуэ, мать учительницы.

— Что ты делаешь, Коэбоги? Ты же знаешь, что Тьюмбе не хочет, чтобы к ней входили. Надо...

— Не Коэбоги, а Жозеф Коэбоги,— крикнул он, грозно подняв палец кверху.

Она испуганно умолкла.

В комнате девушки царил порядок. Там стоял стол и старая железная кровать; две доски заменяли книжную полку, под нею — раскрашенные ящики из-под бисквита, набитые газетами; на кровати лежала пачка «Борьбы» *.

— Уберите все это,— скомандовал Коэбоги, толкнув ногой ящики. Он сорвал висевшую на стене карту древних африканских империй. Раскидал постель, перевернул матрас, нашел там партийные билеты. Швырнул их на пол.

— Соберите их и сложите у меня в комнате. Ничего не трогайте! Не то...

Покончив со всем этим, он повернулся к Ухигуэ:

— Ты, кажется, недовольна? Дом мой. Я имею право войти в любую комнату. Может быть, твоей дочери это не нравится? Или тебе самой? А? Где это видано? Жить с людьми и не доверять им! Разве я запираю свою дверь?

Ухигуэ, чувствуя приближение грозы, молчала, опустив голову и дрожа от страха.

— Нечего опускать голову! Можно подумать, что ты и твоя дочь способны страдать от позора! Либо она будет меня слушаться, либо пусть убирается к бродягам вроде нее самой...

Ухигуэ, казалось, не слышала его слов. Остальные жены, довольные тем, что их соперница подвергается публичным оскорблениям, бросали на нее полные ненависти взгляды.

— Отнесите все ко мне,— велел Жозеф Коэбоги детям, которые перетаскивали книги и бумаги.— А эта комната пусть остается открытой. Вещи твоей дочери никому не нужны. Будь она козой, у нас развелось бы целое стадо! Пропащая девка, ее несет, как воду в реке...

Он грозно навис над матерью Тьюмбе. Ухигуэ стояла с покорным видом.

— Может быть, ты знаешь, где твоя дочь? — презрительно спросил он.

— Она сказала мне, что уходит в лес,— тихо ответила Ухигуэ.

— В лес с мужчинами!.. А зачем она туда идет?

Он и сам знал зачем. Перепуганная мать после короткого молчания, не поднимая головы, нехотя ответила:

— Для «нет».

И раз осмелившись нарушить молчание, к которому он ее принуждал, она тут же быстро добавила:

— Коэбоги!..

— Жозеф Коэбоги! Жозеф,— в ярости прервал он, взмахнув рукой.

— Жозеф Коэбоги,— робко повторила она, стараясь вспомнить, что хотела сказать: — Жозеф Коэбоги, ты же знаешь, что она ведет кампанию за «нет». Ты говорил с ней об этом.

---

* Издание Африканской партии независимости (марксистско-ленинской). *(Прим. автора.)*

Она снова умолкла, скованная страхом.

— Если бы мой отец, когда я был молод, выслушал меня, я никогда не взял бы тебя в супруги. Ни первой, ни последней женой. Мне достаточно было бы позволить твоему первому сожителю вызвать твоего отца на суд старейшин.

На его лице появилась властная оскорбительная усмешка.

— Коэ... ох, прости меня... Жозеф Коэбоги, не говори в присутствии детей такие вещи! Ударь меня, но не выдавай этой тайны в присутствии... перед...

— Перед твоими соперницами,— закончил он, уходя и злорадствуя оттого, что задел ее.— Они и так знают! Твой отец продал тебя моему отцу. Неужели ты воображаешь, что я добровольно взял бы в супруги такую, как ты, насквозь порочную женщину? Ты облизываешь губы, как змея, а твоя дочь родилась с глазом... мне даже трудно сказать, на что похож ее глаз... В твоей семье все порченые.

Он не спеша пошел к себе. Ухигуэ осталась одна под враждебными взглядами. Она облизнула нижнюю губу. И с трудом дошла до своей комнаты, хотя дверь была совсем близко.

XI

Свахи

Утро следующего дня прошло в хлопотах по дому. Деятельностью женщин руководила дежурная жена.

— Да будет с вами мир, добрые люди! — произнес кто-то у калитки.

— Да будет мир! — хором ответили женские голоса.

— Дома ли Ухигуэ?

— Она у себя, Мань Комбети,— ответила одна из жен.

— Да хранит мир ваш дом и все дома!

Мань Комбети сбросила на землю узел и прошла к дому.

— Ухигуэ, можно к тебе? — произнесла она, остановившись перед дверью, верхняя часть которой была завешена пологом.

— Да, входи.

— Почему ты сидишь одна? Здорово ли твое тело?

— Здорово. И душа моя в мире. Я как раз собиралась выходить. Добрый мир привел твои шаги сюда, Комбети. Да будет с тобой мир,— говорила Ухигуэ, надевая залатанную блузку.

Мань Комбети оглядела комнату. Возвышение из утрамбованной земли служило кроватью. Она была покрыта толстой, сантиметра в три, плетеной циновкой, поверх которой лежал кусок ткани. В одном углу стояли калебасы и корзины, в другом — кувшин с запасом воды. Над дверью были развешены фетиши. Свет проникал в комнату через квадратное окно.

— Мир со мной,— ответила Мань Комбети, усаживаясь на кровать.— Придя из деревни, я сказала себе: «Я должна повидать родных. Сколько месяцев прошло, а я не навестила их»,— виновато произнесла она.

— Ты хорошо сделала, что пришла. А люди в деревне, все ли они живут с миром?

— С миром, да...

— Да будет мир с ними!.. Недавно я как раз говорила Тьюмбе: «Мне надо собраться навестить матушку Мань Комбети. Я не видела ее с начала дождей». Но я все откладывала, не столько из-за моих больных ног — мне уже нелегко подниматься в гору,— сколько из-за людей.

Как только ты скажешь, что идешь в больницу, они теряют покой, они сразу думают, что ты больна. А ты, сестра моя, в мире ли душа твоя? (Они не были сестрами, но родились в одной деревне и были сверстницами, а потому называли друг друга сестрами.)

— В мире, сестра моя. А твой муж?

— В мире тоже.

— Человек велик только тогда, когда живет в мире. А наша дочь Тьюмбе?

— Мир с ней. Я как раз собиралась тебя спросить, не знаешь ли ты чего-нибудь о ней...

— Меня спросить? А разве с нею что-нибудь произошло?

— Успокойся. Мир с ней. Ты не дала мне договорить. Она пошла в лес из-за этой их истории с «нет». Я посоветовала ей заодно зайти к родным, в деревню.

— Ах, как ты напугала меня! Моя душа вновь обрела покой, как только ты сказала, что мир с Тьюмбе. Я действительно видела на деревьях и на хижинах их «нет». И потом я слышала, что молодежь пришла объяснять крестьянам, кузнецам, охотникам, как надо голосовать. Молодые очень бойки теперь.

— Слишком даже,— поддержала ее Ухигуэ, усаживаясь у двери.— Нет, дети в наши дни слишком, слишком бойки, Мань Комбети. Что теперь происходит? Я больше не знаю, как жить. Нынешняя жизнь ничем не отличается от прежней. Но она хочет приучить нас иначе видеть мир, иначе чувствовать. Иногда мне кажется, что молодые побеги тянутся не вверх, а, наоборот, тащат нас вниз. И тогда вокруг образуется полная пустота. Огромная пустота. Все начинает крутиться, не останавливаясь... А можно ли еще остановить этот вихрь? Теперь мне кажется, что это случится скоро. Но я убеждена, что такая остановка будет означать для нас конец всего. Конец нашего прошлого. Поэтому надо идти вперед.

Ухигуэ повернула голову, и ее профиль четко вырисовался на фоне окна. Взгляд был устремлен куда-то вдаль, в далекое небо, по которому медленно плыло пепельно-черное облачко. Потом она заговорила с каким-то отсутствующим видом:

— Когда я слушаю Тьюмбе, все становится простым и ясным. А как только я остаюсь одна, наедине со своими мыслями, точно тяжкий груз наваливается на меня, и все погружается во тьму. Я вспоминаю наше детство и сравниваю нас с нынешней молодежью, перебираю в памяти взрослых, наши дома, вижу солдат, белых и их кварталы, и я перестаю понимать. Сотни вопросов встают в голове. Тьюмбе мне говорит о завтрашнем дне, и я пытаюсь представить себе это будущее... А ты, тебя это не волнует? Ты не чувствуешь, что наступает что-то новое?

— Предки мои! Конечно же, да. Не знаю, как тебе объяснить. Словно я села в машину, которая едет все быстрее, которая несется все вперед и вперед. Вокруг все сливается, ширится и уходит куда-то — уходит навсегда. А что же изменилось? Наша жизнь, наша молодость, наши прошлые заботы не вернутся больше никогда. Да, никогда,— закончила Мань Комбети и посмотрела на Ухигуэ. Та сидела, прикусив кончик языка и глубоко задумавшись. Мань Комбети продолжала: — Сейчас многое из нашей прежней жизни кануло в прошлое... Я слушаю, что говорит доктор, и стараюсь как-то зацепиться за жизнь, чтобы не оказаться среди «живых мертвецов». Наши дети больше не наши дети. Они все время говорят о будущем. Мы в свое время говорили только о настоящем, не понимая, что жили в прошлом...

— Вчера... вчера...— дважды повторила Ухигуэ и замолкла. Она не решалась рассказать.— Вчера у нас была ссора с Коэбоги. Он взломал дверь комнаты Тьюмбе...

На улице заплакал младенец. Ухигуэ повернулась, и обе женщины долго смотрели во двор. По двору прошла утка с выводком утят. Ребенок продолжал плакать.

Ухигуэ сказала:

— Отец и дочь стали совсем врагами. Конечно, бывает, что люди ненавидят друг друга — из-за денег или просто так. Но между ними вражда гораздо серьезнее, а причину я понять не могу. Я бы отдала двух дочек за одного сына. Тьюмбе не такая, какими мы были в молодости — она все видит иначе. Я не хочу сказать, что мне нравится, как она видит. Но она судит слишком прямо и резко не только о других, но и о себе. Коэбоги ведь недавно обратился в христианскую веру. Он требует, чтобы все в доме носили крест и ходили в церковь. Я сама притворяюсь верующей, мне это легче, может быть, потому, что я постарше. Я делаю вид. А Тьюмбе не верит в бога. И не хочет притворяться. Она говорит с отцом, только если случайно встретит его во дворе. Отец верит в христианского бога потому, что это ему выгодно, это его кормит, и, правду сказать, не только его, но и всю семью. Тьюмбе отдает мне половину своего заработка, а из второй половины она часть отдает своей партии и лишь четвертую часть оставляет себе.

— Скажи, а твое материнское чувство тебе ничего не подсказывает?..

— Нет, нет... Я ничего не замечала. Просто поведение Коэбоги, его вчерашний поступок, когда он вернулся домой после долгого отсутствия, убеждает меня, что отец и дочь становятся все дальше друг от друга и что их терпению приходит конец. Что делать? Я думаю про себя: хоть бы она скорее вышла замуж... Тогда она уйдет из дома. Она чувствует, что ей придется покинуть меня. И когда мы остаемся вдвоем, я ее часто об этом спрашиваю. А она говорит: «Милая мама, куда же я могу уйти? Я родилась в этом доме. И потом, если я оставлю тебя здесь одну, с отцом и его другими женами, ты не выдержишь». Может, это так, а может, и нет, но мне кажется, что она вроде моего залога в этом доме.

Ухигуэ проглотила слюну.

Мань Комбети подумала: «Я не ошиблась. Такой убитый вид у нее недаром. Это облегчит мою задачу. Как бы удобнее расспросить ее? Предки мои! Не так-то легко выкорчевать из себя остатки прошлого!»

Вслух же она произнесла:

— Наша дочь не принесла нам всю радость, которую приносят матерям. Я полагала, что с этим механиком дело уже пойдет на лад. Я все ждала, ждала, как ждут урожая, посеяв соль.

Голос Мань Комбети звучал просто и естественно, а глаза внимательно следили за тем впечатлением, которое производят ее слова. Надо прощупать положение, проверить, применим ли план, который она так тщательно разработала в последние дни.

— Я думала о тебе, сестра моя. Ты ведь для нее вторая мать. Ты первой обо всем узнаёшь. Вот уже два года, как я все жду. Каждую ночь я смотрю, как гаснут последние угли, и никто не идет...

— Я тоже думаю об этом. Наша дочь достигла возраста, когда она может принести счастье мужчине и сделать нас бабушками.

«Она пришла свататься. Кого же она имеет в виду? Ради кого ведет она этот разговор? Ради доктора? Говорят, у него нет жены. О, если бы это было так! Видят предки, я хотела бы этого!» — размышляла Ухигуэ, полная решимости довести дело до конца.

— Я не теряю надежды. Но Тьюмбе думает только о своей работе. Она образованна. Она руководит другими людьми. Она девушка с большими достоинствами. Став женой, хозяйкой, она сумеет показать себя еще лучше. В наши времена — ты помнишь нашу молодость? — мы меч-

тали помериться силами с молодыми людьми на полях. Теперь поля больше не интересуют городских девушек, они стараются получить образование, чтобы помогать затем своим мужьям. Видишь ли — я говорю с тобой, как с сестрой,— я вовсе не хотела, чтобы она досталась этому велосипедному механику...

«Предки мои!.. Как искусно она лжет! Да что я, первый день в городе, что ли? Что она воображает о своей дочери? А мой доктор? Он же начальник больницы! В этой сделке проигрываю только я. Говори же, говори! А там посмотрим... Я тебе такое скажу, что ты откусишь свой вечно болтающийся змеиный язык!» Мань Комбети откинулась назад, выставив свой пышный бюст; мягкие складки кожи кольцами разошлись вокруг шеи; с невинным видом она переплела пальцы.

— Предки мои! Разве же я не знаю, что наша дочь Тьюмбе — примерная девушка! Все знают это. Она образованна. Она учит детей в школе.

«Говори же, говори и скажи толком что-нибудь, наконец. Не томи»,— повторяла про себя Ухигуэ и, словно купчиха, у которой припрятан редкий товар, готовилась выставить напоказ скрытые достоинства своей дочери.

— Конечно, наша дочь должна найти себе супруга. Она достигла нужного возраста,— повторила Мань Комбети, тонко маневрируя.— В то время, как ее сводная сестра...

— Лишь горький плод для мужчины,— нравоучительным тоном подхватила Ухигуэ и ловким жестом поправила платок на голове.

«Она у меня в руках! Не успею я намекнуть, как она все выкладывает. Я и сама знаю, что Номе сумасбродка»,— шептала про себя Мань Комбети. Вслух же она произнесла:

— Ты прямо выкрала мои слова изо рта. Номе — это горький плод для мужчины. К тому же, можно ведь сперва выдать замуж младшую дочь.— Мань Комбети торжествовала, как стрелок, попавший прямо в цель.

— Прежде было так...

— Обычаи еще не совсем позабыты.

— Уж не прислал ли тебя кто-нибудь? Тьюмбе ведь и твоя дочь. И твой долг найти ей супруга,— не выдержала мать, чувствуя, что сдает позиции. Но ей не терпелось увидеть дочь, освободившейся от тирании отца.

— Можно сказать, что да.

— Я не спрашиваю тебя, кто он.

«О, она умирает от нетерпения узнать его имя! И притворяется, чтобы лучше выведать. Ты слишком глупа, если надеешься, что я так и выложу свои карты. Половину из того, что мне надо знать, я уже выяснила». Вслух же Мань Комбети произнесла:

— Я посетила много семей и выбрала пять молодых девушек. Теперь я должна передать результаты моих переговоров. Разумеется, выбрана будет только одна.

— Ты находишь какие-нибудь недостатки у нашей дочери? — спросила Ухигуэ.— Может быть, то, что один глаз ее кокетливо подмигивает другому...

— Ухигуэ! — не дала ей договорить Мань Комбети.— Как ты могла подумать, что я, ее вторая мать, стану делать упреки Тьюмбе? При ее красоте какое может иметь значение косой глаз?

— Узнаю слова настоящей матери. Но ты мне еще не сказала, кто же будет моим зятем. Я не собираюсь торопить тебя.

— Все узнаешь. А теперь мне пора в больницу. Ты, кажется, собралась выходить? Пойдем вместе.

■

Они шли рядом. Минут пятнадцать ни та, ни другая не произнесла ни слова. Ухигуэ несла в руках небольшую связку кореньев. Мань Комбети водрузила на голову свой узел. Ее короткие и полные руки болтались вдоль тела. Она разрабатывала план действий. «Предки мои! Я, кажется, на верной дороге. Ухигуэ согласится. О, это было не просто...»

— Расскажи мне все, все, что говорил Коэбоги,— попросила она.

Ухигуэ рассказала обо всем, утаив лишь то, что касалось ее лично.

— Видишь ли, я знаю людей... Знаю их все лучше с тех пор, как разговариваю с доктором. С ним мы говорим обо всем. В толстых книгах доктора я вижу нутро людей. А сам доктор, он лучший из людей.

Она нарочно без конца повторяла слово «доктор», понимая, что оно не может не вызвать восхищения. И в своих собственных глазах она становилась заметной фигурой уже потому, что находилась в постоянном общении с самим доктором.

— Говорят, доктор не женат. Но у него здесь ребенок от...

— Да, у него ребенок от белой женщины. Но он живет один. Это человек скромный и трудолюбивый.

— А он согласен? Мне казалось, что образованные люди отвергают наши обычаи.

— Ухигуэ,— вкрадчиво начала Мань Комбети, изображая удивление.— Ты ничего не понимаешь, Ухигуэ. Сколько раз я говорила тебе, что доктор остался черным, несмотря на свои обширные познания. Он такой же, как и все мужчины, он всегда будет ребенком для своей жены...

Они повернули на дорогу, ведущую к рынку. По ней нескончаемым потоком текла толпа людей в ярких красочных одеждах. Гул голосов заполнял улицу. Высокие, вытянувшиеся к небу деревья подставляли под лучи солнца изумрудную зелень распластавшихся листьев. Продавцы кричали на все лады, зазывая покупателей.

— Ты знаешь Биту Йена? — неожиданно спросила Мань Комбети.

— Биту Йена? Да, я слышала о нем, о том уважении, каким он пользуется...

Мать остановилась на полуслове. Прикусив розовый кончик языка и сдвинув брови, она внимательно посмотрела на акушерку.

— Почему ты вдруг спросила о Бите Йене?

— Как ты не понимаешь! Разве тебе не хочется иметь доктора своим зятем?

— Конечно, хочется.

— Подумай только: у твоей дочери будет обеспеченная жизнь. Доктор не из тех, кто станет брать нескольких жен. Он самый большой доктор в стране. Он уже начальник больницы. А если бы он захотел, то был бы в правительстве... С ним у твоей дочери не будет никаких забот. Любая мать была бы счастлива иметь такого зятя.

Ухигуэ об этом еще не успела подумать. Конечно, материальные выгоды значили немало. Она вспомнила оскорбления мужа. Теперь они больше не посмеют плевать ей в лицо. Она снова станет матерью, как все другие, а не нищенкой, старой и ненужной вещью, которую только и ждут случая выбросить на свалку. Она станет тещей знаменитого доктора. Исподтишка она оглядела Мань Комбети. Ее подруга с ног до головы была одета во все новое и красивое. «Какая мать не хочет видеть свою дочь обеспеченной! И разве это не великая честь — принять такого доктора в свою семью?»

Ход ее мыслей внезапно прервала песенка Номе: «У меня все есть. Я продаю все».

Простенькая мелодия повторялась снова и снова. Ухигуэ приподнялась на цыпочках и поверх пышных причесок, платков и косынок увиде-

ла лоток Номе. Полуголая девушка вызывающе прокладывала себе путь через толпу.

— Я заметила тебя еще издали,— сказала Номе, подходя и указывая на другой конец рыночной площади.— Я тебя сразу узнала, матушка Ухигуэ, только ты так завязываешь свою косынку.

Она стояла перед ними, держа на голове лоток с товарами; ее губы раскрылись в улыбке, показывая зубы с зажатой в них зубочисткой.

— Мир с тобой, тетушка Комбети!

— Мир с тобой, дочь моя. Предки мои! Как тебе не совестно выставлять себя напоказ! Фу, как некрасиво!

Едва заметное выражение стыда затмило на мгновение веселый взгляд Номе. Уголки рта чуть-чуть опустились. Номе склонила голову, и тень от ее лотка прикрыла голую грудь.

— Если бы твой отец увидел тебя! Ведь он такой нравственный человек,— добавила Ухигуэ.— А как Тьюмбе?

— Она вернется завтра.

Мимо прошел патруль с карабинами через плечо. Сержант пялил глаза на девушку. Люди расступались, пропуская солдат.

— А Сори?

— Его мастерская открыта. Но он сегодня не работает. Поговаривают, что Сори тоже хочет уехать отсюда.

— Он уезжает! — вырвалось у Мань Комбети. Ее зрачки цвета ржавого железа многозначительно встретились со взглядом Ухигуэ. Обе женщины спросили в один голос:

— Когда он едет?

Удивленная их любопытством Номе пробормотала:

— Не знаю. Я так слышала, матушка Ухигуэ. А Тьюмбе тоже поедет с ним?

Ее вопрос вызвал неожиданную реакцию. На темные лица женщин набежала грусть. Об этой возможности они не подумали. Теперь они очень забеспокоились, стараясь, правда, не подавать виду.

— А куда едет Сори?

— Не знаю, матушка Ухигуэ, я совсем ничего не знаю,— повторяла Номе.— Говорят — я это слышала от других,— что они поедут туда, где победит «нет». Многие хотят уехать. Тьюмбе — начальница у них, она должна знать...

Глаза Номе печально прикрылись. Видно было, это этот отъезд огорчает ее.

— Дочь моя, не следует говорить о вещах, которые причиняют горе. Я вижу, что у тебя тяжело на сердце. «Твой» тоже собирается уехать? — спросила Комбети.

Номе кивнула.

В стороне послышался шум. Уличные зеваки поспешили к месту происшествия. Раздались крики, аплодисменты, началась толчея. Патруль с карабинами наперевес пробежал мимо.

— Обычная история. По субботам тут ловят велосипедных воров. Драка, и все,— объяснила Номе, знавшая порядки рынка.

— Уйдем-ка отсюда подальше,— посоветовала Мань Комбети.

Они отошли шагов на десять и устроились под бавольником, на толстых корнях, змеей свернувшихся на земле.

— Номе, ты им не сказала, что случилось вчера дома?

— Как же, матушка Ухигуэ, я все рассказала. Ты же мне сама велела их предупредить. Я так и сделала. Они уже знали. Отец прошел вчера мимо их дома. Они всегда все знают...

— Дочь моя, никогда не надо рассказывать всего,— протянула Мань Комбети,— это дурно, очень дурно.

— О, я ничего дурного не сделала. Сегодня утром матушка Ухигуэ сказала мне, чтобы я их предупредила... Он уезжает. Если Тьюмбе поедет, я поеду тоже.

— Кто он?

— Лей, художник.

— Тот, что тебя рисует?

— Да, он. Но он ничего не говорит. Только что я видела Биту Йена... Я хотела заговорить с ним, но не решилась. Ах, если бы ты, матушка Ухигуэ, согласилась поговорить с ним обо мне. Насчет одного дельца... У меня есть немного денег.

Мань Комбети сделала два шага в сторону.

— Я поговорю с ним о тебе. Можешь возвращаться на рынок. Там опять торгуют,— сказала она.

— Только не говори никому ни слова, если хочешь, чтобы я отвела тебя к Бите Йену,— добавила Ухигуэ.

— Ладно, понимаю,— и Номе ушла.

Через несколько минут вновь зазвучала ее песенка: «У меня есть все...».

■

Женщины отправились дальше. Каждая размышляла о своем. Ухигуэ горевала. Она была убеждена, что Тьюмбе уедет, и с тревогой думала о том, что скажет Коэбоги.

Решив воспользоваться растерянностью матери и сделать ее своей сообщницей, Мань Комбети сочувственно заговорила:

— Я упомянула Биту Йена. Он самый известный колдун... А сколько молодых девушек вот так уехали. Проснется утром мать и вдруг видит, что дочери больше нет. Проходят дни. Месяцы. Годы. Ее перестают ждать. Но однажды какой-нибудь незнакомец постучит в дверь: «Здесь ли живут такие-то?» Ему ответят: «Да, здесь». И он скажет: «Меня прислала к вам ваша дочь. Она больна, она лежит там-то». Плачут. Ждут. А дорога все пуста. Никого. Во время обеда семья вспоминает о ней. А по ночам одинокая мать тихо плачет, положив голову на руку... Никого... Никто не возвращается.

Мань Комбети замолчала и посмотрела на Ухигуэ. Сердце матери разрывалось на части. Ей казалось, что она уже видит свою дочь на носилках. К ним подходит Коэбоги, опрокидывает носилки, сбрасывает тело, рвет на куски саван. Он рычит: «Вот что бывает с детьми, которые отвергают своих родителей!»

— Лучше всего опередить события. Надо найти Биту Йена. Я достану деньги и все что потребуется. Доктор мне даст,— с гордостью сказала Мань Комбети.

— Если хочешь, я схожу к Бите Йену. Я знаю дом, в котором он останавливается, когда бывает в городе.

— Ты думаешь, будет лучше, если ты пойдешь к нему сама? — спросила Мань Комбети, думая про себя: «К чему это она? Незачем ей ходить со мной! Я должна увидеть Биту Йена одна, совсем одна. Если она пойдет со мной, я не смогу ему рассказать всего». А вслух она добавила: — А куда ты сейчас шла, сестра моя?

— Я шла повидать Сори.

— Не стоит. Ты можешь все испортить. Сначала надо поговорить с Битой Йеном. Тьюмбе возвращается завтра. Я сейчас быстро схожу в больницу и обратно. Самое трудное — это разыскать Биту Йена.

Прежде чем расстаться, Ухигуэ указала ей дом, где она сможет найти колдуна.

(Окончание следует)

К СОЛНЦУ!

К 40-летию со дня провозглашения Монгольской Народной Республики

■

Перевод с монгольского
СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

Б. ЯВУУ ХУЛАН

Гоби

Гоби есть Гоби —
Пустыня.

Порой
Нестерпимо пылает Гоби,
Будто котла раскаленное дно.
Порой
Саранча прилетает в Гоби,
Шуршит, как рассыпанное зерно.
Ни речки в Гоби,
Ни ручейка —
Все выпили жадные губы песка.
Гоби есть Гоби —
Пустыня.

А говорят,
Все цвело когда-то
На необъятных просторах Гоби,
Злаки шумели,
Цветы пестрели
На благодатных просторах Гоби.
Ласково солнце лучи расточало,
Не было в мире земли щедрей!
А сколько здесь пастбищ
Было сначала,
Сколько бродило разных зверей,
Сколько верблюдов, бурых и рыжих!
Но все песок раскаленный выжег.
Гоби есть Гоби —
Пустыня.

Гоби — это сухое море.
Море земли, давно бездыханной,
Не пересечь ни пешком,
Ни верхом
Эти горбатые волны-барханы.
Когда ж полнолуние наступает,
Бывает
У нашей пустыни Гоби
Два разных лица:
Или все молчит,
Или все бушует в свирепой злобе.
Еще и другим этот край известен:
Хранилищем стал он
Легенд и песен.
На дальней стоянке
Всю ночь напролет
Гобийская девушка их поет,
Хозяйка всех песен здешних она,
А песня,
Как путь караванный, длинна...
Гоби есть Гоби —
Пустыня

Порой
Закипает вихрями Гоби,
Как молоко, покрытое пенкой,
И вновь, как урюм *, поставленный стынуть,
Желтеет, спекается постепенно.
Гоби есть Гоби —
Пустыня.

Но ведь говорят:
Плоскогорье Гоби
Первым твореньем природы было.
Века и века пылало светило,
Пока эту землю
В пески превратило.
А сердце у нашего плоскогорья
Огромнее неба,
Бездоннее моря,
И не один заповедный клад
Недра его хранят.
Мы эти клады теперь открываем,
Богатствами древними овладеваем,
Видишь:
Растут нефтяные вышки
Над беспробудным, безлюдным краем,
Новую песню гудки разносят,
И если сегодня кто-нибудь спросит,
Уже не ответишь словами простыми:
Гоби есть Гоби —
Пустыня...

Гоби —
Простор зеркально-лазоревый,
Ветром обструганный стол земли.

---

* Толстый слой молочных пенок, национальное кушанье.

Над ним
Разгораются звезды и зори,
Миражи плывут в раскаленной дали.
Гобийский мираж —
Искусный художник,
Рисует волшебные города:
Они встают в синеве бездонной
И растворяются без следа...
А мы наяву
Из стекла и бетона
Такие же выстроим города!
Воду найдем,
Дворцы возведем,
Их окружим садами густыми,
И больше никто не скажет тогда:
«Гоби есть Гоби —
Пустыня...»

Г. САНЖЖАВ

Вечная весна

Раз в году — только раз! —
расцветает земля,
наступает весна,
Многоцветный ковер
по бескрайней степи
расстилает она,
На отрогах Хангая
в зеленый атлас
наряжает леса,
И, купаясь в ручьях,
заливаются птицы
на все голоса.
Жаль, недолго гостит —
отцветет и уйдет
золотая весна...
Но ведь есть
и другая весна —
есть и вечно живая весна!
Не подвластна она
ни снегам-холодам,
ни летящим годам,
Не спалить ее зною,
не смыть беспощадным
осенним дождям.
Это — труд,
это — творчества свет,
это — рук человеческих след,
Это — вечно живая весна,
для нее увядания нет!

М. ШИРЧИНСУРЭН

Оролт — детство мое

Оролт... Как синей подковы дуга,
здесь изгибается Селенга.
Здесь, в полутемной, продымленной юрте,
первым шагам обучался я.
Здесь подрастал, набирался сил,
в зарослях тальника хворост рубил
И, возвращаясь с тяжелой вязанкой,
пóтом в мороз обливался я.
Здесь я играл на прибрежье крутом,
метлы бурьяна ломая кнутом,
Или, хрустя по блестящему насту,
за куропаткой гонялся я.
Здесь заблудился, но плакать не стал —
место в кустах для костра отыскал
И, прикорнув у огня золотого,
жадно теплом наслаждался я.

Оролт... Хорош этот выгнутый склон —
солнцу открыт, от ветров защищен.
Каждую осень сюда на зимовку
вместе с отцом возвращался я.
Здесь я площадку для юрты ровнял,
утром на выгон отару гонял,
И, вдоль замерзшей реки пробегая,
гальку кидал, забавлялся я.
Здесь за теленком больным я ходил,
сеном кормил, за леченьем следил,
Из лоскутов ему сделал попону.
И не напрасно старался я —
Сунув за пазуху свежий хурут*,
сжав в кулаке самодельный кнут,
Гордо с питомцем своим на прогулку
вскоре уже отправлялся я.

Оролт... Далекое детство мое...
Юрта — убогое наше жилье...
Помню, открыв дымоход нашей юрты,
Легким дымком любовался я.
Вдаль уносился веселый дымок,
и усидеть я на месте не мог:
В гриву вцепясь жеребца молодого,
с ветром в степи состязался я.
Чтоб в колыбели мой брат не скучал,
сала ему пососать я давал.
Или на пестрый сундук забирался
и с малышом забавлялся я.
Если же в полдень, блеснув из-за туч,
солнце на хоймор** бросало свой луч,

---

* Сушеный творог.
** Почетное место в юрте.

Плечи худые теплу подставляя,
грелся и в сон погружался я.

Оролт... Как синей подковы дуга,
здесь изгибается Селенга.
Здесь наполнялся я радостью жизни,
здесь созревал, закалялся я.
Здесь все суровее день ото дня
к трудностям жизнь приучала меня,
Вот почему, хоть и тяжко бывало,
но никогда не сдавался я.
Да и теперь я покоя не жду —
дальше и дальше упорно иду.
О, как давно, свои крылья расправив,
с милым гнездом распрощался я!
Но не забуду кочевий родных,
хоть я сейчас и далеко от них:
Мудрому детству, суровому детству
верным навеки остался я.

Д. ГОМБОЖАВ

Война

Война — это гибель всего родного:
кров без людей,
люди без крова.

Война — это черное, гнусное дело:
тело без ног,
ноги без тела.

Война — это тысяч разлук причина:
сын без отца,
отец без сына.

Война — это слезы, зола и стужа:
муж без жены,
жена без мужа.

Война — это тучи пепла и смрада:
стада без лугов,
луга без стада.

Война — это кровь, эпидемия горя,
пороха дым,
селенья в огне...

Но вновь разгореться мы ей не дадим —
Путь преградим
Войне.

Ц. ЦЭДЭНДОРЖ

■ ■ ■

Мы с тобой на легком облаке вдвоем,
Мы навстречу солнцу ясному плывем,
А под нами реки быстрые текут,
А под нами табуны в степи бегут,
Расстилается земли цветной ковер,
И вздымаются твердыни старых гор,
И дорога протянулась вдаль стрелой,
И влюбленных песня слышится порой,
И над ними, по просторам голубым,
Мы все дальше к солнцу ясному летим.
А потом веселым, ласковым дождем
Мы прольемся и на землю упадем,
Освежим на летних пастбищах траву,
Напоим цветы, колосья и листву,
Превратимся в легкий утренний туман,
Устремимся снова в небо-океан
И опять на светлом облаке вдвоем
К солнцу, к пламенному солнцу поплывем!

АЛАН МАРШАЛЛ

Мальчик...

Мне очень легко объяснить, чем мне понравился этот рассказ Алана Маршалла. Он понравился мне тем, что автор обращается в нем к самому значительному из всех природных явлений, искренне и проникновенно рассказывая о нем образами моей родной страны — Австралии. Трудно было бы сделать это лучше в столь краткой форме. Правда, по сравнению с этим рассказом «Рождение человека» Максима Горького кажется потрясающим, панорамным. Однако я надеюсь, что даже поклонники замечательного горьковского рассказа почувствуют в небольшом наброске Алана Маршалла подкупающую теплоту и правдивость.

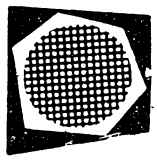
Рождается ребенок — ничего больше. Обстановка и условия, в которых это происходит, не знакомы русскому читателю, и тем не менее все в этом рассказе затронет в его сердце какую-то струну — и тревога одинокой женщины, муж которой отправился за помощью, и бесконечно долгое ожидание, когда она всматривается в степь в надежде увидеть возвращающийся фургон, и тявканье собак, возвещающее конец этого томительного ожидания, и веселое спокойствие повивальной бабки, и незабываемая боль и муки родовых схваток, и, наконец, вознаграждающие за все слова: «У тебя мальчик».

По-моему, очарование рассказа в образной и спокойной лирической концовке. В течение всего этого долгого и жаркого дня деревья наблюдали за домом: «Застыв, с напряженным интересом ждали они этого чуда, ждали, пока она даст жизнь

См. публикации «Международного форума рассказа» в №№ 4, 8.

мужчине — ребенку, который в один прекрасный день будет играть под их ветвями. И они приветствовали его, эти одинокие дети равнины».

Джон Моррисон



на стояла около разбитого молнией дуба, заслоняя рукою от солнца глаза. С этого места поросшие кустами солончаки просматривались на много миль кругом, но маленького белого движущегося пятнышка — крытого парусиной фургона ее мужа — нигде не было видно.

Зной был вязкий, осязаемый. Он плавал в воздухе, как сироп в воде. Он давил на ее обнаженные руки. Ни звука, ни шороха. В небе — ни облачка.

Она была измучена и ждала ребенка.

Два дня назад она видела, как дугообразная крыша фургона, какими пользуются скотоводы, исчезла среди рощи майолов *, на пути к дому миссис Кланси, муж которой занимается перевозкой шерсти,— это двадцать миль по поросшим пыльно-серыми кустами солончакам. Миссис Кланси — их ближайшая соседка и, говорят, отличная повивальная бабка. Все на равнине знают ее.

Жена опустила руку. Она думала, что муж вернется на другой день. А прошло уже почти два. Она боялась. Время родов почти подошло. Вчера у нее были сильные боли. Она непрестанно плачет. Сколько же нужно мужества, чтобы вынести это!

Она устало обернулась. Маленький домик из сосновых бревен впитывал зной — в нем становилось тесно, душно, воздух был спертый. Самое прохладное место было под кроватью. Она уже лежала там утром.

Три голубя, хлопая крыльями, опустились на забор возле дома. Клювы их были раскрыты: в водоемах не было ни капли воды. Птицы сидели, склонив голову набок. Она знала, что как только войдет в дом, они полетят пить воду из собачьей миски.

Она раздвинула куски мешковины, висевшие у входа вместо занавесок, и потревоженные мухи облаком кружащихся точек взлетели за ее спиной. Медленно передвигаясь по дому, она стала готовить себе ужин.

Воду приходилось беречь. Двухсотгаллоновый бак, стоявший на телеге возле двери, был почти пуст, и хотя она высыпала две пачки соли, чтобы очистить воду, когда ее привезли из большого пруда, вырытого в пяти милях от дома, вода по-прежнему была мутной.

Женщина процедила воду через белую тряпку. Молока к чаю не было. Она разболтала в воде яйцо. Наконец вода вскипела, и она села за стол в накаленном, как печь, доме, медленно прихлебывая чай и размышляя.

Всю предыдущую ночь она не спала и с раннего утра всматривалась в равнину, ожидая увидеть фургон. Равнина была пуста.

По мере того как шло утро, жара становилась все нестерпимее. Перед ее натруженными глазами стояла пелена мерцающего марева, которое поднималось с пересохшей земли. Песчаный холм на краю равнины, покрытый чахлой травой, отражался в чистых водах миража. У овец, пасущихся на склоне холма, были ноги гигантов.

Потом нахлынула боль, и женщина подумала: «Начинается».

Она покрылась холодным потом, ее бил озноб. Она вошла в дом и легла на постель. Потом встала и принялась ходить.

---

* Майол — вид австралийской акации.

Вдруг она услышала веселое тявканье собак, рвущихся с цепи, и скрип изношенных колес фургона ее мужа. Она подошла к дверям.

— Ну как? Все в порядке? — озабоченно крикнул муж, подъехав к воротам.

Она кивнула. Миссис Кланси вылезла из фургона — спина ее была черна от мух. Она вытерла потное лицо и заторопилась, бормоча что-то успокоительное, подталкивая женщину к дому.

— Как раз вовремя, как раз вовремя,— шептала она себе под нос.

Муж повел лошадь в сарай распрягать. Ее спина и шея взмокли и блестели от пота. Пот тонкими струйками стекал по ее ногам и темными круглыми каплями падал с живота.

А в доме молодая жена прильнула к пожилой, умудренной опытом женщине, полной, приземистой, с круглым материнским лицом.

— Я боюсь,— сказала она.

— Не волнуйся, милая. Не надо бояться. Все будет хорошо. Господь милостив к нам, женщинам равнины.— В голосе ее звучала ласка.

Она принялась хлопотать, нагревая воду и ухаживая за дрожащей женщиной.

Появился муж. Молодая жена взглянула на его озабоченное лицо и храбро улыбнулась. Ему хотелось чем-нибудь помочь. Но миссис Кланси прогнала его во двор.

— Вот почему я за то, чтобы иметь детей,— сказала она жене.— Если мужчина когда и холит свою жену, так именно в эту пору. Никогда они не бывают добрее и внимательнее.

Женщина скрючилась на краю кровати.

— Ты должна больше ходить, пока не придет время, милая. Все будет хорошо — ведь ты большая, крепкая. Ходи по комнате — так надо.

Женщина снова принялась ходить. Когда подступала боль, она цеплялась за железную спинку кровати и раскачивалась из стороны в сторону, беззвучно шевеля губами. Лицом она прижималась к пастушечьему кнуту, висевшему в изножье. Только когда боль схлынула и она с трудом перевела дыхание, она почувствовала запах его майоловой рукоятки.

Она снова принялась ходить. Ей было так одиноко. Муж хоть и был рядом, но казалось, что он где-то очень далеко. Хорошо бы тут была мама... Жара в комнате стояла нестерпимая, кругом жужжали мухи. Шагая по комнате, женщина с ужасом думала о том, что вот-вот снова погрузится в пучину боли. И у нее не хватало мужества призывать наступление этой всепоглощающей муки.

— О, боже! — шептала она.

— Не борись с этим, милая,— погладила ее руку миссис Кланси.

Немного погодя она сказала:

— Приляг-ка лучше, милая.

Но молодая женщина была очень испугана.

— Я не могу лежать!— выкрикнула она.— Еще рано!

— Нет, милая, приляг, приляг.

— Мне хочется встать на колени на полу...

По щекам ее текли слезы.

Повивальная бабка мягко взяла ее за плечи и повела к кровати, бормоча слова утешения.

Жена лежала, разглядывая огромный нарост, образовавшийся в ситцевом пологе над кроватью. Там скопился песок, налетевший за время многочисленных бурь, и ситец провисал, словно под тяжестью мертвеца. С каждым летом нарост становился все больше, и она боялась, что ситец прорвется и песок засыплет ее. Джон обещал выбрать его оттуда.

Повивальная бабка привязала к спинке кровати два полотенца.

— Когда станет плохо, возьмись за них.

Когда станет плохо! Она слабо улыбнулась. Когда станет плохо...

— О, боже, боже!

Миссис Кланси села рядом с ней.

Сквозь слепящую боль, которая выла, рычала и как молния вспыхивала в комнате над ее широко раскрытыми, невидящими глазами, она откуда-то издалека слышала голос повивальной бабки:

— Не волнуйся, милая. Не надо бояться Господь милостив к нам, женщинам равнины. Ну, ну, держись.

В замужней жизни этой молодой женщины не было минуты, когда бы ее не отягощали какие-то думы или заботы — заболела собака, не несутся куры, мужнины тревоги... Но сейчас для нее не существовало ничего, кроме собственных мук. Когда становилось немного легче, она неотступно думала лишь о том, что вот-вот снова начнутся схватки. А силы ее и мужество с каждым разом таяли.

Когда приступы боли стали еще острее, она судорожно сжала в руках полотенце — в мозгу ее лихорадочно мелькали разрозненные обрывки мыслей и отдельные слова. В ее измученном теле было как бы два человека — один страдал и стонал, другой взирал на это с мрачным спокойствием.

— Я не могу больше... Не могу... Я закричу... Ой, боже мой... Ой! Я плачу... жарко... мама... Позовите маму... Больно, больно, БОЛЬНО!

Она исходила криком. Она чувствовала, как темная пучина боли захлестывает ее и бросает куда-то.

— Не надо бояться, милая. Господь милостив к женщинам равнины. Теперь уже скоро.

— Не могу! Я больше не могу!

И она погрузилась в темноту, где не было ничего, потом снова услышала вопли демонов, потом снова куда-то стала падать... Боль отступила, и она, обессиленная, лежала и содрогалась от невыразимого ужаса при мысли о том, что это повторится еще раз, и еще, и еще...

— О миссис Кланси,— шептала она,— я не могу этого вынести. Я не могу. Лучше умереть. Лучше умереть.

А мягкий материнский голос утешал ее:

— Ведь ты большая, крепкая. Не волнуйся. Господь милостив к женщинам равнины. Теперь уже совсем скоро.

А боль нарастала. Сначала схватки наступали с перерывом в полчаса, потом стали ежеминутными. Боль нарастала все сильнее, все невыносимее, пока в сознании женщины не осталось ничего, кроме боли, во всем мире не было ничего, кроме боли, невыносимой бесконечной боли...

Во дворе, за домом, три бродячие эму ощипывали кустарник, хрипло кричали пролетавшие мимо вороны, и все деревья, все кусты неподвижно стояли в знойном мареве — их опаленные зноем листья и пересохшие ветви изнывали по свежему воздуху и терпеливо ждали, когда свершится чудо созидания.

Весь долгий летний день они глядели на дом, и, когда на фоне вечернего неба четко проступили силуэты одиноких смоковниц, из комнаты, в окне которой горел закат, послышался тонкий крик. Легкий ветерок ласково погладил ветви деревьев. Майолы шевельнули увядшими листьями, дубы мягко вздохнули. А ветерок коснулся их и помчался дальше над покрытой кустами равниной, неся к горизонту радостную весть.

В маленькой комнате, в окне которой горел закат, раздался голос миссис Кланси.

— У тебя мальчик,— сказала она.

Женщина на кровати услышала ее, но смутно, и все же в тех полных призрачными тенями сумерках, которые окружали ее, слова эти прозвучали торжественно и гордо.

Казалось, их произнес не голос пожилой женщины с обвисшей грудью и багровым вспотевшим лицом. Они звучали как приветствие окружавшего ее мира — деревья, кусты и раскаленное солнце рукоплескали ей. Застыв, с напряженным интересом ждали они этого чуда, ждали, пока она даст жизнь мужчине — ребенку, который в один прекрасный день будет играть под их ветвями. И они приветствовали его, эти одинокие дети равнины.

Перевод с английского Г. ШВЕДОВА

АЛЬБЕРТ ЛЕННОН

Корни

Поколение американской молодежи, вступившее в жизнь после второй мировой войны,— во многих отношениях необыкновенное поколение. Вряд ли перед каким-нибудь из предшествующих поколений стояли такие огромные и бесконечно запутанные социальные проблемы. И совсем не удивительно, что многие из молодых, не будучи в состоянии найти свой путь, оказавшись между молотом и наковальней, остановились в растерянности, испуганные и обескураженные. Глубоко обнадеживает, однако, тот факт, что после нескольких лет молчания в 50-х годах теперь эти многие вновь находят себя, обретают свои голоса, свое мужество, свою точку зрения. Их характеры становятся более определенными. И это накладывает отпечаток на все происходящее.

Литература, изобразительное искусство, музыка, создаваемые этим поколением, отражают всю запутанность, сложность, противоречивость мировоззрения художников, но также их упорные поиски разумного выхода, поиски путей к познанию и овладению миром, который, разумеется, «создан не ими», но в котором они должны жить и который они должны переделывать в соответствии с давними чаяниями человека.

Как раз к этому поколению принадлежит Альберт Леннон, чей рассказ «Корни» здесь напечатан. Ему 26 лет, он родился в Нью-Йорке, в Нижнем Ист-Сайде, районе трущоб, бедности и борьбы. Отец его — борец за дело рабочего класса, член национального комитета американской коммунистической партии — попал в тюрьму за свои убеждения. Молодой Леннон рос в атмосфере политического террора, подавления и страха. Когда отец был арестован, ему пришлось уйти из школы, чтобы помогать семье. Без поддержки отца, постоянно сталкиваясь с демагогией и надувательством, он сумел преодолеть сложность политической и психологической ситуации того времени и найти путь к ясности, к той целеустремленности, которая пронизывает все его творчество. Рассказы Леннона отражают его жизнь. В них вы найдете главные проблемы послевоенного поколения в Америке, включая и

проблему проблем — борьбу американских негров и их отношение к миру белых, как дружелюбное, так и недружелюбное. В поле зрения писателя попадают также проблемы, встающие перед молодыми рабочими в стране, где профсоюзы большей частью утратили свою воинственность, но тем не менее остались единственным средством борьбы, которую американский рабочий считает своим кровным делом. Леннон — член прогрессивного Союза портовых грузчиков и складских рабочих Сан-Франциско, где он в настоящее время живет со своей женой.

Впервые Леннон напечатал несколько стихотворений в «Дейли уоркер», когда ему не было еще двадцати лет. После этого он публиковал свои произведения в «Мэйнстрим» и других прогрессивных изданиях. Сейчас он задумал свой первый роман.

Филлип Боноски

Папа папа нет нет нет — но папа оставил его одного, и кто-то белый, закутанный в простыню и похожий на привидение, смазал по его кричащему рту волосатым кулаком и ударом в слабую детскую грудь отшвырнул в угол черной, как ночь, хижины, где он скорчился, плача от боли и страха, по-взрослому ругаясь, когда снаружи слышался пьяный хохот; потом — внезапная вонь горелого мяса и долгий, пронзительный крик отца, зародившийся, казалось, в самой глубине земли и в агонии замерший в знойном ярком небе.

Кенни проснулся в поту, с твердым давящим комком под ложечкой, к которому он уже привык, как привык и к своим снам и к воспоминаниям. Он потянулся к ночной тумбочке за сигаретой, его матовая темно-коричневая кожа резко выделялась на белых накрахмаленных простынях, он зажег сигарету дрожащими пальцами, вдохнул дым глубоко в легкие, смакуя его и чувствуя, как расслабляются его упругие молодые мышцы.

Затянувшись в последний раз, он раздавил окурок в пепельнице на шаткой ночной тумбочке и дернул за шнурок лампы — единственного источника света в комнате, если не считать закатного солнца, ярко горевшего в щелях закрытых ставен. Он облокотился на жесткую подушку и медленно оглядел комнату, как делал уже столько дней подряд: засаленные обои, грубый черный комод, хранящий его немногочисленные пожитки, фанерная дверь, как дюжина других дверей на этом этаже гарлемских меблированных комнат, сломанный плетеный стул, на котором лежал футляр из искусственной кожи, и в этом футляре — его мечта, его надежда, его жизнь, купленная на товарном складе, где громоздились ящики с орехами и рулоны материи, всю тяжесть которых так хорошо знали его руки, ноги, спина,— его надежда, оплаченная мучительной усталостью, потом и проклятиями. Кенни встал с кровати — проржавевшие пружины вздохнули с облегчением,— поддернул трусы и потянулся своим худощавым сильным телом, глубоко вдыхая летний воздух, пахнувший гороховым супом и мочой. Где-то орало радио.

Он подошел к стулу и открыл футляр, осторожно, почти благоговейно опустившись перед ним на голые коленки и тихо прошептав «черт побери», когда почувствовал, что занозил ногу. Он сел и извлек занозу длинными, суженными на концах пальцами, потом потянулся за футляром, вынул медную блестящую трубу и долго, не отрываясь, смотрел на

нее; в сознании блуждали обрывки мелодии, вернее, даже музыкального замысла, который уже давно преследовал его. Положив инструмент обратно в его красное бархатное ложе, Кенни, сделав амбушюр своими толстыми губами, достал мундштук и начал мягко дуть в него, наигрывая фрагменты этой мелодии.

Вскоре он отложил мундштук — мелодия еще только рождалась,— встал и оделся. Взяв с комода бритвенный прибор, он вышел из комнаты и пошел босиком по потертой ковровой дорожке в конец коридора, к единственной на этаже ванной комнате,— тараканы разбежались по темным углам, когда он повернул выключатель.

Пока он мылся и брился, он все еще был полон своим замыслом, стараясь развить его, придать ему образ и форму. Вернувшись в комнату, он завершил туалет — поправил узел узкого черного галстука и накинул серый пиджак. Потом взял футляр с трубой, вышел и запер дверь, подумав при этом, что нет смысла запирать такие старые, хлипкие двери, к тому же такими старыми, дешевыми замками, да и, черт возьми, в комнате не было ничего такого, что стоило бы украсть.

Когда после ночной темноты комнаты Кенни вышел на порог, солнце ослепило его, он вынул из кармана и надел темные очки в толстой оправе, отчего лицо его стало еще более худым и скуластым.

Сбежав по потрескавшимся ступенькам, он повернул к почтовому ящику и бросил конверт с деньгами на взнос в профсоюз. Потом зашагал в обратном направлении, к метро на 125-й улице, до которого надо было пройти три квартала.

Он окликнул приятелей, с безразличным видом стоявших перед кондитерской. Ребята, одетые очень легко и почти одинаково — все в коротких черных плащах,— помахали ему в ответ, и один из них отделился от группы и пошел рядом с Кенни.

— Привет, ну, как дела? — спросил он, и на его угольно-черном лице сверкнули белые кривые зубы.

— Да вот иду на работу,— ответил Кенни.— А у тебя как дела, Лилия? — Лилию этот негр, вероятно самый темный в районе, не очень-то напоминал.

— Какие там дела, старик, просто чепуха. Болтаемся тут, ждем, а все без толку... Слушай,— он оглянулся и понизил голос,— у меня тут есть кое-что, товар первый сорт, понял? Хочешь курнуть?

— Нет, старик,— ответил Кенни, сердито нахмурившись.— Да и ты бы не связывался с этим делом.

— Ну вот,— сказал Лилия обиженно,— а я думал, ты настоящий парень, раз играешь в джазе и вообще...

— Попробовал однажды,— перебил Кенни,— потом тошнило меня как собаку и сыграть ничего не мог.

— Ну ладно, а может, все-таки... Вот у моего дома перед окном вонючая помойка. А только закуришь сигаретку и — на́ тебе — прямо как будто ты в саду. Ну, так мы еще увидимся, а? — спросил Лилия и повернул назад, на его тупом лице было написано разочарование.

Кенни опустил жетон в турникет, и его тут же поглотила толпа. «О черт,— подумал он,— часы пик, да еще в пятницу. Вот что значит выходить слишком рано».

На платформе он увидел свободное местечко и стал пробираться туда, взяв футляр с трубой под мышку. От летней жары и разгоряченных тел воздух под землей был вонючий и спертый. Кенни прислонился к кафельной колонне, вынул из кармана чистый платок и вытер вспотевший лоб.

— Эй,— крикнул ему служащий в темной форме, стараясь пробиться через толпу, колыхавшуюся в ожидании поезда,— проходи в конец платформы! Проходите в конец платформы! — надсадно кричал он.

Кенни, боясь застрять в затягивавшей его массе людей, которые с двух сторон рвались в двери метро, сунул было платок в карман и вдруг почувствовал сильный толчок в спину. Сердито обернувшись, он увидел жирное, багровое, потное лицо полисмена.

— Я иду,— огрызнулся Кенни,— не толкайте меня.— Он повернулся и стал медленно и осторожно пробираться в конец платформы, утверждая свое право на свободу передвижения.

От нового удара в спину у него перехватило дыхание.

— Ты все-таки пройдешь вперед, парень,— услышал он густой угрожающий голос,— я протолкну тебя.— Еще толчок, и Кенни, одновременно рассерженный и испуганный, обернулся к своему мучителю.

— Послушайте,— сказал он тихо и сдавленно, стараясь, чтобы его голос не дрожал,— не толкайте меня.

Фараон многозначительно улыбнулся, показав гнилые зубы, и положил мясистую руку на приклад ружья.

— Давай-давай, парень. Ударь меня,— он выдержал паузу,— и я тебя прикончу.

Поезд, скрипя тормозами, остановился, и Кенни, перепуганный, бросился в открывшуюся дверь, проталкиваясь внутрь через поток людей, старавшихся выйти наружу; грубый смех полисмена продолжал звучать в его ушах. «Сволочь,— думал он, дрожа от ярости,— грязная, вонючая белая сволочь. Отберите только у него ружье и дубинку — и он уже ничто, ничто, просто грязный сукин сын, я мог бы избить его так, что он костей не собрал бы».

— Я видел все. Это было несправедливо. Он не должен был так обращаться с вами,— скрипучий голос прервал бешено несущиеся мысли Кенни. Низкорослый человек с облупленным красным лицом сочувствующе смотрел на него.

— Почему же вы тогда этого не сказали, мистер? — спросил Кенни.— Почему вы и другие добрые граждане не остановили его?

— Постой, я же был готов помочь,— возразил человек.

— Ну, еще бы,— зло усмехнулся Кенни.

— В конце концов это не мое дело,— сказал человек, ныряя в безликую толпу, чтобы уйти подальше от Кенни, и бормоча: — Старайся с ними ладить, парень...

Гнев Кенни погас, когда он вышел из метро на краю Гринвич-вилледж и направился к кабачку, но где-то глубоко под ложечкой ярость жгла его. Он вошел через стеклянную дверь в кабачок, даже не взглянув на яркую афишу со своей фотографией, где он был так спокоен, играя на трубе, и надписью, набранной крупными буквами: «Сегодня впервые Кенни со своим ансамблем».

Пит, вездесущий хозяин заведения, увидев Кенни, помахал ему рукой, а Кенни наблюдал за быстрой и бесшумной подготовкой к вечеру. Стулья были сложены на крошечные круглые столики, только что вымытые пепельницы грудой лежали на конце полированного бара, а в дальнем углу прямоугольного зала уборщик мыл пол шваброй.

— Привет, Пит, что нового? — спросил Кенни.

— Сегодня будет уйма народу. В такую жару все вылезают на улицу. Может, мы даже оставим двери открытыми, чтоб было слышно музыку, тогда еще больше народу набежит.— Кенни кивнул в знак согласия.— Одно я скажу об этом проклятом городе,— задумчиво произнес Пит,— когда начинается жара, так уж здесь действительно пекло.

— Это точно,— согласился Кенни, внимание которого в это время переключилось на девушку, вышедшую из двери с табличкой «Для дам».— Эй, куколка,— позвал Кенни. Девушка, стройная и гибкая, повернулась к нему, и на ее лице цвета кофе со сливками засияла улыбка

— Привет, Кен. Хорошо, что ты рано сегодня.— Она приподнялась на цыпочки и быстро поцеловала его в губы.

— Я хотел здесь поиграть немного.

— Ну да, конечно,— кокетливо сказала она.

— Только не обольщайся, милая.

— Все равно у меня нет для тебя времени, Джазист. Я трудящаяся девушка, и сейчас я на работе,— сказала Алиса, все-таки обольщаясь, ибо она имела на это право. Они с Кенни познакомились два месяца назад, когда квартет, возглавляемый Кенни, наконец получил работу. С тех пор они вместе ходили завтракать на Таймс-сквер в ранние утренние часы, когда выступление кончалось и им обоим хотелось подышать свежим воздухом, чтобы выветрить застоявшийся запах сигарет и вина. Каждому из них было приятно общество другого, они все чаще бродили по тихим рассветным улицам, и, хотя никогда не говорили друг другу об этом, с каждой встречей их привязанность росла.

Кенни рассказал ей о стычке с фараоном в метро, и она сочувствовала ему и ненавидела фараона.

— Ну что ж,— закончил Кенни,— это совсем как у меня дома — у бога белая кожа, и нам, черным, лучше об этом не забывать.

— Спокойно, малыш.— Алиса мягко погладила его по голове своей тонкой рукой.— Ты же знаешь — есть разные люди и среди черных и среди белых. Только иногда мне кажется, что в полисмены нарочно набирают самых настоящих садистов.

— Ну ладно, мне пора работать.

— Мне тоже, господин трубач.— Она вытянулась, отдала честь, быстро чмокнула его на прощание и помчалась к своим подругам переодеваться в форму официантки: платье, похожее на ночную рубашку, не прикрывавшее и колен, с глубоким декольте — платье, которое Кенни ненавидел за его вульгарность и все же любил, потому что редко увидишь, чтобы негритянка работала в таком кабачке, и он испытывал особую гордость от сознания, что его девушка была ничем не хуже, а даже лучше любой белой девушки в мире белых людей.

За кулисами Кенни приладил мундштук, сделал несколько пробных амбушюров и наконец поднял трубу к губам и тихо заиграл, все больше воодушевляясь; потом провел тему, стараясь уловить удачные фразы и пассажи и сердясь, что не может объединить их в одно целое. Наконец, недовольный, он отложил трубу в сторону и занялся новыми аранжировками, над которыми работал квартет.

Когда небо стало темнеть и из фабричных труб вдоль реки потянулись вверх пальцы какого-то огромного черного привидения, стали собираться и остальные участники квартета.

Первым пришел Бенджи. Он так играл на рояле, что Кенни знал — когда-нибудь он станет великим музыкантом; и, если не считать Алисы, Бенджи был лучшим слушателем Кенни. Бенджи родился и вырос в гарлемском гетто и воровал, чтобы платить за уроки; сжигаемый любовью и ненавистью, он извлекал из рояля то стремительные бурные пассажи, то тихие, ласковые, бесконечно нежные мелодии.

Следующим пришел Дилл. Он был гораздо старше остальных, ему перевалило за сорок; он был неплохой контрабасист, но уже не мог стать чем-то бóльшим и примирился с этим. Дилл бывал счастлив, работая с молодыми музыкантами, наблюдая, как группа растет, развивается и даже достигает успеха, если работает достаточно долго и упорно. Он любил играть в центре города, где эти белые платили за то, чтобы послушать, как негры рассказывают о мире, которого им, белым, никогда не понять.

Малыш Джонни явился последним и, как всегда, с опозданием. Он был единственным белым в группе, итальянский мальчишка, выросший

в трущобах Ист-Сайда и отсидевший в тюрьме за драки; когда он бил в свои барабаны ударом точным и сильным, казалось, он то мысленно бьет прежнего противника, то в мечтах представляет себе девушку, которую когда-нибудь встретит.

Они начали репетировать. Тут были и уже известные вещи, и новые, возникавшие в неистощимой фантазии Кенни и Бенджи. Они долго трудились над переложением мексиканской песни «Малагэнья», которое сделал Бенджи. Все они были единым ансамблем, каждый был горячо влюблен в свой инструмент и подхватывал находку другого.

За час до начала первого отделения они пошли поесть, поговорить о новых вещах и определить программу сегодняшнего вечера.

Посетители стали собираться около восьми тридцати, за полчаса до начала, они усаживались за столики, заказывали вино и потягивали его как можно медленнее, чтобы избежать приставаний официанток.

Расфранченные, но не слишком взыскательные девицы с конскими хвостами в сопровождении чванливых подстриженных ежиком университетских юнцов; несколько представителей богемы, которые в знак своего презрения к обществу не стриглись, не брились, носили рваные сандалии и выгоревшие джинсы; солдаты и моряки, одиноко бродившие в поисках компании и дешевой любви, которая, по их мнению, принадлежала им по праву; негры с окраин, пришедшие в центр посмотреть, что есть новенького; бизнесмены с девицами, редко с женами, заходившие подряд во все кабачки, прежде чем повести свою подругу в какую-нибудь видавшую виды гостиницу,— таковы были посетители, и Кенни хорошо их знал. Были здесь также и свои завсегдатаи — компания хипстеров, с которыми участники квартета уже подружились; те обожали знаменитых Майлса и Трейна, но могли позволить себе только пить пиво и слушать квартет, то расхваливая, то ругая его. Они обычно приходили попозже, когда квартет уже успевал как следует разыграться.

Кенни вывел свою группу на маленькую оркестровую эстраду, каждый взял свой инструмент, и сразу же, как только их осветил яркий луч прожектора, они четко и равнодушно заиграли «Садись в поезд»; Кенни и Бенджи тихо солировали, время от времени давая Малышу Джонни и Диллу возможность показать себя.

Когда музыка смолкла, раздались вежливые аплодисменты, и под звон льда в стаканах и скрип стульев Бенджи повел квартет в «Малагэнью», беря аккорды, рожденные, казалось, в самой Мексике, и внезапно превращая их во что-то совершенно гарлемское. Медленно и спокойно вступил Кенни, и печальные звуки трубы поплыли над слушателями.

«Дождь или солнце — все равно» он играл для Алисы, нежно и мягко окутывая ее музыкой, и она благодарно улыбалась ему.

Потом они перешли к пьесе «Тишина» собственного сочинения, и настойчивая дробь Малыша Джонни звала их вперед. После соло Бенджи — он соединял ноты и аккорды в странные томительные, изнуряющие, мучительные фразы, от которых внутри все сжималось,— вступил Кенни на высокой и сильной ноте. Щеки его надулись, и пот заблестел на гладком темном лбу, он закрыл глаза и почувствовал себя большой черной птицей, крылья поднимали его выше и выше, несли над безбрежным голубым океаном и опускали вниз, к волнам, когда ему хотелось поиграть в водяных брызгах. Внезапно он набрал высоту и поднялся над облаками, устремившись к Небесным Вратам, возле которых под надписью «Только для белых» стоял на страже жирный красномордый фараон. Кенни облетел вокруг фараона, дразня его, потом сверкнул когтями, взлетел к небу и упал вниз в пронзительном финале.

Раздался взрыв аплодисментов, и тему подхватил Бенджи, восхищенно улыбнувшись Кенни и шепнув ему:

— Ну, ты сегодня даешь!

Конец они сыграли вместе и разошлись отдохнуть.

Сойдя с эстрады, Кенни за одним из задних столиков увидел Кита и светловолосую девушку с конским хвостом. Кит жестом подозвал Кенни. Это был здоровый парень с соломенными волосами, блестящими голубыми глазами и приветливой улыбкой; он пришел на место Кенни на складе, и Кенни недели две обучал его этой работе. Кит любил джаз, и они с Кенни быстро нашли общий язык. У Кита были все пластинки, которые Кенни хотел бы иметь, и большая часть его скудного заработка шла на уплату взносов в счет двух тысяч долларов за стереофоническую радиолу, стоявшую в его двухкомнатной квартире в Вест-Сайде. С тех пор как они подружились, Кенни каждое воскресенье бывал у Кита, слушая пластинки и учась у мастеров, а Кит каждую пятницу неизменно приходил в кабачок потягивать пиво и наслаждаться музыкой.

Кенни взял в баре бутылку холодной кока-колы и подошел к столику, где Кит познакомил его со своей худенькой, скромной девушкой, одетой в юбку, свитер и черные гольфы и совсем не накрашенной. Ее звали Марджи, и она училась в Куинс-колледже.

— Мне хотелось встретиться с вами,— сказала Марджи, протягивая руку, которую Кенни пожал и слегка встряхнул.

— Очень приятно,— улыбнулся он.— Друзья Кита — мои друзья.

— Слушай,— прервал его Кит,— мы через минуту уходим. Тут, в одну компанию. Знаешь, я достал новую пластинку Майлса. Слышал?

— Нет, но мне наверняка понравится.

— Ну так что́, в воскресенье после обеда?

— Ладно. Приготовь тогда кофе, а я принесу печенье.

— Вы знаете,— вступила в разговор Марджи,— а наша группа в колледже очень озабочена тяжелым положением вашего народа.

— Правда? — вежливо спросил Кенни и насторожился.

— Да,— продолжала она,— мы даже послали несколько своих ребят для участия в Марше Свободы. Я сама тоже хотела пойти, но отец поднял такой шум.

Кит нервно перебил ее:

— Не пора ли нам двигаться, Марджи?

— Сейчас, одну минуту,— сказала она и снова обратилась к Кенни: — А что вы в целом думаете о движении за интеграцию? Когда негры садятся там, где им запрещено, когда устраиваются Марши Свободы и все остальное?

Кенни отхлебнул кока-колы и на мгновение задумался — ответить ли ей честно или сказать то, что она хотела услышать. Он решил, что достаточно натерпелся за один день, и сказал:

— По правде говоря, мисс, это движение идет слишком уж медленно. То есть все это вещи хорошие и необходимые, но ведь результатов-то до сих пор не видно.

Кит беспокойно ерзал на месте, пока Марджи обдумывала ответ, потом она сказала:

— Но такие вещи требуют времени...

— Сто лет — немалое время, мисс,— усмехнулся Кенни.

— Ну, знаете ли,— сказала она, рассерженная его тоном и очевидным пренебрежением к ее деятельности и идеалам,— в конце концов, ваши люди тоже могли бы помочь... э-э, например, сокращением числа преступлений и...

— Нам надо идти,— вмешался Кит, поспешно отодвигая свой стул.

— Ну хорошо. Я сейчас вернусь.— Марджи вышла из-за стола, извинилась и отправилась в дамскую комнату.

— Ох, слушай, старик,— сказал Кит,— ты извини...

— Да брось! Что ты извиняешься? Ничего особенного — взбалмошная девчонка, обязательно хочет переделать мир. Я таких видал. Сна-

чала возмущаются старомодной жизнью своего папаши, бунтуют, а потом, когда видят, что мир совсем не такой, как они думали, сдаются и решают, что в общем папаша, может быть, и прав.— Он выпил еще кока-колы, а Кит кивнул головой в знак согласия.

— Да, наверно, так оно и есть,— сказал он.— Ну, я постараюсь как-нибудь вернуться сюда перед последним отделением. Эта компания, в которую мы идем,— это ее приятели-либералы из колледжа. Может, там будет и неплохо, но я что-то не уверен.

Подошла Марджи, вежливо попрощалась, и они с Китом ушли.

Вечер шел хорошо. Кенни постоянно возвращался к мелодиям, о которых так много думал. Теперь они более органично следовали друг за другом, и его возбуждение все росло, когда он старался объединить их в одно целое. Остальные понимали его состояние, поддерживали и поощряли его.

Жаркая ночь тянулась медленно, кабачок все больше наполнялся народом, в воздухе плыли густые клубы табачного дыма. Алиса носилась взад и вперед с подносом в руках, бросая иногда Кенни быструю улыбку.

К концу предпоследнего отделения в зал вошла еще одна пара и села за столик перед самой эстрадой. Мужчина был одет в тонкий серый льняной костюм с аляповатым значком на лацкане, пиджак на выпяченном животе не сходился, лысину покрывали капли пота. Явно подвыпивший, он с шумом уселся на свое место, и труба Кенни зазвучала пронзительно и враждебно, это сотрясло барабанные перепонки нового посетителя, но не проникло в его затуманенное сознание.

Его наемная подруга, высокая, гибкая, рыжая, с острыми скулами и сверх меры накрашенная, была в летнем платье с низким вырезом; в длинных серьгах с искусственными бриллиантами отражалось сверкание прожектора. Она выглядела усталой и со страхом ждала конца вечера, как и всех бесчисленных прошлых вечеров. Ее спутник расплескал свою выпивку, и она рассеянно вытирала платье бумажным платком, думая: эх, герой, хорош ты будешь сегодня в постели... Она упивалась игрой Кенни, иногда ей казалось, что музыка рассказывает о ее невыносимой усталости, и когда попадался клиент, который хотел сначала пройтись по городу, она всегда вела его в этот кабачок.

— Эй,— громко прохрипел человек со значком,— что, они будут наконец играть хорошую музыку? Эй вы,— обратился он к вспотевшим музыкантам,— сыграйте «Босса нова».— Он начал щелкать пальцами и непристойно приплясывать.

Кенни снова громко затрубил, и на этот раз мужчина понял и прямо-таки остолбенел от нахальной выходки черного парня.

Они закончили отделение и разошлись, вытирая влажные лица. Кенни вылил слюну из трубы и подошел к бару за новой бутылкой кока-колы, целиком сосредоточившись на мелодии, быстро принимавшей форму и заполнившей все его мысли.

Кит, вернувшийся в одиночестве, присоединился к нему у бара.

— А где твоя девочка? — спросил Кенни.

— Да ну ее,— ответил Кит.— Они с приятелями взяли гитары, сели в кружок и принялись распевать старые профсоюзные песни.

— Ну, у некоторых из этих ребят есть неплохие вещи,— возразил Кенни,— например, у Вуди Гафри и Пита Сигера...

— Да, только знаешь... Вот они поют о большом старом молоте, а, по-моему, ни один из них его даже и не поднимет.

Кенни засмеялся, сказал Киту, чтобы тот подождал его, и пошел за сцену к остальным.

— Ну вот,— медленно протянул Дилл,— еще один явился.

— Ага,— сказал Кенни, думая о своем.— Слушайте, ребята, вы

знаете, эта штука не дает мне покоя. Кажется, я нашел. Давайте попробуем, а? — Он смотрел на них с надеждой.

— Давай,— улыбнулся Бенджи.

— Я согласен,— присоединился к нему Малыш Джонни. Дилл просто кивнул головой, радуясь, что Кенни находит что-то новое.

— Что, если начать с блюза «Сеньор», потом «Глаза ангела», а потом перейти к «Корням»? «Корни» как раз то, что мне нужно для разгона.— «Корни» написал Бенджи с помощью Кенни, положив в основу полную скрытой силы церковную мелодию. Пьеса была трудной, и они играли ее не слишком часто, но этой жаркой летней ночью все чувствовали себя в ударе.— О'кей,— Кенни, естественно, взял на себя роль ведущего,— Бенджи, ты начнешь, Дилл — ты вступай за ним, только смелей, а ты, Джонни, давай вовсю, представь, что в твоих барабанах — тысяча дрожащих фараонов и ты лупишь их по головам.— Малыш Джонни улыбнулся и отправил в рот новую жевательную резинку.

Когда они вышли на эстраду, хипстеры встретили их шумными аплодисментами. Не аплодировал только человек со значком — он спрашивал у своей подруги, будут ли музыканты петь и танцевать.

Квартет сыграл блюз «Сеньор» особенно слаженно и гармонично, готовясь к «Корням». Слушатели чувствовали нетерпеливое возбуждение музыкантов и подались вперед в ожидании.

Когда Кенни дошел до середины тихого, мягкого, томительного соло из «Глаз ангела», он почувствовал, что замысел его окончательно сложился, и он резко остановился, сделав знак Бенджи, чтобы тот продолжал. Бенджи быстро закончил балладу сентиментальной кодой и погрузился в «Корни», вырывая фразы из церковного хорала, переиначивая их по-своему. Сильно, будто пульсируя, вступил контрабас Дилла, к нему присоединилась твердая дробь Малыша Джонни.

Бенджи повел тему, отпустил ее, вернулся к ней на крыльях своих родных спиричуэлс. И тогда вступил Кенни. Он заиграл громко и чисто, о боже, как он заиграл!

Он ненадолго задержался на главной теме, рыдая «Аллилуйя» и «Хвала тебе, господи» и ощущая в горле все тот же твердый комок, потом он закрыл глаза — и оказался снова дома, он видел своего отца, чье спокойное гордое достоинство не позволило ему сойти с тротуара, когда появилась толпа пьяных белых. Кенни тихо рассказывал им о бедной земле, на которой работал его отец, как по вечерам читают Библию.

Дилл напряженно улыбался, с тревогой ожидая, что будет дальше, и думая про себя: слушайте хорошенько, вы, белые...

Человек со значком положил под столом руку на колено своей девице. Она сбросила ее и сказала:

— Ты что, не можешь подождать?

Тогда он обиженно отвернулся и снова принялся пить.

Труба Кенни издала низкий, полный страха стон, и вдруг автомобили взревели у дверей их дома. Раздался хриплый смех, и отца потащили на улицу.

Кит сидел с открытым ртом, слушая треск пламени; пиво нагревалось в его руке, забытая сигарета дымилась в пепельнице.

— О Иисусе,— прошептал Бенджи, беря острые стаккатные аккорды,— скажи им про все это, Кенни, скажи им.

И потом крик его отца, сначала низкий, потом в муках взлетевший в небо — высокий, и гордый, и вселяющий ужас.

Алиса опустила поднос на стойку бара.

— Господи, Пит, смотри! — Она протянула руку — рука дрожала.

Кенни забирался выше, еще выше — труба захрипела и умолкла, и слезы хлынули у него из глаз, когда он играл испуганное детское всхлипывание. Больше не было комка в груди, он чувствовал страшную

усталость — как тогда, когда вышел на улицу и срубил сук над обуглившимся телом. Громкий, гневный вопль протеста потряс притихшую комнату, и Кенни, нагромождая дикие рифы звуков, прорывался сквозь них, насмехаясь, издеваясь, проклиная, обвиняя, всеми этими диссонансами спрашивая: Почему?!. Почему?!. Почему?!.

Потом тему снова подхватил Бенджи, а Кенни стоял в ярком резком свете прожектора, и тело его вздрагивало от тихих мучительных рыданий.

— Эй, парень! — крикнул ему человек со значком.— Сыграй-ка «Свет моих очей»!

Перевод с английского В. ГРИГОРЬЕВА

ЛЕОН ВАНТУЛА

Праздничный день

Леон Вантула — одно из совершенно новых имен в польской литературе. Писатель родился в 1928 году, в Силезии, в рабочей семье. По профессии он шахтер, в течение нескольких лет работал штейгером.

Дебютировал Вантула в 1962 году на страницах катовицкой газеты «Погленды». В том же году получил премию польского радио, а в 1963 году вышла его первая книга рассказов «Обвал».

Вскоре следует новый успех: повесть «Рожденные в дыму» заслужила одну из главных премий на литературном конкурсе издательства «Шленск». Недавно писатель опубликовал еще одну повесть — «Никогда не поздно».

Наиболее интересно и ново в дебюте Вантулы — его обращение к теме труда, борьбы человека с природой, к теме, имеющей прекрасные традиции в польской литературе, но в последние годы почти совсем забытой.

Лучшие рассказы сборника «Обвал», один из которых, «Праздничный день», я рекомендую для публикации в «Иностранной литературе», тематически и проблемно связаны с жизненным опытом, приобретенным писателем за годы его горняцкой работы.

Жизнь горняков Силезии вошла в польскую литературу еще в межвоенный период. Силезии посвящали свои книги такие писатели, как Морцинек или Поля Гоявичинская. Правда, они останавливались прежде всего на актуальных в то время проблемах общественной борьбы, а также борьбы за сохранение национальной самостоятельности, связанной со стремлением Германии к онемечиванию силезского населения. Сегодня жизнь выдвигает совсем иные — психологические и нравственные — проблемы, и именно они интересуют Вантулу. Писатель хочет показать, как мыслит и чувствует современный

житель черной силезской земли — земли тяжелого, изнурительного труда.

Здесь рождается новый человек, гражданин народной Польши, подлинный хозяин земли, добывающий из ее недр величайшее богатство страны — уголь.

Но дело не только в борьбе с природой. Силезский шахтер, ставший хозяином своей судьбы, чувствует, мыслит, организует свою личную жизнь, вступает в семейные и общественные связи. Он сохраняет быт, сформировавшийся веками, и одновременно создает новый. Эта молодая Силезия пока не нашла отражения в литературе.

Леон Вантула один из первых, кто пытается восполнить этот пробел. Наблюдения его метки, язык богат, хотя иной раз еще несколько шероховат. Мне кажется, что начало творческого пути Вантулы дает основание возлагать на него надежды в будущем.

Рышард Матушевский

ли молча.

Дым редел. Когда они только пробирались к месту пожара, все было иначе. Копоти стало меньше, огонь был усмирен. Тонкая змейка дыма под кровлей — последний след борьбы пятерых мужчин.

Перед ними лежало зеркало воды, которая скопилась в осевшей части старого штрека. Они думали о воде, лишь приближаясь к ней, а потом входили в нее, гуськом, один за другим.

Со стен свешивалась белая плесень.

Рышард шел первым, за ним те двое. И Арнольд. Замыкающим он, Ежи. «Командир всегда идет последним». «Командир не должен спускать глаз со своих людей». Ежи хорошо помнил эти скучные заповеди, словно они были написаны на кислородной маске, как список дорожных знаков на ветровом стекле машины. Прежде чем они вошли в воду, Ежи направил пучок света на респиратор * Арнольда. Алюминиевый отражатель заиграл рубиновым блеском, внизу нервно подрагивала стрелка манометра: давление восемьдесят атмосфер.

Значит, это продолжалось совсем недолго. Пришли и потушили загоревшийся кабель. Использовано всего пятьдесят атмосфер. Ежи мог не опасаться, что кому-нибудь не хватит кислорода. Он перебросил свет вперед. Рышард был уже в воде по пояс. Следующий — по колено. Ежи подумал, что и он сейчас достигнет самого глубокого места. При этой мысли неприятная дрожь сотрясла его тело, еще не согревшееся после первого купания полчаса назад, когда они проходили здесь, направляясь к месту пожара.

Глупейшее ощущение: сначала хлюпанье под ногами, потом вода захлестывает один и другой сапог, и вот уже мокрый холод поднимается выше и выше. До самого живота. Волосы стынут под шлемом, но внутри маски дышится легче—единственное утешение для промокшего человека.

Ежи остановился вдруг на самом глубоком месте — запотело, покрылось капельками влаги стекло. На кончике носа повисла капля. Капля пота на кончике носа, капля в этих условиях гораздо хуже, чем заноза в пальце. Ежи обеими руками сжал резиновую маску, но без-

* Кислородный аппарат, применяемый при горноспасательных работах в ядовитой и удушливой атмосфере.

успешно. Нащупал клапан, нажал, глотнул воздуха, наполнил им легкие, а потом с силой выдохнул. Капля стекла вниз.

Чуть дальше он споткнулся о крепежную стойку, валявшуюся под водой, нагнулся, сунул руку в воду. И ему показалось, что она уже не такая холодная. Еще несколько метров, и вода осталась позади. Он решил остановить команду, подумал: пусть снимут сапоги, выльют воду.

Дым уже не чувствовался.

Ежи ткнул Арнольда в спину, подождал, пока тот обернется, приблизился к нему, маска к маске, и... на мгновение замер.

Лицо другого шахтера, не Арнольда. Может быть, он ошибся, не сумел сосчитать до пяти. Один, два, три... и он сам. Четверо. Он резко повернул шахтера спиной к себе, взглянул на манометр. Семьдесят три.

У Арнольда было восемьдесят, минуту назад было восемьдесят. Невозможно, ведь только что перед ним был Арнольд. Все поняли, пересчитали друг друга. Сняли шлемы.

Сняли шлемы, хотя не было команды. Пятна света заметались во все стороны. Волосы, прижатые к голове ремешками масок, слиплись. Шлемы лежали на земле.

Значит, Арнольда нет!

Ежи не понимал, как это могло случиться, где, в каком месте? Память обрывалась. Вероятнее всего, там, где он остановился и протирал запотевшее стекло.

Арнольд!

Двадцать четыре года. Блондин, продолговатое лицо, высокий матовый лоб. Человек ниоткуда. Просто однажды появился среди них и назвал себя: Арнольд. Его любили. Он всегда был весел, и только Ежи знал, что это притворство. Арнольд не умел или не хотел обнажать перед другими душу. Вот почему только Ежи знал, что он притворялся веселым.

Ежи и его сестра Элеонора.

Он не раз спрашивал себя, любит ли Арнольд ее по-настоящему или только ищет временное пристанище. Элеонора не была одинока. Она работала в конторе, воспитывала маленького Тадеуша. Один человек ежемесячно пересылал ей определенную сумму. Один сорокалетний, хорошо зарабатывающий человек — негодяй, исковеркавший молодость Элеоноры.

Арнольда познакомил с ней Ежи. Сначала это было обычное знакомство, так — случайные встречи на дороге, обмен ничего не значащими фразами, вроде: «добрый день», «ну и погодка», «что слышно?». Потом началась дружба, но это только так называлось. С тех пор, как они зачастили в «Магнолию» на чашечку кофе, а Арнольд стал покупать два билета в кино, не могло быть и речи о дружбе. И Ежи спрашивает себя: любил ли Арнольд его сестру по-настоящему или искал только временное пристанище?

Но почему он размышляет сейчас об этом в прошедшем времени? Неужели он думает?.. Нет! Так где же все-таки Арнольд?

Все четверо бросились в воду, кто-то поскользнулся на неровном глинистом дне, свалился. Ежи окунулся, стараясь что-нибудь разглядеть в мутном заслоне воды.

Напрасно!

И как это он боялся войти в грязную воду? Его передергивало при одной мысли о ней, а теперь он погружался, не задумываясь. Водою снова были полны сапоги, уже третий раз сегодня хлынула она и в рукава, и за воротник. Вода была кругом. Но казалось, что не только кругом, но и внутри него, что она пронизывает его холодом до самых костей.

Респиратор тянул ко дну.

Временами тело переставало подчиняться ему, ноги разъезжались

в стороны, руки погружались в вязкую глину, а голова будто хотела отделиться от туловища, всплыть на поверхность, как наполненный воздухом пузырь. Она была совершенно пуста, его голова, как банка из-под варенья. И вдруг он подумал, что во всем этом нет ничего удивительного, просто он на время превратился в обыкновенного водолаза, чтобы найти Арнольда, который, вероятно, споткнулся и упал.

Споткнулся. Упал. Но почему же не встает? Может быть, отравление азотом? Поэтому и не поднялся?

И надо же этому случиться именно сегодня!

Вечером они договорились встретиться, Элеонора сидит в кафе и ждет Арнольда, а вскоре туда придет Слава и спросит про Ежи. Им будет неловко, что они ждут своих парней, а не наоборот. Долго ли они будут ждать? Если б можно было позвонить им отсюда... Позвонить, звонить... В ушах звенело, будто огромный колокол повесили в старом и тихом лесу и звонили, звонили... Зачем он влез в эту мутную и зловонную жижу? Он еще раньше заметил плавающие на зеркальной поверхности голубые и фиолетовые маслянистые пятна.

Ежи встал на колени, потом, широко расставив ноги, поднялся во весь рост. Рышард и те двое стояли рядом. И вот, наконец, он заметил голову Арнольда. Она выглядела такой странной — волосы слиплись, лицо закрыто черной маской, а два шланга из гофрированной резины придавали ей совершенно фантастический вид.

Да ведь и Ежи выглядел не лучше.

Шахтеры подняли Арнольда за ремни респиратора и понесли. С каждым их шагом вода пенилась, плескалась вокруг Арнольда, а он по-прежнему был без сознания.

Пять метров. Еще каких-нибудь пять метров.

Тело Арнольда на мгновение погрузилось в воду. Они подхватили его и тащили, тащили. Метр. Два метра. Непривычно громко тикали часы.

Каковы признаки отравления азотом? Ежи не знал. Забыл. Это случается так редко. Азотом шахтеры отравляются только в учебниках. И вдруг он подумал, что совершает ужасную ошибку. Зачем экономить кислород?

Он подскочил к Арнольду, сунул руку ему за спину, к аппарату. Где клапан? Вода плескалась, круги света бесшумно танцевали на ее поверхности. Клапан!..

Где аварийный клапан?

Он нажал раз, другой, третий... Еще! Отчетливо слышно шипение кислорода, маска Арнольда вздулась. Стекло запотело, в нем не было глаз Арнольда, и губ его не было, просто не было лица. Только маска, два змеевидных шланга и грязный кожух аппарата.

Тяжело смотреть на него. А там, наверху, вероятно, уже веселятся, подумал Ежи. По сторонам полусгнившие, заплесневелые бревна, остатки рудничной крепи, над головами потрескавшиеся куски породы, и каждый кусок словно привязан к горному массиву паутиной, покачивается в ней, покачивается над их головами в этой старой вонючей норе.

Что скажет Элеонора, что подумает о брате, который здесь, в этой дурацкой дыре, совсем потерял голову?

До поворота еще сто метров, там ждет, вернее, должна ждать резервная команда. Но удалось ли наверху собрать другую пятерку?

В такой день, в такой праздник!

Он мог рассчитывать только на своих людей, на себя.

Вода осталась позади, он расставил ноги и остановил команду — ни шагу дальше, все и так продолжается слишком долго. Арнольда положили, он привалился к аппарату, голова его свешивалась на грудь. Ежи снова взглянул на свод: дыма не было, им должны выдать премию, спе-

циальную премию за то, что они потушили пожар, да еще в такой праздник.

Он сорвал маску с лица. Осторожно втянул воздух и вытер вспотевший лоб. Другие еще не решались, они смотрели на него сквозь овальные стекла своих масок. А он склонился над Арнольдом, положил руки на его маску. Воздух ничего, сносный, подумал он, иначе я тоже лежал бы уже рядом. Ежи боялся, что шахтеры заметят, как дрожат у него руки, но они, умышленно отвернувшись, выжимали комбинезоны, а один даже снял сапоги и шлепал голой ногой по грязи.

Почему никто не чувствует холода? — спрашивал себя Ежи. Наоборот, у них потные лица, и пот, стекая, смешивается с водой.

Что делать, как поступить? Только без паники, без глупостей! Но ни одна умная мысль не приходила ему в голову. Лицо Арнольда, уже освобожденное от маски, дышало таким спокойствием, таким умиротворением, будто все уже было позади.

— Арнольд! — крикнул Ежи.— Арнольд!

Остальные присели вокруг на корточки. Аппараты тянули их вперед с такой силой, что казалось, они вот-вот перевернутся, как снопы на ветру.

— Арнольд!

Надо что-то сделать, немедленно что-то сделать, иначе уже завтра, а может, даже сегодня вечером он станет посмешищем. И Ежи склонился над Арнольдом, прижался губами к его губам. Он вдохнул в них воздух, сразу же втянул его обратно и невольно поморщился.

Кто-то шумно дышал за спиной. Шахтеры были рядом, от них шел пар, лихорадочно щелкали манометры. Двое понапрасну расходовали кислород. Впрочем, теперь это не имело ни малейшего значения.

Ежи, вытерев грязную руку, осторожно и медленно растирал Арнольду грудь, потом, когда что-то в ней заурчало, наотмашь ударил его по щеке.

Подскочили шахтеры, один из них все еще босиком. Рышард решительно сдернул маску, Арнольд наконец открыл глаза.

— Что же это с ним? — спросил Рышард.

У Ежи занемела рука, он делал вид, что обдумывает ответ.

— Должно быть, наливка, черт возьми!

Арнольд шевельнул запекшимися губами, те двое тоже сняли маски. Рышард склонился над Арнольдом.

— Уж больно сильно воняет,— сообщил он.

— Тогда водка,— определил Ежи.

Все четверо расхохотались. Здесь, в этой дурацкой дыре, в этом старом и почти забытом штреке, все громко расхохотались.

И не потому, что им было так уж весело. Просто они сбрасывали с себя что-то нечеловечески тяжелое, давящее, что-то такое, чему трудно было подобрать определение. И никто не услышал, что Арнольд просит воздуха.

Он сам отцепил аппарат, поставил его между ног, нажал на клапан и прильнул к вдыхательному шлангу.

Шахтеры облегченно вздохнули.

Где-то в глубине штрека гудел трубопровод. Они снова шли впятером, и Ежи нес аппарат Арнольда.

Иногда кто-нибудь поскальзывался или задевал ногой кусок угля, иногда откуда-то, шурша, скатывался камень. Становилось чертовски холодно... и тепло одновременно. Может быть, они заболевали?

— Зачем ты это сделал? — спросил Ежи.

— Хотел пойти с тобой.

— А разве не знаешь, что после водки нельзя надевать респиратор? Зачем пил?

Арнольд пожал плечами.

— Сегодня наш праздник, Ежи,— сказал он,— откуда я мог знать, что возникнет пожар. А кроме того, я получил... письмо.

Оркестр играет без отдыха. Хорошо играет сегодня оркестр. Стены украшены черными молотками, шахтерские лампы развешаны на зеленоватых колоннах зала.

Слава так нежно улыбается своему парню, но Ежи не в силах ответить улыбкой. Ей, наверное, очень хочется сказать: «Мой герой». Но Ежи готов еще раз погрузиться в густую, холодную грязь, лишь бы не слышать таких слов. Элеонора танцует с Арнольдом. И тоже улыбается ласково. А люди за стойкой бара поют «Шахтерское племя...»

Нет, нет, хватит! Да, это он вел сегодня шахтеров тушить загоревшийся кабель, именно сегодня — что за идиотское совпадение.

Конечно, он должен врезаться в этот движущийся клубок тел, отнять Элеонору у Арнольда, вырвать ее из его объятий и еще раз съездить его по лицу. Так же, как там, внизу.

Письмо! Арнольд потерял его, когда они переодевались на спасательной станции. Ежи взглянул на адрес отправителя. Женщина. Та же фамилия. В конверте краткое сообщение о приезде. Навсегда. Конец. Покончено с неким Арнольдом, которого он, Ежи, сегодня искал в грязном месиве.

Ежи встает. Слава думает, что он пригласит ее танцевать. Но оркестр уже не играет, к сожалению. Жидкие аплодисменты, и пары, смеясь, расходятся по углам. Кто-то дружески хлопает Ежи по спине.

А вот идут они.

Они держатся за руки так крепко и так нелепо! Арнольд щурится и что-то говорит. Почему такой шум, ничего не слышно, почему все сегодня так много говорят? Элеонора шепчется со Славой, они целуются. Слава поздравляет с обручением, упоминает о помолвке, Арнольд наливает водку.

— Поэтому я и выпил с утра,— поясняет он и опускает голову.

А письмо? Так жарко, губы запеклись, лицо, наверное, красное как свекла.

— Ежи! — кричит сестра.— Ты болен?

Она так счастлива. Проклятая вода! Оркестр снова заиграл, звенят бокалы. Болен? Почему не говорят о письме? Его ведут домой. Слава накидывает ему на плечи свою меховую шубку. У него озноб. Нет, Слава не так глупа, она не скажет: «Мой герой». Шахтные здания празднично освещены, звезды нахально заглядывают в лица.

— Завтра из больницы выписывается моя сестра, калека. Она прислала письмо.

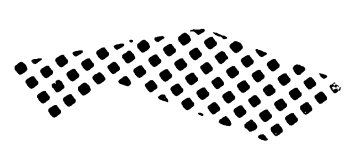
Арнольд сказал это, очевидно, ни от кого не ожидая ответа.

И все молчат.

Ежи сразу стало легче. Совсем легко. Вдруг показалось, что он летит вверх, к камням, подвешенным там на паутине. Звезды — уже не звезды, это капли росы на паутинках.

И тогда Арнольд подхватил его сильными руками.

Перевод с польского В. ГОЛОВСКОГО



КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН

Лицом к жизни

Вступление и перевод с испанского
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

«Наши шаги живут в сердце дорог»,— писал Карлос Аугусто Леон. Он прошел много дорог, этот невысокий смуглый человек с тонким лицом и внимательными глазами, и дороги его жизни всегда сливались с дорогами его поэзии.

«Стихи — это моя жизнь, потому что всегда ложились рядом шаги человека на земле и строки стихов на бумаге...»

Он родился полвека назад в Каракасе, столице Венесуэлы — страны, на протяжении всей ее истории сотрясаемой громом гражданских войн, горящей в огне народной борьбы. Молодость его пришлась на те годы, когда Венесуэлой правил Хуан Висенте Гомес, один из самых жестоких тиранов Латинской Америки — континента, видавшего на своем веку уже стольких тиранов. Еще студентом университета Карлос Аугусто Леон делает первые шаги в борьбе против тирании и террора, ежечасно угрожавших народу его страны. Первые «шаги человека на земле» приводят его к участию в студенческом движении и передовых литературных студенческих кружках, первые «строки стихов на бумаге» отражают странную красоту и сказочное богатство удивительного континента, на котором он родился и живет.

Земля и люди, кровно связанные с этой землей своим трудом,— вот основная тема поэзии Карлоса Аугусто Леона, становящаяся все более четкой по мере его сближения с угнетенным народом своей родины и с той партией, которая воплощает душу этого народа и борется за его светлую судьбу,— с партией коммунистов, в рядах которой поэт сражается свыше четверти века. И можно смело сказать, что лирический герой поэзии Леона — это народ всей Латинской Америки; когда за политическую деятельность поэт был выслан в Мексику (первый раз — в 1937 и вторично — в 1954 году), то и там он сумел проникнуть своим внимательным взглядом в самую сущность жизни народа, в его лишения и страдания, в его надежды и чаяния. С какой теплотой пишет он об индейцах — одном из самых угнетенных слоев населения Латинской Америки,— этих обреченных на полное бесправие и медленное умирание представителях древних цивилизаций! Без всякой риторики, без звонких фраз, просто, с поэтической и социальной четкостью, сообщающей его стихам на такую, казалось бы, внутринациональную тему большое интернациональное звучание.

О поэзии Леона вообще можно сказать, что она всюду чувствует себя как дома. Поэт приезжает в Советский Союз — и не только жизнь нашей страны во всем ее гигантском размахе занимает его воображение, но и наша русская природа такими неожиданно смелыми, своеобразными, свободно вылившимися из души образами ложится в стихи венесуэльца. И ей, русской природе, удобно в стихах поэта из такой дальней

страны, потому что и для нашего читателя его стихи не теряют поэтической свежести. Секрет этой свежести, быть может, в том, что поэзия Карлоса Аугусто Леона питается из чистых истоков классической испанской и мировой поэзии: у него строгая чистота барда средневековой Испании Хорхе Манрике, острое ви́дение знаменитого «лебедя Никарагуа» Рубена Дарио, горькое спокойствие и величественная простота отца революционной испанской поэзии Антонио Мачадо...

Подобно своим великим учителям прошлого и своим боевым товарищам настоящего, Карлос Аугусто Леон навсегда сохранил веру в жизнь и духовные силы народа, творца жизни. Вера в свой народ и в грядущую победу дела народного стала движущей силой его поэзии и его борьбы. Он никогда не выпускает из рук «старый военный рожок», с которым сражались за свободу его предки.

Эта твердая вера поддерживала поэта в тюрьмах и ссылках, подымала его слово на трибуны международных конгрессов против фашизма и войны, в защиту мира: в Мехико — в 1938 году, в Вене — в 1952, в Будапеште — в 1953, в Стокгольме — в 1958, в Москве — в 1962...

И в ногу со всей этой кипучей деятельностью идет всегда поэзия Леона, лауреата Золотой медали Всемирного Совета Мира,— он шел по жизни «живыми шагами»; шаг за шагом изучая ее в образе каждого дня, и так и назвал свою первую поэтическую книгу — «Живые шаги». Та же неразрывная связь с живой повседневностью своего народа и других народов Латинской Америки одушевляет все лучшие его книги, даже такие далекие по своей тематике от современности, как поэма памяти Хорхе Манрике, написанная в 1947 году, где по-новому осмысляются философские откровения знаменитых «Стансов» испанского поэта.

«Имена жизни», «С жизнью наедине», «Строфы о водородной смерти и о народной жизни», «Благодарю тебя, любовь» — таковы названия его поэтических книг и отдельных поэм, утверждающих и воспевающих жизнь.

Друг нашей страны, один из основателей Института венесуэло-советских культурных связей, автор поэмы «Я воспеваю Ленина», «Песни о Советском Союзе» и книги «Москва — город Человека», Карлос Аугусто Леон близок и дорог нашему читателю.

Человек и звезда

Человек! Это — великолепно! Это
звучит... гордо! Че-ло-век!..
М. Горький. «На дне»

Звезда вечерняя мое не слышит слово,
не видно мук моих в ее надменном свете,
но лишь достигнет взгляд ее огня живого —
я словно дом пустой, где стонет ветер.

Она — материя, я — плоть: одна основа,
ее огонь велик, а мой — лишь светел,
но кровь во мне сильна, бесплодье в ней сурово,
я, ей неведомый, ее в душе приветил.

Я — человек, вершина мирозданья.
Лишь известь кость моя, и плоть травою станет,
на ниве времени я, словно колос, гих.

Но строки я воздвиг, и корабли, и зданья,
И жизнь моя — стрела, что смерть саму достанет.
Хоть высока звезда — она у ног моих!

Вечер,
не осыпайся...

Вечер, не осыпайся, как однодневная роза...
Еще успеешь проститься.
Дай мне в час твоего ухода
поглядеть тебе вслед
и задуматься снова о жизни.

Там, внизу, неподвижны деревья,
обнаженные ветки сплетая,
и летят в холодеющем воздухе птицы.
Вечер, дай мне немного холодного света,
чтоб взглянуть на деревья поближе,
чтоб запомнить их самые тонкие ветки,
обнаженные ветки без листьев,
что тончайшую сеть протянули к закату.
Вечер, дай мне вдохнуть этот свет,
уходящий и розово-серый,
там, за темным и сомкнутым строем деревьев,
над спокойно белеющим снегом.

Дай взглянуть сквозь твою глубину
на далекие башни,
где сгущается тьма так же тихо,
как ты умираешь.
Мне отрадно сейчас провожать тебя, вечер.
Человеку так редко тобою дано любоваться:
слишком многим он занят, взволнован и связан на свете.
Я гляжу на тебя,
и ты снова мне даришь твой чистый, утраченный отблеск...
Точно так же когда-то ребенком
я за светом твоим устремлялся...

Выплывают воспоминанья —
о, сколько их, сколько!..
Но мне хочется в час твоего ухода
поглядеть тебе вслед,
устремляясь навстречу жизни.

Почему эти птицы
летают лишь в эти часы,
на острие ночи?
Вот на ветках сухих
расцветают, как быстрое облачко пыли,
и над снегом летят
в серо-тусклом последнем сиянье,
под огромным,
теперь уж совсем потухающим небом.
Почему только в эти часы?
Или радости это,
созревшие за день?

Час последний, а может, последний почти:
почернели деревья,
черно-сине глубокое небо,
и в воздухе кружат сороки,
крича беспокойно,

и в скрипучем их голосе
день закрывает скрипучие двери,
ночь со скрипом свои открывает ворота.

Перед моими глазами теряют деревья
каркас перепутанных веток.
Вот они уже тени, одни только тени,
лишь где-то по краю
соскользнувшие с ветки случайной.
А иные корону из птиц
на макушку надели...
Отчего
забрали́сь так высо́ко вы,
странные птицы?
Или больше вам нравится
тьма необъятная ночи,
чем тот маленький сумрак,
что в голых ветвях притаился?
И зачем ваши крылья дрожат?
И когда наконец вы
неподвижны бываете,
странные птицы?

Нам ведь тоже
право дано любоваться
последним вечерним светом.
Нам ведь первым из первых
дано это право...
За труд благородный,
за мощь созиданья.
Ведь недаром ваяли мы
новые формы деревьев,
изменяли холмов силуэты
и рек вековое теченье.
А еще мы сумели достигнуть того,
что в сиянии сумерек чистом
не страшно стоять человеку,
что и он, словно вечер прозрачный,
безоблачно светел
и взглядом и сердцем...
Нам первым из первых
право дано любоваться вечерним светом.

Барвиха, СССР

Дайте мне старый военный рожок

Старый военный рожок
дремлет на белой стене
трещиной золотой...
Губы, что прежде касались
меди его боевой,
теперь только след забытый,
песчинка в песках времен.
Дремлет медный рожок,
и тихая ржавчина вьется
его звуковой тропой.

Молчит забытый рожок,
но стоит взглянуть на него,
воскресает старый солдат,
крестьянин с простой душой,

что медь учил повторять
сердца напев боевой.
И губы, что уж давно
сокрыты сырой землей,
вспахивают мотив —
борозду за бороздой.
И я был такой солдат
когда-то в душе чужой,
и звуки в ушах моих
отдаются былой борьбой.
Старый медный рожок
голосом старых снов
со стены говорит со мной.

Звучал он и в Мукури́тас,
и в Лос-Орко́нес звенел,
гремел он и в Сан-Мате́о,
и в Карабо́бо пел.

Старый военный рожок
дремлет на белой стене
трещиной золотой.
Дайте мне старый рожок,
дед мой играл на нем,
возьму я старый рожок,
потому что не кончен бой!

Если б стихи мои были деревьями леса!

Когда прихожу я домой, меня встречает земля,
и травы толпою жмутся к стене моего дома.
И так высоки́ колосья, что на них отдыхают птицы.
И тысячи бабочек легких влетают в струи ветровы́е,
где пляшут тысячи мошек с булавочную головку.
Трудится в темных ветках паук молчаливый.
Песня сверчков рекою бьется в знакомые стены.
Цикады спешат беспокойно ветровую настроить арфу.
А там, вдали, побежали холмы за холмами.
Деревья, повсюду деревья, здесь жизнь листвою одета,
здесь в окна вливается вольно земли дыханье.
Я дом свой посеял в лианах, в живой нарядил кустарник,
поставил в огромной, пустынной, качаемой ветром чаще,
меж деревьев какао и кофе, посреди тростника и маиса,
над холодом минералов, кристаллов кубической формы,
подземных жил, по которым
теряется в темных глубинах
река золотого блеска...
Как описать мою землю, богатства ее и просторы?
Какими такими словами вырезать черные скалы,
висящие где-то высоко средь вечного снега?
Как раскрыть зеленые шири, пестреющие стадами,
звоном конских копыт и мычанием бычьим?
Как описать мою землю в мирной тиши посевов?
Ах, если б стихи мои были деревьями леса!
Не словами, а влажной, простой и горячей травою,
густой, говорливой рощей, взбирающейся по склонам
в путанице зеленой ползучих трав и растений.
Ах, если б слова мои были нежны, как травы,
как бесконечные листья и гусениц сонный шорох,
как спутанные лианы и змеи с блестящей спиною...
Ах, если б слова мои были деревьями леса!

Идолы в траве

Предок мой, как ты близко!
Тебя не бесследно скрыли
волны сухой земли, седые валы столетий...
Как часто в густой траве натыкается шаг мой
на богов твоих древних,
как часто крестьянский плуг, проходя бороздою,
их выносит на землю.

Низвергнутые, маленькие боги
лежат среди посудных черепков,
и кажется, что в час, когда пришли чужие,
ты, уходя, оставил здесь богов.
Предок мой, как ты близко:
у людей, что пашут эти поля сегодня,
ты хранишься в любой борозде души...
Потому, может быть, так похожи их лица
на богов твоих маленьких каменный лик!
А язык твой не смолк в их устах и поныне...
В Монт-Альба́не молчанье твое я слыхал...
А в Тлаколу́ле бродил по базару средь тысяч,
и для тысяч была моя речь перелетною птицей,
чужеземкой, как белая кожа моя.

Нет, не смолкло для них твое древнее слово,
не хотят они древней одежды снимать:
уипили * в цветах носят женщины гордо,
ходят в белых суровых туниках до пят;
не снимают мужчины старинных сандалий,
а нарядные, новые их пояса
так похожи на те, что носил уж когда-то
ты, мой предок, в далекие времена.
Ну а пища их та же, что ел ты: коренья
и полей этих рыжая саранча,
тот же хлеб, гусени́чной приправленный солью...
Только это? Наречье, одежда, еда?
Разве этого мало?
Наречье — река вековая,
что несет сквозь века помышленья и чувства людей,
затопляет поляны
и травы зеленые пастбищ
и растет в половодье слезами из тысяч очей.
Та река глубока,
вырывает деревья с корнями,
ты глубины ее напитал своей древней душой.
Та река глубока
и течет меж тобою и нами,
и в волнах ее дремлют твои божества, предок мой...
И глухие событья, обычаи, нравы, обряды,
что понять не могу я, не зная наречье твое,
но поймут эти люди, что ходят за плугом крестьянским,—
в них такое сокрыто, что знает лишь их бытие.

---

* Вышитая рубаха без рукавов, какую носят индейские женщины

Эти люди индейских селений — как буйные всходы,
чье цветенье прервали, плодам не позволив созреть.
Мы лишь изредка видим частицу былого их роста,
натыкаясь на каменных идолов в жесткой траве...
Сколько их еще смотрит в лицо мне
сквозь волны земные...
Как мне встретить их взгляд?
Предок мой, как ты близко от этих людей темнолицых...
От меня ты подальше... Но чувствую, вижу тебя.
Голова перетянута кожаной мрачной повязкой,
безутешны, задавлены, оттеснены...
Это люди — как я, это люди — как ты, мой предок,
а чудовищный груз не дает разогнуть им спины.

Я прошу уважения к брату родному,
уваженья к индейцу прошу я в стихах.
Уважения к древнему голосу, к слову,
что певучей легендой цвело на устах;
уважения к огненным песням и пляскам,
к одеяньям — не к жалким лохмотьям, а к тем,
где поют и сливаются яркие краски...
Уваженья к обычаям этих людей.
Уваженья к их мыслям —
не к мыслям пеона,
что за тяжкой работой забит и забыт,
но к заветным, что где-то глубóко-глубóко
он, как древние клады, хранит.
Так глубоко хранила земля в Монт-Альбане
пирамиды из сказок и клады легенд...

Я прошу уважения здесь к человеку.
И земли, что когда-нибудь сам же потребует он.
Школ, в которых учили бы древние эти наречья,
плугов, тракторов, фабрик и ткацких станков.
И плотин, и каналов, и свежей воды благодатной
для их трудной, сухой и суровой земли,
чтобы встреченный мною прохожий старик в Окотлáне
не сказал бы мне больше: «Мы все тут как есть бедняки...»
Чтобы кожаный мрачный ремень для ношения грузов
никогда ему больше не жал головы.
Я прошу одного:
чтобы дали цвести человеку...
Что же больше просить? Вы увидите сами плоды.
Я, мой предок, прошу... Но они ведь и сами попросят,
и могучий свой голос сольют воедино они,
и в руках их мачете мечом оборóтится острым.
Нет, индеец не умер, он сном лишь объят до поры.
Пусть никто не забудет: когда-нибудь к жизни проснется
этот древний Америки нашей цветок...
Как хорош будет день, когда сблизятся наши народы,
и хозяином каждый над собственной станет судьбой!
Как ты близок, мой предок!
Брожу по траве я глубокой,
там, где дремлют забытые боги твои.
У людей же, что пашут вот эти поля сегодня,
ты живешь, только спящий,
в любой борозде души.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

БЛЮЗ ДЛЯ МИСТЕРА ЧАРЛИ

ПЬЕСА В 3-х ДЕЙСТВИЯХ

■

Перевод с английского
Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

Памяти Медгара Эверса, его вдове и его детям и в память о мертвых детях Бирмингема

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МЕРИДИАН ГЕНРИ, НЕГРИТЯНСКИЙ СВЯЩЕННИК.
ТОМ
КЕН
АРТУР
ДЖИММИ — НЕГРИТЯНСКИЕ СТУДЕНТЫ.
ДЖУАНИТА
ЛОРЕНЦО
ПИТ
МАТУШКА ГЕНРИ, МАТЬ МЕРИДИАНА ГЕНРИ.
ЛАЙЛ БРИТТЕН, ЛАВОЧНИК, БЕЛЫЙ.
ДЖО БРИТТЕН, ЖЕНА ЛАЙЛА.
ПАРНЕЛЛ ДЖЕЙМС, ИЗДАТЕЛЬ МЕСТНОЙ ГАЗЕТЫ.
РИЧАРД, СЫН МЕРИДИАНА ГЕНРИ.
ПАПАША ДЖОЭЛ, ВЛАДЕЛЕЦ КАБАЧКА.
ХЕЙЗЕЛ
ЛИЛИАН
СЮЗЕН
РАЛЬФ — БЕЛЫЕ ГОРОЖАНЕ.
ЭЛИС
СВЯЩЕННИК ФЕЛПС
ДЖОРДЖ
СЕКРЕТАРЬ СУДА.
ПРОКУРОР.
АДВОКАТ ИСТЦА.
СУДЬЯ.
СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ, ПРИХОЖАНЕ СВЯЩЕННИКА ГЕНРИ, НОСИЛЬЩИКИ ИЗ ПОХОРОННОГО БЮРО ПРИСЯЖНЫЕ, ЖУРНАЛИСТЫ, ФОТОГРАФЫ, РЕПОРТЕРЫ.
ЧЕРНЫЙ ГОРОД.
БЕЛЫЙ ГОРОД.

Право первой постановки принадлежит Центральному театру Советской Армии.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сложная конструкция в первых двух действиях изображает негритянскую церковь, в третьем действии — зал суда.

Церковь и здание суда находятся на противоположных сторонах улицы в одном из городков американского Юга. В первых двух действиях зрители все время видят купол суда и развевающийся на нем американский флаг. В последнем действии они все время видят шпиль церкви и крест на нем. Посреди церкви — проход. Дверь на улицу на переднем плане обращена к зрителям. Кафедра расположена в глубине сцены, под углом, так что священник обращается одновременно и к прихожанам и к зрителям.

В третьем действии кафедра заменяется местом для свидетелей. Проход служит водоразделом между Белым Городом и Черным Городом. Черные занимают одну сторону сцены, белые — другую, это относится, в частности, к третьему действию, которое происходит в судебном помещении, разумеется, сегрегированном.

Комната Ричарда, лавка Лайла, кабачок папаши Джоэла, кухня Джо и т. п. возникают главным образом в воображении зрителей, так как ничто не должно загромождать сценическую площадку, или, точнее, конструкцию на ней, о которой уже говорилось.

В эпизоде убийства проход превращается в бездонную пропасть, сценическая площадка выступает вперед, чтобы создалось впечатление глубины этой пропасти. Ричард исчезает, падая, как камень, в оркестр.

Темнота. Выстрел.

Постепенно освещается фигура Лайла: он напряженно смотрит на то, что лежит на земле. Потом озирается, медленно наклонившись, взваливает на себя, как мешок, тело Ричарда, несет его на просцениум и бросает вниз.

Лайл. И пусть каждый черномазый, такой, как этот черномазый, кончит так, как этот черномазый,— мордой в чертополох! *(Исчезает.)*

Черный Город. Церковь. Траурная музыка. Меридиан, Том, Кен, Артур.

Меридиан. Нет, нет, нет! Том, ты должен произносить это слово естественно — так, как его произносят они: черномазый, черномазый, черномазый! **Черномазый!** А ты словно готов с этим черномазым чай пить. У них это слово звучит не так. Вспомни все, что произошло. Вспомни, что завтра вечером похороны. Вспомни, какие это похороны. Давай, попробуй еще.

Том. Ах ты черномазый, ах ты черный ублюдок, что ты тут делаешь?

Меридиан. Лучше. Уже лучше. Давай еще.

Том. Эй, парень, где твоя мать? Небось валяется с кем-нибудь в постели!

Меридиан. Вот это похоже.

Том. Эй, парень, а сколько берет твоя мать? Сколько берет твоя сестра?

Кен. Сколько берет твоя жена?

Меридиан. Вот теперь правильно. Вот теперь это они. Не стой на месте, Артур! Шагай, шагай!

Том. А ну-ка убирайся с этой улицы, черная задница, чтобы и духу твоего здесь не было, не то мы тебе кое-что отрежем, слышишь, черная скотина?

Меридиан. Почему вы стоите как вкопанные? Пошевеливайтесь, хватайте черномазого! *(Потасовка.)* Хорошо. Хорошо! Давай, давай!

Кен наступает и плюет Артуру в лицо.

Артур. Ах ты черная сволочь, ты что, спятил?

Меридиан. Эй, стойте! Стойте! Стойте! *(Вытирает Артуру лицо. Все они дрожат от возбуждения.)*

Входит матушка Генри.

Матушка Генри. Вот и наши. Видно, им здорово досталось.

Входят Джуанита, Лоренцо, Пит, Джимми с плакатами в руках, растрепанные, усталые, израненные. Пит плачет, на плакатах надписи: «Свободу, и немедленно!!!», «Убийцу к ответу!», «Требуем права голоса!».

Джуанита. Мы победим!

Лоренцо. Мы не тронемся с места! *(Смеется.)* Но сегодня нас тронули с места. Кое-кто был даже тронут до слез.

Меридиан *(Джуаните)*. Что там произошло?

Джуанита. Ничего особенного. Обычные субботние забавы.

Меридиан. Хватит, Пит, хватит, дружок. Перестань. Перестань.

Лоренцо. Я его не виню. Он не виноват. Чувствуешь себя дурак дураком, когда стоишь как столб, а белые бабы тебя колотят. Пальнуть бы по ним хоть разок! Черт бы тебя взял, Пит, перестань реветь!

Джуанита. Лоренцо, ты же в церкви.

Лоренцо. Ну да. Жаль, что не на оружейном складе. Простите, Меридиан, и вы, матушка Генри, но я вас не понимаю. Не понимаю Меридиана. Ведь убили его сына и вашего внука, матушка Генри,— прихлопнули, и все! Не прошло еще и недели... А вы сидите тут в этом... в этом доме всемогущего господа бога, будь он проклят, плевать ему, что делается с человеком — конечно, если он не белый. Матушка Генри, я вас очень уважаю, да и Меридиана тоже, но бог у белого человека — сам белый. И этот белый бог, будь он проклят, линчует нас, поджигает наши дома, кастрирует наших мужчин, насилует наших женщин, отнимает у нас все, что столько веков делало людей людьми. Так чего же мы здесь торчим, в **его** доме? Попался бы он мне в руки — я стащил бы его с небес и поволок на веревке по улицам.

Меридиан. Нет, ты бы этого не сделал.

Лоренцо. Нет? А вот и сделал бы. Еще как!

Джуанита. Тогда бы ты был ничуть не лучше их.

Лоренцо. А я не хочу быть лучше их, чего ради мне быть лучше их? И в чем? Им ведь только и надо, чтобы я был подстилкой под ногами, а лучше — бессловесным трупом. Иногда я просто теряюсь. Вот уже больше года устраиваем демонстрации, а чего мы добились? Доступа в захудалую библиотеку, которая устарела еще в конце прошлого века и куда все равно никто не ходит? Разве у нас в городе читают книги? И это нам стоило бог весть сколько тысяч долларов штрафа, Джером все еще лежит в больнице, и все мы знаем, что Рути никогда уже не будет той веселой девчонкой, какой она была. Есть чем похвастать! Теперь мы пикетируем этот шикарный кинотеатр, где ноги моей не будет, хоть озолоти: спасибо, проживу и без Юла Бриннера и Дорис Дэй. А электромонтерами и водопроводчиками нас все равно не возьмут, пройтись по парку нам все равно не дают, и наши малыши все равно не могут поплавать в городском бассейне. Мы все равно не голосуем, не можем даже зарегистрироваться как избиратели. Так стоит ли игра свеч? Нас убивают, а у нас нет даже револьверов. Полиция нас не защищает. Нет, эти гады бегают по городу и науськивают: «Дайте им как следует! Они и не пикнут, это негритянское быдло!»

Меридиан. Сегодня кого-нибудь арестовали?

Пит. Нет, сейчас им не до того: надо придумать, как труп Ричарда очутился в чертополохе.

Лоренцо. Что там делалось! Кирпичи так и летали над головой, а мы только кланялись и молили бога, как бы добраться домой, пока они кого-нибудь не пристукнули... *(Смеется.)* А в голове у меня вертелся стишок — будто я белый и по утрам напеваю:

Поглядите на эту черную рожу!
Он смеется, ему наплевать на всех.
Слава богу, я не черная рожа...

Все.

Боже мой, неужели я тоже негр! *

* Стихи здесь и дальше в переводе Бориса Слуцкого.

Джуанита. Ты спятил, Лоренцо! Они добились своего. Какой теперь из тебя борец?

Меридиан. Я не успокоюсь, пока не предстанет перед судом убийца моего сына. Тот, кто его убил.

Лоренцо. Но он раньше уже убил одного негра — все вы об этом знаете. И ничего тогда не произошло. Шериф зарыл труп, и дело с концом.

Меридиан. Парнелл мне поможет.

Пит. **Мистер** Парнелл не захочет, чтобы арестовали его закадычного дружка, этого сукиного сына. Простите, матушка Генри.

Матушка Генри. Ничего, сынок.

Меридиан. По-моему, Парнелл доказал, что он наш друг. Это единственный белый в городе, который посмел поднять голос в защиту правого дела. Он боролся за то, чтобы убийцу судили, и ему пришлось нелегко. Если бы не он, не на что было бы и надеяться.

Лоренцо. Видно, я не такой добрый, как вы. И не доверяю всем и каждому.

Меридиан. Мы не можем себе позволить не доверять людям.

Лоренцо. Мы не можем себе позволить и чересчур доверять им. Если белый бывает хорошим, значит, он ждет, чтобы и ты был хорошим. А если мне вдруг вздумается быть плохим? Разве я не имею права быть плохим, как другие?

Меридиан. Нет, не имеешь.

Лоренцо. Почему?

Меридиан. Потому, что ты ведаешь, что творишь.

Входит Парнелл.

Парнелл. Здравствуйте, друзья мои. Я пришел, как вестник радости. Кажется, так надо выражаться, Меридиан?

Джуанита. Парнелл!

Парнелл. Я спешу. Забежал сообщить — выписан ордер на арест Лайла.

Джуанита. Неужели его арестуют? Долговязого Лайла Бриттена? Как же вы этого добились?

Парнелл. Не стану хвастать, Джуанита, не такой уж я хороший, но кое на что я гожусь.

Джуанита. И сколько же народу в нашем городе не будет с вами здороваться, детка, много, много, много дней!

Парнелл. Зато будете здороваться все вы. Видно, мне придется обойтись вашим обществом. А теперь я, пожалуй, пойду предупрежу Лайла. В конце концов, я добился его ареста, а он мой приятель... И потом надо дать сообщение в моей газете.

Джуанита. Значит, это правда.

Парнелл. Да. Правда.

Меридиан. Когда его арестуют?

Парнелл. В понедельник утром. Вы не скоро ляжете, Меридиан? Я еще загляну попозже, если не возражаете.

Меридиан. Заходите. Я лягу не скоро.

Парнелл. Тогда ладно. А теперь я пошел. Спокойной ночи. Жаль, что мне нужно спешить.

Меридиан. Спокойной ночи.

Джуанита. Спасибо, Парнелл.

Парнелл. Не благодарите меня, дорогая. Я сделал только то, что, по-моему, должен был сделать. Еще увидимся, Меридиан. *(Уходит.)*

Меридиан. Неужели они признают его виновным?

Джуанита. Виновным! Вы, кажется, верите в царствие божье на земле. Пока что они его даже не арестовали. Да и зачем им при-

знавать его виновным? Почему именно его? Чем он хуже других? Почтенный представитель своего племени, честь и чистоту которого он защищал, проливая чужую кровь.

Белый Город. Л а й л держит ребенка на вытянутых руках.

Л а й л. Ах ты негодник. Имейте в виду, сэр, я требую, чтобы вы не смели открывать свой крантик и вели себя как джентльмен, когда вы у папы на коленях.

Входит Д ж о.

Ну и здоровенный мочевой пузырь у этого карапуза!

Д ж о. Это у него в роду.

Л а й л. Ишь ты какая язва. *(Передает ей ребенка.)* Не правда ли, писун? Тебе не кажется, что твоя мама язва? Что мне, по-твоему, теперь делать?

Д ж о *(меняя пеленки)*. Скажи своему папочке, чтобы он спал по ночам в своей постели, а не вваливался домой на рассвете.

Л а й л. Скажи своей мамочке, что, если бы она не спала, как колода, и тебя бы нянчила, она бы не замечала, когда я вваливаюсь.

Д ж о. Нянчить приходится не только его, но и тебя.

Л а й л. Не воображай невесть что. Я просто торчу в лавке.

Д ж о. До четырех часов утра?

Л а й л. У меня свои заботы: думаю расширить торговлю, тут надо пораскинуть мозгами.

Д ж о. Сейчас расширить торговлю? Бог с тобой! Мы и так еле сводим концы с концами. Не знаю, что бы с нами стало, если бы по субботам не наезжали из деревень. Разве теперь время расширяться? Дай бог совсем не вылететь в трубу.

Л а й л. Ничего, не беспокойся, куда черномазым деться? Скоро им надоест валять дурака. Думаешь, легко ездить в другой штат за сорок пять миль, чтобы запастись продовольствием? Ведь у многих даже нет машины.

Д ж о. Если нет машины, есть друг с машиной.

Л а й л. Друзьям тоже надоест. Денька два назад в лавку заходил Джоэл...

Д ж о. Папаша Джоэл? Ну, он не в счет. Его ты всегда умел обвести вокруг пальца.

Л а й л. Будешь ты слушать или нет? Денька два назад он зашел в лавку купить мешок муки, да и говорит — черномазым осточертело носиться в поисках жратвы. Кому не надоест гонять по сорок пять миль за мешком муки?.. А почему, по-твоему, Джоэл не в счет?

Д ж о. Да потому. Ну, чего стоит человек, если свои же его ни во что не ставят?

Л а й л. Джоэл соображает, что к чему, только и всего. А я его ставлю выше, чем многих белых. Факт. Он-то знает, что для черномазых хорошо и что плохо.

Д ж о *(опуская ребенка в кроватку)*. Ну-ну. Если ты будешь продавать по мешку муки в неделю, твоему малышу не кончить школу. *(Пауза.)* А как ты хочешь расширять торговлю?

Л а й л. Я подумывал о том, чтобы сделать лавку... ну... понаряднее, что ли. У нас любят яркие цвета.

Д ж о. Ты хочешь сказать, черномазые любят.

Л а й л. Какого дьявола! Я продаю товар не одним неграм! Пожалуйста, не перебивай... Я думал сделать лавку пошикарнее, обновить фасад, повесить неоновую вывеску. И знаешь, у нас пропадает место внутри, так почему бы не закупить партию женских платьев, не слишком дорогих, конечно? Держу пари, торговля пошла бы куда бойче.

Д ж о. Не знаю. Почти все наши дамы покупают платья у Бентона на Декатур-стрит.

Л а й л. Черномазые там не покупают. И потом, мы могли бы продавать точно такие же платья, как у Бентона. Для белых дам...

Д ж о. Нет. Все равно было бы не то...

Л а й л. А почему? Платье есть платье.

Д ж о. Совсем другое дело, если скажешь, что купила его на Декатур-стрит, у Бентона. Да и где ты добудешь на все это деньги?

Л а й л. Могу взять ссуду в банке. За меня поручится старик Парнелл или кто-нибудь из его богатых дружков.

Д ж о. Парнелл заходил к тебе днем... тебя не было в лавке.

Л а й л. Откуда ты знаешь, что меня не было в лавке?

Д ж о. Парнелл был здесь, он сказал, что хотел заглянуть к тебе в лавку, но она была закрыта.

Л а й л. Не было покупателей. Я пошел пройтись.

Д ж о. Он говорит, что у него для тебя плохие вести.

Л а й л. Какие такие плохие вести?

Д ж о. Не знаю. Зайдет вечером и расскажет тебе сам.

Л а й л. А ты как думаешь?

Д ж о. Что, если тебя арестуют?

Л а й л. Ну, нет. Они еще не спятили.

Д ж о. А, по-моему, могут. За последнее время в городе были такие беспорядки, о них писали все газеты на Севере... и теперь еще этот мальчишка, которого убили.

Л а й л. У них нет никаких доказательств.

Д ж о. Нет. Но ты последний видел этого бешеного живым. Вот все и вспомнили про тот, другой случай.

Л а й л. Тогда была самозащита. Так сказал сам шериф. Черт, я же не убийца! Просто иногда становится невтерпеж...

Д ж о. И о той бедняжке... о его жене... больше ни слуху, ни духу.

Л а й л. Ну да. Сгинула, и все.

Д ж о. Ты о ней больше ничего не слышал?

Л а й л. А почему я должен о ней слышать больше, чем другие? Смылась, и все... кажется, у нее была родня где-то в Детройте, туда и укатила.

Д ж о. А мне было ее жаль. Последнее время она бродила по городу как потерянная... И ведь такая молоденькая, хорошенькая...

Л а й л. На мой взгляд, она была совсем еще девчонка. Словно и не мужняя жена. Для него-то она наверняка была молода.

Д ж о. Ведь и это случилось в лавке?

Л а й л. Да.

Д ж о. Сколько было разговоров! Вот что меня сейчас пугает.

Л а й л. А чего стоят все эти разговоры! Надеюсь, ты им не верила?

Д ж о. А многие верили и сейчас верят.

Л а й л. Но ты-то не веришь?

Д ж о. Нет. *(Пауза.)* Знаешь, в понедельник утром будет ровно год, как мы женаты!

Л а й л. Ну, насчет нас с тобой никто болтать не будет. Малышу как раз два месяца.

Звонок.

Д ж о. Вот и Парнелл. *(Уходит.)*

Лайл шагает по комнате, заглядывает в кроватку ребенка.
Входят Д ж о и П а р н е л л.

Л а й л. Давно пора тебе появиться, старый греховодник! Ты так занят своими черномазыми, что для белых у тебя и времени нет. Уж не завел ли ты себе на том конце города черномазую девку? Ей-богу...

П а р н е л л. Я приношу вам глубочайшие извинения за вашего мужа, миссис Бриттен. Больше того, я никак не могу одобрить ваш выбор. Если бы я познакомился с вами первый, моя дорогая, и если бы вы

оценили мое обаяние — сколько бед вы могли избежать! В этом доме найдется что-нибудь выпить? Не говорите «нет» — нам это сейчас обоим не помешает. И давайте сядем.

Лайл. Тащи-ка сюда выпивку, старуха.

Джо приносит бутылку, стаканы, лед; наливает.

Чем ты там занимался?

Парнелл. У меня теперь другое поле деятельности. На этой неделе я не защищал негров, я защищал тебя. Только что я был у начальника полиции.

Лайл. Ну, как поживает этот старый ублюдок?

Парнелл. По-моему, превосходно. Но он действительно старый ублюдок, Лайл, он подписал ордер на твой арест.

Лайл. Хочет арестовать меня? Думает, я пришил этого парня?

Парнелл. Вопрос не в том, что он думает. Тут есть особые обстоятельства, они и вынуждают тебя арестовать. Можешь не сомневаться — будь у него другой выход, он бы не стал тебя сажать. Будь у него другой выход, он бы никого не стал сажать, кроме нищих слепцов да черных старух: ведь он глуп как пробка и труслив как заяц. Тебя обвиняют в убийстве.

Джо. В убийстве!

Лайл. В убийстве?

Парнелл. В убийстве.

Лайл. Я не убийца. Сам знаешь.

Парнелл. Но я знаю, что кто-то этого парня убил. Кто-то всадил ему две пули в живот и выбросил его труп в чертополох у железной дороги за городом. Кто-то же это сделал! А мы платим уйму денег всяким влиятельным болванам, глупым как пробка и трусливым как зайцы, чтобы они пресекали подобные действия. Пресечь они их не пресекают, а все-таки найти того, кто убил этого парня, нам надо. А ты, друг мой, как утверждает в своих показаниях Джоэл Дэвис, он же папаша Джоэл, был последним, кто видел парня живым. Известно, что ты его недолюбливал... чтобы не сказать больше.

Лайл. Никто его не любил.

Парнелл. Допустим. Но нельзя сказать, что никто его не убил. Кто-то же убил. И этого «кого-то» надо найти. А поскольку ты был последним, кто видел убитого живым, придется тебя арестовать — и тебя либо оправдают, либо осудят.

Лайл. Они меня не осудят.

Парнелл. Ну, тут ты, пожалуй, и прав. Но арестовать тебя они все равно арестуют.

Лайл. Когда?

Парнелл. В понедельник утром. Конечно, ты еще можешь сбежать в Мексику.

Лайл. А чего ради мне бежать?

Парнелл. Я и не подстрекаю тебя к бегству. Если ты сбежишь, я уговорю твою жену с тобой развестись и выйти за меня.

Джо. Ну, вот это лучший способ заставить его немедленно смыться из города. Смотри, какое выгодное предложение тебе делают, золотко. Неужели откажешься?

Лайл. Не болтай чепуху. Дела мои дрянь. Ей-богу, не знаю, что за дурь на них нашла!

Парнелл. Да, дела у тебя неважнецкие. Будь этот парень белым, они были бы совсем, совсем дрянь и тебя бы давно посадили за решетку. А ты что, не понимаешь, с чего на людей тут дурь напала?

Лайл. Поднимать такой хай из-за какого-то черномазого щенка да еще с Севера!

Парнелл. Положим, он здешний. Сын священника Меридиана Генри.

Л а й л. Ну, он так долго отсутствовал, что его уже можно считать северянином. Махнул на Север, сбился там с панталыку и вернулся, чтобы устраивать беспорядки; говорят, он еще и наркоман. Так чего ж тут поднимать хай? Верно, пришил его какой-нибудь другой черномазый — у них это дело обычное,— а ведь никто и не подумал арестовать кого-нибудь из них. Может, у нас в городе всех чернопузых зачислили в святые?

П а р н е л л. Знаешь, я здесь не для того, чтобы обсуждать с тобой вопрос о святости черномазых. Я пришел, чтобы предупредить тебя об аресте. **Ты** можешь считать, что всякий негр, который на Севере сбился с панталыку, а потом вернулся домой и хочет снова встать на ноги, заслуживает смерти,— я другого мнения.

Л а й л. Ты говоришь так, будто у меня зуб против негров,— ничего подобного! Нет у меня против них зуба и никогда не было. Но будь я проклят, если я стану с ними якшаться. Вот и весь сказ. Мне это не по душе, и все. Я вовсе не желаю, чтобы какой-нибудь черномазый самец забрался в постель к Джо, а ведь все к тому идет, и ты это знаешь не хуже меня! Я — против и сделаю все, чтобы до этого дело не дошло! Сделаю!

П а р н е л л. Представь себе, что он — вот этот мой крестник — возьмет да и женится на китаянке. Знаешь, на свете тьма-тьмущая китаянок, хоть ты об этом, наверно, даже не подозревал. Тем не менее это так. Допустим, он вырастет, посмотрит на всех наших чистых белых женщин, и его — извините за выражение — начнет от них тошнить, и тогда он задумает жениться на чистой китайской девушке. Что ты будешь делать? Пристрелишь его? Или пристрелишь ее?

Л а й л. Парнелл, ты мне друг. Ты всегда был мне другом. Ты знаешь про меня больше, чем кто-либо на свете. Что на тебя нашло? Ты же... ты же не пойдешь против меня, а?

П а р н е л л. Нет. Нет, я никогда не пойду против тебя. Я только хочу заставить тебя призадуматься.

Л а й л. Если на то пошло, ты ведь не женился на китаянке. Ты просто ни на ком не женился. Уж не знаю, сколько баб старалось подцепить старину Парнелла, а ничего у них не вышло... Понятия не имею, что в тебе такое есть, но маху ты не даешь! А как насчет твоей нынешней, насчет Лоретты,— на ней хоть ты женишься?

П а р н е л л. Сомневаюсь.

Д ж о. Парнелл, вы просто чудовище. Чудовище!

П а р н е л л. По-моему, она должна быть мне благодарна: ведь она может сделать более выгодную партию. Кто я такой? Опустившийся издатель газетенки, которую **никто** не читает, в бестолковом и мерзком захолустном городишке.

Л а й л. Я думал, тебе у нас нравится.

П а р н е л л. Вовсе мне здесь не нравится. Но я люблю свой город. А может, и нет. Не знаю. Ну, мне пора.

Л а й л. Что за спешка? Посиди с нами, поужинаем, чем бог послал.

П а р н е л л. Меня ждет Лоретта. Придется с ней поужинать, чем бог послал. А потом, у меня есть еще дела на том конце города.

Л а й л. Насчет чего они там треплются? Наверно, молятся день и ночь, чтобы меня вздернули? Выкладывай, мне на них наплевать.

П а р н е л л. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Во всяком случае, треплется один папаша Джоэл.

Д ж о. Я же говорила тебе, что он ничтожество, я же тебе говорила!

Л а й л. Понять не могу, какая муха его укусила! Мы же столько лет друг друга знаем! Вот что значит старость. Ступай к нему и скажи, что он все напутал... насчет меня и того мальца. Скажи, что ты со мной говорил и я сказал, что он ошибается.

Парнелл. Если разрешите, завтра к вам загляну. Спокойной ночи, Джо, и спасибо. Спокойной ночи, Лайл.

Лайл. Спокойной ночи, старина.

Джо. Я провожу вас до дверей.

Джо и Парнелл уходят. Лайл шагает по комнате.

Лайл. Ну и ну! Вот так новость! Нет, засудить им меня не удастся! Нипочем! *(Заглядывает в детскую кроватку.)* А ты как думаешь, писун?

Черный Город, снова церковь.

Лоренцо. А когда они будут его судить, я буду ходить туда каждый день — вон туда, в суд, на ту сторону улицы, откуда они годами отправляли нашего брата на тот свет.

Матушка Генри. Я тоже их раньше ненавидела, сынок. А теперь перестала. Уж больно жалкий народишко.

Меридиан. Но ведь свидетелей не было.

Джуанита. Эх, Меридиан, Меридиан.

Матушка Генри. Помните песню, которую он так любил?

Меридиан. Я счастлив и поэтому пою!

Джуанита. Свободен и поэтому пою!

Пит. Господь не дает пропасть и воробью,

Лоренцо. Он охранит и жизнь мою.

Слышна далекая музыка.

Джуанита. Он любил и другую песню — песню о тюрьме, и о проносящемся поезде, и как огни поезда освещают лица узников каждую полночь. Мне так и слышится его голос: господи боже, пробуждаясь по утрам, ты слышишь звон, дин-дон...

Матушка Генри. У него был прекрасный голос...

Лоренцо. Там, в Нью-Йорке, он давал жару... пока не споткнулся.

Меридиан. И кинулся домой...

Матушка Генри. Не вини себя, голубчик. Не вини себя!

Джуанита. ...Строем идем на обед, ничего там нового нет...

Джимми. Ножик, вилка и ложка...

Музыка звучит громче.

Пит. А ежели поворчишь немножко...

Лоренцо. Наживешь себе бед.

Свет в церкви меркнет. Мы видим Ричарда у себя в комнате, он поет. Эта сцена должна дать живое представление о том Ричарде, которого так любили, когда он играл в театре Аполло в Гарлеме, о том Ричарде, который был восходящей звездой Нью-Йорка.

Меридиан. Свидетелей не было...

К концу песни Ричарда входит матушка Генри, она несет поднос с бутербродами, пирогом и стаканом молока.

Ричард. Ты кормишь меня по-королевски, старая, а какой же я король! Я просто неудавшийся музыкант, безработный голоштанник. А петь я могу, правда?

Матушка Генри. Выражайся уважительно, ты же знаешь, что ни я, ни отец не любим таких словечек. Садись и ешь, тебе надо набираться сил.

Ричард. Для чего? Куда мне их девать?

Матушка Генри. Брось такие разговоры.

Ричард. Брось такие разговоры, не нужны нам такие разговоры! Никому дела нет, что человек чувствует, что он думает, что с ним творится,— заладили одно: брось такие разговоры.

Матушка Генри. Ричард!

Ричард. Ладно. Ладно. *(Садится на кровать, начинает есть с какимто ожесточением.)* Чего я никак не пойму — это зачем я торчу здесь, у черта на куличках, на черном, вонючем, проклятом Юге.

Матушка Генри. Ты здесь родился. Здесь твоя родня. Ты не умеешь себя вести, и в голове у тебя ветер, вот ты и попал в беду и вернулся к своей родне. Счастье твое, что все обошлось так, а не хуже. Хочешь еще молока?

Ричард. Нет, бабушка. Садись.

Матушка Генри. Некогда мне с тобой прохлаждаться. *(Но она все-таки садится.)* О чем задумался?

Ричард. Сам не знаю. Как вы только терпите?

Матушка Генри. Кого терпим? Тебя?

Ричард. Да нет, здешнее житье и всех этих неприкаянных людей.

Матушка Генри. Судя по тому, что мне говорили, да я и сама вижу, люди, с которыми ты знался, были не лучше.

Ричард. Ты о ком, о тетке Эдне? Она звезд с неба не хватает, но она ничего.

Матушка Генри. Я не о ней говорю. Я говорю обо всех тех, с кем ты там путался. А я-то думала, у тебя есть голова на плечах. Ты меня слышишь?

Ричард. Слышу.

Матушка Генри. Это все, что ты можешь сказать?

Ричард. Тебе легко говорить, бабушка, ты же ничего не знаешь о Нью-Йорке и о том, что там человеку грозит.

Матушка Генри. Я знаю все, что человеку грозит на этом свете. И я знаю, что хорошо и что плохо. Мы старались воспитать тебя так, чтобы и ты знал — что хорошо и что плохо.

Ричард. Мы по-разному смотрим на вещи, бабушка. Я не очень уверен, знаю ли я, что хорошо и что плохо, но хотел бы знать; я всегда ищу людей, которые кое-что знают, особенно что хорошо и что плохо.

Матушка Генри. У тебя были неприятности — с кем этого не бывает,— и ты немножко устал, и это тоже со всяким бывает. Все пройдет. Ты еще молод. Ты только поменьше суетись, посиди тихонько. Твой отец души в тебе не чает. Ты у него единственный сын.

Ричард. Велика важность, бабушка. Но давай я расскажу тебе о Нью-Йорке. Ты ведь никогда не бывала на Севере, правда?

Матушка Генри. Отец рассказывал мне о нем каждый раз, когда ездил вас навещать.

Ричард. Отец сам Нью-Йорка не знает. Приедет на несколько дней и сразу же уезжает обратно. Так Нью-Йорк не узнаешь. Нет! Он его даже толком не видел. В конце концов я понял, что он никогда его и не увидит; есть много вещей, которых отец не способен видеть. Я знаю о них больше, чем он.

Матушка Генри. Вам, молодым, всегда так кажется.

Ричард. А тебе? Когда ты была молоденькой? Ты думала, что знаешь больше, чем отец и мать? Пари держу, что так,— ведь ты у нас хитрая старуха, хоть и тихоня.

Матушка Генри. Нет, никогда я так не думала. Но я верила, что могу узнать больше их: ведь они родились рабами, а я родилась свободной.

Ричард. Ну и как, узнала?

Матушка Генри. Я узнала то, что мне надо было знать,— как заботиться о муже и растить детей в страхе божьем.

Ричард. А ведь я, бабушка, в бога не верю.

Матушка Генри. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Разве можно не верить в бога? Это от тебя не зависит.

Ричард. От кого же это зависит?

Матушка Генри. От жизни, которая бьется в тебе... от самой жизни в тебе. **Она**-то знает, откуда произошла, **она**-то верит в бога. Если сомневаешься — попробуй-ка не дышать.

Ричард. Ишь ты какая хитрая, а? *(Пауза.)* Я уговорил тогда отца, что мне будет лучше в Нью-Йорке, Эдна тоже уговаривала, твердила, что там черному живется привольнее, чем здесь. Да все это брехня, бабушка, ты уж мне поверь. Сперва я думал — это правда; черт, я же был деревенщина, юнец, а там нет никаких надписей — туда нельзя, сюда нельзя. Нет, ты должен дойти до этого сам. Первое время я думал, что все идет как по маслу, ну а Эдна — ей ведь море по колено, она-то вообще уверена, что у нее всегда все идет как по маслу; так мы и катались как сыр в масле.

Матушка Генри. Я знаю, Эдна где-то там себя потеряла. Но ты, ты почему не вернулся? Ты же знал — отец ждет, чтобы ты вернулся... И отец и я.

Ричард. Я не хотел возвращаться, как побитая собака. Как побитая собака... которая ищет защиты у другой побитой собаки. Нет, этого я не хотел. Я хотел, чтобы отец мною гордился,— ведь, когда я отсюда уезжал, я, ей-богу, не очень-то гордился им.

Матушка Генри. Тише, сынок. Отец прекрасный человек. Отец тебя любит.

Ричард. Знаю. Но как бы мне хотелось, чтобы в тот день, когда умерла мама, он взял револьвер и отправился в эту чертову гостиницу для белых и перестрелял там всех этих сукиных детей. Да, да. Пусть бы он всех их прикончил. Тот день мне снился с тех пор, как я уехал отсюда. Мне снилось, как мама падает с лестницы этой гостиницы. **Моя** мама. Я никогда не верил, будто она упала сама. Я всегда думал, что какой-то белый ее столкнул. И знаю — отец думает то же самое. Но его там не было, он ничего не видел, ничего не мог сказать наверняка, ничего не мог сделать. Никогда не забуду, какой у него был вид — точно у побитой собаки!

Матушка Генри. Она упала, Ричард, упала сама. Ступеньки были мокрыми и скользкими, и она упала.

Ричард. Чтобы мама вдруг упала с лестницы в этой проклятой гостинице для белых? Маму столкнули, ты помнишь, как эти белые ублюдки вечно увивались вокруг нее — ведь она была хорошенькая и черная.

Матушка Генри. Ричард, не смей внушать себе, что во всех страданиях на свете виноваты только белые!

Ричард. Почему? Почему мне этого себе не внушать? Я буду вести себя с каждым белым так, будто это он виноват во всех преступлениях в мире, с тех пор как живут люди. Ведь это они виноваты во всех несчастьях, которые я видел,— с меня этого хватит. И мама умерла потому, что отец был не в силах ее защитить. Не в силах, потому что он черный. Чтобы обрести силу, черные должны выгнать вон всех белых.

Матушка Генри. Ты хочешь себя уморить. Ты хочешь уморить себя ненавистью.

Ричард. Вот уж нет. Я хочу выздороветь. Ненависть поможет мне выздороветь — что ты на это скажешь?

Матушка Генри. Так не бывает. Никогда не бывает. Ненависть — это отрава.

Ричард. Не для меня. Я научусь принимать ее как лекарство — глоток утром, глоток на ночь. Я припомню им все. Буду хранить это тут, у себя в голове. Я припомню им маму, и папино лицо в тот день, и тетю Эдну — как ей нужно изворачиваться, и всю эту молодежь в Гарлеме, и всех сутенеров, и шлюх, и бандитов, и всех гадов

из полиции. Я припомню им и наркотики, отравляющие кровь в моих жилах. Все припомню: тюрьмы, где я сидел, полицейских, которые меня били, и каких мук мне стоило избавиться от моей пакостной привычки. Я припомню все это и выздоровлю. Я выздоровлю.

Матушка Генри. Ох, Ричард, Ричард, Ричард.

Ричард. Не причитай надо мной. Говорю тебе, я выздоровлю. *(Вытаскивает из кармана маленький револьвер с отпиленным стволом.)*

Матушка Генри. Ричард, зачем тебе этот револьвер?

Ричард. Ношу его с собой, вот и все. Куда я, туда и он.

Матушка Генри. Он у тебя давно?

Ричард. Давным-давно.

Матушка Генри. Ричард... а ты никогда?

Ричард. Нет. Пока нет. Но если надо будет... не беспокойся. Будь я проклят, если не прихвачу с собой на тот свет хоть одного из этих ублюдков.

Матушка Генри. Ну-ка давай сюда твою пушку. Я тебя прошу.

Ричард. Не могу. Это единственное, чем их можно пронять. Больше ничем, понимаешь, ничем!

Матушка Генри. Ричард... твой отец... подумай об отце...

Ричард. Не смей ему ничего говорить! Слышишь? *(Пауза.)* Не смей!

Матушка Генри. Ричард. Я тебя прошу.

Ричард. Унеси поднос, старая. Я сыт.

Немного помедлив, матушка Генри берет поднос и уходит. Ричард вытягивается на кровати.

Джуанита *(за сценой)*. Меридиан! Матушка Генри! Кто-нибудь дома? *(Входит.)* Ах, простите.

Ричард. По-моему, они в церкви. Бабушка, верно, пошла помолиться за мою погибшую душу.

Джуанита. Бабушка?

Ричард. А вы кто такая? Мы с вами знакомы?

Джуанита. Да. Как будто знакомы.

Ричард. Вы не Джуанита?

Джуанита. А вы Ричард!

Ричард. Ах, черт!

Джуанита. Ну и хорош гусь! Значит, в конце концов надумал вернуться... Дай я тебя обниму. А знаешь, ты почти не изменился... Чуточку вырос, но уж конечно не пополнел.

Ричард. А ты, видно, такой же сорванец. И голос у тебя по-прежнему звонкий — его всегда было слышно на другом конце города.

Джуанита. Ну, ты же сам говорил, что городок у нас с гулькин нос. А голос у меня громкий потому, что мне с детства приходилось звать на помощь.

Входит Пит.

Ты знаком с Питом Спиви? Он появился на нашем горизонте уже после твоего отъезда. Посещает так называемый местный храм науки.

Ричард. Здравствуй. Ты из каких мест?

Пит. Из одной деревушки возле Мобила.

Ричард. Отчего же ты не поехал на Север? Раз уж решил сняться с места. Вот где житье! Там, правда, можно заблудиться, но какая-нибудь веселая девчонка всегда дорогу покажет.

Джуанита. Я этого не слышала... Пойдешь с нами? Хочешь разделить компанию?

Ричард. Я человек компанейский. А что вы собираетесь делать?

Пит. Просто хотели побродить по городу и, может быть, пропустим где-нибудь стаканчик-другой. А то и прокатимся. У меня машина.

Р и ч а р д. Вот уж не думал, что встречу тебя снова, Джуанита. Ты все время жила здесь?

Д ж у а н и т а. Конечно, голубчик. Ждала, когда ты вернешься.

Р и ч а р д. Не верь ей, Пит. Мы с ней вместе лазили по деревьям, вот и все.

П и т. Мне она тоже задает жару. Но жарко мне одному.

Заведение папаши Джоэла. Громкая музыка радиолы, но не такая неистовая, как песня Ричарда. Танцующая молодежь изощряется в различных вариациях твиста и других модных танцев. П а п а ш а Д ж о э л за стойкой. Наступает вечер. Входят Д ж у а н и т а, П и т и Р и ч а р д.

Д ж у а н и т а. Как дела, папаша Джоэл? Мы привели к вам гостя... Узнаете?

П а п а ш а Д ж о э л. Кажется, я вас знаю, молодой человек. Ну да, конечно знаю. Погодите минутку, не говорите... Уж не сынок ли вы Ширли Андерсон?

Р и ч а р д. Нет. Я помню Ширли Андерсон, но мы с ней не родня.

П и т. Гадайте дальше, папаша Джоэл.

П а п а ш а Д ж о э л. Вылитый отец! Я узнал тебя по улыбке, ты сын его преподобия Генри. Ну, как живешь? Хорошо, что ты вернулся. Ты у нас тут побудешь?

Р и ч а р д. Да, сударь. Собираюсь здесь пожить.

П а п а ш а Д ж о э л. Как же, помню, щуплый был малец, но бесенок. Сколько же тебя тут не было?

Р и ч а р д. Почти восемь лет. Я уехал в сентябре — через месяц будет ровно восемь лет.

П а п а ш а Д ж о э л. Скажите... Как папа? А бабушка? Что-то я давно их не видел.

П и т. Вы разве не ходите в церковь, папаша Джоэл?

П а п а ш а Д ж о э л. Знаешь, как это бывает... Никак не выберусь, видит бог!

Р и ч а р д. Они здоровы.

П а п а ш а Д ж о э л. Хотите закусить?

Р и ч а р д. Сейчас сообразим.

Все трое садятся.

П и т. Старик Джоэл все про всех знает, верно?

Д ж у а н и т а. Да, имей это в виду.

Р и ч а р д. Он, кажется, что-то вроде дяди Тома?

П и т. Да. Ругает мистера Чарли последними словами, говорит, будто всей душой с нами — с молодежью, но сердить мистера Чарли опасается. Знаешь, он все еще покупает в лавке у Лайла Бриттена.

Р и ч а р д. А кто такой Лайл Бриттен?

П и т. Шакал, владелец соседней лавки. Настоящий шакал, ты таких еще не видел. Сколько лет негры покупали только у него — негодяй небось разбогател на нас,— но встретишь его на улице, и он ждет, чтобы ты сошел с тротуара. Вот мы и уговорили народ ничего у него не покупать.

Д ж у а н и т а. Несколько лет назад он убил негра, убил его наповал, но никто слова ему не сказал, а уж трогать его и не думали...

П и т. Лайл путался с женой этого негра, и старый Билл Уокер — мы все звали его Старик Билл — хотел с этим делом покончить.

Д ж у а н и т а. Она была хорошенькая — очень маленькая и очень черная.

Р и ч а р д. Она еще здесь?

П и т. Нет. Пропала. Уехала куда-то на Север.

Р и ч а р д. Сукины дети! Им можно насиловать и убивать наших женщин, а мы должны помалкивать. Но если мы хоть пальцем тронем какую-нибудь тощую белобрысую бабу, они нас кастрируют.

Помните, я говорил вам насчет девчонки из Гринвич-вилледжа в Нью-Йорке?

Пит. Ну и что?

Ричард. Она белая, вот что. У меня в Нью-Йорке было этих белых девчонок хоть завались. Ей-богу. Просто на шею вешались, а я был парень не промах. Говорят, у черных нет чувства собственного достоинства. Посмотрели бы вы на белых женщин, когда они к тебе пристают. Готовы на все, абсолютно на все! Погодите... я вам покажу фотографии. Вот эта живет в Гринвич-вилледжа. Хороша? Погляди на ее длинные желтые волосы, уж чего только она не вытворяла. А вот эта — Сэнди, ее папаша — воротила на Уолл-стрит.

Пит. Кажется, Джуанита начинает нервничать.

Джуанита. Не обращайте на меня внимания. Я уже давно взрослая. Кроме того, я изучаю психопатологию. Пожалуйста, не стесняйтесь. А вот эта — кто? Чем занимается ее отец?

Ричард. Это Сильвия. Не знаю, чем занимается ее отец. Она натурщица. Денег у нее куры не клюют.

Пит. Ты брал у нее деньги?

Ричард. Брал, и им это нравилось. Денег им девать все равно некуда. У всех у них был про запас какой-нибудь белый болван. Когда я им давал отставку, они возвращались домой и выходили за него замуж. Но когда им нужен настоящий полнокровный мужчина, что называется «вынь да положь»...

Джуанита. Все это очень печально для них. Да и для тебя.

Ричард. А я не хочу, чтобы им было весело, пусть меня помнят. Мне-то чего печалиться? Все у меня шло как по маслу, я уж было вышел в люди. У меня были хорошие бабешки, полный бумажник, своя машина, я быстро шел вверх! Но тут я и сломал себе шею.

Джуанита. Мы слышали, ты был болен.

Ричард. Кто вам сказал?

Джуанита. Твой отец. Бабушка. Но они не говорили, чем ты болел.

Папаша Джоэл проходит мимо их столика.

Ричард. Эй, папаша Джоэл, подите-ка сюда. Я вам кое-что покажу. Поглядите сюда, вы только поглядите! Правда, шикарные девчонки? А знаете, кому они говорят: «Милый! Ох, милый!»? Вот именно. Тому, кто сидит перед вами.

Папаша Джоэл. Где ты стянул эти фотографии?

Ричард *(смеется)*. Стянул! Зачем мне красть женские фотографии? Я правду говорю!

Папаша Джоэл. Убери-ка их подальше. Я думал, ты все-таки соображаешь. *(Уходит за стойку.)*

Ричард. Ну и сука. Душа у него в пятки ушла оттого, что я ношу с собой фотографии белых женщин. Вот в чем их беда, этих черномазых. Все они трусы.

Джуанита. Я, знаешь ли, не трусиха. Но просто смысла нет самой напрашиваться...

Пит. ...чтобы тебя линчевали.

Ричард. Ладно, ладно, спрячу. Вовсе не хочу портить людям настроение.

Пит. Извините. Я скоро вернусь. *(Отходит.)*

Ричард. Хочешь потанцевать?

Джуанита. Нет. Не сейчас.

Ричард. А есть хочешь?

Джуанита. Нет. Ричард!

Ричард. Да?

Джуанита. Ты был очень болен?

Р и ч а р д. А зачем тебе знать?

Д ж у а н и т а. Просто так. Мы ведь с детства дружили.

Р и ч а р д. Ты была больше похожа на мальчишку, чем на девчонку. Всюду за мной увязывалась. Тебе ужасно хотелось сломать себе шею.

Д ж у а н и т а. Что ж, я изменилась. Теперь я уже не мальчишка.

Р и ч а р д. Ты стала совсем не дурна, особенно если вспомнишь, какая ты была.

Д ж у а н и т а. Благодарю покорно.

Р и ч а р д. Как это ты до сих пор не вышла замуж? Вот Пит к тебе как будто неравнодушен.

Д ж у а н и т а. Ну да, мы с ним друзья. Но я не спешу замуж — во всяком случае пока. И не здесь. Не знаю, останусь ли я здесь. Учусь, как проклятая, а на будущий год, пожалуй, уеду.

Р и ч а р д. Куда?

Д ж у а н и т а. Еще не знаю. Я всегда мечтала поехать на Север, поступить в юридический институт, а потом вернуться сюда адвокатом, ей-богу, у нас в городе это было бы не лишнее. Но теперь ничего не знаю.

Р и ч а р д. Здесь трудно, да?

Д ж у а н и т а. Дело даже не в этом. Хотя, конечно, трудно... Что с тобой? Хочешь уйти?

Р и ч а р д. Нет, нет, ничего. Продолжай. *(Пауза.)* Уже прошло. Продолжай.

Д ж у а н и т а. Здесь трудно потому, что поневоле живешь в постоянном страхе. Умирать-то ведь не хочется... Но что случилось с тобой, Ричард, чем ты болел?

Р и ч а р д. Да чепуха. Теперь мне уже лучше.

Д ж у а н и т а. В том-то и дело, что нет. Тебе не лучше.

Р и ч а р д. С чего ты взяла?

Д ж у а н и т а. Я за тобой наблюдаю...

Р и ч а р д. Почему ты за мной наблюдаешь?

Д ж у а н и т а. Я тебя люблю.

Р и ч а р д. Ты меня любишь! Вот уж не думал, что ты так быстро пьянеешь.

Д ж у а н и т а. А я не опьянела. Ты не веришь, что тебя можно полюбить?

Р и ч а р д. Полюбить! А ты знаешь, сколько раз я это слышал от баб? Что они меня любят.

Д ж у а н и т а. Пусть. У меня это совсем другое.

Р и ч а р д. Я был марафетчиком.

Д ж у а н и т а. Кем?

Р и ч а р д. Марафетчиком, наркоманом, вот кем! У меня руки и ноги все исколоты.

Д ж у а н и т а. Я ведь просила, чтобы ты мне рассказал, а не кричал на весь свет.

Р и ч а р д. Куда провалился Пит?

Д ж у а н и т а. Танцует.

Р и ч а р д. Хочешь потанцевать?

Д ж у а н и т а. Немного погодя.

Р и ч а р д. Меня в это втянули лет пять назад. Понимаешь, я ведь терпеть не мог всех этих баб, с которыми путался, и я работал, как черт, учился музыке, и — боже мой! — как я был одинок! Приходишь после халтуры, усталый, как дьявол, и уже нахлебался всякого дерьма и от администрации, и от зрителей, а потом тебе еще надо изображать любовь с какой-нибудь белолицей сукой. Ну, проведешь свою роль и кое-как проснешься утром, а баба лежит с тобой

рядом, свеженькая, как огурчик, и желает начать все сначала, а ты едва удерживаешься, чтобы ее не придушить, не избить до смерти. Уходишь, а внутри ноет, и день и ночь. Нет никакого спасения... **никакого спасения.** Что бы ты ни делал, куда бы ни подался — **никакого спасения.** Но когда я себя подстегивал, я успокаивался, меня уже ничто не трогало. И одиночества уже не чувствовал, мне было хорошо. И бабы — я уже мог с ними сладить, а они со мной нет. Я и не подозревал, что втягиваюсь в это дело, пока не втянулся. И тут пошли неприятности, я терял одну халтуру за другой, пришлось продать машину, растаяли деньги, смылись бабы — конечно, не все,— а потом я сел на мель и попал в Лексингтонскую тюрьму, и вот я здесь. «Далеко-далеко на реке Суани». Но я встану на ноги, не бойся.

Джуанита. Чего мне бояться. Я хочу тебя вылечить.

Ричард. Как?

Джуанита. Как прежде. Не буду пускать тебя никуда одного.

Ричард. Тебе все не терпится сломать себе шею.

Джуанита. Такое уж сейчас время. Теперь не принято умывать руки.

Ричард. А ты понимаешь, на что идешь?

Джуанита. Нет. Но ты сказал, что ты одинок. Я тоже одинока.

Входит Лайл; он направляется к стойке. С его появлением атмосфера меняется, но все продолжают заниматься своим делом.

Лайл. Джоэл, ты мне не разменяешь деньги для автомата? Еду далеко, а сигареты кончились.

Папаша Джоэл. Привет, мистер Лайл. Как жизнь? В последнее время вас что-то не видно.

Лайл *(смеется)*. Что правда, то правда. Но друзья остаются друзьями. Верно?

Папаша Джоэл. Верно, мистер Лайл.

Джуанита. Это Лайл Бриттен. Тот, о котором мы говорили.

Ричард. Интересно, что бы он сделал, если бы я зашел в ресторан для белых?

Джуанита. А ты об этом не думай. И не ходи в рестораны для белых — так будет лучше!

Ричард *(смеется)*. Знаешь, что такое ЗСД? Занимайся своим делом. Вот и давай займемся своим делом. Поглядим, не разучился ли я танцевать.

Они поднимаются и танцуют. Может быть, она учит его новому танцу — «схватка» или он учит ее танцу «пони»; им весело друг с другом. Лайл меняет деньги, берет сигареты из автомата, подходит к стойке и останавливается, наблюдая за танцующими.

Лайл. Знаешь, Джоэл, я бы ни за что не смог так танцевать.

Папаша Джоэл. Проще простого. Двигайся поживей, и все. Я и сейчас еще не разучился. *(Нескладно пытается изобразить твист.)*

Лайл. Ай да Джоэл, у тебя получается. Ну, я пошел.

Папаша Джоэл. Спокойной ночи, мистер Лайл.

По дороге к двери Лайл толкает Джуаниту. Ричард останавливается, держа Джуаниту за талию. Ричард и Лайл мерят друг друга взглядом.

Лайл. Простите.

Ричард. Считайте себя прощенным.

Лайл. Ты тут, видно, новенький?

Папаша Джоэл. Он приехал в город всего несколько дней назад, мистер Лайл.

Ричард. Правильно. Я тут в городе всего несколько дней, мистер Лайл.

Лайл. Ну-ну. Желаю тебе не нарваться на неприятности. *(Уходит.)*

Пит. Видно, тебе не терпится попасть на тот свет? Он с радостью тебе в этом поможет.

Ричард. Да ну? И я бы с радостью ему в этом помог. Давай, детка, пластинка зря крутится... ЗСД. *(Танцуют.)* Ну и сукин сын... Значит, ты меня любишь?

Церковь. Пит и Джуанита в сторонке.

Пит. Отчего ты меня избегаешь? Ладно, не отвечай. Ты начала чуждаться меня, как только в городе появился Ричард. Но послушай, ведь Ричард умер, а ты все равно от меня отворачиваешься. Я не прошу у тебя больше, чем ты можешь дать, но почему ты меня к себе не подпускаешь? Я же знаю — я тебе нравился. Мы славно проводили время.

Джуанита. Да. Конечно, ты мне нравишься. Но я ничего не знаю. Не спрашивай меня сейчас ни о чем. Пусть никто меня ни о чем не спрашивает.

Пит. Из-за Ричарда? Если так, я подожду... Я подожду, пока ты не прочувствуешь, что Ричард умер, а ты жива и должна жить и что я тебя люблю.

Джуанита. Когда приехал Ричард, мне словно в сердце ударило, такого со мной еще никогда не было. И не думай, что меня к нему потянуло только физически. Он завладел всем моим существом — до самого дна, как только может один человек завладеть другим. Он нуждался во мне, и все изменилось для меня в этом страшном мире... ты понимаешь? И — вот странно! — когда я бывала с ним, я не задумывалась о будущем, не смела о нем думать. Я не знала, достаточно ли я сильна, чтобы дать ему то, в чем он нуждается и пока он нуждается. Это продолжалось всего четыре или пять дней, Пит, четыре или пять дней, точно налетел ураган, гроза! И то, что я узнала во время этой грозы, останется со мной навсегда. Прежде я думала, что знаю себя. Но теперь поняла, что во мне есть много такого, о чем я даже не подозревала... А если я не могу быть верной себе, боюсь обещать верность и другому.

Пит. Но ведь ты мне нужна. И верным буду я. Это ведь тоже выход. Вот увидишь.

Джуанита. На свете столько людей, и каждому нужно так много!

Пит. И тебе. И мне, Джуанита. Ты завладела мною. Всем моим существом.

Джуанита. Тогда ты, наверно, видишь меня насквозь. И, наверно, думаешь, что я дура... или еще хуже.

Пит. Нет. Я думаю, что в тебе есть дар любви. Если ты позволишь мне помочь тебе, мы отдадим ее людям. Ты не можешь отдать людям любовь, пока кто-нибудь не поможет тебе полюбить людей.

Джуанита. Это я уже поняла. Кругом так мало любви.

Пит. Да — пока...

Лучи автомобильных фар скользнули по их лицам. Молчание. Все напряженно прислушиваются, следя за тем, как приближаются, а затем исчезают огни другой машины. В служебном помещении при церкви раздается телефонный звонок; матушка Генри идет к телефону. Слышен ее голос, потом она возвращается.

Матушка Генри. Звонил Фредди Робертс. Говорит, что в половине третьего залаяла его собака и его разбудила, он впустил собаку на веранду, а под верандой двое белых возятся с его газопроводом. Фредди думает, что одного из них собака укусила. Фредди побежал в дом за ружьем, но оно дало осечку и те двое удрали. Он хотел нас предупредить — может, они заявятся сюда.

Лоренцо. Только у нас нет ружья.

Джуанита. Его разбудила собака? Ну вот, теперь они вернутся и убьют собаку!

Джимми. А зачем им возиться среди ночи с газопроводом под верандой чужого дома?

Пит. Чтобы взорвать дом. Может, сейчас они возятся под твоим домом или вот под этим домом.

Лоренцо. Интересно, почему эти двое белых не побоялись прийти в черный квартал после наступления темноты? Вот бы прикончить ту парочку, тогда они не будут такими смелыми!

Джуанита. Пожалуй, я позвоню домой. *(Идет в служебное помещение.)*

Пит. Попроси мать, пусть позвонит моим.

Лоренцо *(с горечью)*. И пусть его мать позвонит моим.

Джимми. И передаст всем, у кого нет ружей или собак, чтобы они не высовывали носа к себе на веранду!

Лоренцо. Пусть передаст всем, чтобы они упали на колени и, как щитом, прикрылись Библией. Уж Библия-то у каждого из них есть.

Меридиан подошел к двери и смотрит на улицу

Правда, Меридиан?

Матушка Генри. Тс-с.

Слышно, как Джуанита говорит по телефону. Потом — тишина. Свет на сцене меркнет, в полумраке вырисовываются лишь силуэты студентов. Луч света падает на Меридиана. Вдалеке слышится тоскливый перебор гитары, это играет Ричард.

Хлопнула дверца машины. Молодые голоса, пожелания доброй ночи. Появляется Ричард, он одет так же, как в предыдущей сцене.

Ричард. А, папа. Ты еще не спишь?

Меридиан. Нет. Не спится. Как ты провел день?

Ричард. Неплохо. Я уже забыл здешние ночи. В большом городе никогда не видишь звезд... не слышишь этих милых деревенских звуков...

Меридиан. Сверчки, цикады и всякие мошки ползают, летают, хлопочут, шелестят в листве.

Ричард. Господи, если бы я не уехал, я, наверно, был бы уже женат на нашей Джуаните, народил бы парочку ребят и сидел бы здесь так вот **каждую** ночь. Просто бред!

Меридиан. Тебе еще не поздно жениться на Джуаните. Может, она тебя и ждала.

Ричард. А ты подумывал, не жениться ли тебе опять?

Меридиан. Да, подумывал.

Ричард. Не собирался жениться на Джуаните?

Меридиан. Почему ты спрашиваешь?

Ричард. Потому, что хочу знать.

Меридиан. А зачем тебе знать?

Ричард. А зачем тебе скрывать? Я уже взрослый, папа, и имею право знать правду. Хочу наверстать упущенное. Может быть, и тебе следует наверстать упущенное.

Меридиан. Да. Я хотел жениться на Джуаните. Но никогда ей этого не говорил.

Ричард. Правда?

Меридиан. Да.

Ричард. Почему ты не говорил мне правду раньше? Почему не сказал, что мать убили? Ее ведь столкнули с лестницы.

Меридиан. Ричард, твоя мать умерла. Люди умирают по-разному. Они умирают, когда приходит их час. Твоя мать любила тебя, но ее не стало — и я уже ничем не мог ей помочь. Надо было думать о тебе. Я не хотел, чтобы ты был... отравлен... бессмысленными и

страшными подозрениями. Не хотел губить твою жизнь. Я знал, что жизнь у тебя и так будет не из легких. И вот... я тебя отпустил. Думал, тебе будет легче, если отпущу. Я не хотел, чтобы ты рос в этом городе.

Ричард. Но ведь это не все, папа. Ты не хотел, чтобы мне, глядя на тебя, было стыдно. Ты ничего не мог прочесть у меня в глазах и не мог этого вынести, я угадывал это по тому, как ты на меня иногда поглядывал. Разве не так?

Меридиан. Я думал, тебе будет лучше. Мне казалось, что для меня все уже кончено. И я решил, что мой долг перед твоей матерью и перед такими женщинами, как твоя мать,— постараться изменить, сделать лучше этот город, ведь здесь она родилась. Здесь мы были так счастливы, и она его так любила. Наверно, я ошибался. Ошибался.

Ричард. Ты жил только для других, правда, папа? С того самого дня. Около тебя никого не было, ты был так одинок.

Меридиан. Да. Не было. Постарайся меня простить.

Ричард. Тут нечего прощать. Я споткнулся, папа, но я понимаю, что произошло. Я начну все сначала. *(Пауза. Ричард вынимает револьвер.)* На. Бабушка его утром увидела и очень огорчилась. Ты уж побереги его для меня. Спрячь, пока я не попрошу, ладно? Но когда я попрошу, ты мне его дашь. Ладно?

Меридиан *(берет револьвер)*. Ладно. Я горжусь тем, как мужественно ты перенес... все, что тебе выпало на долю.

Ричард. Пойду посплю. А ты идешь домой?

Меридиан. Еще нет.

Ричард. Спокойной ночи... Папа!

Меридиан. Да?

Ричард. Значит, ты не против, чтобы мы с Джуанитой поженились?

Меридиан. Это прекрасная мысль.

Ричард. Ну, утро вечера мудренее. Спокойной ночи.

Меридиан. Спокойной ночи.

Ричард уходит.

После его ухода свет снова падает на студентов.

Джуанита. Господи, какой дождь пошел.

Пит. Боишься испортить прическу?

Джуанита. Вот уж нет. Я решила больше не делать прически — пусть волосы растут, как бог дал.

Лоренцо. Ну и ну!

Пит. С этой девицей происходят загадочные перемены.

Меридиан. Ничего удивительного. Все мы меняемся.

Джимми. Спокойной ночи, до завтра. Кажется, предстоит бурный денек.

Меридиан. Да, перед нами бурные дни. Вам всем надо выспаться.

Джуанита. Как ты доберешься до дому, Джимми?

Джимми. Пит нас развезет.

Джуанита. А потом?.. Ты поедешь домой один, Пит, в такую даль?

Пит. Ты сегодня что-то нервничаешь. Переночую у Лоренцо.

Лоренцо. Ты можешь от меня позвонить домой.

Матушка Генри. Тебе тоже надо поспать, Меридиан, уже четвертый час. Не задерживайся.

Меридиан. Хорошо. Спокойной ночи.

Матушка Генри. Спокойной ночи, детки. Бог даст, завтра утром увидимся.

Все уходят. Меридиан идет к своей кафедре, кладет руку на Библию. Входит Парнелл.

Парнелл. Я слышал, сегодня вечером вашим здорово досталось.

Меридиан. То ли еще будет. Может быть, я был неправ, когда не дал нашим вооружиться.

Парнелл. Стоит неграм вооружиться, и их же перебьют. Сами знаете.

Меридиан. Их и так убивают. И я ни в чем не уверен. Я думал, что уверен... но теперь сомневаюсь.

Парнелл. Что с вами? Что будет с людьми в этом городе и с этой церковью, если вы растеряетесь?

Меридиан. Может быть, моя паства найдет такого пастыря, который их куда-нибудь приведет.

Парнелл. Пастыря с ружьем?

Меридиан молчит.

Вы этого хотите?

Меридиан. Я христианин. Я был им всю свою жизнь, как моя мать и мой отец до меня и как их матери и отцы до них. Конечно, если мы вернемся в прошлое, когда еще Христа не было, в те времена, я думаю, людей с черной кожей не заставляли подставлять другую щеку в надежде попасть в рай. Нет, тогда они не склоняли головы. До рождества Христова. Они ходили по земле, как все люди, и, когда умирали, отправлялись не в рай, а к праотцам. Мой сын умер, но он не отправился к праотцам. Он был грешник, а значит, попал в ад, если верить священному писанию. Неужели это такой уж прогресс, такой шаг вперед по сравнению с тем, что было до рождества Христова? Я много думал, мне пришлось думать,— стал ли бы я таким хорошим христианином, если бы не родился с черной кожей? Может быть, мне пришлось стать христианином, чтобы сохранить хоть какое-то человеческое достоинство. Если я не человек в глазах людей — я могу стать человеком в глазах божьих. Но мою жену это не спасло. Она умерла слишком рано, и мы до сих пор не знаем как. Это не спасло моего сына — он убит, и мы отлично знаем как. Это ничего не изменило у нас в городе — где белого христианина и днем с огнем не сыщешь. Око господне — а может, оно слепо, это око?.. Я раньше никогда не позволял себе таких мыслей.

Парнелл. Меридиан, вы не можете быть тем, кто даст сигнал к кровопролитию.

Меридиан. Вы хотите, чтобы я был тем, кто равнодушно смотрит, как его народ избивают, заковывают в цепи, морят голодом, мучают, режут?

Парнелл. Раньше вы говорили, что ваш народ — это все люди на свете, все люди, которых создал или еще создаст господь бог. Вы говорили, что ваша раса — все человечество.

Меридиан. Человечество!

Парнелл. Таким я вас еще не видел. В вашем голосе звучит что-то, чего я никогда не слышал... ярость... даже ненависть...

Меридиан. Нет, слышали. Вы просто не прислушивались. Вы слышали это во всех наших блюзах, псалмах и песнопениях, которые, по вашим словам, вы так любите.

Парнелл. Я говорю о вас, не об истории вашего народа. У нас ведь тоже есть своя история, и не думайте, будто в ней я не слышал тех же звуков. Может быть, ничего другого я в ней и не слышал. Может быть, моя жизнь не легче вашей.

Меридиан. Я наблюдал за вами всю эту неделю, пока мы ходили к начальнику полиции. Конечно, вы умеете с ним обходиться — ведь вы чувствуете свое превосходство над ним. Но у вас обоих больше общего друг с другом, чем у любого из вас со мной. И для вас обоих — я понял это впервые, я никогда не замечал этого раньше — речь шла просто о мертвом негритянском парне и о возникших в связи с этим сложностях. Он видел эти сложности в одном, вы — в дру-

гом. Но для вас обоих убитый не был **человеком,** моим сыном. От этого вы отмахивались.

Парнелл. Может быть, я вам показался черствым. Но вы ошибаетесь Я не мог говорить иначе, Меридиан. Только так мы могли добиться, чего хотели. Да, я знаю начальника полиции лучше, чем вы,— ведь я белый. И могу заставить его слушать меня, потому что я белый. Вряд ли я намного лучше него. И знаю, что мы творили и продолжаем творить. Но вы должны быть милосердны к нам. Нам больше не на что надеяться.

Меридиан. Вы никогда не проявляли милосердия к нам.

Парнелл. Меридиан, поверьте, я сочувствую вашему горю. Мы с вами мужчины, друзья, несмотря на все, что нас разделяет. Мы прошли вместе слишком долгий путь, и слишком многое сейчас поставлено на карту, чтобы вы вдруг почувствовали себя черным, а я белым. Не вините меня. Не вините меня. Я его не убивал.

Меридиан. Мой сын тоже был ни в чем не повинен.

Парнелл. Если я прошу вас о милосердии... пожалуйста, поймите, постарайтесь понять, что не так легко преодолевать барьеры, отказываться от своих привычек... да, да, отказываться от привилегий! И если бы вы принадлежали к числу привилегированных, вам было бы ясно, о чем я говорю. И вопрос не в том, что хочешь что-то удержать,— твое имущество, твои привилегии стали частью тебя, вошли в плоть и кровь.

Меридиан. Тогда в чем же смысл нашей борьбы, где надежда? Если мистер Чарли не может измениться...

Парнелл. Какой мистер Чарли?

Меридиан. Это вы — мистер Чарли. Всякий белый — это мистер Чарли!

Парнелл. А знаете, чем больше вы говорите, тем больше я узнаю голос вашего сына, многим неграм здесь в городе он не нравился, но он говорил то, что им самим хотелось высказать, он говорил громко, во всеуслышанье, как он презирает белых.

Меридиан. Он не говорил того, что мне хотелось бы высказать. Может, потому, что был моим сыном. Мне было все равно, как он относится к белым. Мне просто хотелось, чтобы он жил, чтобы у него была своя жизнь. В судьбе черного, Парнелл, есть что-то, чего вам не понять. Если ты черный, если у тебя черный сын, тебе не до белых; ты думаешь только о том, как спасти своего ребенка. Вот почему я отпустил его на Север. Я сделал ошибку, потерпел поражение. Лайл взял и убил его.

Парнелл. Мы не знаем, убил ли его Лайл. Он отрицает.

Меридиан. Конечно отрицает... Но разве мы не знаем, что его убил Лайл?

Парнелл. Мы этого еще не знаем, мы можем голько сказать — похоже, что это дело его рук. Но косвенные улики — ненадежная штука.

Меридиан. Да, когда белый убивает черного... Но если его убил не Лайл, то кто же?

Парнелл. Не знаю. Мы ведь не знаем, что это сделал Лайл.

Меридиан. Лайл не отрицает, что убил Старика Билла.

Парнелл. Не отрицает.

Меридиан. И мы знаем, как Лайл относится к цветным.

Парнелл. Да, конечно. С вашей точки зрения. Но с другой точки зрения, Лайл ничего не имеет против цветных. Он только...

Меридиан. Он только их за людей не считает.

Парнелл. Видите ли, даже и это не так. Он не считает, что они не люди... В конце концов, я же его знаю: он вспыльчив и далеко не самый умный человек на свете, но он не мерзавец, и он не жесток.

Он белый бедняк. Белым беднякам доставалось в наших краях не меньше, чем черным.

Меридиан. Ради бога, избавьте меня от исторических справок! В смерти Ричарда виновен Лайл.

Парнелл. Послушайте, Меридиан, мы же не вправе даже в мыслях решать, что он виновен. Надо действовать строго по закону и посмотреть, какие против него есть улики.

Меридиан. Какие же нужны еще улики?

Парнелл. Видите, вы рассуждаете, как рассуждают у нас в городе белые, когда судят негра.

Меридиан. Когда же это было, чтобы негра у нас судили по-настоящему?

Парнелл. Одно не имеет отношения к другому. Надо забыть обо всем — обо всех прошлых несправедливостях. Мы должны начать все сначала или хотя бы постараться начать все сначала. Мы же не хотим мстить. Так или не так?

Меридиан. Я не хочу мстить. Я ведь не прошу, чтобы мне заплатили сторицей... впрочем, сейчас это уже невозможно. Я только хочу, чтобы Лайлу внушили: он сотворил зло. Я только хочу, чтобы этот город заставили взглянуть в лицо злу, которое он поощряет, и обратиться от зла к добру. Ради этого я так долго здесь прожил.

Парнелл. Но если Лайл этого не сделал? Лайл мне друг — странный друг, но все же друг. Я его люблю. Я знаю, как он мучается.

Меридиан. Как же он мучается?

Парнелл. Он мучается потому, что бродит, как слепой, сам не знает, что происходит у него в душе, не смеет себе в этом сознаться и не может взять себя в руки. Он не злодей. Я знаю, что не злодей, я знаком с ним почти всю жизнь. Со мной он совсем другой, чем с вами, Меридиан.

Меридиан. А тот другой, кого вы знаете — настоящий? Тогда пойдите и спросите, не он ли убил моего сына.

Парнелл. Его спросят об этом на суде. Вот почему я и добивался суда. И там он скажет, что не виноват.

Меридиан. Мне все равно, что он скажет на суде. Пойдите и спросите его вы. Если он ваш друг, он скажет вам правду.

Парнелл. Нет. Нет. Может и не сказать. Он... Он, пожалуй, немножко меня боится.

Меридиан. Если вы его друг, вы поймете, правду он говорит или нет. Пойдите спросите его.

Парнелл. Не могу. Я его друг. Я не могу его предать.

Меридиан. Но вы можете предать **меня?** Вы же белый, а? В конце концов просто еще один белый.

Парнелл. Если он даже признается, что убил,— какая разница? Присяжные все равно его никогда не осудят.

Меридиан. Ах, вот почему вы добивались суда? Мне все равно, что решат присяжные. Я знаю: им он не скажет правды. Он не скажет правды мне. Но он может сказать ее вам. А я вправе ее знать. И вправе просить вас ее выяснить, раз вы единственный человек, который может ее выяснить. И мне нужно убедиться, были мы с вами все эти годы друзьями или же я был для вас столь дорогим вашему сердцу дядей Томом.

Парнелл. Вы отлично знаете, что это не так.

Меридиан. Я больше ничего не знаю, Парнелл, даже того, что знал раньше. Может, я никогда ничего и не знал. Я очень сегодня устал. Идите домой.

Парнелл. Вы мне больше не верите, Меридиан?

Меридиан. Может, я никогда вам не верил. Не знаю. Может, я никогда себе не верил. Идите домой. Оставьте меня одного. Я должен подумать о своем прошлом.

Парнелл. Меридиан... то, о чем вы просите... я не могу этого сделать... даже для вас.

Меридиан. Я не хочу, чтобы вы это делали для меня. Я хочу чтобы вы это сделали для себя. Спокойной ночи.

Парнелл. Спокойной ночи.

Парнелл уходит. Меридиан идет к авансцене. Светает.

Меридиан. Мое прошлое! Господи... господи... господи, зачем я не умер за тебя... сын мой, сын мой!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Белый Город. Кухня в доме Лайла. Воскресное утро. Звонят церковные колокола. Толпятся гости.

Джо и женщина средних лет по имени Хейзел только что вынули пирог из печи. Хейзел ставит его остынуть.

Хейзел. Стыд и срам — устраивать такую спешку. Но ничего не поделаешь.

Джо. Да. Я так расстроена. Никак не могу с собой совладать. Знаю, что это глупо. Знаю, что Лайлу ничто не угрожает.

Хейзел. Деточка, выбрось-ка все эти мрачные мысли из головы. Мы празднуем вашу маленькую годовщину сегодня, а не завтра вечером потому, что завтра твой муж может отлучиться по делам. Вот как надо смотреть на вещи. И не ходи тут с унылым видом, не порть настроение гостям. Я этого не допущу. Ты для этого слишком молоденькая и хорошенькая.

Лилиан. Слава тебе, господи! Наконец-то я, кажется, освоила этот рецепт.

Сюзен. Какая прелесть! Дайте взглянуть.

Лилиан. Я только раз его готовила, и это совсем не так просто. Главное — его нужно вовремя вынуть.

Сюзен. Я старалась, старалась, и ничего у меня не выходит! А вот тебе удалось на славу! Мы сегодня просто пальчики оближем!

Ральф. Ты ведь тоже должна что-то приготовить, а?

Сюзен. Я приготовлю наш пай дома, попозже. Здесь и так толчется слишком много поварих.

Джо. Я так рада, что вы все пришли,— вот спасибо! Хозяйничайте тут в кухне сколько влезет — успею убрать потом.

Элис. Ну, а Сюзен научилась готовить?

Ральф. Еще бы, она стала отличной поварихой. Посмотрите на меня — я никогда столько не весил.

Элис. Наш Лайл тоже пополнел за этот год. А что может быть лучше домашнего стола, ха-ха? Неужели вы уже целый год женаты? Честное слово, никак не думал, что Лайл выкинет такую штуку. А вот наша Джо его все-таки подцепила.

Священник Фелпс. Я их венчал, и если когда-нибудь видел счастливого человека, так это был долговязый Лайл Бриттен в тот день. Оба они тогда точно светились.

Джордж. Я бы предложил за них тост, не будь сейчас воскресное утро и не сиди тут его преподобие.

Священник Фелпс. За счастливую пару не грех выпить в любой день и в любой час.

Элис. Ай да его преподобие! У вас что-нибудь найдется выпить за ваше счастье, миссис Бриттен?

Джо. Наверно, найдется. Жаль, Лайл еще не встал. Он никогда еще не спал так долго.

Элис. Чего нет, того нет, он не соня. Во всяком случае, пока не напьется до одури, ха-ха! У нас с ним это бывало, пока он не взялся за ум и не женился.

Джордж. Пусть спит на здоровье. Когда совесть чиста — и сон крепок.

Джо. Знаете, Лайл никогда не сидит сложа руки — пропадает в лавке ночи напролет, строит всякие планы, что-то подсчитывает, с осени он хочет расширить торговлю, в лавке все будет новенькое, как с иголочки. Вы ее не узнаете.

Элис. Лайл весь в своего папашу. Он молодчина. Чем труднее дело, тем верней, что Лайл Бриттен его осилит. А папаша его так и не постарел. До самой смерти пил, бегал за юбками — и умел добиться своего! Я бы вам мог порассказать про старика — конечно, не сейчас, в воскресное утро, да еще в присутствии женщин!

Джо. Прошу, господа. Надеюсь, вы все пьете виски.

Ральф. Она еще спрашивает!

Джордж. Дамы! Не желаете ли присоединиться к нам и поддержать этот утренний тост за счастливую, всеми любимую и любящую пару, за мистера и миссис Бриттен, в канун первой годовщины их свадьбы?

Элис. Новобрачного нет среди нас — он устал от своих обязанностей, как общественных, так и личных. Ха-ха! Но он славный парень и многое для всех нас сделал — знаю, вы понимаете, о чем я говорю, вот и выпьем за его здоровье и за здоровье его прелестной молодой жены. Дамы! Не заставляйте себя уговаривать, его преподобие Фелпс разрешает.

Сюзен. Мне только капельку, Ральф.

Лилиан. Кажется, я никогда еще не пила в воскресенье так рано, да еще в присутствии моего пастыря!

Наливают, поднимают бокалы и поют «Он, право, отличный парень».

Хейзел. Ну вот видите, довели ее до слез. Послушай, детка, выпила бы и ты глоточек.

Джо. Вы все такие хорошие. Не представляю себе, как это Лайл может сейчас спать. Спасибо, Хейзел. *(Пьет.)* За вас, за всех. Слышите? Они там поют.

Все прислушиваются.

Хейзел. Иногда у них так мило получается. Когда я была девушкой, у меня от их пения просто горло перехватывало.

Элис. Что случилось с нашим городом? Здесь было так тихо, все друг с другом ладили, никогда никаких неприятностей.

Джордж. Ну, маленькие неприятности порой и бывали, но в общем пустяки. Черномазые вели себя, как полагается. Всегда, бывало, найдешь черномазого, чтобы поймать другого черномазого.

Лилиан. Вот-вот. У них была своя жизнь, у нас своя, и все шло, как велел господь.

Джо. Раньше мне никогда не бывало страшно у нас в городе, никогда. Все они были будто свои. И я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь обижал цветных, а вы? И они отнюдь не вели себя, как обиженные. А теперь, стоит мне выйти на улицу, как меня просто страх берет: вот-вот что-то случится. И с чего это цветные вдруг стали нас так ненавидеть? Они ж нам **всем** обязаны.

Священник Фелпс. Их совратили с пути истинного. Они отвернулись от бога. А так они простодушные люди, добрые и покладистые.

Но легко поддаются посторонним влияниям и теперь прислушиваются к словам всяких коммунистических выродков, которые проповедуют расовое смешение. Они и не понимают, какую страшную беду могут накликать на самих себя... и на всех нас.

Джо. Кто их знает, что у них на уме? Кажется, знаешь этих цветных с самого детства, а теперь боишься их нанимать, боишься с ними разговаривать... не знаешь, что у них на уме.

Элис. Я-то знаю, что у них на уме.

Сюзен. Ральф говорит, что у нас не лучше, чем в коммунистических странах. **Там** живут в страхе. А у нас не хотят, чтобы в школах учили закон божий, посылаешь ребенка в школу и так и ждешь, что какой-нибудь безбожный атеист будет забивать ему голову всякой мерзостью. И ребенок ему поверит — разве дети в этом разбираются?.. А теперь еще нас хотят заставить посылать детей в школу вместе с черномазыми! Все знают, что ничего путного из этого не выйдет: никто не получит образования — ни белые, ни черные. Черномазые-то не могут учиться, как белые,— у них совсем другие интересы.

Элис. У них один интерес. Да и тот пониже пояса.

Джордж *(смеясь)*. А вам попадались метисы? Хуже их нету. Их даже свои не признают, никто их не признает, и ничего с ними нельзя поделать: негра еще можно припугнуть, а вот метиса — того ничем не проймешь.

Священник Фелпс. Это потому, что они помесь. А беспородная помесь — самый низкий вид животного мира.

Элис. Миссис Бриттен, вы замужем, и все женщины в этой компании замужние, и вы, конечно, видели вашего мужа в чем мать родила. Но вот видели вы когда-нибудь черномазого в чем мать родила? Нет, наверно, не видели. Так вот, он совсем не такой, как белый мужчина.

Джордж. Правильно.

Элис. Так вот, миссис Бриттен, если бы вас изнасиловал орангутанг в джунглях или жеребец, это было бы все равно, что черномазый. Вы были бы уже ни на что не годны. Можете мне поверить.

Джордж. Правильно.

Ральф. Вот почему мы, мужчины, должны быть так бдительны. Вы ведь знаете, мне часто приходится не бывать дома по ночам, поэтому я купил Сюзен револьвер и научил им пользоваться.

Сюзен. И поверите, я сейчас стреляю совсем не плохо. Ральф говорит, что может мной гордиться.

Ральф. Она совсем как жены наших предков—пионеров.

Хейзел. Я ужасно рада, что Эстер всего этого не видит. Она бы умерла со стыда. Помните ее, какая чудная была негритянка. Она нас, в сущности, и вырастила, баюкала по ночам, а уж какие сказки умела рассказывать — от них мурашки по телу бегают и хочется не то плакать, не то смеяться. Ну какая же она была замечательная! За все время, что у нас жила, я не слышала от нее сердитого или грубого слова. Всегда была такая ровная. И, наверно, понимала меня лучше моих собственных отца с матерью. Я говорила ей все. А потом одного из ее сыновей убили — он пошел по дурной дорожке, как этот парень, которого они сегодня хоронят,— и она заболела. Я за ней ухаживала, я мыла эту женщину своими собственными руками. Как-то раз она мне даже сказала: «Мисс Хейзел, вы как светлый ангел, родные не сделали бы для меня больше, чем сделали вы». Замечательная была старуха!

Джо. Кажется, Лайл просыпается.

Сюзен. Миссис Бриттен, смотрите, к вам еще гость. Да это же Парнелл Джеймс! Интересно, трезвый он сегодня с утра или нет. На вид он всегда пьяный.

Элис. Да и ведет себя как пьяный.

Входит Парнелл.

Парнелл. С добрым утром, люди добрые! С добрым утром, ваше преподобие! Как приятно видеть наших братьев и сестер, идущих в ногу. Или — в данном случае — стоящих в ногу... что-то в этом роде, я подзабыл священное писание. А служба в церкви уже кончилась? Или вы служите ее здесь?.. Здравствуйте, Джо.

Джо. Здравствуйте. Садитесь, я налью вам кофе.

Джордж. Кажется, это вам не помешает.

Священник Фелпс. А мы как раз собрались уходить.

Парнелл. Пожалуйста, не уходите из-за меня, ваше преподобие. Продолжайте, молитесь или пойте, как вам подсказывает дух божий. Да, я бы выпил кофе, Джо.

Элис. Не ложились всю ночь?

Парнелл. А что, заметно? Да, не ложился всю ночь.

Элис. Небось кутили, пари держу! Пили и гуляли с женщинами?

Парнелл. Вы мне льстите. И отгадывать вы не мастер. Вы, наверно, всегда проигрываете в покер. Советую вам никогда не держать пари. Я не кутил, я сидел дома и работал.

Джордж. Вы уже были сегодня на той стороне? На похоронах черномазого?

Парнелл. Нет, похороны назначены на вечер. Да, я там буду. Хотите присоединиться? Если, конечно, оставите дома свою дубинку.

Джо. Мы слышали пение...

Парнелл. Негры только и делают, что поют. Вы же знаете. С чего вы взяли, что там похороны?

Джо. Парнелл, вы просто невозможны!... Кому-нибудь налить кофе? Он еще горячий.

Элис. Мы слышали, что убили черномазого. Вот мы и подумали, что его, наверно, хоронят.

Джордж. Они ведь тоже хоронят своих мертвых?

Парнелл. Хоронят то, что не досталось собакам.

Пауза.

Элис. Собакам?

Парнелл. Да, знаете, есть такие животные. С острыми зубами. Лают. От них страшный шум.

Элис. Многие у нас в городе хотели бы знать, Парнелл, как вы смотрите на некоторые вещи.

Парнелл. А вот так и смотрю. Почему вы не читаете мою газету?

Лилиан. Стану я руки марать этим коммунистическим листком!

Парнелл. Вот как! Но отец вашей веры, основоположник той церкви, драгоценнейшим украшением которой вы являетесь, был коммунистом, может быть, первым коммунистом. Может, он даже кутил. Известно, что он пил вино. И якшался с дамами легкого поведения и пьяницами. Все это написано в евангелии, не правда ли, ваше преподобие?

Священник Фелпс. Вы меня не втянете в вашу кощунственную болтовню. Элис спросил вас о том, что хотели бы знать многие,— вы с нами или против нас? Он выражает наше общее мнение. Мы слишком долго мирились с вашим безответственным поведением. Дольше терпеть его мы не намерены. Вам ясно, что я имею в виду?

Парнелл. Нет. Если вы мне угрожаете, выражайтесь яснее. Во-первых, в чем вы видите мое безответственное поведение, которое вы

больше не хотите терпеть? А если вы не хотите терпеть, то что вы намерены сделать? Вывалять меня в дегте и перьях? Обварить меня кипящим маслом? Кастрировать? Или сжечь? Или закутаться в белые простыни и зажечь крест против моего дома? Выкладывайте, ваше преподобие, не стойте, разинув рот,— так вы еще противнее, чем когда он закрыт: меня тошнит от запаха ваших гнилых зубов. Ну, валяйте! Что у вас на уме?

Элис. Вам многое сходило с рук, Парнелл, из-за того, что ваш отец был здесь большим человеком.

Парнелл. Не все сразу. Я разговариваю с вашим духовным вождем.

Сюзен. Да он хуже всякого черномазого.

Парнелл. Спасибо за комплимент. Зато о вас этого не скажут... Итак, ваше преподобие?..

Священник Фелпс. Я полагаю, что выражу не только свое, но и общее мнение, если заявлю, что положение здесь стало слишком серьезным для такой развязности и цинизма. Пока у нас еще царил порядок, мы не обращали внимания на ваше поведение и к вашей газете относились спокойно — мы ее все равно никогда не читали.

Элис. Мы знали, что вы просто избалованный папенькин сынок, богач и бездельник.

Священник Фелпс. Вот вы и затеяли эту газету и стараетесь привлечь к себе внимание своей подрывной деятельностью. Я искренне рассчитывал на то, что вы выйдете из пеленок!

Джордж. Или смоетесь на Север!

Священник Фелпс. Я-то знаю, что ваш отец и ваша мать смотрели на вещи не так, как вы. Меня часто приглашали к вам в дом, пока они были живы.

Парнелл. О, незабвенные дни! А на что же они смотрели не так, как я?

Хейзел. На чистоту белой расы.

Парнелл. Чистота белой расы! Леди и джентльмены, ну кому какое дело, с кем вы спите? Если уж на то пошло, отправляйтесь хоть в болото и совокупляйтесь там со змеями. Мне будет на это наплевать, да и всем будет наплевать. Конечно, змеи могут не захотеть с вами спать, но это уж ваша забота, ваша и змей, и решить этот вопрос будет довольно легко... Я никогда и словом не обмолвился о чистоте белой расы. Я говорил о социальной справедливости.

Лилиан. Но это же коммунистическая пропаганда!

Парнелл. Это значит, что, если у меня есть сто долларов и я черный, а у вас тоже есть сто долларов и вы белый, я могу купить на мои сто долларов — на мои **черные** сто долларов — столько же, сколько вы можете купить на свои **белые** сто долларов. И еще это значит, что я должен иметь одинаковую с вами возможность заработать сто долларов...

Элис. Черномазый может найти работу не хуже белого. Черт побери, некоторые черномазые зарабатывают больше меня.

Парнелл. Есть черномазые толковее вас, Элис. Куда толковее. И куда симпатичнее. А найти работу черномазому трудней, чем белому, и вы это знаете.

Элис. Что им мешает? У них есть руки...

Парнелл. Вот вы, Элис, вы же не работаете руками — вы приказчик в обувном магазине. А ваш хозяин не взял бы на эту работу черномазого.

Джордж. Ну и правильно, черт побери, нужно отдавать белому предпочтение перед черномазым. Это в порядке вещей.

Парнелл. Почему?

Входит Лайл.

Лайл. Что за шум у меня в доме?

Джо. Вот и Лайл! С добрым утром! У нас гости — зашли тебя проведать.

Лайл. А мне послышалось, будто они вот-вот подерутся. С добрым утром, ваше преподобие, очень рад вас видеть. Простите, что проспал, но жена вам, верно, сказала, что последнее время я мало сплю. А уж если засну, она не хочет меня будить.

Священник Фелпс. Не извиняйтесь, сын мой, мы все понимаем. Мы только зашли, чтобы сказать, мы — с вами и каждый белый в нашем городе — с вами.

Джо. Правда, мило с их стороны, Лайл? Они уже здесь довольно давно, и мы так славно провели время.

Лайл. И правда это очень мило, ваше преподобие... А, Элис! И старина Джордж! И Ральф и Сюзен, ну как, нравится вам семейная жизнь? Верно, нравится, если вас нигде не видно, ха-ха! Здравствуйте, миссис Проктор, миссис Баркер. А! Старина Парнелл! А ты чего вскочил в такую рань?

Парнелл. Я было пошел в церковь, но оказалось, что весь приход тут. Вот я и присоединился к молящимся.

Лайл. Шел в церковь, скажет тоже! Ручаюсь, что ты еще не ложился.

Парнелл. Верно, еще не ложился.

Лайл. Господа, вы не возражаете, если я наскоро позавтракаю? Джо, принеси поесть! Сюзен, ты здорово пополнела и порозовела, ты от нас ничего не скрываешь, а?

Сюзен. Нет, что ты, Лайл.

Лайл. Не знаю, но ты стала... как спелый персик, так и хочется съесть. Надеюсь, Ральф, ты не ленился? Поглядите, как она краснеет. Нет, жаловаться ей, видно, не на что.

Элис. Не знаешь, когда за тобой завтра придут?

Лайл. Вероятно, с утра. Не могу сказать.

Священник Фелпс. Я виделся вчера с начальником полиции. Он действительно этого не хочет, но у него связаны руки. Приказ свыше, с Севера.

Лайл. Еще бы, я знаю, старине Фрэнку вовсе не хочется меня арестовывать. Я все понимаю и не волнуюсь. Ведь люди у нас в городе на моей стороне. Чего мне волноваться?

Элис. Эти там настаивают, чтобы черномазых ввели в число присяжных, вот что я слышал. Говорят, иначе не будет справедливого суда.

Хейзел. Вы слышали что-нибудь подобное?

Лайл. Где они найдут этих черномазых?

Элис. О, твой дружок Парнелл, наверно, все это уже обтяпал.

Лайл. Что скажешь, Парнелл? Подберешь черномазых в присяжные?

Парнелл. К сожалению, это от меня не зависит. Но я бы мог порекомендовать кое-кого.

Джордж. А как они доберутся до здания суда? Вы будете их охранять?

Парнелл. Их будет охранять полиция. Или войска штата...

Джордж. Ох, не смешите нас!

Парнелл. Или судебные исполнители федерального правительства.

Джордж. Послушайте, вы в самом деле считаете, что в числе присяжных должны быть черномазые?

Парнелл. Конечно, и вы бы считали, будь у вас голова на плечах. Прежде всего, в нашем городе сорок четыре процента населения — негры.

Элис. Но они же не голосуют. Большинство.

Парнелл. Ну что ж. Этим тоже следовало бы заинтересоваться федеральному правительству. Почему они не голосуют? У них есть руки.

Элис. А еще уверяете, будто Лайл ваш приятель...

Парнелл. Лайл и есть мой приятель. Поэтому я и хочу, чтобы его беспристрастно судили.

Хейзел. Вы уж меня извините, но я не могу больше этого слушать! Душенька, вечером увидимся. Хорошо?

Священник Фелпс. Мы все уходим. Нам просто хотелось вас проведать и сказать, что вы можете на нас рассчитывать.

Лайл. Я очень тронут, ваше преподобие, и очень вам благодарен. У меня даже на душе полегчало. Хоть я и знаю, что ничего плохого не сделал, все равно положение у меня незавидное. Если бы не моя Джо, не знаю, что бы со мной было! До свиданья, миссис Баркер и миссис Проктор. Пока, Джордж, рад, что ты зашел. Смотри, Ральф, береги Сюзен! И первенца назови в мою честь — может, тебе еще придется привести его в тюрьму, чтобы я на него поглядел!

Сюзен. Брось ты эти глупости! Все обойдется.

Лайл. Ты уверена?

Сюзен. Ручаюсь. Они не посмеют, просто не посмеют что-нибудь с тобой сделать!

Лайл. Тогда хорошо. Тебе я верю.

Сюзен. Попробуй только не верить!

Элис. Помни, Парнелл, что мы тебе сказали.

Парнелл. До скорого, Элис.

Лайл. Давай-ка лучше повидаемся, как только вся эта грязная история кончится.

Элис. Само собой. Да эта история вроде уже кончилась, мы им не дадим тянуть! А я знаю одну такую штуку, она начисто выбьет это у тебя из головы, да, пожалуй, и все остальное тоже, ха-ха! Всего доброго, миссис Бриттен!

Джо. До свиданья. Спасибо, что зашли.

Хейзел, Лилиан, Сюзен, Ральф, Элис, Фелпс и Джордж уходят.

Лайл. Славные люди...

Джо. Очень.

Парнелл. Они действительно хорошо к тебе относятся.

Лайл. А ты, часом, не завидуешь, милый? Нет? Дело в том, что у всех нас одни и те же заботы, а ты об этих заботах и понятия не имеешь — тебе ведь никогда не приходилось думать, как заработать на хлеб. А я... Мне пришлось гнуть спину с малолетства. И моим мамаше и папаше до меня, упокой господи их душу, а ихним мамаше и папаше до них. Они надрывались в поле, а поле не давало им ничего. Ничего, кроме пустого брюха да тощих с голодухи ребят. Один я не помер в детстве, вышел в отца — тощий, как жердь, но крепкий, что твой камень. А уж упрям он был! Господи, да такого упрямца свет не видывал! Ему бы пораньше родиться. Родись он пораньше, когда это была еще свободная страна и человек мог зашибить деньгу, я бы рос таким же богатеньким, как ты, Парнелл, а может, и побогаче. Уж поверь, старик бился, как рыба об лед. Работал потяжелее любого негра. Вот и оставил мне лавку.

Джо. А как ты думаешь, мы сможем оставить ее нашему малышу?

Лайл. Мы оставим ему побольше. Нашему малышу не придется думать о завтрашнем дне. Я хочу, чтобы он стал богатым, ну хотя бы как Парнелл, и получил образование получше, чем его папаша, и даже лучше, чем Парнелл!

Парнелл. Ты хочешь послать его учиться в Швейцарию?

Лайл. Ты-то ведь там какое-то время учился?

Джо. Вот там он и набрался своих завиральных идей!

Парнелл. Верно. Так что смотри, стоит ли тебе его посылать. У нас в школе были даже африканские принцы, и, признаться, они учились куда прилежнее меня.

Л а й л. Африканские принцы? А какие они из себя? Небось громадные, черные, а вокруг шеи слоновые бивни?

П а р н е л л. Кое-кто из африканцев носил украшение из слоновой кости на цепочке — на серебряной цепочке. А вообще такие же люди, как все. Им даже казалось, что они чуть получше большинства из нас, ну, а швейцарские девушки в этом, как видно, не сомневались.

Л а й л. Швейцарские девушки? Как, разве у этих черных не было своих женщин?

П а р н е л л. Сколько душе угодно. Швейцарки, датчанки, англичанки, француженки, финнки, русские и даже две-три американки!

Д ж о. Ну, про американок я не поверю! Разве что они хотели подражать иностранкам. Терпеть не могу, когда люди изображают из себя не то, что они есть.

П а р н е л л. Да эти бедняжки ничего не изображали, а просто вели себя, как нормальные женщины! Африканцы ведь были настоящие мужчины, и никто их никогда в этом не разубеждал.

Л а й л. Как, разве там не было африканских женщин? И швейцарцы терпели, что там все эти черномазые без своих женщин?

П а р н е л л. По-моему, это их очень устраивало. Они были в восторге. У черномазых была уйма денег. Африканских девушек у нас училось немного, их воспитывают не так, как американок.

Д ж о. И американские девушки водились с африканцами?

П а р н е л л. Еще как! Африканцы великолепно танцуют.

Л а й л. Ну, уж я дочь свою в Швейцарию не пошлю, ни за какие блага!

П а р н е л л. А сына? Что, если ему приглянется маленькая африканская принцесса?

Л а й л. Ну, сын — другое дело. Пусть, только бы потом бросил ее там.

Д ж о. Почему — другое дело? Белым мужчинам тоже незачем путаться с черными бабами...

Л а й л. Слушай, не заводись. Мужчины — совсем не то, что женщины, они не такие нежные. Мужчине можно то, чего нельзя женщине, сама знаешь.

П а р н е л л. Вы слышали выражение «перебеситься»? Ну что же, все ваши знакомые мужчины здорово бесились, прежде чем остепенились и обзавелись семьями.

Л а й л. Это факт. Такая уж у нас природа. Не то что у женщин. Вот Парнелл все еще никак не перебесится, а я уже остепенился.

Д ж о. Значит, женщина, порядочная женщина, должна ждать, пока мужчине надоест валяться в постели со... шлюхами и он решит обзавестись семьей?

П а р н е л л. Что ж, это несправедливо, но так повелось испокон веку. Порядочным женщинам всегда приходилось долго ждать, хотя никто, по-моему, не знает, как они коротали время.

Д ж о. Парнелл!

П а р н е л л. Но я знаю и таких, которые ждали чересчур долго.

Д ж о. Мужчинам должно быть стыдно. Какое вы имеете право осуждать женщину, если она и... пошла по дурной дорожке? Если порядочная женщина не может найти порядочного мужчину, так бывает сплошь да рядом, ей ведь, в конце концов, надоест ждать!

Л а й л. Нет, если ее воспитали в страхе божьем, как говорил мой папаша, осечек тут не бывает. Взять хотя бы тебя, разве тебе надоело ждать? И никто у нас в городе не скажет про тебя худого слова. Господи, как я дрожал, когда наконец решился сделать этой девушке предложение! Боялся, что она выставит меня за дверь. Ведь я был порядочный сорвиголова, пока жил холостяком. Вот Парнелл знает.

Д ж о. Да, мне говорили.

Л а й л. Но она меня не прогнала. Я на нее поглядел будто в первый раз, знаешь, как это бывает, когда первый раз по-настоящему взглянешь на женщину. И подумал: будь я проклят, если я не добьюсь ее. А она на меня посмотрела даже ласково. Это я прочел у нее в глазах. И у меня словно с сердца камень свалился.

Д ж о. Нехорошо все это рассказывать при Парнелле.

Л а й л. Почему? От Парнелла у меня секретов нет, он мужчин знает. Нет, ты только погляди, как она покраснела! Я же тебе говорю, что женщины — штука деликатная. *(Легонько дотрагивается до ее щеки.)* Знаю, ты беспокоишься, лапушка. Не волнуйся. Все образуется, увидишь, мы с тобой опять заживем.

Д ж о. Дай бог, Лайл.

Л а й л. Пойду приму ванну и надену что-нибудь поприличнее. А ты, Парнелл, не смей уходить, слышишь! Я сию минуту. *(Выходит.)*

Д ж о. Вот чудак! На него даже трудно сердиться, все равно что на младенца! Парнелл! Можно задать вам один вопрос?

П а р н е л л. Пожалуйста.

Д ж о. Это правда, что у Лайла нет от вас никаких секретов?

П а р н е л л. Он уверяет, что у вас **обоих** нет от меня секретов!

Д ж о. Бросьте шутить. Лайл совсем не понимает женщин, того, что у них на душе. Мужчины понятия об этом не имеют. Но я хочу задать вам важный вопрос. Вы ответите?

П а р н е л л. Если смогу.

Д ж о. Значит, не ответите. Но я все равно спрошу. Парнелл... правда то, что люди говорят? Насчет Лайла? Будто он жил с женой Старика Билла и поэтому его застрелил?

П а р н е л л. Почему вы меня об этом спрашиваете?

Д ж о. Мне надо знать! Это правда, да? Он жил и с женой Старика Билла и со многими цветными у нас в городе. Это правда?

П а р н е л л. Что вам до того, с кем он спал, когда еще не был на вас женат? Я знаю, что он ходил к проституткам. Может, среди них были цветные. Когда он пьян, он не очень разборчив.

Д ж о. Он вам ничего не рассказывал?

П а р н е л л. А зачем он стал бы мне рассказывать?

Д ж о. Мужчины любят поговорить о таких вещах.

П а р н е л л. Мужчины могут пошутить насчет таких вещей. Но то, что один мужчина расскажет мужчине, да еще другу, нельзя рассказать женщине.

Д ж о. Да, вы все друг за друга стоите! Обидно, что у женщин этого нет. Ну, хорошо, вы не можете рассказать мне о Лайле. Но скажите вот что. У вас у самого когда-нибудь была связь с цветной девушкой? Настоящая, не на одну ночь... Я хочу знать, у вас было к ней какое-нибудь чувство, она вам нравилась, вы... любили ее? Могли бы вы на ней жениться, так же, как на белой девушке?

П а р н е л л. Джо...

Д ж о. Ах, скажите же мне правду, Парнелл!

П а р н е л л. Да, я любил цветную девушку. Кажется, любил. Но мне тогда было только восемнадцать, а ей семнадцать. Я еще не знал женщин. Думаю, что и она была девушкой. Многие из моих соучеников ездили по вечерам в негритянский квартал, к черным женщинам. Иногда их покупали за деньги, иногда брали на испуг, иногда насиловали... Мальчишки гордились своими победами, они только об этом и говорили. А я так не могу. После этих рассказов я стыдился собственного тела, своих чувств, стыдился того, что я белый...

Д ж о. Стыдились того, что вы белый?..

П а р н е л л. Да.

Д ж о. А как вы познакомились... с этой цветной?

Парнелл. Ее мать у нас работала. А та иногда заходила за матерью. Иногда ей приходилось ждать. Как-то раз я застал ее в библиотеке, она читала «Красное и черное» Стендаля. Я сам только что прочел эту вещь, и мы разговорились. Девушка была такая забавная — умненькая, серьезная и очень самолюбивая. Она очень **боялась,** боялась меня, но самолюбие не позволяло ей этого показывать. Ох, до чего же она была смешная! Но умная.

Джо. Красивая?

Парнелл. Тело у нее было цвета имбирного пряника, только что вынутого из печки. Я звал ее Имбирь. Потом. На самом деле ее имя было Пирл. У нее были черные волосы, очень черные и короткие, она старательно их причесывала. Потом я всегда ее дразнил, что она так ухаживает за своими волосами. Тут в городе есть одна девушка, которая мне ее напоминает. Ох, как же я ее любил!

Джо. А что случилось потом?

Парнелл. Бывало, гляжу на нее, как она движется — так свободно и красиво,— и думаю, что, когда ночью она откуда-нибудь возвращается домой, любой из моих соучеников по школе может сказать ей какую-нибудь гнусность... И тут же вспоминаю, что ничем не лучше их и у меня ведь мысли грязные. Я сначала не мог понять, как она относится ко мне. И не решался спросить. В конце концов я уже почти ни о чем, кроме нее, не мог думать. Мне до боли хотелось ее обнять, обнять и уберечь от всех, кто хотел погубить ее. Она иногда писала стихи и показывала их мне, но мечтала стать художницей.

Джо. Ну, а потом?

Парнелл. А потом ничего. Мы так подружились, что говорили друг другу все. Она будет художницей, а я писателем. Это была наша тайна. Ни один человек на свете, кроме меня, не знал, что у нее на душе, что она за человек и о чем мечтает. И ни один человек на свете, кроме нее, не знал, что у меня на душе, чего я хочу и о чем мечтаю. Но мы не могли загадывать о будущем, не смели. Мы поговаривали о том, чтобы уехать на Север, но я еще учился в школе, и она еще училась в школе. Нам нельзя было показываться вместе — это бы сразу ее опозорило. Я иногда встречал ее в кино в компании молодых негров. Постоянного кавалера у нее, по-видимому, не было. Они сидели на балконе, на местах для цветных, а я сидел внизу, на местах для белых. Она не могла спуститься ко мне, я не мог подняться к ней. Мы иногда встречались ночью где-нибудь за городом, но мне не хотелось обниматься с ней в кустах, а больше было негде. Как-то раз мы целовались в библиотеке, как вдруг вошла ее мать. В тот день я понял, как черные могут ненавидеть белых.

Джо. А что сделала мать?

Парнелл. Она не сказала ни слова, только посмотрела на меня. Посмотрела, и все. Но я видел, что творится у нее в душе. Она знала, что жаловаться моему отцу или матери бесполезно. От этого пострадает только ее дочь — на нее падет тень. Она не смела пожаловаться мужу. Если он попробует вмешаться, его убьют. Со мной она ничего не могла сделать. Для нее я был просто белый хулиган, который лез под юбку к чернокожей девушке. Она поглядела на меня так, словно ей страстно хотелось стереть меня с лица земли. Я никогда не забуду этого взгляда. До сих пор его вижу. Она подошла к Пирл, и мне показалось, что она сейчас ее ударит. Но она не ударила, взяла дочь за руку и грустно сказала: «Я уже кончила». И повела Пирл из комнаты.

Джо. Вы ее потом видели?

Парнелл. Нет. Мать куда-то ее отослала.

Джо. Вы ее забыли? У вас, наверно, тут же появились другие девушки, сразу после нее?

Парнелл. Я ее не забыл.

Джо. И вы о ней вспоминаете, даже тогда, когда с вами Лоретта?

Парнелл. Не всегда, Джо. Но часто.

Джо. А если бы вы встретили ее опять?

Парнелл. Если бы я встретил ее опять?.. Да я бы на ней женился. Я бы народил детей, которых мне всегда хотелось иметь.

Джо. Ах, Парнелл! Если вы могли так к ней относиться, если вы так относились к ней все эти годы...

Парнелл. Да, знаю. С точки зрения белых, я — ренегат.

Джо. Значит, и Лайл мог испытывать такое же чувство к жене Старика Билла, к Вилле-Мей? А я знаю, что ко мне он относится не так. А если он был способен на такое чувство, он же мог застрелить Старика Билла, чтобы заткнуть ему рот!

Парнелл. Джо!

Джо. Да! А если он мог застрелить Билла, чтобы заткнуть ему рот, он мог убить и того парня. Мог убить! А если он это сделал — так это же убийство, правда? Просто-напросто убийство, даже если тот парень и был негр. Ох, Парнелл!

Парнелл. Джо, перестаньте. Перестаньте. Молчите!

Лайл *(за сценой)*. Что вы там не поделили?

Парнелл. Я рассказываю твоей жене историю моей жизни.

Лайл *(за сценой)*. Если послушать со стороны, то она была довольно бурной.

Парнелл. Вы ни разу его не спрашивали, Джо?

Джо. Нет. Нет. Нет.

Парнелл. Ну, а я его спросил...

Джо. Когда?

Парнелл. Правда, обиняком... Но он сказал, что нет, он этого не сделал, это неправда. Вы же слышали. Мне он врать не станет.

Джо. Нет. Вам он врать не станет. Говорят, кое у кого из черномазых есть оружие, вы об этом слышали?

Парнелл. Да. Слышал. Но это неправда.

Джо. И они ведь вам тоже не будут врать, а? Нет, я слишком много об этом думаю, просто с ума схожу от этих мыслей. Лайла так часто не бывает дома по ночам — он столько времени сидит в лавке. Понятия не имею, что он там делает. А домой приходит смертельно усталый и сразу валится спать.

Входит Лайл, держа на руках ребенка

Милый! Что за перемена! Ты принарядился, как раньше, когда за мной ухаживал!

Лайл. Ну, когда я за тобой ухаживал, я наверняка не таскал на руках ребенка. Он проснулся, что-то распевал и очень был занят своими пальчиками на ногах. У него такой вид, будто к его ножкам привязан целый фунт конфет! На. Ему, наверно, пора уже есть. Что ты так на меня смотришь? И вдруг стала такая ласковая?

Парнелл. Я читал ей лекцию о супружеских обязанностях.

Лайл. Ах вот оно что! Ну-ка, дружок, давай немножко пройдемся. Обещаю поставить рюмочку. Надеюсь, тебе не стыдно со мной показываться?

Парнелл. Нет, мне не стыдно с тобой показываться.

Джо. К ужину вернешься?

Лайл. Да, киска. Пошли.

Джо. Парнелл, и вы приходите ужинать вместе с Лореттой, если вам нечего делать. Мы будем очень вам рады.

Парнелл. Постараемся. Привет, Джо.

Джо. Привет.

Лайл и Парнелл уходят. Джо идет к окну, потом возвращается, с улыбкой склоняется над ребенком. Напевает:

Тише, тише, мой малыш спит, малютка!
Мама пересмешника принесет, погоди минутку.

Ну, пока что птичка тебе не очень нужна, да? Я знаю, что тебе нужно. Ладно, мамочка тебя сейчас покормит. *(Садится. Медленно расстегивает блузку. Напевает.)*

Если пересмешник в клетке петь не станет,
Алмазное колечко мамочка достанет.

Лавка Лайла. Сумерки. Лайл и Парнелл слегка подвыпили.

Лайл. С тобой это когда-нибудь бывает? Ну, конечно, бывает, не находишь себе места, и конец! Все у тебя есть, не на что будто и пожаловаться, а ты словно чем-то все равно недоволен. С тобой это когда-нибудь бывает? Ей-богу, мы, мужчины,— странный народ! Вот я и сейчас места себе не нахожу.

Парнелл. А что с тобой? Беспокоишься насчет суда?

Лайл. Нет, насчет суда я не беспокоюсь. И даже на тебя нет у меня зла. Кое-кто из наших думает, что я должен иметь на тебя зло, а я не имею. Они ведь не знают тебя так, как я. Меня всеми твоими бреднями не проведешь. Оба мы с тобой белые, оба здешние и корешами были всю жизнь. Вот это идет в счет. И я знаю, ты не допустишь, чтобы со мной что-нибудь стряслось.

Парнелл. Приятно слышать.

Лайл. Когда в городе начались беспорядки — еще до того, как убили этого ненормального, сразу как он приехал и начал устраивать скандалы,— я все чаще и чаще вспоминал Виллу-Мей. Право слово, она была для него слишком молода. Старику Биллу добрых шестьдесят, он для нее не годился! А все же в первый раз мне пришлось взять Виллу-Мей силком. Клянусь! Может, она испугалась. Но потом она уже не возражала. Нет! Нам было хорошо, уж поверь, и ей это нравилось не меньше, чем мне. Эй! Ты слушаешь меня?

Парнелл. Да, слушаю. Продолжай.

Лайл. На чем я остановился?

Парнелл. Что ей это нравилось так же, как и тебе, чему мне трудно поверить.

Лайл. Ха-ха! А я тебе говорю, что да. Я ни по ком так с ума не сходил, как по ней.

Парнелл. А когда Билл узнал?

Лайл. Старик Билл? Да он ни в жизнь ни о чем бы не догадался, если бы люди не стали нашептывать ему. Сперва болтали потому, что папаша мой захворал и ей приходилось все время проводить у нас — кому-то надо было за ним ходить! Поначалу все говорили, будто она с ним крутит. Черт, да мой папаша бы с радостью, но разве ему было до того? Он тогда уж сильно ослаб и хотел только покоя. А потом люди стали болтать, будто это я.

Парнелл. Старик Билл когда-нибудь тебя об этом спрашивал?

Лайл. Да как он мог меня спрашивать? Черт! Мы же были приятелями! Я не раз выручал его деньгами. А Вилле-Мей я всегда наваливал полную сумку еды, чтобы они, упаси бог, не голодали.

Парнелл. И Старик Билл ни разу тебе ни на что не намекнул? Ни разу? И не дал тебе повода заподозрить, что он знает?

Лайл. Ну, бог его ведает, что у него было на уме! Разве поймешь, что у другого человека на уме?.. По внешности ничего не было заметно. И вел себя, как всегда. Черт, да я же говорю, что по годам она

могла быть ему внучкой! Вот я и подумал, может, его такое положение даже устраивает — когда я за него работаю, ха-ха! Ведь он-то, черт возьми, уже ничего не мог, а я, значит, не давал ему надорваться.

Парнелл. Тогда почему он был так зол на тебя в последний раз?

Лайл. Да я же тебе говорю — он обвинил меня, будто я его обжулил. А я в жизни не обжуливал ни одного черномазого. Не хочется зря говорить, ведь мы с ним всегда были друзьями, но я думаю, это папаша Джоэл на меня наговорил. Старик Билл сам бы не додумался — считать он был не мастер.

Парнелл. А зачем было папаше Джоэлу на тебя наговаривать?

Лайл. По-моему, он ревновал.

Парнелл. Ревновал? Виллу-Мей к тебе?

Лайл. Он ведь на самом-то деле совсем не старый. Но я уверен, что он вовсе не хотел... чтобы дело так обернулось... *(Пауза.)* Я как сейчас его вижу... ну и лицо же у него было, когда он вошел сюда в лавку!

Парнелл. У кого? Кто вошел в лавку?

Лайл. Ну кто? Конечно, Старик Билл! Как сумасшедший. Вот-вот меня убьет. Он и хотел меня убить. Черномазый псих!

Парнелл. А я думал, ты говоришь о том, другом. Но тот, другой, умер не у тебя в лавке.

Лайл. И Старик Билл умер не у меня в лавке. Он умер вон там, подальше, на дороге.

Парнелл. А я думал, ты говоришь о Ричарде Генри.

Лайл. О том ненормальном мальчишке?.. Да, он сюда приходил. Не знаю, что на него нашло, он видел меня до этого всего один раз. И я обошелся с ним, ну, как обошелся бы... с любым человеком.

Парнелл. Да, слышал. Вы встретились в заведении папаши Джоэла. Он был окружен неграми, или, вернее, ты был ими окружен...

Лайл. Он там танцевал с одной из этих ненормальных девчонок, с такой хорошенькой черномазой девкой, не помнишь, как ее зовут?

Парнелл. Джуанита.

Лайл. Вот-вот.

Тихая музыка радиолы. Голоса. Смех.

Да. Он смотрел на меня так, словно хотел меня убить. И оскорбил мою жену. А я ведь не сделал ему ничего дурного. *(Чуть громче.)* Но я об этом все время думаю. И знаешь, что я думаю? Эй! Ты спишь?

Парнелл. Нет. Я тоже думаю.

Лайл. О чем ты думаешь?

Парнелл. О нас. Обо мне и о тебе.

Лайл. И что же ты думаешь о нас с тобой? Да и какой вообще смысл о нас думать? Всю жизнь мы с тобой дружили, не можем же мы перестать дружить?

Парнелл. Это верно, приятель. Что ты хотел мне сказать?

Лайл. Я думаю, что многие черномазые у нас в городе, особенно молодые, стали смутьянами. И, по-моему, они его науськивали.

Пауза. Музыка стихает.

Он заявился сюда как-то раз в понедельник, после обеда. Все об этом тут же узнали, новость обежала город быстрей, чем курица успеет кудахтнуть. Тебя случайно при этом не было, ты только что ушел.

Лайл встает, подходит к двери и распахивает ее. Помещение наполняется солнечным светом. Мы видим дорогу.

Джо *(за сценой)*. Лайл, помоги мне внести детскую коляску. Тут становится жарковато.

Парнелл. Разрешите мне!

Лайл и Парнелл вносят детскую коляску. Входит Джо.

Джо. Ну и пекло! Обидно, что мы не поехали за город. Ей-богу, понять не могу, чего ради нам сидеть в этой лавке. Все равно никто не зайдет — во всяком случае, за покупками.

Парнелл. Я куплю жевательной резинки.

Джо. Вы не жуете резинку.

Парнелл. Ну, тогда я куплю сигарет.

Джо. Две пачки или три? Ничего, Парнелл, семейство Бриттенов как-нибудь выкарабкается и без этого.

Лайл. По дороге идут двое черномазых. Может, зайдут выпить кока-колы. *(Уходит в глубь лавки.)*

Джо. Нет, не зайдут. Наша кока-кола — отрава. Я встаю каждый день на рассвете и бросаю туда мышьяк.

Парнелл. Ну, тогда и я не буду пить. До свиданья, Джо. Пока, Лайл.

Лайл *(за сценой)*. До свиданья!

Парнелл уходит. Несколько секунд стоит тишина. Потом мы слышим, как Лайл начинает что-то прибивать в помещении за лавкой. Джо берет журнал и принимается читать. Голоса На дороге появляются Ричард и Лоренцо.

Ричард. Слушай, давай выпьем колы! Мне пить хочется.

Лоренцо. Пройдем немного дальше.

Ричард. Мы бредем уже целую вечность, во рту у меня сухо, как на этой проклятой пыльной дороге. Зайдем выпьем — минутное дело.

Лоренцо. Мы здесь не покупаем. Пошли...

Ричард. А-а! Это то самое место? Черт, интересно еще раз взглянуть на эту птицу, но не бойся, я ему не дам заработать больше десяти центов. Надо запомнить его лицо, чтобы, когда настанет час, попусту времени не терять. Чуешь? *(Входит в лавку.)* Эй вы, миссис Хей-хей-фей, вы торгуете кока-колой?

Джо. Что?

Ричард. Кока-кола! Мы вот с моим товарищем тянули баржи и таскали кули, да-да, именно, гнули спину. Нам надо освежиться. Напиток. Прохладительный. Ага.

Джо. Послушай, мальчик, что тебе надо?

Ричард. Бутылку кока-колы, сударыня. Будьте добры, сударыня!

Джо. Они вон там, в ящике.

Ричард. Душевно вам благодарен. *(Берет две бутылки колы, откупоривает.)* Ну, как хорошо! Чудесно! Скажите, вы их положили сюда в ящик своими собственными нежными ручками? От этого вода будет слаще!

Джо. С кем это вы так разговариваете?

Ричард. Сударыня, грешен, люблю поговорить с самим собой — время быстрее проходит. *(Кричит в дверь.)* Эй, Лоренцо, я взял тебе колу!

Лоренцо. Не хочу. Выходи-ка оттуда.

Джо. Платите двадцать центов.

Ричард. Двадцать? Пожалуйста. Пусть двадцать. Но неужели вы не научились говорить «пожалуйста»? Все мои знакомые женщины говорят «пожалуйста», правда, они не такие смазливые, как вы. Нет у меня двадцати центов, сударыня. У меня есть только двадцать долларов!

Джо. А помельче у вас не найдется?

Ричард. Нет, сударыня. Видите ли, я никогда не ношу с собой больше денег, чем могу позволить себе потерять.

Джо. Лайл!

Входит Лайл, держа в руке молоток.

У тебя есть сдача?

Лайл. Сдача с двадцати долларов? Ты же знаешь, что нет.

Ричард. У вас такая большая красивая лавка и прочее, и нет сдачи с двадцати долларов!

Лайл. Еще рано, мы недавно открыли.

Ричард. Да не так уж рано. Я-то думал, что белые богаты во всякое время дня и ночи.

Лайл. Если ты напрашиваешься на неприятности, можешь их схлопотать. А у того малого на улице нет двадцати центов?

Ричард. Тому малому на улице скоро двадцать четыре года, и у него нет двадцати центов. Нечего его и спрашивать.

Лайл *(у двери)*. Эй, малый, у тебя не найдется двадцати центов?

Лоренцо. А ну-ка уходи оттуда, Ричард! Мне надоело здесь торчать!

Лайл. Ты разве не слышал, о чем тебя спрашивают?

Лоренцо. Мистер Бриттен, я не входил к вам в лавку, я ничего в вашей лавке не покупал, поэтому я не обязан вам отвечать, есть у меня двадцать центов или нет!

Ричард. Может, ваша жена сбегает домой и принесет сдачу? Я ведь знаю, дома у вас есть мелкие деньги. Верно?

Лайл. Я никому не позволю командовать моей женой.

Ричард. Да ведь я только сказал, что вы — счастливец, раз у вас такая красивая жена. Я только сказал, что, может, она сбегает домой и посмотрит, нет ли там у вас дома мелких денег.

Лайл. Где-то я тебя уже видел. Ну да, ты тот черномазый псих. Ты не из местных.

Ричард. Вы отлично знаете, что меня видели. И помните где. И когда. А родился я здесь, в этом самом городе. Я сын его преподобия Меридиана Генри.

Лайл. Ты так это говоришь, будто имя твоего отца тебя спасет. От меня твой папаша тебя не спасет, ни он, ни тот парень на улице.

Ричард. От чего же меня надо спасать, а? Да еще в родном городе, в наших добрых старых Соединенных Штатах? Я зашел по дороге в деревенскую лавчонку напиться кока-колы и выяснил, что голодранец, который ее содержит, не может разменять бумажки в двадцать долларов. У вас, у господ, нет ни шиша, вы только народ надуваете!

Лайл. Давай назад бутылки и убирайся отсюда.

Ричард. А я еще не допил. И денег не разменял.

Лайл. Не буду я менять тебе деньги и не дам тебе допивать. Уноси отсюда свою черную задницу, живо! А если у тебя хватит ума, уноси ее и из нашего города.

Ричард. Ну, город этот — не твой, белая сволочь. У тебя нет за душой даже двадцати долларов. И не замахивайся молотком. Я его отниму и расквашу тебе голову.

Джо. Лайл! Не задирайся ты с этим мальчишкой. Он псих! Я сейчас вызову шерифа. *(Идет к задней двери, но тут же возвращается к прилавку.)* Лайл! Присмотри за ребенком.

Ричард. Ах, у тебя есть ребенок? Долго же ты, наверно, трудился, маломощный ублюдок! Не верится, что ты вообще на это способен, погляди, как ты потеешь!

Лайл замахивается молотком. Ричард хватает его за руку и отводит ее назад. Они борются.

Джо. Лайл! Тут ребенок!

Лоренцо. Ричард! *(Входит в лавку.)*

Джо. Прошу тебя, уведи ты этого парня, уведи его скорей, он добьется, что его пристукнут.

Ричард выбивает из рук Лайла молоток и сшибает Лайла с ног. Молоток летит в угол. Лоренцо его поднимает.

Лоренцо. Думаю, вашему мужу больше не придется убивать черных. Во всяком случае, не сегодня, миссис Бриттен. Идем, Ричард. Пошли.

Лайл смотрит на них, лежа на полу.

Лайл. Вас было двое на одного. Запомните!

Лоренцо. Я до вас и пальцем не дотронулся, мистер Бриттен. Вы просто ему не ровня — даже такому мальчишке. Если у вас нет револьвера, вам с ним не тягаться. Пошли, Ричард.

Джо. Вас за это посадят! Посадят в тюрьму! На долгие годы!

Лоренцо. Мы и так уже долгие годы в тюрьме. Я оставлю ваш молоток в заведении папаши Джоэла — судя по всему, вы сегодня вряд ли сможете работать.

Ричард *(смеясь)*. Погляди-ка на этого силача! Плюхнулся задницей на пол, да еще на глазах у жены и наследника! Ну, кто, по-твоему, из нас сильней? Ха-ха! Раса господ! Дай мне на часок этого чахлого белого цыпленка, и она узнает, кто тут господин! Ха-ха-ха!

Уходит. Смех Ричарда все еще слышен в темноте. На сцене снова Лайл и Парнелл.

Лайл. Черномазые еще долго потом надо мной потешались. Куда бы я ни пошел.

Парнелл. Но ты так и не обратился к шерифу.

Лайл. Нет.

Парнелл наливает обоим виски. Мы слышим пение.

Парнелл. Скоро начнутся похороны.

Лайл. И пусть каждый черномазый, такой, как этот черномазый, кончит, как этот черномазый,— мордой в чертополох. *(Пауза.)*

Парнелл. Разве он лежал лицом вниз?

Лайл. Да, дьявол его возьми, мордой вниз! Так сказано в газетах.

Парнелл. Разве об этом писали в газетах? Что-то не помню.

Лайл. Да. Писали.

Парнелл. Наверно, им пришлось перевернуть его на спину, чтобы опознать.

Лайл. Выходит, так. *(Смеется.)* Ага, выходит, так.

Парнелл. Мы ведь с тобой друзья, а?

Лайл. Конечно, друзья, до могилы.

Парнелл. Меня всегда удивляло, почему ты стал со мной дружить. Обычно бедные ребята ненавидят богатых. Меня всегда удивляло, почему в тебе нет этого чувства.

Лайл. Да, у меня его нет. Черт возьми, Парнелл, ты же умнее меня. Я это понимаю. И мне было интересно, чем ты умнее меня? Я с тобой подружился, чтобы узнать. Ведь ты, черт тебя возьми, не так уж отличался от меня в других отношениях, несмотря на все твои бредни. У нас с тобой было много общего — и выпивка, и распутство. Того и другого нам всегда было мало. Конечно, вино, которым ты напивался, было сортом получше. Ну а насчет баб — сомневаюсь, чтобы твои были лучше.

Парнелл. А ты все же выяснил, чем я умнее тебя?

Лайл. Ага. Ты просто богаче.

Парнелл. Богаче?.. И это все, что ты можешь сказать... насчет Ричарда Генри?

Л а й л. А что же еще говорить? Подожди, пока кончится суд. Тогда тебе больше не о чем будет меня спрашивать!

П а р н е л л. Пора на похороны.

Л а й л. Не беги. Не бросай меня одного.

П а р н е л л. Тебя ведь ждут домой к ужину.

Л а й л. Подождут. Выпьем еще по одной, будь другом. Не бросай меня одного. Нет, ты слушай! Поют и молятся. Поют и молятся. И смеются над человеком у него за спиной!

В темноте продолжается пение. Черный Город. Церковь набита людьми. На кафедре М е р и д и а н, внизу на носилках стоит гроб.

М е р и д и а н. На душе у меня сегодня тяжко, как никогда. Я поднимаю свой голос из пучины горя и сомнения, каких еще не знал. И не один я, о господи, терплю это испытание. Все, до кого дойдет мой голос, и еще многие души, до которых он не дойдет, чувствуют то же, что чувствую я, содрогаются, как содрогаюсь я, и скорбят, как скорблю я. И не потому только, что настали черные дни, мы знали и раньше черные дни. И не потому только, что льется наша кровь и никто не протянет нам руку помощи, и не потому только, что детей наших губят на наших глазах. И не потому только, что каждый день и каждый час жизни нашей угрожают люди, среди которых ты повелел нам жить. Мы все это терпели, о господи, и делали то, что было не по силам даже древним пророкам,— и мы пели тебе хвалу на чужбине. На чужбине! Каковы ж были грехи наших предков во времена, давным-давно канувшие в забвение по ту сторону потопа, если их должны искупать столько поколений? И мы искупаем их здесь, на этих варварских берегах, на чужбине — искупаем кандалами, бичом, голодом и жаждой, смертью от пули и огня, петли и ножа. Да, те грехи, верно, были тяжкими, преступления — безмерными. Но не прошлое тяготит нашу душу, а настоящее. Господи, на что нам надеяться? Что может тронуть сердце этого безрассудного народа, глухого ко всему, и заставит его прекратить душегубство? Когда услышат они откровение святого Иоанна? «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, то извергну тебя из уст моих! Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». А теперь, о господи, когда приходит ко мне моя паства и вопрошает, какой путь ей избрать, язык мой нем и сердце мертво. Я не хочу покидать эту землю, эту чужую мне землю, ибо здесь дом мой. Но могу ли я взывать к своей пастве, чтобы она вечно сносила жестокости тех, кто были ее господами и кто теперь поистине стали их соплеменниками, их братьями и сестрами, их родней? На что может надеяться народ, который отступается от своих деяний и отвергает своих соплеменников во имя чистоты и любви, во имя Христово? Какой нужен могучий свет, о господи, чтобы победить столь непроглядную тьму? Тьма царит в нас, и она все сгущается — и в белых, и в черных одинаково. Я восстал против этой тьмы, я не дам ей себя поглотить, хоть и знаю, что настанет день, когда она погубит мою плоть. Но, господи, что будет с твоими детьми? Что я скажу детям твоим? Я должен быть с тобою, о господи, и бороться с тобой, как Иаков, до тех пор, пока не наступит рассвет, пока ты не пошлешь мне знамение! Знамение того, что в грозной Сахаре наших дней забьет источник, источник истинного добра, что он приблизит нас, о господи, к тому миру на земле, которого уже столько веков жаждут — увы! — немногие. Не дай нашим страданиям длиться вечно. Научи нас верить в великий

дар, имя которому жизнь, научи нас любить друг друга и достойно жить на земле, как подобает человеку. Аминь.

Магушка Генри. Становитесь друг за другом, дети, и давайте прощаться.

Поют песню «Великое утро пробуждения». Меридиан сходит с кафедры. Меридиан, Лоренцо, Джимми и Пит поднимают на плечи гроб Входит растрепанный Парнелл. Мимо него, один за другим проходят прихожане, проносят гроб. Джуанита останавливается возле Парнелла.

Джуанита. Что с вами, Парнелл? У вас совсем больной вид.

Парнелл. Я хотел прийти пораньше. Но не смог. Лайл меня не отпускал.

Джуанита. Вы надеялись вынудить у него признание? Но у вас такой вид, будто он вынуждал признание у вас. Ах вы бедняга!

Парнелл. Нет. Бедняга — Лайл! Он никогда не сознается, бедняга!

Джуанита. Вы оплакиваете Лайла? Вы счастливее меня. Я не умею плакать при посторонних. И прощаться не умею при посторонних. Они ведь не понимают, с чем ты прощаешься.

Парнелл. Вы его любили?

Джуанита. Да.

Парнелл. Я не знал.

Джуанита. Ах, какой вы счастливчик, Парнелл! Вы и правда этого не знали. Скажите, в каком мире вы живете? Как вы умудряетесь не знать всего, чего вы не знаете?

Парнелл. За что вы на меня напали? Никак не думал, что я представляю для вас такой интерес. Но поймите, Джуанита! Есть очень многое, о чем я просто не способен сказать вслух!

Джуанита. И есть очень многое, чего вы просто не способны услышать!

Парнелл. А вы пытались мне это сказать?

Джуанита. Я часто наблюдала, как вы с шумом проноситесь по городу, словно Георгий Победоносец, жаждущий схватки с драконом! И мне часто хотелось сказать: зря вы тратите столько сил — найти дракона совсем не трудно: он повсюду. Да и кому нужно, чтобы вы вели себя, как Георгий Победоносец? Мы хотим, чтобы вы были просто Парнеллом. Но это, конечно, гораздо труднее.

Парнелл. Мы ведь с вами друзья, Джуанита? Скажите.

Джуанита. Друзья? Это не совсем то, что вы имеете в виду, Парнелл. Говорите же прямо!..

Парнелл. Да. От вас мне всегда хотелось большего, чем дружбы. Но я боялся, что вы меня не так поймете. И подумаете — я вас просто хочу использовать. В определенном смысле.

Джуанита. Ведь вы уже давно взрослый человек, Парнелл. Вы должны больше себе доверять.

Парнелл. Я слишком давно взрослый, чтобы осмелиться предложить вам свою особу.

Джуанита. Ваш возраст никогда не был помехой. Вопрос совсем не в нем.

Парнелл. Значит, когда-то вопрос этот стоял?

Джуанита. Да. Когда-то.

Парнелл. А потом... теперь его уже нельзя поставить?

Джуанита. Нет. Этот поезд ушел. Когда-нибудь я приду в себя. Я уверена, что выздоровлю. И снова стану видеть мир — прекрасный мир. Я научилась у Ричарда, как надо любить. Я должна любить. Нельзя же, чтобы он погиб ни за что.

Громкая музыка радиолы. Освещение меняется: луч высвечивает лицо Парнелла. Джуанита переступает через проход. Появляется Ричард. Они танцуют. Парнелл на них смотрит.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Два месяца спустя. Зал суда.

Зал суда чрезвычайно высок, потолок сводчатый, ослепительно-белый, цвет стен подчеркивается тусклой и чем-то зловещей позолотой. Стол судьи в центре сцены, на возвышении. По обе стороны от него поднимаются амфитеатром скамьи с белыми и черными горожанами. Присяжные, фотографы и журналисты всех стран мира; микрофоны и телевизионные камеры. Все окна распахнуты, за ними должны чувствоваться толпы людей, иногда слышатся их голоса — их рев, так же, как и пение в церкви. Она находится прямо против суда, через улицу, и ее шпиль с крестом виден на протяжении всего действия.

Каждый из свидетелей, когда его вызывают, показывается за тюлем и проигрывает одну-две сцены, прежде чем, пройдя по проходу, подняться на свидетельское место. Это место — в глубине сцены, там же, где и кафедра священника в первом и втором действиях.

Прежде чем поднимается занавес, звучит песня «Я обещал, что никому не скажу, но не мог промолчать».

Стук судейского молотка прерывает пение, и занавес поднимается.

Секретарь *(вызывает)*. Миссис Джозефина Глэдис Бриттен!

Джо разливает кофе на приходском собрании. Она передает чашки невидимым гостям.

Джо. Неужели я всю свою жизнь так и буду наливать кофе чужим людям в церковных подвалах? Неужели?.. Да! Священник Фелпс вел себя поистине благородно! **Как всегда!** Его преподобие женат уже больше двадцати лет... Не допускай подобных мыслей в твою крепость. Запомни, твоя голова — это крепость, и ты можешь не впускать в нее то, что тебя огорчает!.. Ах! Миссис Эванс, до чего же приятно вас видеть! Не пойму, как вы умудряетесь выглядеть всегда такой спокойной, такой свежей, будто вам никогда не бывает жарко! Имея столько детей! Да еще и мистера Эванса... Как вы себя чувствуете? Она чуть не каждый год рожает. Не понимаю, как она выдерживает! Глядя на мистера Эванса, кто бы мог подумать? Да, правду говорят, что о книжке по переплету не судят... Господи! Как бы я хотела иметь свой дом, и чтобы все это были мои гости и где-то среди них — мой муж! Я старею. Старею! Старая дева! Да, дева!.. Ах, мистер Арпино! Вы нашли время с нами посидеть, хоть вы и инженер. Как это мило!.. Ах! Какой он большой! И темноволосый. Похож на грека! Или на испанца! Поговаривают, будто в нем есть примесь негритянской крови. Не верю. Он просто похож на иностранца — и все. Но ему не мешает постричься. Интересно, растут ли у него такие же густые волосы на всем теле?.. Джо, помни, что твоя голова — это крепость. Да, крепость. О господи, как я устала подавать кофе в церковных подвалах. Я хочу, я хочу... А-аа... Добрый вечер, Элис! А вот и мистер Лайл Бриттен! Да, мы не часто обоих вас видим. Что вы, мистер Бриттен! Вы же этого совсем не думаете! Вы ходите сюда, чтобы повидать такое незаметное создание, как я? Нет, нет, садитесь и выпейте кофе, вам надо немного протрезвиться!

Освещение меняется.

Священник Фелпс *(слышен его голос)*. Согласна ли ты, Джозефина Глэдис Майлс, взять этого человека, Лайла Бриттена-младшего, в законные мужья? Обещаешь ли ты всю жизнь любить его и лелеять в здоровье и в болезни, пока смерть вас не разлучит?

Джо. Да! Да! Ах, Лайл, я буду самой лучшей женой на свете! Буду! Только люби меня. Прошу тебя! Погляди на меня. Ну погляди же на меня! Он меня захотел! Он захотел меня! И теперь я — миссис Джозефина Глэдис Бриттен!

Освещение снова меняется, и Джо поднимается на свидетельское место. Мы слышим плач ребенка.

Черный Город *(голоса со скамей, где сидят негры)*. Ну и ну! И это та самая белая леди, ради которой, по их словам, вы готовы рисковать своей жизнью?

Белый Город. Послушайте, да это вроде суда Линча, только наоборот! Черномазые глазеют на то, как нас собираются вешать!

Прокурор. В каком родстве вы состоите с обвиняемым?

Джо. Я его жена.

Прокурор. Прошу вас, расскажите нам о вашей первой встрече с покойным Ричардом Генри.

Белый Город. Не бойся! Говори правду.

Черный Город. Вот и пошли нас продавать!

Джо. Ну вот. Я была в магазине и сидела за прилавком. Входит этот цветной и начинает орать бог знает что. Я его не узнала, но сразу поняла, что он не из наших цветных. Он выражался ужасно, просто ужасно!

Прокурор. Он вас оскорблял? Он оскорблял вас, миссис Бриттен?

Джо. Он нес неведомо что, всякие гадости, ну... вроде... как если бы я была цветной девушкой. Так мне показалось. Вроде бы я была цветной девчонкой, которую он подобрал на углу и хотел... хотел... провести с ней ночь! Я испугалась. Я никогда не видела, чтобы цветной парень так вел себя. У него был такой вид, будто он пьяный, или сумасшедший, или нанюхался наркотиков. Я никогда не видела, чтобы пьяный человек вел себя, как он. Глаза у него закатывались, и будто внутри у него все горело... Но я старалась себя сдержать, чтобы не волновать Лайла, вы же знаете, человек он горячий. Он в это время работал в помещении за лавкой, что-то там заколачивал...

Прокурор. Продолжайте, миссис Бриттен. И что же произошло потом?

Джо. Ну так вот... этот парень хотел купить две кока-колы, на улице его ждал приятель...

Прокурор. Он привел с собой приятеля? Значит, он пришел не один? А этот второй парень тоже вошел в лавку?

Джо. Нет, тогда еще нет... Я...

Черный Город. Ну-ка давай, сука! Мы знаем, что ты скажешь. Валяй, говори.

Джо. Я... я дала ему две бутылки, а он... попытался схватить меня за руки и привлечь к себе, а я... я... он прижался ко мне, очень крепко... и... ах, он был прямо как зверь, я даже... слышала его запах! Он старался меня поцеловать, шептал всякие гадости, всякие непристойности, и тут я совсем перепугалась. Я крикнула Лайлу. Лайл прибежал... И когда парень увидел, что я не одна, он заорал тому другому парню, который был снаружи, и в лавку ворвался второй парень, оба они набросились на Лайла и сбили его с ног.

Прокурор. Почему об этом происшествии... об этом ничем не спровоцированном нападении вы не сообщили властям, миссис Бриттен?

Джо. В нашем городе и без того неспокойно.

Прокурор. В каком смысле неспокойно, миссис Бриттен?

Джо. Да с цветными! Все время приезжают с Севера агитаторы и мутят народ, прямо по ночам не спишь!

Прокурор. Значит, вы, как сознательная гражданка, всячески старались не усиливать напряженного положения в городе? Несмотря на то, что на вас так грубо напал негр с Севера, психически ненормальный и наркоман?

Джо. Да. Я не хотела подливать масла в огонь. Я заставила Лайла промолчать об этой истории. Надеялась, что все утихнет. Я знала, что отец этого парня священник и, наверно, объяснит сыну, как

нехорошо тот себя ведет. Да ведь в городе все равно тут же об этом узнали! Но как будто все цветные встали на сторону этого молодого психопата... А ведь Лайл всегда хорошо относился к цветным!

Смех на скамьях Черного Города.

Прокурор. В тот вечер, когда было совершено предполагаемое преступление или, вернее, в то утро, рано утром двадцать четвертого августа, где находились вы и ваш муж, мистер Бриттен?

Джо. Мы были дома. А на другой день узнали, что этот парень исчез.

Адвокат. Не кажется ли вам, что эта попытка изнасилования производит странное впечатление, если учесть, что ваша лавка — людное место, там непрерывно входят и выходят покупатели? К тому же она расположена на проезжей дороге, по которой снуют прохожие и ходят машины, а ваш муж, имеющий репутацию крайне несдержанного и, по вашим собственным словам, «горячего» человека, работал в это время рядом, в комнате за лавкой?

Джо. Он не знал, что Лайл там.

Адвокат. Но он знал, что там кто-то есть. Вы же сами показали, что ваш муж что-то там «заколачивал».

Джо. Ну и что же? Я говорю, что этот парень был ненормальный. Он безусловно тронутый. Или чего-нибудь нанюхался.

Черный Город. А вы когда-нибудь слышали, чтобы наркоманы пытались кого-нибудь изнасиловать?

Джо. Я же не говорила — изнасиловать!

Адвокат. Вы старались вырваться из рук мистера Генри, когда ваш муж вышел из задней комнаты, держа в руке молоток?

Джо. Нет, тогда он уже меня отпустил.

Адвокат. Таким образом, муж должен был верить вам на слово, что на вас было совершено покушение? Это вы ему сказали, что Ричард Генри пытался на вас напасть? И предлагал вам половую близость? Прошу вас ответить на эти вопросы, миссис Бриттен!

Джо. Да. Я должна... я должна была... сказать Лайлу... Я его жена.

Адвокат. И в высшей степени верная жена. Вы сообщили мужу, что Ричард Генри на вас напал, и все же попросили его ничего не предпринимать?

Джо. Да.

Адвокат. И хотя у него создалось впечатление, что его жену чуть было не изнасиловал негр, он согласился все забыть и простить и ничего не предпринимать? Он согласился не обращаться в суд и не вершить суд и расправу собственными руками?

Джо. Да.

Адвокат. Невероятно! Миссис Бриттен, вам известно, что Ричард Генри был убит между двумя и пятью часами утра в понедельник двадцать четвертого августа?

Джо. Да.

Адвокат. В ваших показаниях, данных несколько месяцев назад, вы сообщили, что ваш муж провел эту ночь в лавке. Теперь вы показываете, что он пришел около часу ночи домой и сразу же лег спать. Чем объяснить такое расхождение в показаниях?

Джо. Очень просто. Я ошиблась насчет времени. Спутала с тем, что было в другую ночь. Он столько ночей провел в этой лавке!

Судья. Свидетельница, вы свободны.

Джо покидает свидетельское место.

Секретарь *(вызывает)*. Мистер Джоэл Дэвис!

Выстрел. Папаша Джоэл стоит против Лайла.

Лайл. Зачем ты побежал туда утром и стал трепаться насчет меня и Виллы-Мей? Ты же сам приводил ее сюда и уводил отсюда, что же

на тебя утром нашло? А? Ревнуешь, старик? Зачем ты потом прибежал ко мне и передал все, что он говорил? И как он меня проклинал? Ты что, совсем спятил? Ведь мы так давно знаем друг друга. Я тебя никак не пойму. Она же не единственная девушка, которую ты мне приводил. Эй, черномазый, ты меня слышишь?

Папаша Джоэл. Я не думал, что вы его застрелите, мистер Лайл.

Лайл. Я застрелю любого черномазого, пусть только посмеет так со мной разговаривать! И это была самозащита, понял? Он сюда пришел и хотел меня убить. Понял?

Папаша Джоэл. Да. Да, сэр. Понял, мистер Лайл.

Лайл. Вот и хорошо. Попробуй, черная рожа, сказать что-нибудь не так, я и тебе башку размозжу!

Папаша Джоэл. Да, сэр, мистер Лайл.

Музыка радиолы. Папаша Джоэл поднимается на свидетельское место.

Белый Город. Вот этот всю жизнь работал, накопил денег и никогда ни в чем не был замешан, почему же они все не могут быть такими?

Черный Город. Эй, папаша Джоэл!.. Как же это ты забыл носовой платок? Смотри, как бы тебя холодной водой не обдали, еще насморк схватишь!

Папаша Джоэл. Мистер Лайл Бриттен — настоящий тиран. Это самое подходящее для него слово. Он никогда не давал дышать цветным. Уже сколько лет я пытаюсь его образумить. Говорю, оглянитесь вокруг, мистер Лайл. Разве вы не видите, что большинство белых уже по-другому смотрит на нас, цветных? Понимаете, мистер Лайл, мы не рабы, и белые готовы дать нам возможность дышать. Так почему бы и вам не признать того, до чего додумались многие из ваших? Мы же тогда превратим Юг в счастливый край для нас всех. Вот что я ему говорил и старался, чтобы он не так свирепо обращался с цветными, я же люблю свой народ! А я ближе к мистеру Лайлу, чем другие, никто, кроме меня, не посмел бы с ним спорить. Но он человек жестокий и упрямый. Он говорит: «Так жили и умирали мои отцы, и так буду жить я, пока не умру». А уж когда он упрется, тут с ним ничего не поделаешь. Я-то знаю его с самого рождения.

Белый Город. А он так хорошо к тебе относился! Вы были друзьями.

Черный Город. Ты его любил. Скажи правду, скажи правду!

Папаша Джоэл. Да, мы были друзьями. Да, я его любил,— по-своему. И он меня любил — по-своему.

Черный Город. Ты же знал, что он задумал убить этого мальчика. А если знал, разве ты не мог его удержать?

Папаша Джоэл. Ах, вы думаете, это так легко? Дело в том, что мы оба — мистер Лайл Бриттен, и я,— мы оба любим деньги. А я оказывал ему немало услуг, вот уже долгие годы. Однажды мне даже пришлось помочь ему скрыть убийство цветного — я сам был замешан в этом деле, понятно? Вы-то меня поймете.

Черный Город. Скажи, это он убил парнишку?

Папаша Джоэл. Он пришел в мое заведение в ту ночь, когда парнишка погиб. Парень был один, он стоял возле радиолы, и мы с ним болтали...

Появляется Ричард, освещенный лампой радиолы.

Если вы думаете, Ричард, что больше не собьетесь с пути, если вы надеетесь, что теперь все будет в порядке, и нашли человека, который вас любит, тогда бы я на вашем месте поскорее отсюда смылся. Я бы...

Ричард. Странное дело, папаша Джоэл! Но у меня вдруг такое ощущение, что я наконец понял, как я жил. Я могу оглянуться назад

и не чувствовать боли, как раньше. Я хочу увезти Джуаниту. Ей здесь не место. Они ее убьют, если она здесь останется!

Папаша Джоэл. А вы уже говорили об этом с Джуанитой?

Ричард. Нет. Я еще ни с кем не говорил. Я пока решил для себя. Видимо, я только принимаю такое решение. Вот почему я заговорил об этом с вами — хочу посмотреть, не будете ли вы надо мной смеяться. Как вы думаете, она будет надо мной смеяться?

Папаша Джоэл. Нет. Не будет.

Ричард. Я знаю, я теперь выдержу! Я теперь выдержу!

Папаша Джоэл. У этого парнишки была голова на плечах. Нрав бешеный, но ясная голова! Да я и не мог его винить, что он такой бешеный, мне казалось — я его понимаю.

Ричард. Папаша Джоэл, вся моя жизнь — страдание и мрак. Вся жизнь. И вот я в первый раз почувствовал, что, может, бывает и другое. Может, в ней есть что-то еще.

Папаша Джоэл. Лайл Бриттен подошел к двери...

Входит Лайл.

Он подошел к двери и говорит...

Лайл. Ну как, парень, ты готов? Вечер добрый, папаша Джоэл!

Папаша Джоэл. Вечер добрый, мистер Лайл. Как ваши делишки?

Лайл. Не могу жаловаться. Парень, ты готов?

Ричард. Нет. Не готов. Мне надо проиграть пластинку и допить стакан.

Лайл. Ты небось будешь закрывать, Джоэл?

Папаша Джоэл. Скоро закрою, мистер Лайл.

Ричард. Мне надо проиграть пластинку. *(Бросает монету, громкая музыка радиолы.)* И допить стакан.

Папаша Джоэл. Он проиграл свою пластинку. Лайл Бриттен не двинулся ни на шаг от двери. Так они стояли, глядя друг на друга. Когда пластинка была почти доиграна, мальчик подошел к бару и допил до дна свой стакан.

Ричард. Сколько я вам должен, папаша Джоэл?

Папаша Джоэл. Заплатишь завтра. Считай, что я уже закрыл свое заведение.

Ричард. Сколько я вам должен, папаша Джоэл? Я не уверен, что смогу заплатить вам завтра.

Папаша Джоэл. Дай мне два доллара.

Ричард. Вот. Спокойной ночи, папаша Джоэл. Я готов, мистер Чарли. *(Выходит.)*

Папаша Джоэл. Спокойной ночи, Ричард. Иди домой. Спокойной ночи, мистер Лайл. Мистер Лайл!

Лайл. Спокойной ночи, Джоэл. Ложись-ка ты спать, понял? *(Выходит.)*

Папаша Джоэл. Мистер Лайл! Ричард!.. Мальчика я больше не видел. Лайл его убил. Он убил его! Я это знаю так же твердо, как то, что сейчас сижу на этом стуле. Как то, что он застрелил Старика Билла, и никто никогда, никогда, никогда даже пальцем не шевельнул!

Судья. Свидетель, вы свободны.

Папаша Джоэл сходит со свидетельского места.

Секретарь *(вызывает)*. Мистер Лоренцо Шеннон!

Мы слышим долгий, звериный крик, полный одиночества и страха: это кричит Пит. Мы видим Лоренцо и Пита в тюрьме. Ночь. Издалека доносятся голоса студентов, которые стонут и поют «Я проснулся сегодня утром с мыслью о свободе»

Пит *(заикаясь)*. Лоренцо? Лоренцо... Мне снилось... Мне снилось... снилось... Будто я опять был там, во дворе, и молодцы Большого Джима Бирда нас били, били, били, а Большой Джим Бирд

смеялся. Анна-Мей Тейлор стоит на коленях, она молится и бормочет: «О господи, господи, господи, приди, помоги нам»,— а они ее бьют, бьют по голове, и я вижу, как кровь течет у нее по шее, а они тычут в нее штыками, и, ах, Лоренцо, люди бегают вокруг, кричат, стонут... Посмотришь направо и видишь — кто-то упал, посмотришь налево и видишь — еще кто-то упал, а они лягают эту женщину ногами, и я говорю: «У этой женщины будет ребенок, не надо бить ее ногами!» А они говорят: «Нет, у нее не будет ребенка» — и сшибают меня с ног, тычут штыком мне между ног да приговаривают: «И у тебя, черномазая сволочь, тоже не будет никаких детей». А потом приставляют штык к моей голове — ах! ах! — к моей голове! Лоренцо! Я ничего не вижу! Лоренцо, я умру? Лоренцо, они нас всех убьют, да? Они решили всех нас перебить...

Лоренцо. Тише. Тише. Если ты не замолчишь, они придут и опять будут нас бить.

Пит. Где Джуанита? Они схватили Джуаниту?

Лоренцо. По-моему, Джуанита на свободе. Спи, Пит. Постарайся заснуть. Я тебя разбужу, если тебе будут сниться такие сны. Я тебя поддержу.

Лоренцо поднимается на свидетельское место.

Прокурор. Вы сопровождали вашего покойного друга Ричарда Генри утром семнадцатого августа, когда он пришел в лавку, принадлежащую мистеру и миссис Лайл Бриттен?

Лоренцо. Мы туда вовсе не собирались, мы все шли, разговаривали и вдруг оказались там. И все было совсем не так, как она говорит. Он сам взял из ящика две бутылки кока-колы, подошел к двери с бутылками в руках, она даже с места не двинулась, все так же стояла за прилавком. Ричард и пальцем не дотронулся до этой высохшей мымры!

Белый Город. Схватите этого черномазого! Что этот черномазый о себе воображает!

Черный Город. Говори, Лоренцо! Не робей, парень!

Прокурор. Не хотите же вы уверить суд, будто такое побоище произошло из-за двадцати центов? Для этого должна была быть другая причина. Какова же эта причина? Вы оба были пьяны?

Лоренцо. Да ведь было еще утро! Мы не настолько богаты, чтобы пить по утрам.

Прокурор. Может быть, вы курили марихуану? Может быть, ваш друг нанюхался в этот день героина и был в возбужденном состоянии, может, ему хотелось доказать то, на что он намекал, показывая непристойные фотографии, где он снят с обнаженными белыми женщинами?

Лоренцо. Я никогда не видел никаких фотографий. Пусть белыми женщинами занимаются белые мужчины. И мы ничего не пили. А курили мы тот самый вонючий табак, на котором вы разбогатели, потому что мы собирали его для вас бесплатно и носили его на рынок для вас бесплатно. И я знаю, что в этом городе нет никакого героина, потому что никто из вас, сволочей, в нем не нуждается. Вы ведь родились жабами. А Ричард был не такой. Я бы лучше сдох, чем быть таким, как вы. Но я горжусь тем, что я такой, как Ричард. Вот и все, что я могу вам сказать, белый хозяин. И я знаю, что он никого не хотел насиловать. **Насиловать!**

Прокурор. Ваша честь, может быть, вы объясните свидетелю, что он принес присягу, находится в зале суда и что неуважение к суду — серьезное преступление?

Лоренцо. Страшнее, чем каторга? Я знаю, что я принес присягу. Если для их драки был какой-нибудь повод, то разве то, что Ричард тер-

петь не мог белых. **Он не выносил белых.** Ну как, может, хотите, чтобы я вам все рассказал про это? И вы думаете, что стерпите? Да вы мне язык отрежете прежде, чем я расскажу все, что знаю.

Адвокат. Вы студент?

Лоренцо. В свободное время. Я только что вернулся с каторги, всего несколько дней назад. Я позволил себе на автобусной станции зайти в зал ожидания для белых.

Адвокат. Что вы изучаете — в свободное время,— мистер Шеннон?

Лоренцо. Историю.

Адвокат. Известно ли вам, продолжал покойный мистер Ричард Генри, после того как он приехал сюда, в город, употреблять наркотики?

Лоренцо. Нет. Он заставил себя от них отвыкнуть. Он за это расплатился сполна. Он просто пытался жить. И ему это чуть было не удалось.

Адвокат. Вы были с ним очень близки?

Лоренцо. Да.

Адвокат. Известно ли вам, что он носил с собой непристойные фотографии, на которых был изображен с обнаженными белыми женщинами?

Лоренцо. Насколько мне известно, а я бы это знал,— нет. Если он и открывал иллюстрированный журнал, то только для того, чтобы посмотреть фото джазистов. Нет. Меня уже спрашивали насчет фотографий, которые, как они говорят, он носил при себе, и меня уже спрашивали насчет револьвера, которого я никогда не видел. Нет. Все было не так. Он был красавец, и его убили. Вот и все Вот и все.

Судья. Свидетель, вы свободны.

Лоренцо. Ну что ж, очень вам благодарен!

Лоренцо сходит со свидетельского места.

Секретарь *(вызывает)*. Мисс Джуанита Хармон!

Джуанита встает с постели, раннее воскресное утро.

Джуанита. Он лежал рядом со мной на кровати, точно камень. Тяжелый, точно камень. Словно он упал, упал с высоты и падал так долго и с такой силой, что, казалось, ушел в землю — только колено торчало. О боже! Он был совсем не такой, как я думала. Он упал, упал на меня, как жизнь и как смерть. О господи! Жизнь и смерть. Но почему все это было похоже на слезы? С тех пор как он пришел ко мне, прижался ко мне, всхлипывая и словно где-то внутри истекая кровью. О господи, его запах, прикосновение, вкус, стон боли... Ричард! Почему я не смогла тебя удержать? Удержать тебя, удержать, дать тебе новую жизнь! Заставить тебя заново родиться! Ох, Ричард... Твое дыхание... твои руки... Куда я теперь пойду, что буду делать? Ох, ох... Мама так испугалась. Испугалась, что маленькая Джуанита впервые привела к себе любимого. Наверно, для мамы бог — то же, чем был для меня Ричард. Но я хотела, чтобы мой любимый был из плоти и крови, из такой же плоти и крови, как я, я не хотела быть девой Марией. Пусть бог сидит на своих белоснежных, холодных, как лед, небесах! Но если он где-нибудь здесь, на этой страшной земле, если я когда-нибудь его увижу — я плюну ему в лицо! Прямо в божий лик! Как он смеет, как он дерзает судить живую душу! Живую душу! Мама боится, что я беременна. Мама всего боится. А вот я не боюсь. Я надеюсь, что беременна. Надеюсь! Пусть будет еще один незаконный черный ребенок. Слышите, вы, сукины дети! И я выращу моего ребенка, чтобы он стал человеком. Человеком, понимаете? О, пусть я буду беременна, пусть я буду беременна! Пусть хоть что-то останется!

Он ведь был человек! Для меня уж больше никого не осталось на свете. Неужели и с мамой было то же самое? Неужели и у нее был близкий, который исчез, как дым? И оставил ее одну влачить свое существование, как сможет. Не поэтому ли она и вышла за моего отца? Неужели когда-то все это было и с мамашей Генри? И все мы поэтому, и так скоро, становимся матерями — матерями беспомощных мужчин? Оттого, что другие мужчины гибнут. Нет. Нет. Нет. Что ж это за мир? Когда-нибудь я кончу тем, что тоже буду заботиться о каком-нибудь мужчине. Когда-нибудь, не скоро. Помоги мне делать это с любовью. Пит? Меридиан? Парнелл? Мы были им всем матерями. Как страшно быть Парнеллом. Ведь он не может дотронуться ни до чего живого. Все обагрено кровью. Все — кровосмешение. Ха-ха! Ты сходишь с ума, Джуанита! О господи, не дай мне сойти с ума! Дай мне ребенка! Дай ребенка!

Джуанита занимает свидетельское место. Одна рука у нее на перевязи.

Черный Город. Поглядите! Надо было вам ее видеть, когда она только что вышла из тюрьмы! Почему они вечно требуют, чтобы мы их любили? Почему же именно мы всегда должны любить? Потому что ты черная, мать! Все знают, что любить — это наше призвание.

Белый Город Черная шлюха! Что это у нее с рукой! Наверно, пришлось ее вывернуть. А если приглядеться, она ведь смазливая девчонка. Зачем же она так губит свою жизнь?

Прокурор. Мисс Хармон, вы показали, что были в приятельских отношениях с матерью покойного. Сколько вам было лет, когда она умерла?

Джуанита. Шестнадцать.

Прокурор. Шестнадцать! Значит, вы были старше Ричарда Генри?

Джуанита. На два года.

Прокурор. Когда умерла его мать, вы и Ричард Генри намеревались пожениться?

Джуанита. Нет. Конечно, нет.

Прокурор. Значит, вопрос о браке возник у вас только незадолго до того, как он умер?

Джуанита. Да.

Прокурор. Но после того, как Ричард Генри покинул этот город, и до его возвращения, вы, конечно, встречались с другими молодыми людьми?

Черный Город. Почему бы тебе не спросить напрямик, девушка она или нет? Зачем ты теряешь время?

Белый Город. Она, наверно, уже беременна. И не знает, кто отец. Все они такие.

Прокурор. Но когда молодой человек уехал и мать умерла, вы все, наверно, почувствовали себя очень одинокими?

Джуанита. Да, нельзя сказать, чтобы мы стали от этого счастливее.

Прокурор. Священник Генри тосковал по своей жене, вы тосковали по другу детства. Его горе и общая тревога о судьбе мальчика, наверно, вас очень сблизили?

Черный Город. Ох ты господи! К делу! Говори.

Белый Город. Вот-вот. Как насчет этого толстогубого проповедника?

Прокурор. Мисс Хармон, вы называете себя студенткой. Где вы провели последние несколько недель?

Джуанита. В тюрьме. Я была арестована за...

Прокурор Меня сейчас не интересуют причины вашего ареста. Сколько времени в общем вы провели в тюрьме?

Джуанита. Трудно сказать. Много времени.

Прокурор. Блестящая подготовка к вашей будущей деятельности. Разве не правда, мисс Хармон, что до того, как покойный Ричард Генри вернулся в этот город, вы намеревались вступить в брак с другим, так называемым студентом Питом Спиви? Неужели вы действительно надеетесь убедить суд, что вы теперь говорите о Ричарде Генри правду? Разве вы не сказали бы того же и с тем же основанием и о его отце? Или о Пите Спиви? Или о многих-многих других?

Белый Город. Все они такие. Они в этом даже не виноваты. Вот о какой свободе они мечтают.

Черный Город. Эти люди — душевнобольные! Они больные. А больным, говорят, иногда помогает небольшое кровопускание.

Джуанита. Я не могу отвечать за ваше больное воображение.

Прокурор. Что вам известно о драке, которая произошла между Ричардом Генри и Лайлом Бриттеном в лавке мистера Бриттена?

Джуанита. Я не была свидетельницей этой драки.

Прокурор. Но вы видели Ричарда Генри перед этой дракой? Он был трезв?

Джуанита. Да.

Прокурор. Вы можете в этом присягнуть?

Джуанита. Да, я могу в этом присягнуть.

Прокурор. Вы видели его и после драки? Тогда он тоже был трезв?

Джуанита. Да, он и тогда был трезв.

В зале суда видны лишь темные силуэты.

Я узнала о драке только к вечеру, когда пришла домой. И тут же побежала в дом священника Генри. Я увидела его на веранде.

Прокурор. Кого вы увидели?

Джуанита. Ричарда.

Появляется Меридиан.

Меридиан. Здравствуй, Джуанита. Не волнуйся.

Джуанита. Что там произошло? Где Ричард?

Меридиан. Сейчас все в порядке. Он спит. Нам, пожалуй, надо его отсюда отправить. Лайл — человек опасный. Ты это знаешь. *(Обнимает Джуаниту, потом отстраняется, не отнимая рук.)* Ты поедешь с ним, хорошо?

Джуанита. Меридиан... О господи!

Меридиан. Джуанита, скажи, я должен это знать... Я никогда больше ничего не буду спрашивать.

Джуанита. Да, Меридиан?...

Меридиан. До того, как он приехал... Ведь я это не выдумал, правда? Что-то между нами было... Начиналось... Мне казалось, между нами что-то может возникнуть. Я столько о тебе думал... У меня становилось необычайно хорошо на душе всякий раз, когда я тебя видел... и я начал надеяться, хотя никогда не позволял себе надеяться, столько лет не позволял себе надеяться! Я помнил, что ты намного моложе меня, я знал тебя еще ребенком. Но мне верилось, что это не имеет такого значения,— в конце концов, нам было так легко друг с другом. Ведь я этого не выдумал, нет?

Джуанита. Нет. Не выдумал, не все выдумал. Что-то было. Мы были одиноки. Ты надеялся. Я тоже надеялась, Меридиан. Из всех людей на божьей земле я бы меньше всего хотела причинить боль тебе. Лучше бы я умерла!

Меридиан. Тише, Джуанита, успокойся. Я знаю. Мне просто хотелось убедиться, что я не потерял рассудок. Я ведь так много потерял. Мне кажется, нехорошо, когда человек становится таким, как я... Очень нехорошо... я хочу сказать, что, по-моему, нехорошо, когда человек допускает себя до такого одиночества... А я ведь гордился

тем, что могу выносить это одиночество. Каждый день был для меня испытанием, проверкой, смогу ли я вынести это одиночество. А бывали дни — и часто,— когда вынести его я не мог, бродил по комнате, выл, проклинал и молился, как это бывает со всеми людьми. Я не давал обета безбрачия. Моя уверенность в себе была убита тогда, когда я сдернул одеяло, которым ее накрыли, и я увидел это маленькое личико на сломанной шее. Крови не было, только вода. Она промокла насквозь. О господи, господи. С тех пор я не мог подойти ни к одной женщине. Я все время видел ее — и во сне, и наяву — такой, какой видел в последний раз. Вот почему я дал тебе от меня уйти. В этом виноват не мой сын, в этом виноват я сам. Тем лучше для тебя. И для него. Я таил все это в душе с тех самых пор; какой страшный выбор порой приходится сделать человеку! Для того чтобы не совершить убийства, чтобы не стать чудовищем, чтобы показать пример собственному сыну. Ладно. Пусть я буду примером ему и сейчас. Поцелую тебя в лоб и пожелаю тебе счастья.

Джуанита. Меридиан. Меридиан. Неужели так будет всегда? Неужели жизнь всегда будет такой? Неужели мы должны всегда так страдать?

Меридиан. Не знаю, Джуанита. Знаю, что мы должны терпеть то, что нам суждено терпеть. Не плачь, Джуанита. Не плачь. Будем жить дальше. *(Уходит.)*

Джуанита. Через некоторое время Ричард проснулся, и я была возле него. Мы стали обсуждать, не уехать ли нам, но он заявил, что больше не хочет бежать от белых... Ни за что... Никогда! Он останется и будет вести себя, как человек, как мужчина, здесь, на этом самом месте. А я не смогла его переубедить. Я понимала его, я понимала, что он чувствует, но я ведь не хотела, чтобы он погиб! А когда я наконец уговорила его увезти меня, увезти из этого проклятого места — было слишком поздно. Лайл его убил. Лайл его убил! Он убил его, как они убивают всех наших мужчин из года в год столько лет... из поколения в поколение. Они убивают наших мужей, наших отцов, наших братьев, наших сыновей!

Судья. Свидетельница, вы свободны.

Джуанита покидает свидетельское место. Матушка Генри усаживает ее на скамью.

Суд объявляет перерыв до десяти часов утра завтрашнего дня.

Сутолока и нестройный шум в зале суда. Потом зал начинает пустеть. Репортеры бросаются к телефонным будкам, подбегают к свидетелям. То и дело вспыхивает свет. Мы слышим отрывочные сообщения журналистов на разных языках. Из церкви напротив доносится пение. Темнота.

Второй, и последний, день процесса. В зале суда теснота и волнение стали еще больше.

Секретарь *(вызывает)*. Миссис Вильгельмина Генри!

Матушка Генри идет по проходу к свидетельскому месту.

Прокурор. Вы миссис Вильгельмина Генри?

Матушка Генри. Да.

Прокурор. Миссис Генри, вы и ваш муж, пока он не умер, прожили в этом городе всю вашу жизнь, и у вас не было никаких неприятностей. Мы же всегда ладим в наших краях, не правда ли?

Матушка Генри. Ни один белый ни разу не назвал мужа мистером, пока он был жив. Ни один белый ни разу не назвал меня миссис Генри. Только сегодня. Для этого надо было, чтобы убили моего внука.

Прокурор. Миссис Генри, ваша скорбь вызывает у меня, как и у каждого белого в нашем городе, глубокое сочувствие. Но разве не прав-

да, миссис Генри, что ваш внук приехал к нам в город с пистолетом в кармане? Он носил заряженный пистолет, как видно, давно.

Матушка Генри. Не знаю, с чего вы это взяли и почему все время об этом толкуете? Никакого оружия я у него отродясь не видела.

Прокурор. Вы ведь принесли присягу, миссис Генри.

Матушка Генри. Нечего мне повторять, что я дала присягу. Я всю жизнь под присягой. Говорю вам — никакого пистолета я у него не видала!

Прокурор. Миссис Генри, вы когда-нибудь замечали, что ваш внук странно себя ведет, словно он находится под влиянием наркотика?

Матушка Генри. Нет, не замечала. С тех пор как ему вырезали гланды — мальчику было тогда шесть лет. Ему дали понюхать эфир. Но он все равно вел себя не так странно, как его мама и папа. Заснул, и все. А вот их просто трясло.

Слышна песня Ричарда.

Помню день, когда он появился на свет. Матери он нелегко достался, еле выносила, еле родила. Но вот он наконец появился — время было зимнее,— крупный, голосистый... А сынок посмотрел на его личико и говорит: «Бог дал нам сына. Бог дал нам сына. Господи, помоги мне вырастить его добрым и сильным человеком».

Судья. Свидетельница, вы свободны.

Секретарь *(вызывает)*. Его преподобие Меридиан Генри!

Затемнение. Меридиан в воскресной школе. Видны силуэты учеников, главным образом девочек-подростков.

Меридиан. А вот и пророк Соломон, сын Давидов, он смотрит на нас сквозь века и говорит о любви Христа к его церкви. *(Читает.)* «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовония мастей твоих лучше всех ароматов!»

Силуэты девочек изчезают.

Ах, если б это были слова мужчины, обращенные к женщине!

Затемнение. Меридиан поднимается на свидетельское место.

Черный Город. Интересно, запоет он теперь свою старую песню насчет «подставь другую щеку»? Его сын этой музыки не любил.

Белый Город. Вот и папаша. Хорош священник! Сам во всем виноват. Давно у нас здесь мутит воду.

Прокурор. Ваше имя Меридиан Генри?

Меридиан. Совершенно верно.

Прокурор. И вы отец покойного Ричарда Генри?

Меридиан. Да.

Прокурор. Вы священник?

Меридиан. Да, я служитель христианской церкви.

Прокурор. И вы считаете, что воспитали сына по заветам христианской церкви?

Меридиан. Старался. Но мы с сыном испытывали глубочайшие сомнения в том, живут ли сами христиане по заветам Христа. Ричард не мог понять, почему они так обращаются с черными. А я не мог ему ничего как следует объяснить.

Прокурор. Однако не могли же вы, священник, подстрекать его на то, чтобы он носил оружие?

Меридиан. Об этом у нас никогда не было речи. Он не носил оружия.

Прокурор. У него не было оружия?

Меридиан. Нет.

Прокурор. Вы никогда не видели у него револьвера? Или какого-нибудь другого оружия?

Меридиан. Нет.

Прокурор. Послушайте, Генри, вы можете дать клятву, что ваш сын никогда не носил при себе огнестрельного оружия?

Меридиан. Да. Могу дать клятву. Единственный раз, когда об этом зашел разговор, сын мне сказал, что он сильнее, чем белые, и может обойтись без оружия.

Черный Город. Интересно, как без него обойтись! Небось этого он не сказал.

Белый Город. Врешь, губастая харя! Он врет!

Прокурор. Может быть, вашему сыну потому было трудно следовать христианским заповедям, что вы, ваше преподобие, используете церковную кафедру для безответственной пропаганды социального равенства? Быть может, ошибки сына произошли из-за ошибок отца?

Меридиан. Боюсь, что вы, почтенный джентльмен, себе льстите. Я не добиваюсь равенства негров с их убийцами. Я хочу, чтобы мы стали достойны самих себя. И обрели такую свободу для себя, чтобы нам не надо было... бояться других... и не надо было убивать других.

Прокурор. Тут не церковная кафедра. Я утверждаю, что вы несете ответственность, прямую ответственность за трагическую судьбу вашего сына.

Меридиан. Вот об этом разрешите мне судить самому. Но для вас смерть моего сына — не трагедия. Для вас было бы трагедией, если бы он жил.

Прокурор. Удивительно, что, имея такого отца, сын не погиб еще раньше.

Меридиан. И удивительно, что еще жив отец!

Прокурор. Скажите, Генри, сколько лет вы были вдовцом?

Меридиан. Я овдовел почти восемь лет назад.

Прокурор. Вы ведь человек еще молодой...

Меридиан. Вы спрашиваете, сколько мне лет? Я уже не молод.

Прокурор. Но вы еще не старик. Вам нужна была большая выдержка...

Меридиан. Чтобы жить среди вас? Да.

Прокурор. Какие у вас отношения с так называемой студенткой Хармон?

Меридиан. Я ее старый друг. И надеялся стать ее свекром.

Прокурор. Вы были только друзьями?

Белый Город. Вот-вот! Заставь его признаться! Вытяни из него правду!

Черный Город. Нельзя же отнимать у человека все! Оставьте ему хоть что-нибудь!

Прокурор. После смерти жены у вас не было близости с другими женщинами?

Черный Город. Он и не прикидывался монахом, чертова жила.

Белый Город. Пусть выкладывает! Начистоту!

Меридиан. Близости с женщинами? А почему это вас интересует?

Прокурор. Ваша честь, объясните свидетелю, что показания дает он, а не я и что он должен отвечать на вопросы, которые ему задают.

Меридиан. «На вопросы, которые ему задают»! Хорошо. Что же, отвечу. Я человек. Мужчина! Я старался помочь и сыну стать человеком. Но быть человеком тут, у вас,— опасное дело. Поэтому здесь и погиб человек от ваших ружей, ваших шлангов, ваших собак, ваших судей, ваших законов, вашего безумия, вашей гордыни, вашей жестокости, вашей трусости, ваших денег, вашей каторги и ваших церквей! Неужели вы думаете, что так будет всегда? И мы будем вечно расплачиваться за ваше благополучие?

Черный Город. Говори, друг! Скажи им все! Аминь! Аминь! Аминь!

Белый Город. Он разжигает ненависть! Разжигает ненависть! Священник разжигает ненависть!

Меридиан. Да! Я в ответе за смерть сына. Я надеялся... я молился... я боролся за то, чтобы жизнь стала другой, когда он вырастет, не такой, какой она была, когда он родился. И я верил, что всякий раз, когда он взглянет на меня, он вспомнит, что это я, его отец, помог тому, что вокруг стало лучше.

Прокурор. А как насчет фотографий, которыми щеголял ваш сын? Он был сняг с нагими белыми женщинами.

Черный Город. Гад! Хотел бы я заглянуть в твой бумажник!

Белый Город. Заставьте его рассказать! Заставьте его все рассказать!

Меридиан. Фотографии? Моего сына с нагими белыми женщинами? Он мне никогда о них не говорил.

Прокурор. Вы были дружны с сыном? Больше, чем обычные отцы и дети?

Меридиан. Я не занимался опросом других отцов и детей.

Прокурор. И вы никогда не говорили с ним о женщинах?

Меридиан. Мы говорили о его матери. Она была женщина. Мы говорили о мисс Хармон. И она женщина. Но мы никогда не обсуждали порнографических открыток. Нам это было не нужно.

Прокурор. Ваше преподобие, вы доказали нам всем, что любовь к сыну у вас сильнее уважения к истине и преданности вере. Но, к счастью для истины, нам известно, что ваш сын был столь опасно невменяем, что его пришлось, для его же пользы, на время изолировать. И вот, после того, как срок тюремного заключения истек, ваш сын вернулся в наш город. Мы знаем, что он вел на Севере развратную жизнь. Он принес этот разврат и в наш город. У нас в руках неопровержимые доказательства. А вы, духовное лицо, священник, осмеливаетесь нагромождать ложь на ложь в защиту явного сутенера, наркомана и насильника. Но ваша душа настолько снедаема расовой ненавистью, что мы не можем верить ни единому вашему слову!

Меридиан. Ваше суждение обо мне и о моих взглядах меня не трогает. Я слишком давно знаю, что вы обо мне думаете. В этом чудовищном месте правды все равно не услышишь. Но я вам ее еще раз скажу. Я знаю, почему мой сын стал наркоманом. И вы никогда не поймете, сколько бы я вам это ни объяснял, в чем тут моя вина. Но я знаю и то, что мой сын не был сутенером. Для этого он слишком уважал женщин. И я знаю, что он не был насильником. Насилие — нелегкое дело, и, говоря по правде, не думаю, что предполагаемый объект насилия мог соблазнить моего сына.

Прокурор. А еще священник!

Меридиан. По-моему, я им только теперь становлюсь.

Судья. Свидетель, вы свободны.

Меридиан сходит со свидетельского места.

Секретарь. Мистер Парнелл Джеймс.

Парнелл у себя в спальне в купальном халате. Ночь.

Парнелл. Она говорит, будто я назвал ее чьим-то другим именем. Чьим же именем я ее мог назвать? А она не хочет его повторить. Господи, от этого кровь стынет в жилах и теряешь силы. Господи Иисусе, как я устал от этой унылой гимнастики, которая называется любовью, хотя любви-то в ней нет и в помине! Чье же имя я мог назвать? Надеюсь, это, по крайней мере, имя белой девушки! Хаха! Как она сразу окаменела! А я этого не почувствовал, я был слишком от нее далеко, а потом уже было поздно. Она смотрела на меня, не произнося ни слова. Ну и ну! Когда на тебя так смотрят, да

еще в такие минуты, у тебя появляется ощущение, будто ты проснулся и лежишь в постели с собственной матерью! Я попытался выяснить, чем она недовольна, бедняжка! Но что можно сказать при таких обстоятельствах? Ровно ничего. Тебя поймали с поличным. Но разве я ее не убеждал, что на меня ей нечего рассчитывать? У нас нет будущего. У меня нет будущего ни с кем. Но это неважно. Чье же имя я мог назвать? Я давно уже не был вдвоем ни с кем другим, очень давно. Она говорит, что меня нет и с ней. По-моему, она права. Я просто ею пользуюсь. Пользуюсь, как якорем, чтобы привязать себя к месту, к дому, к постели, чтобы вдруг не очутиться на другом конце города и не погубить свою репутацию. Какую репутацию? Все же знают, ей-богу, знают... А что они знают? Что тут можно знать? Что я напиваюсь и втихомолку распутничаю? Не ври, Парнелл, если бы только это... Вот почему ты ни на что не годен, когда ты напиваешься. Все выходит наружу. Все. Они видят то, что ты боишься увидеть сам. Чье же имя я мог назвать? Ричард сказал бы, что я болен черной лихорадкой. Ну да. Но он был бы неправ, этот долговязый, горластый черный сукин сын. Интересно, спит сейчас она или просто лежит, глядя на стену? Бедная девочка! Всю жизнь мне было тошно, муторно, тоскливо, я сходил с ума от этой черноты перед глазами. Вечной черноты перед глазами. Мальчишки и девчонки, мужчины и женщины, я преклонялся перед ними. А потом ненавидел себя. Ненавидел себя за то, что перед ними унижался? Ну, давай начистоту, Парнелл! Договаривай, ты, охотник до черномазых. Черные! Темнокожие мальчишки и девчонки! Как мне хотелось схватить их в охапку, затеряться в их толпе, смеющейся, пляшущей жаркой толпе. Жаркой! Да, раствориться, родиться вновь, освободиться от этой тусклой, грязно-белой оболочки! Господи. Но ты всегда их боялся. Боялся того, что видел у них в глазах. Да, конечно, они меня не любят. Но ведь и ты их не любишь! Ты болен той болезнью, которая бывает только у белых. Черной болезнью. А что значит — быть черным? Смотреть на мир из черноты? И она смеет говорить, что я ничего никому не даю! Эх, милая, если бы ты знала, что я отдал. Ах, брось, Парнелл, кому ты что-нибудь отдал? Чье же имя я назвал? Чье имя я назвал?

Затемнение. Парнелл и Лайл. Охотятся в поместье Парнелла.

Лайл. Значит, ты думаешь, что это удачная идея, да? Ты думаешь, она мне не откажет?

Парнелл. Послушай, тебе ведь придется через это пройти. Это ты собираешься просить у мисс Джозефины руку и сердце. А потом с ней жить до конца твоих дней. Осторожно, убери ружье! Я никогда еще не видел, чтобы ты так нервничал. Я сказал бы, что это хорошая мысль, будь я только уверен, что она скажет «нет». Но я думаю, она скажет «да».

Лайл. Почему ты думаешь, что она скажет мне «да»?

Парнелл. Мне кажется, ее к тебе тянет. И в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Разве ты этого за собой не знаешь?

Лайл. Нет. Когда я был мальчишкой, я иногда приходил сюда с моим папашей. Вот кто терпеть не мог твоего папашу! Мы воровали у вас дичь, ты небось этого не знал, а?

Парнелл. По-моему, знал.

Лайл. Мы стреляли вашу дичь, а сторожа твоего папаши стреляли в нас. Но мы всегда уносили то, за чем пришли. Нас им ни разу не удалось поймать.

Парнелл. Что-то ты сегодня разговорился. Нервничаешь из-за Джозефины?

Лайл. Погоди минутку. Как ты думаешь, я должен жениться на Джо?

Парнелл. Не знаю, почему вообще надо жениться. А ты хочешь жениться на Джо?

Лайл. Ну, надо же на ком-нибудь жениться... Я хочу иметь детей, а Джо — чистая девушка.

Парнелл вздыхает и делает выстрел.

Парнелл. Вот дьявол!

Лайл. Промазал! Ха-ха! Смотри. *(Прицеливается. Стреляет.)* Ха-ха!

Парнелл. Браво!

Лайл. Я знал, что попаду, будто мое имя на ней выведено! *(Уходит. Возвращается с убитой птицей.)* Гляди. Папаша здорово меня этому делу обучил. Для тебя это был спорт. А для нас — вопрос жизни.

Парнелл. По-моему, ты застрелил птенца.

Лайл. Говорю тебе, больше я так не могу. Для каждого мужчины наступает время, когда и ему хочется иметь хоть немножко покоя.

Парнелл. То есть — спокойной жизни? Благополучия?

Лайл. Ага, все равно, как ни называй. Я устал от...

Парнелл. Распутства.

Лайл. А ты откуда знаешь? Ты от него тоже устал? Вот черт! Да, я хочу детей.

Парнелл. Ну что ж, тогда женись на этой девице.

Лайл. Да она уже не такая молоденькая. Может, и для нее это последняя возможность. Но клянусь тебе, Парнелл, она, вероятно, единственная девушка в нашем городе. Единственная белая девушка. Лично я могу поручиться за то, что черных девушек здесь осталось немного.

Парнелл. Да, ты уж постарался. А дети были?

Лайл. Что-то не слыхал... Ха-ха!

Парнелл. А ты не думаешь, что Джо, может быть, неприятна вся эта болтовня насчет тебя и Старика Билла? Она ведь по-настоящему порядочная. Библиотекарша.

Лайл. Подумаешь! Такие вещи случаются у нас каждый день! Значит, думаешь, мне надо на ней жениться? Ты и в самом деле веришь, что она на это пойдет?

Парнелл. Она на это пойдет. И я очень ей это советую. Желаю тебе счастья. Назови первенца в мою честь.

Лайл. Нет, ты будешь крестным. И моим шафером. Я назову своего первенца в честь папаши, за то, что он так здорово научил меня охотиться на твоей земле — лучше, чем ты думаешь. Я дам ему в твою честь второе имя. Его будут звать: Лайл Парнелл Бриттен-младший.

Парнелл. Если она согласится.

Лайл. Ну, а если откажет — тоже горевать не будем! Мы-то знаем, куда податься в тяжелую минуту, правда, друг любезный?

Парнелл. Еще бы! Смотри! Моя?

Лайл. На что спорим?

Парнелл. На стоимость твоих обручальных колец.

Лайл. Идет. Моя? Моя!

Затемнение. Парнелл идет по проходу, занимает свидетельское место.

Белый Город. Вот он, негритянский прихвостень!

— Но ручаюсь, он-то знает всю правду насчет этого, как никто.

— Еще бы! Вечно с ними якшается!

— Обидно, когда человек предает своих!

Черный Город. Посмотрим, как будет вести себя друг.

— У них на него главная ставка — сейчас начнут потрошить!

— Я ему не верю. Никогда ему не верил!

— Почему?

— Потому что он белый, вот почему!

Прокурор. Вы были знакомы с покойным Ричардом Генри?

Парнелл. Конечно. Мы с его отцом дружим всю жизнь.

Прокурор. Близкие друзья?

Парнелл. Да. Очень близкие.

Прокурор. А каковы ваши отношения с человеком, которому предъявлено обвинение в убийстве, с мистером Лайлом Бриттеном?

Парнелл. С ним мы тоже дружим всю жизнь.

Прокурор. Тоже близкие друзья?

Парнелл. Да.

Прокурор. Такие же близкие, как с отцом покойного?

Парнелл. Пожалуй, но отношения у меня с ним совершенно другие.

Прокурор. В каком смысле другие, мистер Джеймс?

Парнелл. Ну... у нас разные темы для разговоров. И по-разному проводим время.

Прокурор. Чем же вы занимались?

Парнелл. Ну, например, охотой, и в этом роде.

Прокурор. А с его преподобием вы тоже ходите на охоту?

Парнелл. Нет, он этого не любит.

Прокурор. Он сам вам это говорил? Он вам говорил, что не любит охотиться?

Парнелл. Такой вопрос у нас даже не возникал. Мы ведь вели совершенно разную жизнь.

Прокурор. Приятно слышать! Не правда ли, мистер Джеймс, людям нельзя вместе охотиться, если у одного из них есть основания не доверять другому?

Парнелл. Вероятно, правда. Но об этом не говорят, это само собой разумеется.

Прокурор. Отсюда мы можем сделать вывод, что вы охотно доверяли свою жизнь Лайлу Бриттену, но не чувствовали такого доверия к Генри?

Парнелл. Нет, сэр, такого вывода вы сделать не можете! Я только сказал, что мы со священником Генри вели совершенно разный образ жизни!

Прокурор. Но вы ведь дружили всю жизнь. Священник Генри тоже коренной южанин, он, наверно, тоже знает и любит свой край, он купался и ловил рыбу в наших реках, выслеживал дичь в наших лесах. И все же, несмотря на вашу близость, вы ни разу не решились остаться наедине с этим Генри, когда в руках у него было ружье. Разве это не свидетельствует о том, что в вашей хваленой дружбе... чего-то недоставало?

Парнелл. Ваше предположение необоснованно и недостойно! В армии я часто оставался наедине с вооруженными неграми и не чувствовал при этом ни малейшей тревоги.

Прокурор. Когда вы сражались с общим врагом. А какое впечатление производил на вас покойный Ричард Генри?

Парнелл. Мне он нравился. Это был прямодушный, может быть, не слишком тактичный, но очень стоящий молодой человек.

Прокурор. Каково, по-вашему, было его влияние на жителей города? На свою среду? А также на белых?

Парнелл. Влияние?.. К нему относились с симпатией...

Прокурор. Это не ответ на мой вопрос.

Парнелл. Он как-то всех будоражил... В конце концов, он долго жил на Севере и отвык... от наших порядков.

Прокурор. Он привык к порядкам, принятым на Севере, где он научился носить оружие, принимать наркотики и жить с белыми женщинами!

Парнелл. Я не могу подтвердить ни одного из ваших обвинений, сэр. Я могу лишь подтвердить, что он очень нервно реагировал на расовую вражду у нас в городе и в этом смысле будоражил тех, с кем он сталкивался.

Прокурор. Разве он не подбивал местных негров взять в руки оружие?

Парнелл. Насколько мне известно — нет, сэр. Во всяком случае, они так и не взяли в руки оружие.

Прокурор. Вы можете нас в этом заверить?

Парнелл. Мои друзья не лгут.

Прокурор. Да? Тогда вам удивительно везет. Вам известно об отношении покойного Ричарда Генри к белым женщинам? Вы видели фотографии, которые он носил с собой?

Парнелл. Мы никогда с ним не говорили о женщинах. Я не видел никаких фотографий.

Прокурор. Но вы знали об их существовании?

Парнелл. В них не было ничего непристойного. Это были просто любительские снимки его нью-йоркских знакомых.

Прокурор. Там были сняты белые женщины?

Парнелл. Да.

Прокурор. Вы, мистер Джеймс, первый свидетель, подтвердивший существование этих фотографий.

Парнелл. Возможно, что другие свидетели их не видели. Мальчика сразу же предостерегли, чтобы он не рассказывал об этих фотографиях и не щеголял ими.

Прокурор. Кто его предостерег?

Парнелл. Его? Ну, хотя бы я...

Прокурор. Но вы же никогда не видели этих фотографий?

Парнелл. Я ему сказал, что не желаю их видеть и что их опасно держать при себе.

Прокурор. Значит, он показывал эти фотографии только вам?

Парнелл. По-видимому, да.

Прокурор. А что его побудило на такую откровенность с вами?

Парнелл. Бравада. Он хотел, чтобы я знал, что у него на Севере были белые друзья, и... что там ему хорошо жилось.

Прокурор. И вы ничего не сказали его отцу? Вы не сочли нужным предостеречь своего близкого друга?

Парнелл. Я уверен, что Ричард и не заикался отцу об этих фотографиях. Ему было бы стыдно. Эти женщины его недостойны.

Прокурор. Белая женщина, которая отдается цветному, недостойна называться человеком. Она сознательно оскверняет своим распутством храм духа святого. Мне теперь ясно, что подобный субъект поощрял в здешних жителях безответственность и разжигал недовольство. Не казалось ли вам, что вашей близкой дружбе со священником Генри нанесен удар, раз его сын пытался изнасиловать жену другого вашего близкого друга, Лайла Бриттена?

Парнелл. О такой попытке никто не говорил... до суда.

Прокурор. Если вы так близки с семьей Бриттена, как вы говорите, то неужели вы не знали о покушении на изнасилование? Как вы можете это объяснить?

Парнелл. Я не могу этого объяснить.

Прокурор. Вы находитесь в суде, мистер Джеймс, и мы желаем знать правду!

Белый Город. Пусть скажет правду!

Черный Город. Пусть скажет правду!

Прокурор. Разве вы можете быть близким другом Бриттенов, как вы утверждаете, и не знать об этом ужасном событии?

Парнелл. Я... я знал, что там была ссора. Все считали, что этот юнец пошел в лавку мистера Бриттена именно для того, чтобы затеять ссору. Я... я не могу объяснить, зачем он это сделал!

Прокурор. Кто вам сообщил об этой ссоре?

Парнелл. Как кто? Мистер Бриттен.

Прокурор. И он не сказал вам, что Ричард Генри пытался напасть на его жену? Помилуйте, мистер Джеймс!

Парнелл. Мы все были так расстроены. Может быть, он рассказывал не очень обстоятельно... может быть, я чего-нибудь недослышал... Лично я считал, что миссис Бриттен неверно поняла намерения Ричарда — ведь он жил на Севере и привык вести себя свободно и даже вызывающе...

Прокурор. Миссис Бриттен показала на суде, что Ричард Генри схватил ее, притянул к себе и пытался поцеловать. Разве можно неправильно истолковать такого рода поступки?

Парнелл. Да, такие поступки имеют довольно недвусмысленный характер...

Прокурор. Благодарю вас, мистер Джеймс. Это все.

Судья. Свидетель, вы свободны.

Парнелл спускается в зал.

Черный Город. Ну, что ты теперь скажешь о вашем дружке? Правда, он не бил наотмашь. Нет, действовал бережно, аккуратно. Я даже ничего не чувствовал. А ты?

— Эх, парень, ты ведь не можешь сказать, что белая леди врет, даже если ты сам белый! Ни под каким видом!

— Но как он был огорчен! До глубины души.

Белый Город. Долго же он тут мямлил!

— Ты подумай: он извивался, как угорь, только бы ничего не выдать!

— Значит, то, что она говорит,— все-таки правда!

— Надеюсь, он получил хороший урок. Сколько лет мы ему толковали!..

Секретарь *(вызывает)*. Мистер Лайл Бриттен!

Лайл в лесу.

Лайл. Интересно, какой он будет, когда вырастет? Конечно, может родиться и девочка. Пожалуй, я даже не огорчусь — просто буду стараться дальше, пока не получу мальчика, ха-ха! Да и старушка Джозефина — тоже не промах, ей-богу! Мне подвезло, что я ее подцепил. Славная женщина. А теперь моя собственная. С бабами у меня больше нет хлопот. Да, брат Лайл, жизнь у тебя пойдет совсем по-другому. Придется поднатужиться. Пожалуйста, я готов. Знаю, что делаю. Буду работать как вол, как никогда не работал, только бы моя Джо была счастлива и наши дети выросли хорошими, образованными людьми. Боже, ты ведь знаешь, я — молиться не мастер. В жизни я натворил немало плохого и, боюсь, никогда не буду ангелом. Ты это знаешь. И ты это понимаешь. Но, боже, выслушай меня сегодня и помоги мне сделать то, что мне положено. Я хочу быть таким же сильным, как мамаша с папашей, и вырастить детей так же, как они вырастили меня. Вот чего я хочу. Через несколько лет я приду сюда и буду показывать сыну эти деревья, эту реку и это небо. Его ручонка будет в моей руке, и я покажу ему белый свет. Ну разве не смешно! Его ведь еще и нет, он только зародыш в чреве у матери... Его небось и в микроскоп не увидишь! Но зачал его я, и он скоро появится на свет, с пальчиками на ручках и ножках, с глазками... Скоро он научится ходить, болтать, мне небось придется его кое-когда и шлепнуть, если он хоть в чем-

нибудь будет похож на меня! Ну разве это не замечательно? Мой сын! Ну-ка ты, поторапливайся, чтобы я мог поскорее тебя потискать и направить твои первые шаги по длинной дороге жизни!

Затемнение. Лайл с папашей Джоэлом. Лайл пьян. Играет музыка. Танцуют пары.

Лайл. А ты помнишь то время, когда здесь бывала Вилла-Мей? Что-то я все время вспоминаю те дни. Помнишь? Не девка была, огонь! Меня так и жгло, оторваться не мог! Она редко носила чулки — до сих пор вижу, как мелькают ее коричневые полные ножки! Глаз не мог отвести от ее голых ног. И знаешь, что она мне сказала? Знаешь, что она мне сказала? Она сказала, что ни один черномазый не может идти в сравнение со мной, ей-богу! Ты меня слышишь? А это ведь что-нибудь да значит, а? Стоило ей войти в комнату, и меня словно жаром обдавало. Ты меня не ревнуешь, Джоэл, ха-ха? Ты никогда с тех пор о ней ничего не слышал, правда? Конечно, не слышал. Еще бы! Ладно. Мне пора домой. Я теперь человек семейный, у меня много забот. Ага. До скорого, Джоэл. А ты не хочешь запереть свое заведение и немножко меня проводить? Нет, пожалуй, не стоит. Видишь, как они веселятся. Эх, жаль, я не могу вам теперь составить компанию! Пора.

Затемнение. Когда Лайл подходит к свидетельскому месту, свет в зале суда меркнет. Мы слышим голоса из церкви, поющие погребальную песню. Свет разгорается.

Судья. Господа присяжные, вы пришли к единодушному решению?

Старшина присяжных. Да, ваша честь.

Судья. Прошу подсудимого встать.

Лайл поднимается.

Считаете вы подсудимого Лайла Бриттена виновным или невиновным?

Старшина присяжных. Невиновным, ваша честь.

Восторженные крики Белого Города. Молчание Черного Города. Сцену заполняют репортеры, фотографы, свидетели, горожане. Лайла поздравляют и целуют. Черный Город безмолвной вереницей тянется из зала суда, не оглядываясь назад. Белый Город покидает свои места весело, торжествующе, но с какой-то опаской. Сцена постепенно пустеет, на ней остаются Лайл, Джо, матушка Генри, Меридиан, Парнелл, Джуанита и Лоренцо.

Джо. Давай поскорей уйдем. Пошли домой. Кажется, мы и так провели здесь целую вечность. Дай бог, чтобы мне больше никогда не пришлось увидеть эти стены! Пошли домой, миленький. Нам сегодня есть что отпраздновать.

Джуанита. Нам тоже пора идти... на другое торжество... Мы сегодня собираемся для общей молитвы у входа в муниципалитет.

Лоренцо. Для молитвы?

Лайл. Да, Парнелл, я висел на ниточке, но ты держался молодцом! Я знал, что ты меня не продашь!

Джо. Пошли, Лайл. Ребенок хочет есть.

Меридиан. Может, теперь он захочет сказать вам правду? Ему ведь нечего терять. Второй раз его судить не могут.

Лайл. А какой толк было судить меня теперь, в этот раз, а, ваше преподобие? Ведь эти люди знают меня и мою славную женушку всю нашу жизнь. Разве они в нас усомнятся? А вам и всем вашим следовало бы стать поумнее и найти себе более подходящее занятие, чем бегать по городу и разжигать ненависть и беспорядки. Из-за этого-то и сына вашего убили. Из-за того, что он слушал таких бешеных черномазых, как вы.

Меридиан. Вы его убили?

Лайл. Да ведь меня уже спрашивали об этом на суде, верно? И решили,

что я не убивал. Верно? Что ж, меня это устраивает, и всех белых это устраивает. И будет куда лучше, если это устроит и вас.

Парнелл. Это не ответ на вопросы. Меня это не устраивает.

Лайл. Как не ответ? Чем же не ответ? Почему это тебя не устраивает? А знаешь, когда ты был там, на свидетельском месте, ты вел себя так, будто не очень-то веришь словам моей Джо. А ты не имеешь права сомневаться в том, что она говорит. Чем ты лучше нее? Чем ты лучше нее?

Парнелл. Вот это правда. Ничем. Бог свидетель, я это понял. Первый раз в жизни. Но так как ни ты и ни я теперь уже никогда не будем такими, какими мы были раньше, и так как наша комедия уже разыграна и я не оправдал твоих ожиданий — разреши мне сказать тебе вот что! Я не сомневался в том, что говорила Джо,— я знал, что она лжет и что ты заставил ее лгать. Ты причинил ей страшное зло, а я только что причинил страшное зло тебе. Не думаю, чтобы зло, которое я совершил по отношению к Меридиану, было бы таким же ужасным. От вас, Меридиан, я не жду прощения. Я только надеюсь, что все мы страданием искупим этот ужас.

Лайл. Да что с тобой? Ты разве забыл, что ты белый? Белый! Мой папаша мне говорил, никогда не забывай, что ты белый. Подумать только, я знал тебя всю свою жизнь, а теперь мне за тебя стыдно. Мне за тебя стыдно. Убирайся туда, к своим черномазым! Я иду домой с моей дорогой Джо.

Меридиан. Что вам сказал напоследок мой сын, перед тем как вы застрелили его... как собаку?

Лайл. Как собаку? Ну и хитер же ты, черномазый!

Меридиан. Что он вам сказал напоследок? Он просил сохранить ему жизнь?

Лайл. Этот тип? Не-ет, не на такого напали! Он слишком много о себе воображал. Наверно, вообразил, что он белый. А я сделал все, что мог, все, что только мог, чтобы он не подох.

Меридиан И он отверг вашу помощь?

Лайл. А вы знаете, что этот черномазый психопат мне сказал?

Свет меняется, и теперь все, кроме Лайла, находятся в тени. Появляется Ричард, одетый так же, как в последний раз, когда мы видели его на улице, возле заведения папаши Джоэла.

Ричард. Я готов. Вот я. Вы спрашиваете, готов ли я, да? Что у вас на уме, белый человек?

Лайл. Парень, я всегда относился к вам ко всем с уважением. Не пойму, что с тобой, почему ты так себя ведешь, но тебе надо передо мной извиниться, и я пришел сюда, чтобы получить это извинение. Имей в виду, я не уйду без него.

Ричард. Я должен перед вами извиниться? Какая дикость! За что я должен перед вами извиняться?

Лайл. Благодари бога, что ты еще жив.

Ричард. И вы тоже, белый человек.

Лайл. Я хочу, чтобы ты извинился за свое поведение в моей лавке. Разве это не законное требование?

Ричард. Может, вам написать расписку в том, что я перед вами извиняюсь? У вас есть бумага?

Лайл. Смейся, смейся! Я сейчас тебя так разукрашу, что ты уже не засмеешься.

Ричард. Почему бы вам не пойти домой? И не дать мне уйти домой? Кому нужна все эта мерзость? Неужели нельзя без нее прожить?

Лайл. Парень, ты пьян?

Ричард. Нет, я не пьян. Я просто устал, устал от всей этой вражды. Что вы хотите доказать? Что я хочу доказать?

Л а й л. Я хочу сделать тебе поблажку. А ты, видно, слишком глуп, чтобы этим воспользоваться.

Р и ч а р д. Вы делаете мне поблажки уже столько лет. Я ими сыт по горло. Мне нужна только одна поблажка, а на нее вы не согласитесь.

Л а й л. Какая же поблажка тебе нужна?

Р и ч а р д. Чтобы вы пошли домой, и дали мне уйти домой. Мне так много надо сделать. Мне еще очень много надо сделать.

Л а й л. Да и я еще много чего должен сделать. И я бы хотел уйти домой.

Р и ч а р д. Тогда зачем же мы здесь стоим? Давайте пойдем. Дайте мне уйти, белый человек.

Л а й л. Мы пойдем, как только кончим наше дело.

Р и ч а р д. Оно конечно. Вы — человек, и я — человек. Давайте пойдем.

Л а й л. Ты черномазый! Ты здесь родился, неужели тебя не научили почтению к белым?

Р и ч а р д. Нет. Единственный человек, которому я оказываю почтение,— мой отец.

Л а й л. Ты передо мной извинишься?

Р и ч а р д. Нет.

Л а й л. А жить ты хочешь?

Р и ч а р д. Да.

Л а й л. Тогда ты должен знать, как себя надо вести.

Р и ч а р д. Идите домой. Идите домой.

Л а й л. Ты смотришь в дуло моего револьвера. *(Вынимает револьвер.)* Ну вот. Еще минута, и мы оба сможем пойти домой.

Р и ч а р д. Ах ты сволочь! Почему ты не можешь оставить меня в покое? Белый! Мне ничего от тебя не нужно. У тебя нет ничего, что ты можешь мне дать. Ты даже питаться не можешь как следует, потому что твои дерьмовые бабы не умеют готовить. Ты не можешь по-человечески поговорить, оттого что никто не хочет с тобой разговаривать. Ты не можешь потанцевать, потому что тебе не с кем танцевать; разве ты не знаешь, что я всю жизнь за тобой слежу? Всю жизнь! И твоих женщин я знаю, имей это в виду, лучше, чем ты!

Лайл стреляет.

Почему тебе понадобилось столько времени, чтобы меня убить?

Лайл стреляет снова.

Ладно, ладно, ладно... Стереги свою старуху, слышишь? Не подпускай ее к неграм. Ей это может понравиться... Ох! *(Падает.)* Джуанита! Отец! Мама!..

Из церкви доносится пение. Луч света падает на Л а й л а.

Л а й л. Тогда мне пришлось его убить. Я ведь белый! Никто не смеет так со мной разговаривать. Мне пришлось пойти, привезти тачку, взвалить на нее тело... мне пришлось до тачки тащить его на спине... а потом я отвез его туда, где растет густой чертополох. Я сбросил его в чертополох мордой вниз и пошел домой, к моей милой Джо.

Д ж о. Пойдем, Лайл! Нам надо скорее домой. Нам надо поскорее отнести домой маленького.

Л а й л. И я ни о чем не жалею. Имейте в виду: я ни о чем не жалею!

Д ж о. Пойдем, Лайл, пойдем! Он проголодался, мне пора его кормить.

Джо и Лайл уходят.

М а т у ш к а Г е н р и. Нам тоже пора идти, дети. Шествие уже началось.

Л о р е н ц о. На молебствие?

М е р и д и а н. Вы же знаете, что для нас все началось с Библии и с ружья. Может быть, все и кончится Библией и ружьем.

Д ж у а н и т а. Что вы сделали с его револьвером, Меридиан?

Парнелл. Он у вас, револьвер Ричарда?

Меридиан. Да. У меня в кафедре, под Библией. Как когда-то у пилигримов. *(Выходит.)*

Матушка Генри. Пойдемте, дети.

Пение. Входит Пит.

Пит *(заикаясь)*. Ты готова, Джуанита? Пошли?

Джуанита. Да.

Лоренцо. Иди сюда, Пит. Стань рядом со мной.

Они идут к дверям церкви. Пение становится громче.

Парнелл. Ну вот.

Джуанита. Ну вот.

Парнелл. Могу я пойти с тобой, Джуанита? Можно мне пойти вместе с вами?

Джуанита. Что ж, мы можем пойти по одной дороге, Парнелл. Пойдем. Выше голову! Пошли!

Уходят. Вслед за ней идет Парнелл.

Н. КУРДЮМОВ

«СВОБОДУ, И НЕМЕДЛЕННО!»

Дух Юга—это и есть дух Америки. Мне не раз это говорили, и, увы, это истинная правда. Как сказал старый негр—сельскохозяйственный рабочий из штата Миссисипи: «Все Соединенные Штаты — одна огромная плантация».

Джеймс Болдуин

Года два назад мне пришлось побывать в местах, о которых пишет Джеймс Болдуин в своей пьесе «Блюз для мистера Чарли», в частности и в штате Миссисипи, на котором справедливо стоит клеймо «заповедник расизма». Помнится, как в Нью-Йорке знакомый негр напутствовал нас:

— В Миссисипи могут быть неприятности. Расисты не любят посетителей с Севера, тем более советских людей. Негры вряд ли осмелятся с вами говорить. Нужно быть черным, чтобы понять всю глубину страданий моих братьев и сестер.

Наш знакомый оказался прав. Опасаясь расправы, негры не рискуют разговаривать с белыми. «Йес, сэр», «Ноу, сэр»,— предельно коротко отвечают они на все вопросы и спешат побыстрее удалиться. Но трудно было поговорить не только с неграми. Всячески избегали встреч с советскими журналистами и обычно словоохотливые «отцы» города Джексона — мэр, редактор местной газеты и другие. Недаром, говоря о миссисипских обычаях гостеприимства, один путешественник заметил: «Миссисипи — это, пожалуй, единственный в США штат, где в вас могут бросить бутылкой кока-колы с приятной улыбкой на лице». Мы почувствовали удушающую атмосферу, царящую там, увидели вековой страх, застывший в глазах детей. Виденное на американском Юге дает нам основание говорить, что Джеймс Болдуин в своей страстной пьесе не сгустил краски.

Грустными негритянскими песнями с характерным надрывом встретил и проводил нас штат Миссисипи, жестокая, страшная быль предстала нашим глазам. Условия, в которых существуют миллионы негров на Юге (жизнью это назвать нельзя), нужно видеть своими глазами, чтобы поверить. Словно лента диковинного фильма, проплывала перед нами страна хлопковых плантаций: серые хижины у дорог, душные, скученные и замусоренные негритянские окраины городков, кричащая бедность. И все это на фоне чудесной природы, на фоне сверкающих белизной особняков в колониальном стиле.

В Джексоне — столице штата Миссисипи — у входа в здание мэрии нам бросилась в глаза бронзовая табличка с надписью: «Джексон-холл. Построен рабами в 1846—1847 гг. Первоначальная стоимость 7 505 долларов 58 центов». Табличка напоминала не только о прошлом. Правда, рабов в юридическом смысле сегодня уже нет на Юге,

однако система рабовладельческих порядков сохранилась столь же зримо, как флаг конфедератов, развевающийся в центре города.

Расистские порядки в Миссисипи освящены законами. Незадолго до нашего приезда в штате был принят, например, закон, по которому учителям предложено с малолетства вдалбливать школьникам, что социализм — это зло, а негры — биологически низшая раса по сравнению с белыми. Если в городах Севера дискриминация часто прикрыта, в Миссисипи не стесняются. На самых видных местах Джексона всюду красуются таблички «Только для белых».

Таблички «Только для белых» пестрят и в местном Капитолии — здании законодательного органа штата, олицетворяющего «демократию и справедливость». Когда мы смотрели из галереи на развалившихся в кожаных креслах законодателей (избирать, быть избранным и писать законы — «бремя» белого человека в Миссисипи), ничто, казалось, не нарушало уверенности джентльменов в том, что так было и так будет вечно. Но это только на поверхности. Расисты предчувствовали, что близится буря — она разразилась несколькими месяцами спустя, и газеты уже били в набат, угрожая расправой борцам за гражданские права, организовавшим демонстрацию.

В университетском городке Оксфорде, когда мы ходили к расположенному в глубине тенистой аллеи дому недавно скончавшегося большого американского писателя Уильяма Фолкнера, нам рассказали о злоключениях белого студента Билла Бартона. За одну статью в местной газете об участниках «маршей свободы» он стал объектом преследований. Совет белых граждан внес его имя в черные списки «друга черномазых», а в конфиденциальном письме расистским организациям, к которому приложил руку губернатор штата Росс Барнетт, студент был охарактеризован как «очень опасный», сочувствующий преследуемой на Юге Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.

Впрочем, расистские гангстеры не останавливаются и перед физическим уничтожением борцов за гражданские права. Весь мир облетело нынешним летом зловещее известие об исчезновении в Миссисипи трех юношей — Майкла Швернера, Джеймса Чинли и Эндрю Гудмена, отправившихся в штат с призывом к неграм регистрироваться для участия в голосовании. Расисты учинили дикую расправу над негром и двумя белыми. Лишь после долгих поисков удалось обнаружить их изуродованные трупы в районе городка Филадельфии. Финал этого страшного злодеяния также известен: убийц не будут преследовать в судебном порядке, ибо, как заявили присяжные, «имеющихся у нас сведений недостаточно, чтобы установить причину или причины смерти».

Нынешний подъем негритянского движения в США американские обозреватели называют «негритянской революцией» (скорее журналистское, чем научное определение, ибо эта «революция негров» не бросает вызова основным классовым устоям американского общества). Многие обстоятельства способствовали скоплению в черных гетто «социального динамита» — рост безработицы и прогрессирующая нищета; крушение надежд на освобождение «сверху», вызванное провалом официальных мер по отмене сегрегации; и, конечно не в последнюю очередь, влияние успехов национально-освободительного движения, особенно в странах Африки и на Кубе.

Сто один год спустя после прокламации президента Линкольна об освобождении рабов расовая дискриминация и сегрегация, несмотря на многочисленные посулы и выхолощенные билли конгресса, продолжают процветать и сопровождают американского негра от колыбели до могилы. Политика сегрегации преграждает неграм на Юге путь в залы ожидания, в закусочные, в кинотеатры, в парки, на пляжи. Притом на всякую, даже малейшую, попытку негров добиться элементарной справедливости расисты, куклукскдановцы отвечают свинцовым кулаком террора.

За десять лет, прошедших со дня решения Верховного суда о запрещении сегрегации, из каждой тысячи негритянских детей едва лишь один смог переступить порог школы совместного обучения. Если ликвидация расовой сегрегации в школах будет вестись такими же темпами, не без оснований отмечала газета «Нью-Йорк уорлд телеграмм энд сан», то полная ее отмена произойдет не раньше, чем через тысячу лет.

Негры Америки не желают больше ждать милости ни тысячу, ни сто, ни десять лет. Оглядываясь на минувшее столетие после освобождения от рабства, они с горечью и отчаянием сознают, как ничтожно мало изменилась их жизнь. Конечно, негров ныне не

продают с аукционов, и рынки рабов, сохранившиеся в городах Юга, бездействуют. Но система угнетения, установленная плантаторами-рабовладельцами, сохранилась почти в полной неприкосновенности. У многих, очень многих негров, которые еще вчера уповали на благоразумие белых господ, лопнуло терпение. Взрывы бомб и вой полицейских собак окончательно развеяли их иллюзии. Да и могло ли быть иначе? Ведь даже по признанию Губерта Хэмфри в минувшем году Соединенные Штаты «установили рекорд насилия над человеческим достоинством своих граждан».

Вот почему в ходе беспримерных по масштабам негритянских выступлений на Юге и Севере по всей стране миллионы уст повторяют: «Свободу, и немедленно!»

Борьба негров наложила отпечаток на всю внутриполитическую жизнь страны. Понятно, почему многие писатели Соединенных Штатов Америки в последние годы стали в своих книгах с особой настойчивостью обращаться к этой теме. Со многими из этих книг советский читатель познакомился на страницах журнала «Иностранная литература» — назовем хотя бы «Путешествие с Чарли» Джона Стейнбека, «Дженни» и «У нас дома» Эрскина Колдуэлла, «Изюминка на солнце» Лорейн Хэнсберри, «Убить пересмешника» Харпер Ли. Подчеркнуто современная, злободневная пьеса Джеймса Болдуина «Блюз для мистера Чарли» позволяет со всей очевидностью почувствовать, какой это жгучий и взрывчатый жизненный материал. Болдуин спешит выложить людям нечто настолько горячее, раскаленное, что, кажется, и сам не может долго удержать его в руках. Он кричит, и этот яростный крик превращает его пьесу в настойчивое свидетельство — смотрите, спешите что-нибудь сделать, иначе будет поздно!

То, что мы читаем в пьесе Джеймса Болдуина, в самом деле приводит в содрогание.

...Человек, воровато оглядываясь, несет на спине другого человека; он его только что убил. В убийце нет и тени раскаяния. Он сплевывает, сбрасывает труп в канаву; кажется, если тот хоть что-нибудь чувствовал, убийца издевался бы над трупом еще и еще. Убийца — белый; убитый — негр.

Перелистаем несколько страниц; действие отходит назад, к предыстории трагедии. Молодой человек, негр, танцует со своей подругой в баре. Входит лавочник, будущий его убийца. Он доволен собой и развязен; девчонка эта приглянулась ему, и он уверен, что она не станет долго сопротивляться «белому господину»; что касается ее «черномазого», лучше бы он помалкивал...

Перед нами — американский Юг, и пьеса Болдуина говорит об отвратительном духе расовой ненависти. Эта ненависть порождена систематическим и безжалостным угнетением негров со стороны тех, кто убежден в своих будто бы само собой разумеющихся привилегиях и преимуществах перед многомиллионным негритянским населением США. События последнего времени показали всем, какой серией преступлений и бесчинств способно ответить это твердолобое высокомерие на малейшую попытку официально ограничить его «права».

Болдуин заставляет читателя (или зрителя) дать себе отчет в том, что условия гнета породили в США симптомы настоящей расовой войны, расового раскола, который углубляется, потому что терпение и вера в возможность «законного» решения почти иссякли. Долговременная слепая ненависть угнетателей наращивает ненависть угнетенных, нередко столь же слепую; они подумывают о том, как это делает герой пьесы Ричард, что «негры должны вышвырнуть всех белых».

Ричард ненавидит лавочника Лайла. Лайл — рядовой и не слишком процветающий американец, прижимистый и нечистоплотный. Его убежденность в том, что негры — не люди, нерушима. Он врос, как мелкий моллюск, среди тысячи себе подобных в старые, охраняемые «отцами» общества традиции.

А вот его противник, Ричард. Он негр, смелый и способный молодой человек. Он ненавидит угнетение и готов отдать себя целиком борьбе. Но что он под ней понимает, вернее, чувствует и быстро находит этому чувству множество обоснований, выясняется по ходу действия — это месть, беспощадная месть белым за неисчислимые страдания негритянского народа. И он мстит, как умеет,— через белых женщин, выискивая доказательства неполноценности и ущербности белых, в многочисленных стычках, которые он старается выиграть и выигрывает и т. п. Нормы и законы общества, в котором он живет, не прошли мимо него; он по-своему задет и отравлен его идеями, как был

отравлен наркотиками, живя в Нью-Йорке, откуда он возвратился в родной город. Многолетние унижения превращают его справедливый гнев в необузданную ненависть.

Жизненность этих противоречий неоспорима. Болдуин берет проблему сложно, его яркая правда обжигает, она требует ответа, обвиняя весь строй, весь уклад, прошлое и сегодняшний день американского Юга.

В основе пьесы лежит реальный факт убийства куклуксклановцами негра Эммита Тила. Толчком к написанию пьесы, как говорит автор, послужили и другие события — смерть четырех негритянских девочек в церкви Бирмингема, куда расисты бросили бомбу, гибель в прошлом году Медгара Эверса; этим жертвам расизма он и посвятил свою пьесу.

Обстоятельства гибели Медгара Эверса — активного борца за гражданские права — столь трагичны, что о них следует напомнить. Вот что говорит о последних днях Эверса его жена: «...Когда в Джексоне началась новая серия демонстраций, угрозы усилились. В тот вечер я почему-то ни на час не дала детям заснуть. Они хорошо знали шум автомобиля отца, и, когда он ночью, примерно двадцать минут первого, въехал на дорожку, ведущую к дому, они сказали: «Мама, это папа приехал», и все столпились у дверей, чтобы встретить его. Мы слышали, как автомобиль остановился и открылась дверца, а потом мы услышали выстрел. Он был очень громкий. В одно мгновение я поняла, что в Медгара стреляли... Когда я одним рывком открыла дверь, он с ключом в руках, шатаясь, шел от автомобиля к ступенькам, намереваясь войти в дом. Он упал лицом вниз. Всюду была кровь... Дети выбежали из дома, окружили меня, кричали: «Папа, встань, пожалуйста, встань».

Расистское «правосудие» осталось верным себе. Убийца Эверса Беквит отделался испугом. Не случайно еще в начале процесса газета «Нью-Йорк геральд трибюн» предсказывала: «Никогда еще за минувшее столетие белого человека в Миссисипи не приговаривали к смерти за убийство негра».

«Жизнь негра в Миссисипи,— говорил Джеймс Мередит,— ценится дешевле, чем воздух, которым он дышит». История Миссисипи, всего американского Юга — это бесконечный перечень кровавых преступлений, безнаказанных расправ расистов над невинными жертвами. Когда знакомишься с комедией суда над убийцами Медгара Эверса (пьеса Болдуина была уже к этому времени написана), ловишь себя на мысли, что автор словно перенес содержание процесса в пьесу. Настолько психологически и детально точно передал Джеймс Болдуин беспримерный цинизм и повадки расистов.

И как не понять после всего этого ненависть героев пьесы Джеймса Болдуина, день за днем, год за годом живущих в атмосфере издевательств, унижений, террора и беззакония. Но понять — не значит согласиться с надломленным, доведенным до отчаяния героем пьесы Ричардом, склонным винить в несчастьях своего народа всех белых без разбору: «Я буду вести себя с каждым белым так, будто это он виноват во всех преступлениях за всю историю человечества...»

Пьеса начинается в атмосфере жестокого расового разобщения и вражды; к концу ее вражда усиливается. В пьесе нет белых героев, которые были бы сторонниками равноправия негров. Единственный белый человек, журналист Парнелл, который как будто понимает положение негров, в решающий момент предает их. Он не в состоянии сказать суду, что его приятель детства Лайл — убийца, хотя знает об этом; в завершающей картине суда на сцене противостоят друг другу Белый Город и Черный Город; свистом, насмешками и бранью откликаются они на появление тех или иных свидетелей; все отступает на задний план перед непроницаемой враждой, и Парнеллу вместо путей поисков истины предоставляется просто выбор — в тот «город» или в этот. К чести его, он в самом конце пьесы выбирает «город черных», но уже после суда.

Здесь открывается перед нами противоречивость позиции Джеймса Болдуина — талантливого и яркого публициста и писателя,— отражающая противоречия самого негритянского движения в США. Негритянская интеллигенция США, несмотря на упорное стремление расистов загнать негра в старую «хижину дяди Тома», давно уже играет важную роль в духовной жизни Америки. Взгляды такой интеллигенции опираются на повсеместное возмущение широких слоев негритянского населения США политикой террора и попытками сохранить расовую дискриминацию, однако в этих взглядах ощуща-

ются иногда и предрассудки этой массы, условия жизни которой вызывают в ней стремление к изоляции и безоглядно-резкому национальному самоутверждению.

В пьесе Джеймса Болдуина эти настроения безусловно сказались. В ней очень правдиво и убедительно отражена сама атмосфера насилия и ненависти, в которой живет американский Юг. Однако воспроизводя насилие и неистовство, Болдуин по существу проходит мимо идеи совместной борьбы угнетенных негров и белых за социальную справедливость, лишь в самом конце намекая на возможность общих действий; определенная замкнутость дает о себе знать в самом расположении образов пьесы, расстановке акцентов, рассуждениях о «преимуществах» той или иной расы и т. д.

Может, продиктованная отчаянием позиция разделения рас, кстати сказать, пропагандируемая в США движением «черных мусульман», против которых сам Джеймс Болдуин не раз выступал в своей публицистике, способна ускорить избавление негритянского народа? Скорее, наоборот. Опыт истории убедительно показывает, что курс на противопоставление рас способен ослабить силы, борющиеся за освобождение. Проповедь расового «отгораживания» от белых может лишь оттолкнуть многих белых, выступающих в защиту негров, лишить негритянское движение естественных союзников, принести очевидный вред в обстановке, когда передовые, прогрессивные силы страны смело выступают в поддержку требований негритянского населения. Вспомним хотя бы белого почтальона из города Балтиморы Уильяма Мура, отправившегося в Миссисипи с протестом против сегрегации негров и убитого пулей в затылок на дороге в штате Алабама. Вспомним всколыхнувший всю страну грандиозный поход на Вашингтон в августе 1963 года, когда тысячи и тысячи белых рабочих присоединили свои голоса к голосам негритянского населения. Вспомним многие другие выступления передовых, прогрессивных людей Америки в защиту своих сограждан с темным цветом кожи.

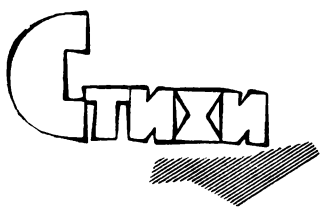
Минувшим летом тысяча добровольцев — студентов и учителей со всех концов США (многие из них были белые) отправились в Миссисипи, чтобы помочь неграм штата бороться за свободу и человеческое достоинство. Многие из них бесстрашно продолжают работу и сейчас, несмотря на аресты и бесчинства полиции, несмотря на угрозы и убийства. «Когда будет написана американская история лета 1964 года,— замечает в этой связи комментатор Ирвинг Диллард,— не съезд республиканской партии в Сан-Франциско и не съезд демократической партии в Атлантик-Сити будут самыми важными событиями этого длинного жаркого лета. Самым важным событием будет героический вклад сотен молодых американцев, которые, не щадя сил и порой рискуя жизнью, поехали в Миссисипи, открыли десятки «свободных школ» для тысяч молодых американцев, прежде не получавших никакого образования, помогли им зарегистрироваться в списках избирателей и создали у них новую уверенность в силе объединенных действий».

Таким образом, при всем стремлении автора к безоговорочной правде, в пьесе присутствует не вся правда. Америка—это, конечно, не просто страна белых и черных, это и страна Джона Брауна, страна традиций совместной борьбы за свободу и человеческие права. Было бы неправильным утверждать, что Джеймс Болдуин разделяет позицию своего героя Ричарда. Однако несомненно, что в пьесе расизм предстает вне его социальных причин, не показан как глубочайшая болезнь буржуазного общества. Это и породило очевидные недостатки этой сильной и талантливой пьесы.

Пьеса Джеймса Болдуина много может сказать нам о накале народного протеста на американском Юге. Дальнейшее развитие негритянского движения за свободу, несомненно, будет все больше и больше подводить героев Болдуина к единственно правильному выводу: для победы необходима совместная борьба негров и белых, к чему неустанно призывают прогрессивные силы Америки.

Литературное наследие

МИКЛОШ РАДНОТИ


Стихи

Гимн о мире

Ты — звездный свет! Манящая надежда,
редчайший перл, украсивший века,
все звонче я взывал, все вдохновенней,
к тебе, о мир, чья поступь так легка!

И нынче вновь воззвал бы я, но где ты?
Зима тебя расхваливает, но
вострит клинок, чтобы ударить в сердце!
Как дремлет в виноградине вино,

так ты таишься в нас и в нас томишься.
Явись, явись! О, можно ли терпеть,
когда припомнишь радостно поющих!
А мы, а мы сумеем ли запеть?

О, наконец, приди, свежее марта!
Еще мороз не уступил права,
о солнце, мать заиндевевшей чащи,
вдохни тепло в родные дерева

и нас согрей, мы тоже замерзаем,
когда зима войной обожжена,
когда душа слаба сопротивляться
и кулаку внимать принуждена.

Мы думаем о лете, о завалах
листвы, о том, что мох, как мягкий мех,
о том, что в чаще, где сладчайший запах,
с ветвей готов упасть лесной орех.

И там, на донце золотого утра,
толпа детей резвится на лугу
вокруг мяча, и скачущие кони
распластывают гривы на бегу,

как на закате вьющиеся флаги!
И ласточки нам не дают заснуть
в сарае под сухой шуршащей крышей!
Так что же? Будет мир когда-нибудь!
Жди! Жди, душа! Мужай, противоборствуй!

1938

Из цикла «Военный дневник»*

В понедельник вечером

Уже частенько страх тебе влезает в душу,
и этот мир приглушен и разъят;
воспоминанья о далеком детстве
деревья старые хранят.

Средь войн, и вещих зорь, и гибельных закатов
прошла наполовину жизнь твоя.
И общество в тебя угрюмо целит
сверкающие острия.

Во сне ты видишь край, твоих стихов пенаты,
где отзвук вольности уже почти угас,
и утром, на лугах, ее далекий запах
едва тревожит нас.

Все валится из рук, испуганно и редко
садишься у стола. Тебя заносит ил.
Перо в твоей руке все тяжелей, угрюмей —
писать им нету сил.

И синеву небес сжирают тучи жадно,
мир поворачивается к войне,
и юная жена к тебе припала в страхе
и плачет в гишине.

Во вторник вечером

Я научился спать,
с работы приходить спокойно.
Готовят для меня газ, бомбу, самолет.
Я больше не боюсь, я холоден, как лед,
живу, как на горах сурово и достойно
живут строители дорог.
Когда они лишаются жилья
и легкий дом их гибнет от обвала,
они возводят новый, а пока
спят безмятежно на душистых стружках
и рано утром освежают лица
водой из родника.

1935—1936.

* Цикл состоит из четырех стихотворений.

Испания, Испания

Два дня в Париже — дождь; едва откроешь окна,
лоснятся крыши, купола,
везде рассыпан мокрый свет,
задела туча край стола.

Над крышами стою, но словно я на дне,
чумазый дождь кропит лицо,
и сумрак прикрывает стыд,
событья, вести и дрянцо.

Соседствующий страх, шуршанье черных крыл,
безжалостный свинцовый град!
Уже не сеют и не жнут,
не собирают виноград.

И птица не поет, и солнце не горит,
и убивают сыновей.
Испания! Течет лишь кровь
потоком по земле твоей.

Но из небытия опять восстанет рать,
как дикий вихрь помчится в бой,
неисчислимые полки
подземный выплеснет забой.

Народы вновь тебя, свобода, отстоят!
Сегодня, сжавши кулаки,
сурово о твоей победе
поют в Париже бедняки.

1937.

Перевод с венгерского Д. САМОЙЛОВА

Седьмая эклога

Видишь, уже вечереет. И обитая проволокой колючей ограда
настолько выше барака, что растворяется в темноте.
А вместе с ней растворяются и границы нашего рабства,
и только разум знает о том, как проволока упруга.
Видишь, родная, здесь только фантазия может освободиться.
Распятые наши тела воскрешает прекраснейший избавитель —
сон.
И в эту пору весь концлагерь уходит домой.
Оборванные, бритые наголо пленные взлетают, храпя,
с маленьких сербских крыш к родимым местам уносятся.
Притаившийся край родной! Уцелел ли еще тот милый очаг?
Неужели бомба его не коснулась?
Неужели остался он точно таким,
каким был, когда увозили нас в лагерь?
Скажи, вот этот бедняга, который стонет, или тот,
который лежит пластом,— вернутся домой?
Скажи, существует ли родина там, где понимают этот язык?

Я пишу в полумраке стихи. Пишу, как живу.
Пишу без знаков препинания, нащупывая строчку за строчкой,
бумагу меряю подслеповато маленькими шажками гусеницы.
Фонарь и книги забрали лагерные сторожа.
И не приходит почта. И только сумрак повис над бараками.

Среди тревожных вестей, среди насекомых живут здесь в горах
француз, поляк, итальянец веселый, раскольник-серб
и еврей задумчивый.
Раздробленное лихорадкой тело, живущее все же единой
жизнью.
Ждут добрых вестей, ждут женской ласки и свободной судьбы.
Ждут чуда. Ждут, когда кончатся их страдания.
Я — пленник, животное — среди насекомых лежу на досках.
Блохи снова идут в атаку, но армия мух уже улетела.

Вечер. А это значит, что снова неволя короче на день.
И снова на день короче жизнь. Лагерь уснул.
Месяц плывет по небу. Освещает колючую проволоку.
Качаются тени вооруженных охранников,
монотонно расхаживающих в ночи.

Видишь, родная,— лагерь уснул. Над лагерем сны шуршат.
Порою кто-нибудь вскрикнет, растревоженный сном,
повернется на жестких нарах и снова уснет.
А я не сплю. И чувствую на губах горьковатый вкус сигареты
вместо вкуса твоего поцелуя.
Не приходит сон, облегчение приносящий,
ибо
без тебя я уже не могу ни умереть, ни жить.

1944, июль.

A la recherche...*

Вы становитесь светлой памятью, давние мирные вечера!
Куда ты уходишь, ослепительный стол,
увенчанный красавицами и поэтами?
Где та ночь, когда царствовал «серый монах»**,
когда пили его из сверкающих стройных стаканов?

Строки стихов плыли в свете ламп — блестящие строки.
Качались сравнения на пенистом гребне размеров.
И мертвые были живыми. И были дома
пленные и пропавшие без вести.
Друзья дорогие! Сейчас на ваших сердцах
земля Украины, Испании, Фландрии.

Были такие, кто, стиснув зубы, шагали в атаку
и боролись лишь потому, что их заставляли бороться.
А вокруг эпоха лежала в страхе

* В поисках *(франц.)*.
** Сорт вина.

под покровом промозглой ночи.
И они вспоминали родной очаг —
он был для них островом и убежищем.

Были места, куда увозили в закрытых товарных вагонах,
где безоружные оцепенело стояли на минном поле.
Были места, куда шли добровольно с оружьем в руках.
Шли без слов. Потому что знали: это их дело!
И ангел свободы теперь стережет их мечту.

А было место, где все трын-трава! Куда вы ушли, застолья?
Как быстро летели призывные повестки!
Как множились неоконченные стихи!
И прибавлялось морщин под глазами молодых и прекрасных женщин.
И девушки с походками фей
старились в безмолвные годы войны.

Где та ночь, та корчма и столик под липами?
Где они — те, кто живы еще,— угнанные на войну?
Мое сердце слышит их голоса, а рука хранит пожатье их рук.
Я очень часто твержу их стихи
в Сербии, полной стона.
И поражаюсь величием незавершенного ими.

Где та ночь? Та, которая никогда не вернется,
ибо всему, что было, смерть придает иное значенье.
Соберутся умершие у стола, будут пить из наших бокалов,
будут скрываться в улыбках женщин.
А сейчас они спят.
Спят в далеких лесах, на чужих лугах. Спят без могил.

Лагерь Хейдеман в горах у Жагубицы.
1944, август.

Перевод с венгерского Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Итак, не вынесли...

Памяти Иштвана Деши Хубера *

Итак, не вынесли ни легкие, ни сердце
забот, и тягот, и лихих годин
безумья, веры, разочарованья.
И только разум — может, он один

сумел бы вынести. Но вдруг похолодело,
остановилось сердце. Цвет и тон
застыли, холст безмолвен, кисть недвижна,
рука не размышляет над листом.

Осиротел твой мир, и наш остался темен,
в нем явственны еще твои следы.
И плачет все — добро, поэт, рабочий,
и дежский храм, и дежские сады.

* Известный венгерский художник, современник М. Радноти.

Ты, вопреки судьбе, был истинный художник.
И нам пример. Жил, веря и любя.
Пускай песок осыпался могильный —
растущий век приветствует тебя.

Тебя подъемлет ввысь, как дар морского чуда,
медлительный простой рабочий люд.
Ты знал его, а он тебя не ведал...
Но верь, тебя запомнят и поймут.

И видеть будут так, как ты научишь видеть —
пейзаж, друзей, знакомые места.
Ведь все: поля, окраина, могила,—
все призывает с твоего холста:

Будь зорок, человек, приглядывайся к миру!
Там прошлое, что в сердце мы храним,
тут — современность. В этом трудном мире
живи и думай, что ты должен сделать,
чтоб мир наш стал иным!

1944, 29 февраля.

Не знаю...

Не знаю, что другие подумают о том,
а для меня отчизна, объятая огнем,—
страна, где с колыбели вся жизнь моя прошла.
Я из нее пробился, как ветка из ствола,
и здесь мой прах, надеюсь, смешается с землей.
Здесь дома я. И если однажды предо мной
склонится куст, я знаю, как звать его. И тут
все ведомы дороги, все, кто по ним идут.
И знаю я, что значит вечернею порой,
боль стен, что истекают кирпичною тоской.
А летчик с самолета все видит, как на карте,
и разве он узнает жилище Верешмарти!
Что видит он? Казармы, заводы у дорог.
А я — жучка, корову и ладный хуторок.
Лишь фабрики и пашни он видит в окуляры.
Я вижу, как за плугом идет крестьянин старый,
и лес, и виноградник, поющий сад, и мост,
и матерей, пришедших поплакать на погост.
Я вижу эти рельсы — они объект бомбежки,
и сторожа, который стоит перед сторожкой,
его флажок, детишек, идущих по степи,
а во дворе завода — овчарку на цепи;
и тень любовной страсти в глуши густых садов,
где привкус поцелуя брусничен и медов.
Я по дороге в школу на камень наступал.
Он от плохих отметок меня оберегал.
Вон этот камень. Сверху его не отыскать.
И нет таких приборов, чтоб было все видать.

Грешили мы, грешили другие племена,
и знаем мы, какая и в чем у нас вина.
Но здесь живут поэты, работники и рядом —
невинные младенцы, в них созревает разум,
он светит нам, хранит нас, забившихся в подвал,
покуда мир в отчизне еще не воссиял.
Он скажет свежим словом, когда настанет час...
Ты, облако ночное, прикрой крылами нас!..

Перевод с венгерского Д. САМОЙЛОВА

1944.

ГАБОР ТОЛНАИ

О МИКЛОШЕ РАДНОТИ

Он родился в Будапеште в 1909 году и погиб от руки фашистов в начале ноября 1944 года в деревушке Абда, неподалеку от города Дьер на западе Венгрии.

1909—1944. Между этими датами лежит целый период истории Венгрии от австро-венгерской монархии вплоть до краха фашизма. Эти десятилетия кризисов и чудовищной жестокости предопределили творческий путь Миклоша Радноти.

В стихотворениях Радноти, естественно, едва проскальзывают воспоминания о Венгрии кануна первой мировой войны; зато в детской памяти его четко запечатлелись ужасы войны, и именно они, а не таинственный мир сказок вызывали страх ребенка. В единственном прозаическом произведении Радноти — рассказе «Месяц близнецов», воссоздающем пору детства, как страшный сон всплывает воспоминание: расстрел дезертиров перед зданием будапештского парламента. В 1919 году, когда Венгрия была объявлена Советской Республикой, Радноти было десять лет. Период формирования его сознания относится к годам хортистского контрреволюционного режима. На долю Радноти выпало трудное детство, нелегкая юность: мать его умерла во время родов; ему едва исполнилось одиннадцать лет, когда скончался его отец, и с этого времени Радноти берет на воспитание дядя.

Уже в средней школе мальчик пишет стихи, он хочет стать поэтом и мечтает о педагогической деятельности. Однако опекун готовит его к более практической карьере. После окончания средней школы Радноти посылают в Чехословакию, в Либерец, в текстильную школу, где по желанию опекуна он проводит 1927—1928 годы. Значительное влияние на него оказывает более свободная по сравнению с хортистской Венгрией атмосфера буржуазно-демократической Чехословакии, а главное — контакт с организованными рабочими текстильной фабрики, где ученики школы проходили практику. Именно в Либерце формируется характер Радноти, здесь же он начинает складываться как поэт.

Через год Радноти возвращается в Будапешт. Круг его друзей состоит в основном из творческой молодежи, все они придерживаются левых убеждений, некоторые уже в то время считают себя коммунистами, а в начале 30-х годов многие из них станут участниками нелегального коммунистического движения. Под их влиянием продолжается идейное формирование поэта.

Радноти по-прежнему мечтает стать писателем, и опекун его наконец примиряется с неизбежным. Осуществляется желание юноши: хоть и с опозданием на три года, он поступает в сегедский университет на венгерско-французское отделение. В начале того

же года выходит первая книга стихов Радноти («Приветствие язычника», 1930). В это время он пишет преимущественно пейзажные и любовные стихи, хотя в иных стихотворениях первого сборника — правда, в несколько абстрактной форме — уже слышится протест против режима Хорти.

Почти треть трагически краткой творческой жизни Радноти прошла в городе Сегед. То были годы его возмужания как человека и поэта. Жизнь Сегеда все чаще находит отражение в стихах Радноти, его лирика становится более конкретной, он приходит к смелым политическим выводам, хотя и вынужден писать в эти годы иносказательно. Этот существенный сдвиг в творчестве Радноти сказывается уже на втором сборнике стихов «Песни новомодных пастухов», вышедшем в 1931 году. Лирика Радноти еще не совершенна по форме, но в идейном отношении его стихотворения представляют собой значительный шаг вперед.

Какие же события начала 30-х годов ускорили идейный рост молодого поэта? Это прежде всего усиливающееся под влиянием экономического кризиса венгерское рабочее движение и организационное укрепление нелегальной коммунистической партии. Все остальные факты и события связаны с этими главными, вытекают из них. Многие будапештские друзья поэта участвуют в деятельности университетских коммунистических организаций, сплачиваясь вокруг молодого Ласло Райка. Кругозор Радноти расширяет и пребывание в Париже во время летних каникул, где он знакомится с венгерскими эмигрантами и деятелями французского коммунистического движения. Как раз в это время в Сегеде его друзья, объединяющиеся в так называемую группу «Сегедской молодежи», отходят от народнических взглядов и вступают в контакт с рабочим движением. «Воспитывающий коллектив», как Радноти называет в одном из своих стихотворений «Сегедскую молодежь», также оказывает значительное влияние на его поэзию.

Политическая позиция Радноти, все более четко вырисовывающаяся в его стихотворениях, не ускользает от внимания властей. Второй сборник его стихов конфискуют. Влияние коммунистической партии в этот период растет, его можно проследить во всей венгерской литературе. Соответственно повышается и бдительность властей. В это время идет процесс против книги Аттилы Йожефа «Свергни капитал», под судом оказываются и другие левые писатели и поэты.

В те годы поэзия Радноти приобретает еще большую политическую остроту. Одно за другим выходят его произведения, разоблачающие фашизм и поджигателей войны. Он пишет стихотворение на смерть одного венгерского пролетарского поэта; в другом стихотворении он скорбит о негритянском поэте, убитом куклуксклановцами; во время японской интервенции против Китая он выступает с осуждением колониальной войны. Живой, полнокровный мир проникает теперь и в его любовную лирику, в пейзажные стихи. От стихотворения к стихотворению все более оттачиваются выразительные средства поэта. Все, о чем пишет Радноти, связано с конкретными проблемами, стоявшими перед Венгрией, но горизонты его становятся шире, и он находит слова протеста против бесчеловечности на любой точке земного шара.

В третьей книге стихов («Выздоравливающий ветер», 1933) уже ощущается поэтическая зрелость Радноти. В его ранних книгах преобладали стихотворения-миниатюры; он часто использовал гротеск. Теперь миниатюры вытесняются большими стихотворениями, а гротеск сменяется патетикой, которая впоследствии станет характерной особенностью лучших произведений Радноти. Из больших стихотворений этого периода следует назвать «Песнь о негре, который ушел в город». Оно рассказывает о трагедии негра, попавшего в большой город. «Песнь о негре, который ушел в город» была написана в 1932 году. Если бы Радноти был жив теперь, это стихотворение могло бы стать началом большой героической поэмы об африканских неграх.

От первых трех поэтических сборников Радноти веет оптимизмом, бодростью, весельем. Если в двух ранних книгах жажда революционных изменений выражена неумело, то в третьем сборнике поэт уже находит для этой темы художественные средства. Книга пронизана жизнеутверждающей верой, поэт видит возможность революционных преобразований. Бодрость, оптимизм, революционный размах, столь свойственные лирике Радноти, характерны для всей прогрессивной венгерской литературы этого периода: достаточно вспомнить поэзию Аттилы Йожефа и творчество Лайоша Надя.

В это время создается блок левых писателей и художников, который объединяет и литераторов, близких к коммунистической партии, и писателей-народников, и радикальных буржуазных писателей.

29 июля 1932 года хортистский суд приговорил к смерти и казнил двух руководителей Венгерской коммунистической партии — Имре Шаллаи и Шандора Фюршта. Как и многие его товарищи, Радноти откликнулся на это убийство стихотворением. Начиная с 1933 года в поэзии Радноти слышатся уже элегические ноты, мотивы покорности судьбе. Приблизительно в это же время настроения разочарованности появляются также в творчестве других поэтов, в частности у Аттилы Йожефа. Этот перелом в настроениях поэта сказывается на всех стихотворениях сборника «Новая луна», изданного в 1935 году. Покорностью, смирением, безнадежностью полны его мысли о своей собственной судьбе, однако он продолжает неизменно верить в лучшее будущее народа. Тревожные события внутри страны и в мировой политике ни на йоту не поколебали веру Радноти в социализм.

Сборник «Новая луна» является дальнейшим этапом поэтического развития Радноти. Поэт приобретает теперь больший жизненный опыт и знание людей, он заглядывает далеко вперед. В стихотворении «В паспорт современника», написанном в 1934 году и посвященном «Сегедской молодежи, воспитывающему коллективу, моим друзьям», он выносит приговор человеческой подлости и трусости, завещая потомкам путь борьбы. Это стихотворение предвосхищает более поздние большие антифашистские произведения Радноти. С едким сарказмом поэт говорит о тех, кто капитулирует, отказывается от борьбы и за миску чечевичной похлебки становится предателем. Гневное возмущение поэта переходит в сатиру, он рисует обобщенный образ предателя, к нему обращает он свое решительное осуждение:

И если ты смиришься — проживешь;
и будешь над едой подремывать, а ночью
наедине с собой оплевывать себя.*

Но то же стихотворение достигает высокого пафоса и начинает звучать как исповедь, когда Радноти говорит о пути, который он избирает,— о пути борьбы.

Или взбунтуешься, коли терпеть не сможешь,
И без вести тогда ты пропадешь,
Забудут даже о твоей купели!
Ведь наше время всех марает, но
В иные, молодые времена
Ты воссияешь ярче всех созвездий!

Итак, подумай! Если ты восстанешь,
Грядущее тебя на щит подымет,
Со свежей верой жизнь твою откроет,
И даст отчет сынам, и передаст
Сказанье о тебе, чтобы оно взросло, как мощный ствол,
и молодой лозе опорой стало.

Последующие поэтические сборники Радноти: «Бреди, приговоренный к смерти!» (1936), «Крутая дорога» (1938) и сборник «Пенистое небо» (1946) — вехи в его дальнейшем творческом развитии. В условиях все более суровых и мрачных его поэзия достигает блестящих высот. В одной из своих статей о Радноти академик Дюла Ортутаи верно пишет: «Он считал себя поэтом-коммунистом и всю жизнь боролся против фашизма, за социализм, боролся со страстностью коммуниста. И хотя в его душе порой побеждало чувство горького, безнадежного одиночества, его убежденность коммуниста до конца оставалась источником его жизни».

С самого начала Радноти поддерживает политику Народного фронта, являющегося для него опорой в борьбе с фашизмом. Летом 1937 года Радноти снова побывал в Париже. Он живет в Париже, где у власти стоит правительство Народного фронта, во Франции, которая левой молодежи фашистской Венгрии казалась страной свободы.

---

* Здесь и далее стихи в переводе Д. Самойлова.

Впечатлениями от событий в Испании навеяно короткое, но блестящее стихотворение Радноти «Федерико Гарсиа Лорка»:

И потому, что ты Испанию любил
И что тебя влюбленные твердили,
Они, когда пришли,— что делать им?
Ты был поэтом — и *они* тебя убили.
И пыпче без тебя народ воюет зорко.
О Федерико Лорка!

В этом стихотворении снова звучит вера в будущее, в нем нет прежнего чувства одиночества. Теперь даже смерть испанского поэта не вызывает в Радноти пессимизма.

В то же лето он пишет самое прекрасное стихотворение этого периода — «Испания, Испания». Прав критик Коцкаш, который считает его одним из лучших в мировой литературе стихотворений, посвященных испанской войне: «...о свободе, о великой силе пролетарского интернационализма поэт говорит не тезисами,— пишет Коцкаш.— Венгерский поэт поднимает голос, вплетая свое слово о героической борьбе испанского народа в песню французских рабочих».

Стихотворение появляется на первой странице легального журнала коммунистической партии «Гондолат» («Мысль»). Оно вызывает широкий отклик и в Венгрии, и в кругах коммунистов, живущих в эмиграции. Парижское лето 1937 года, стойкость французских рабочих, французский Народный фронт, гражданская война в Испании надолго станут постоянными темами произведений Радноти.

■

Расцвет творчества Радноти приходится на конец 30-х годов. Усиливается гнет фашизма. Это было тяжкое время для литературы: стихотворения Радноти публикуются редко и с трудом. Но он продолжает писать и в таких условиях и создает лучшие свои произведения, которые смело можно причислить к образцам классической венгерской литературы. Он пишет больше, чем когда бы то ни было, пишет везде — на родине, в трудовых лагерях, в борских медных рудниках в Югославии (куда его сослали в 1944 году), пишет и осенью 1944 года, когда фашистские убийцы гонят на запад узников борского лагеря, пишет до последнего дня своей жизни. Он создает шедевры, обращаясь в своих стихах к будущему и отдавая прогнивший общественный строй на суд этому будущему. Его последние стихи — «Разгледницы»* — стали известны лишь после освобождения страны, когда из братской могилы, где похоронили расстрелянного поэта и его товарищей, была извлечена чудом уцелевшая записная книжка Радноти.

В 1941—1942 гг., когда растет и ширится нелегальное движение под руководством коммунистической партии, в поэзии Радноти вновь вспыхивает надежда; его лозунг — «к прежним вершинам юности»... В стихотворениях, написанных в это время, снова, как и в молодости, звучит окрепший голос поэта-революционера. Вера Радноти в социализм не угасла и в 40-е годы, несмотря на безнадежность судьбы самого поэта. Но художественные средства стали иными: под давлением цензуры все чаще приходилось прибегать к иносказательной форме. Необходимо было найти систему таких символов и аллегорий, чтобы скрытый смысл слов передавал высокие идеалы поэта, которым он остался верен до последней минуты. Разве не проникнуто революционным духом стихотворение «Веет весной», разве не звучит в последних четырех его строках взволнованный призыв?

Вопите, немые корни, орите, резкие листья,
Рычите и войте, псы. Рыбы, вспеньте волну,
Распластывай гриву, конь, реви, одичалый бык,
Рыдайте, струи ручья! Очнись, наконец, спящий!

Это стихотворение написано 11 апреля 1942 года. Оно вдохновлено крепнущим движением сопротивления, а непосредственно предшествовали ему события 15 марта 1942 года. В этот день у памятника Петёфи состоялась огромная демонстрация рабочих

* Открытки (*сербск.*).

и интеллигенции, прошедшая под знаком борьбы за свободу и независимость против фашизма. В демонстрации принял участие и Радноти.

В последний период поэт создает прекрасные антифашистские стихи, проникнутые в то же время горячей любовью к родине.

Патриотические произведения Радноти, начиная со стихотворения «Не знаю», говорят о победе социалистических идей в венгерской литературе до освобождения. Их появление так же закономерно, как и стихи последнего периода творчества Аттилы Йожефа, провозглашающие идеи Народного фронта.

Из стихов, созданных поэтом в последний год жизни, упомянем «Седьмую эклогу», написанную в фашистском концлагере в Югославии.

По поводу стихотворений «Не знаю», «Седьмая эклога» и других, проникнутых любовью к отчизне, можно сказать лишь одно — поэзия Радноти последнего периода достигла таких вершин потому, что ее вдохновляли идеи пролетарского интернационализма.

Все стихотворения этого периода дышат героическим пафосом. На протяжении всего цикла «Пенистое небо», включающего свыше 70 стихотворений, поэт взывает к разуму. Разум ведет и направляет Радноти, светом разума проникнуты все его произведения; несмотря на нависшую над ним личную трагедию, поэт был уверен в победе разума, и он боролся за эту победу.

В последних стихах Радноти перед нами глубокие драмы, острые конфликты, которые всегда разрешаются с помощью героических подвигов. Самый распространенный мотив — ощущение надвигающейся гибели, которое гнетет душу поэта. Но поэту помогает вера в будущее народа и борьба за это будущее. Радноти вводит читателя в чистый мир возвышенных страстей, доступный перу лишь немногих поэтов. В последний период жизни Радноти, который был и блестящим переводчиком, ощущал свою близость с древнегреческой литературой. Действительно, мир, отразившийся в стихах венгерского поэта, близок по духу тем греческим трагедиям, в которых герой гибнет, но живет и побеждает народ.

Д. ШЕСТАКОВ

15 МИЛЛИОНОВ ГЕРОЕВ

«Ибо то был вечер субботы — лучшая, первейшая радость недели, один из пятидесяти двух просветов в медленном вращении огромной карусели года, яростное вступление к воскресному изнеможению...» — этот настраивающий на эпический лад зачин романа «В субботу вечером и в воскресенье утром», открывшего творческий путь Алана Силлитоу, а может быть, и целое новое течение в современной английской литературе, тут же сменяется панорамой провинциальных закоулков, заброшенных пустырей, стандартных коттеджиков и не менее обыденными, чем эта панорама, картинами фабричного труда и нездорового, нервозного отдыха: с попойками, драками, странной любовной жизнью.

Все эти картины, с теми или иными вариациями, снова и снова оживут затем в книгах, пьесах и стихах многих сверстников Силлитоу. С 1958 года — после появления «В субботу вечером...» — авторы этих книг, пьес и стихов один за другим стали зачисляться английской критикой в группу новой «рабочей литературы».

Инициатором новой «рабочей литературы» в Англии часто называют и Брейна — автора романа «Путь наверх». Но это не совсем так. Герой романа Брейна, карьерист-мизантроп Джо Лэмптон, во-первых, ради «места наверху» целиком поступается своим положением трудящегося и, во-вторых, с самого начала смотрит на себя глазами того, кем он хочет стать. Жизненного успеха Лэмптон добился дорогой ценой — ценой больших моральных потерь. А потери эти заслонил для него некий гигантский вожделенный прейскурант одушевленных и неодушевленных вещей, доступных герою лишь в их денежном «осмыслении». Герои Силлитоу и близких ему писателей судят о жизни в иных категориях.

Советский читатель, хорошо знающий полнокровную традицию английской литературы о рабочих, зародившуюся более века назад, во времена чартизма, вправе удивиться: разве эта традиция где-нибудь оборвалась и для ее возобновления понадобилась новая группа писателей?

Об английском пролетарии писали в прошлом столетии Диккенс, Гаскелл, Дизраэли, Кингсли, Гиссинг, в нынешнем — Трессел, О'Кейси. К этой теме обращались многие и разные писатели — от Голсуорси до Лоуренса. В тридцатые годы начинается творческий путь Линдсея, Соммерфилда, Гиббонза и других литераторов, поставивших свой талант на службу революционному рабочему движению. В послевоенное время к ним присоединились еще Лэмберт, Смит, Коэн.

Однако несмотря на активную литературную деятельность этих и некоторых других «рабочих писателей» последнего тридцатилетия, путь в «большую», официально признанную, поощряемую критикой и издателями литературу был им заказан. Английские историки литературы от их творчества отворачивались, буржуазная критика его не замечала.

С конца пятидесятых годов дело приняло иной оборот. Романы о рабочих, написанные Силлитоу и Барстоу, Уильямсом и Стори, Барлоу и Сидом Чаплином, Фэрримондом и Лесли Стюартом, драматургия Уэскера, Делани, Копса оказались в числе самых популярных художественных произведений и в центре внимания критики.

Оглянувшись на то, что было создано этими писателями за первые несколько лет, мы убедимся, что вначале их содружество действительно напоминало литературную группу, настолько внутренне спаянную, что зачастую один мог себе позволить не писать о чем-то, потому что это уже сделал другой. Скажем, Силлитоу дает эпический зачин, вводит в литературу новый тип — этакого «сердитого» молодого рабочего, парня с умелыми и сильными руками, не очень ясной от частой пьянки и нечастых размышлений головой и беспокойной, сумрачной душой. И соратник Силлитоу, Стэн Барстоу, выступив через два года со своим первенцем — романом «Нечто вроде любви»,— углубил преимущественно морально-психологическую сторону этого уже знакомого и популярного у читателя образа, развернул подробное интимно-психологическое исследование, чтобы вернуться к более многостороннему анализу, включающему и социально-политические и философские мотивы, только в следующей книге. Основной герой и его художественная «подача» — лирический сбивчивый рассказ, жаргон, обилие бытовых подробностей — у Силлитоу и Барстоу оказались настолько похожими, что читатель воспринял новый роман нового писателя как звено в развитии единой литературной серии.

Первое, чем привлекли к себе внимание молодые писатели,— по-особому переданное ими ощущение сегодняшних будней рабочего района. Они заставили смотреть на эту жизнь новыми глазами и тех, кто знал такие будни слишком хорошо, и тех, кто был с ними совсем незнаком.

В сцены рабочей жизни, вставшие на страницах новых романов и пьес — а произведения эти были прежде всего сценами, подчиненными скорее обычным ритмам жизни, чем «ускоренным» по сравнению с ними литературно-сюжетным законам,— ворвались каскады звукописи, народная, уличная, разговорная речь, захваченная врасплох, избежавшая какой бы то ни было книжной «пастеризации».

«Антикнижность» новых произведений воспринималась так остро еще и потому, что к ней непременно примешивался «местный», «региональный» оттенок: Силлитоу писал о Ноттингеме на языке Ноттингема, Барстоу — о Йоркшире на языке Йоркшира, Уильямс и Оуэн — об Уэльсе, Делани — о Ланкашире, Уэскер и Копс — о лондонском Ист-Энде. Читатели — а там, где это были пьесы, зрители — вдруг с удивлением узнавали, что кроме того английского, на котором они говорят с детства, есть еще множество «других». Те же, кто с детства говорили как раз на одном из «других», наслаждались теперь беспримерным зрелищем — их язык стал вдруг «печатным», и совсем не на потеху, как язык Элизы Дулитл.

Всего пять-шесть лет назад в толстенном томе «Писательское мастерство в Англии» можно было наткнуться на категорические слова: «Быть у нас региональным писателем значит вовсе не иметь читателей». Однако после первых же страниц Силлитоу или Барстоу читатель немедленно ощущал живущую в каждом повороте фразы, не то что эпизода, поэзию места, какая выводит в настоящую литературу самые что ни на есть «региональные» вещи. Это открытие сегодняшней «материи» промышленной Англии было такой же счастливой литературной неожиданностью, как в свое время новое открытие французской провинции в «Старой Франции» Мартен дю Гара, юга США — у Фолкнера или деклассированного «дна» калифорнийских городишек в «Квартале Тортилья-Флэт» Стейнбека.

Двадцатилетние герои новых книг делились с читателем буквально всем, чем они владели. Для того чтобы узнать героя, тут не требовалось никаких усилий. Не важно, от первого или от третьего лица написан роман — «я» героя некуда было спрятаться в столь лирических повестях. В течение нескольких дней, недель или месяцев жизни рабочего паренька читатель не отступал от него ни на шаг, следуя за ним и на завод, и на спортивную площадку, и на свидание, и в пивную, живя его мыслями, заражаясь его чувствами.

Чтобы яснее выказать свою «независимость» от окостеневших литературных традиций («независимость», разумеется, весьма условную), «рабочие писатели» старались

максимально приблизиться к фольклорной, народной основе.

Не случайно многим отдаленно напомнил об эпических сказаниях стиль романа Силлитоу, содержащего как будто бы зарисовки частного быта рабочего Артура Ситона. Таким героическим ореолом, служащим и самооценке персонажа, герой Силлитоу окружен благодаря безыскусственным перечислениям аксессуаров быта и психологической жизни, народно-поэтическим оборотам и ритмам, акцентирующим повторяемость, обязательность и какую-то первозданность всего описанного. Рассказ об одиноком беге (во втором произведении Силлитоу) бережно укладывается автором в патриархальные ритмы народной песенки. Эффект разительный: ритмические повторы этой повести отдаются у читателя всякий раз новой болью — за мальчика, его искалеченную судьбу, нелепость его яростного бунта.

Отчего же все-таки был так единодушно тепло встречен рабочий герой новых книг? Как попал этот «мятежник» на страницы похвальных рецензий, помещенных далеко не в самой прогрессивной периодике (вслед за периодикой действительно прогрессивной)?

Здесь, хоть это и может показаться странным, важнейшая роль снова принадлежит всем известным «сердитым молодым людям». Именно по аналогии с героем Осборна, Эмиса, Уэйна, Уотерхауза, Купера, Хайнда, Мердок как новая, еще одна разновидность этого популярного типа был принят основной массой читателей рабочий, сошедший со страниц Силлитоу, Барстоу и других.

Знакомым прежде всего показался его характер — сочетание мятежности и анархии, эгоизма и беспокойства за судьбы мира, порывов отзывчивости и озлобленности.

С каждым новым эпизодом своей заурядной биографии Артур Ситон, первый герой Силлитоу, ощущает себя все более вовлеченным в отчаянную драку — за право ни от кого не зависеть. Он распален и против армейского офицера, и против собирателя налогов, и против профсоюзного босса и парламентариев. А в том, что «мятежный инстинкт», выливающийся у самого Артура только в головоломные проклятья, находит справедливое выражение в борьбе не на жизнь, а на смерть уже другого героя — кузнеца Тима «Тигра» из романа Сида Чаплина «Надзиратели и поднадзорные», и противником тут выступают не вообще ненавистные Артуру «те, наверху», а негодяй-домовладелец Финч, читатель не находит ничего удивительного: такова эволюция группы.

Своим выступлением на литературном поприще «рабочие романисты» и «рабочие драматурги» бросали вызов официальной «Британии всеобщего благосостояния» — реалии, с которой не приходилось еще вплотную иметь дело их предшественникам. В этих произведениях в новом свете предстали последствия проникновения буржуазности в рабочую среду — оборотная сторона очередного периода экономической стабилизации.

Что, как не эти последствия, толкает Артура Ситона от одной пьяной драки к другой, заставляет его отплевываться от всякой морали, «порядочности» — и раз, и другой, и третий? Больше, чем что-либо иное, его страшит опасность поступиться своим существом ради «чужеродного» благополучия, прельститься буржуазной успокоенностью — опасность, о которой говорит даже усталая спина отца, целый вечер заслоняющая от домочадцев экран новенького телевизора. Уилф Коттон, герой Барстоу, не пьянствует и не буянит, но и он «идет по жизни с неослабевающим тревожным чувством, с задней мыслью, что каким-то образом жизнь, настоящая жизнь обходит тебя стороной».

Уилф продолжает: «А следующая неделя или следующий год станут лучше, чем сегодня, только если удастся добраться до нутра всего этого и узнать, чего же тебе недостает».

Желания «добраться до нутра всего этого» — такого не было у «сердитых молодых людей». Да новые герои и поставлены куда ближе к «нутру всего этого» — если под «этим» понимать механику буржуазного общества,— чем деклассированный интеллигент Осборна и Уэйна. Для того в каждом встречном воплощалось «мировое зло» и любой мещанин представлялся одной из основ миропорядка, «столпом общества», в котором «сердитые» не находили себе ни места, ни цели. Перед Ситоном же, Тимом «Тигром» или Уилфом Коттоном с самого начала их жизненного пути и постоянно, а не по прихоти судьбы, как у «сердитых», стоят те, кого Артур, взвинченный выпивкой или жестокой хандрой, поносит последними словами,— реальные эксплуататоры их труда.

«Да наплевать мне на все!» — ревет Ситон на всех перекрестках Ноттингема. Но ему не на все наплевать. Он презирает интеллигентские «мнения», ибо в жизни для него они подкрепляются только торжеством эгоизма и зависимости одних от других. Он готов взорвать политиков, потому что те только и умеют, что время от времени обряжать таких артуров в шинели и посылать их на смерть. Он ненавидит всех боссов, потому что боссы своим присутствием на земле лишают ее «спокойствия и безопасности».

Едва ли не самым страшным бичом «сердитых» было горькое сознание того, что они паразиты в окружающем их обществе, пусть и само это общество — паразит. Социальная природа героя «рабочих писателей» не пропустила это чувство в их мироощущение. Ситон работает на заводе, и у своего станка он — хозяин. Все описание досуга рабочего у новых писателей оказалось созвучно, а быть может, и исходило из традиции Золя и его «Западни» — натурализм Золя с английскими «рационалистическими» добавлениями в развитие идей Д. Г. Лоуренса вошел как важная составная в метод «рабочих романистов». У Золя они заимствовали увлеченность «крупными планами» материи, «объективную» констатацию животной природы человека. В духе Лоуренса выдержаны всепроникающая философия пола, пристрастное исследование, поэтизация законов физического бытия человека. Между тем сцены сосредоточенного труда в сопоставлении с диким «отдыхом» о многом заставляют подумать, если не самих героев, то тех, кто о них читает.

Так, «Тигр» у Чаплина с тоской разбирается в своем положении: «Он был рабом... работал на эту махину — и наполнял свое жадное брюхо, был с женщиной — и хотел называться мужчиной, спал, как свинья,— и заспанный плелся на завод. А потом снова повторялось то же самое, и единственное, что его тревожило,— это как бы избежать тех беспокойств, которые мешают быть рабом, смущают покой...»

На это «рабство», по словам Артура Ситона у Силлитоу, героя толкнула сама жизнь: «Когда он вернулся из армии, ему предложили только одно — каждый за себя». Ту же мораль проповедует и домовладелец Тима «Тигра» — важная «спица» в колеснице, к которой Тим чувствует себя прикованным: «Зачем тебе бог? Тебе нужны деньги. Зачем гуманность? Тебе надо живот набить. Зачем цели в жизни? В жизни нужны красивые костюмы и полезные друзья... Принимай решения! Пусть твой инстинкт победит все остальное!»

Действительно ли независима их рано начавшаяся самостоятельная жизнь? — спрашивают себя новые герои. Просто «нет» — для них еще не ответ. На фабриках, заводах, в мастерских собственный труд должен рано или поздно убедить их в своей силе, весомости, значительности. Отчего же их положение не закреплено в обществе, его нравах и институтах, отчего ими могут играть, как вздумается, политики и профсоюзные говоруны, фабриканты и домовладельцы?

Большинство товарищей и родных этих героев добиваются от «тех, наверху» милостей, буржуазной «безопасности», права «содержать в порядке мир как он есть — мир собственности и наживы». (Характеристика принадлежит герою Чаплина, но это мог сказать и Артур Ситон и другие.) Такая жизнь не устраивает молодых ребят никоим образом: спокойно жить бок о бок с «крысами», да еще им подчиняться — этого от них никто не дождется.

«Крысами» обзывает своих вечных недругов — «хозяев» Артур Ситон. Крысы — ужас детства Брайна Ситона из «Ключа от двери». «Крысы» — название сборника стихотворений Силлитоу. По-английски это слово сейчас употребляется только в очень, на совесть, бранной речи. Кроме того, с ним связан традиционный образ, идущий, возможно, еще от гаммельнского Крысолова. Не только Гамлет отправлял на тот свет Полония с этим словом. В историческом романе Джека Линдсея «1649 год» герой, становящийся из крестьянина рабочим, называет «крысами» дельцов, «мешающих его союзу с мощным молотом». Для пролетария «крысы» — это его исконные классовые враги.

Однако рядом с этим символом ненависти в книгах новых романистов встают мрачные символы социального безверия, всю опасность которого мы сознаем уже при знакомстве с «живущим полной жизнью» Ситоном. Как раз ему приходит в голову образ «человека-рыбешки», которую все равно, как ни юли, кто-нибудь когда-нибудь поймает. Этот образ перешел затем в книгу Чаплина «День сардины» и слился

с жизненно важной дилеммой, которую еще не берется разрешать, но мало-помалу осознает герой-подросток. Один из его наставников восстанавливает против себя мальчика, потому что сравнивает людей с сардинками и советует герою держаться подальше от бессмысленной, обреченной массы.

«Во что же было ему верить? — говорится о герое Барстоу. — Ведь в такую прорву вещей он *не верил*. А верил-то он во что?»

«Что тут поделаешь? — вторит ему Артур Ситон.— Уловки — вот все, что осталось для тебя в этом мире. Ничего больше».

Сопоставляя новых «рабочих писателей» с теми, кто еще в тридцатые годы заложил основы современной пролетарской литературы в Англии, Марго Хейнеман пишет, что в новых книгах «в большей мере отображен жизненный опыт отдельной личности как основа мысли и действия, в них меньше наивности и во многом больше реализма». С другой стороны, критик называет героев типа Артура Ситона социально отсталыми.

Действительно, в то время как романы Соммерфилда, Гиббонза, а в наши дни Линдсея, Лэмберта, Смита построены вокруг объединяющего рабочий коллектив события (стачка, демонстрация, наконец, катастрофа на электростанции, как в «Памятном утре» Смита), перед читателем первых книг Силлитоу и других крупным планом проходит прежде всего хроника жизни отдельного английского рабочего — рядового пятнадцатимиллионной армии.

Здесь дана картина реального и во многом отсталого его существования, показанного с позиций сурового, критического реализма, и сочувствующего и осуждающего.

Не случайно через новые произведения, несмотря на то что в них изображаются рабочие, живущие в теснейшем контакте друг с другом, проходит мысль об одиночестве человека — тяжкий плод жизненной философии капитализма.

Рэймонд Уильямс в «Пограничном крае» рисует символическую картину — лабиринт почти недоступных «шкафчиков», куда прячутся друг от друга его сограждане,— такой кажется Англия герою книги. «Одинокий бегун» — назвал Силлитоу свою повесть, последовавшую за первым романом. «Мое одиночество» — называется роман Лесли Стюарта о рабочем-подростке. Свое почти непреодолимое одиночество остро ощущают и Тим «Тигр», и герои «Патриотов» Джеймса Барлоу, задумывающие страшное ограбление, чтобы утвердить себя в мире денег и эгоизма. Приученному «жить по-волчьи» Артуру Мэчину из романа Дэвида Стори «Такова спортивная жизнь» его город кажется лесом, где среди «порослей недоразвитых домишек и чахлых фабричных труб снуют эти насекомые» — люди, а спортивная раздевалка — «конюшней, переполненной потным скотом». «Джунгли» — центральный символ общества почти во всех этих произведениях.

В противовес теме одиночества и своего рода одичания современного англичанина здесь появляется «ретроспекция», взгляд в прошлое, еще не столь далекое, но уже успевшее приобрести в глазах многих наших английских современников большую и теперь, как им видится, во многом утраченную ценность.

В каждом произведении — романе, пьесе или поэме, где герой — рабочий, писатели сегодняшней Англии вспоминают о двадцатых или тридцатых годах.

Добрую половину романа Уильямса «Пограничный край», посвященного современности, составляют сцены-воспоминания о забастовке 1926 года, главном событии английского рабочего движения тех лет. Время действия пьесы Уэскера «Ячменный суп с курицей» — 1936 (антифашистская демонстрация в Лондоне) — 1956 гг. От двадцатых годов к современности ведет героя «Ключа от двери» Силлитоу. К 1936—1939 гг. относятся сюжеты двух романов Лэмберта, «Позолоти медный грош» Олмонда, «Джоби» Барстоу. Роман Апворда так и называется «В тридцатые годы». В тех книгах, где события происходят в наши дни, об этих временах так или иначе упоминается.

Если прибавить к этому, что через каждые тридцать—сорок страниц в «рабочей прозе» оживает, как правило, еще одна мемориальная тема, тема войны — в этих книгах говорится почти обо всех военных конфликтах начиная с 1914 года,— то становится ясно: в неразлучной близости с недавней историей таится определенная закономерность.

Прозаики, о которых идет у нас речь, в сознании английских читателей связываются воедино не только благодаря общей теме их творчества, но главным образом потому, что они — одного общественного происхождения (рабочего), да, кроме того, сверстники — им всем за тридцать.

И вспоминается им то, что больше всего коснулось их класса и больше другого сформировало их поколение.

Чтобы конкретнее представить себе смысл массовых экскурсов в прошлое, характерных для новых «рабочих писателей», нужно ближе знать героев, вошедших вместе с этими писателями в английскую литературу. И опять приходится напомнить: они не первыми заговорили после войны об «активном» прошлом в противовес «пассивному» настоящему. До них это сделал Джимми Портер из «Оглянись во гневе» Осборна, заявивший: «Люди нашего поколения больше не способны умирать за хорошее дело. Этим занимались в тридцатые и сороковые годы, когда мы были еще сосунками...»

Новые герои, хотя и были солидарны с этим криком души, исходившим от едва ли не самого громогласного из «сердитых молодых людей», принесли в литературу иной пафос.

Мировые войны вспоминаются героям Силлитоу, Барстоу, Барлоу, Чаплина не только потому, что они составили важную часть истории и, как ничто другое, помогли развеять иллюзии английской исключительности, но и потому, что они собирали воедино, в лагерь, в армию, людей, теперь разбредшихся по «шкафчикам». Но всего ценнее для героев воспоминания о двадцатых и тридцатых годах — поре общих рабочих побед, неоспоримого пролетарского единства.

«Сердитые молодые люди» во главе с Осборном вспоминали те годы с некоторой неприязнью, чувствуя свое полное бессилие в сравнении с героями прежних дней. В этом смысле с ними солидарен и Артур Ситон, мечтающий о том, как бы он радовался внезапному взрыву — фабрики ли, всего мира, «лишь бы и я взорвался вместе с ними». Другие герои «рабочих романистов», в том числе другие герои самого Силлитоу, думают о прошлом иначе, с тайной ностальгией и желанием следовать историческим образцам:

«Надо дать людям возможность собраться вместе... Мы утратили искусство собирать людей. А как же их еще выманить из их углов... разве только сколотить огромную процессию, огромнейшую демонстрацию, причем с настоящей целью».

Эти слова принадлежат герою Сида Чаплина. Однако он тут же встречает сопротивление отца, старшего Мейсона, который помнит не только о борьбе тех лет, но и о том, почему участники борьбы к ней охладели. В романе «Пограничный край» Уильямса (как и в пьесе «Ячменный суп с курицей» Уэскера) подробно рассматривается то, как усталость и безразличие охватили главных действующих лиц, чья судьба связывает прошлое английского рабочего с его настоящим. Тут же авторы предаются размышлениям о тех, кто остался на высоте положения, не изменив себе, благодаря особым душевным качествам.

Уильямс заставляет прошлое и настоящее беспрерывно меняться местами. Описание душевного разброда, который наблюдает вокруг себя и в самом себе наш современник, молодой историк Мэтью Прайс, перемежается в романе со сценами всеобщей забастовки 1926 года, в которой среди других участвуют старшие герои — отец Мэтью, стрелочник Гарри Прайс и его друг Россер. Путь Прайса-старшего и путь Россера символизируют для автора и для Мэтью основную дилемму трудящихся.

До забастовки и во время нее Россер показан лейбористским активистом, рабочим лидером. После поражения забастовщиков он преображается, становится мелким торговцем, потом — предпринимателем покрупнее. Гарри Прайсу чужды оба лица Россера, потому что, как ему кажется, в них обоих запечатлены дурные качества, мешающие человеку быть самим собой: честолюбие, зависимость от обстоятельств, поклонение переменчивым идеалам.

Уильямс обособляет чувство и идею, которые символизируют для него вечное и преходящее начала человеческого существования. Он противопоставляет затем город и вообще систему буржуазной цивилизации (стандартизация; жизнь, замешанная на ходячих представлениях; погоня за наживой) и провинцию (богатое человеческое содержание людей и «реальность» их отношений — единокровных, добрососедских; нестертые индивидуальности; связь с землей).

Жизнь честного труженика Гарри, лишенная романтики перемен, свободная от идейных пристрастий, кажется автору единственно независимой, цельной. Политику же, человеку, связанному с «абстрактными» социальными категориями (Россер), ничего

не стоит, по мысли Уильямса, отбросить одни идеи и направить свою энергию на осуществление совсем других.

Гарри Прайс умирает в романе не прежде, чем ему удается убедить сына в правильности своего пути. Все внутренние противоречия оставляют молодого Прайса, когда он осознает весомость «несоразмерной окружающему» личности своего отца. Смерть Гарри сопровождается очередным успехом Россера, с которым связано закрытие местной железнодорожной станции, как «неэкономичной»: «Жившее замкнутой жизнью местечко прекратило свое существование... Теперь это был просто полустанок, минутная остановка на пути куда-то еще. Придет время, и в такие вот полустанки обратится вся Англия».

Таковы социальные прогнозы, высказанные в романе. Им противостоит будущее Мэтью: в сыне Гарри автор с удовлетворением отмечает появление первых признаков той «реальной» независимости, которая позволила самому стрелочнику уверенно пройти долгий жизненный путь.

Составляя для своих героев положительную жизненную программу, «рабочие романисты» постоянно ищут подтверждения в перекличке судеб нынешнего и прошлого рабочих поколений, в противоречивом сочетании желаний, принципов, мыслей молодых и старых героев, детей и отцов. Артур Ситон возмущается буржуазностью, конформизмом своих родителей и старших товарищей, их покорностью правилам, установленным «теми, наверху». В романе Уолтера Аллена «Всё — за одну жизнь» в роли «бунтаря» выступает, напротив, старик рабочий, иронически оценивающий буржуазное преуспеяние своего сына, «сегодняшнего» бирмингемца. А прошлое старика отца, позволяющее ему быть судьей нынешнего поколения, являет собой пример той же душевной неподкупности и враждебности всякой идее, какие характерны для стрелочника в «Пограничном крае». (Сравните ставший традиционным образ английского рабочего, исполненного долготерпения и сторонящегося борьбы идей — от Стивна Блекпула из «Тяжелых времен» Диккенса до Бикета у Голсуорси. Как видите, герой дошел до наших дней!)

Несколько иную трактовку этой темы предлагает Дорис Лессинг в рассказе «Англия против Англии» из ее последнего сборника. Студент Чарли не в силах больше заниматься: наука превратилась для него в конгломерат абстракций. Он едет домой, в шахтерский городок, стремясь приблизиться к своим «корням». «Настоящая» жизнь, однако, предстает перед ним полной унизительных забот и лишений. Возвращаясь в университет и беседуя в поезде с соседями, он еще раз убеждается в том, как далека реальная Англия от гармонии, от его идеала. Провинциалы-соседи приводят Чарли в ужас, но в конце концов он как будто принимает и их — ничего более «настоящего» и родного ему ведь не предстоит нигде встретить! Школа жизненной диалектики здесь представлена полнее и непредвзятее, но исход «учения» — сродни Уильямсову: «материальная» реальность побеждает «идеальное» недовольство; чувство единокровной близости оказывается сильнее идейных несогласий. Впрочем, Чарли, как и многие другие герои «рабочей литературы»,— подросток, и школа жизни для него в разгаре.

Система взглядов, особенно ясно изложенная в книге Уильямса, по сути дела целиком отвечает традиционному представлению о романтическом мировоззрении и о «руссоизме». Примат незамутненного, «настоящего» чувства над теоретическими построениями, над идеей; преувеличенное восприятие отдельной личности и ее духовной цельности; культ природы, запечатленный у Уильямса в противопоставлении безжизненному Лондону величественной и нежной панорамы Уэльса, в духовной победе провинции над городом,— эти черты «неоромантизма» находили себе место в концепциях очень многих, если не всех, «рабочих романистов», их первых романов и их первых героев.

Сочетание романтических взглядов с натурализмом в описании действий героя и его окружения стало неотъемлемой чертой поэтики этих книг. Такое сочетание, с одной стороны, обусловило определенный стилистический «букет», позволяющий критике говорить об особой, новой группе «рабочих романистов». Эти характерные черты мы уже называли: много воспоминаний; звукопись, обостренная благодаря диалектизмам; хроникальность; обилие подробностей рабочего быта, обилие подробностей интимной жизни; тяготение к фольклорному началу; но прежде всего — характерное мировоззрение главного героя. Эти признаки, вместе взятые, с другой стороны, едва ли содержали в себе все необходимое для перспективного развития течения. Не уди-

вительно поэтому последующее размежевание членов группы, объясняемое прежде всего идейными причинами.

Одно время казалось, что круг идей «рабочих романистов» замкнулся,— так слаженно и безоговорочно поддерживали они друг друга, впрочем, так ни разу и не заявив о какой бы то ни было организационной своей солидарности.

Артур Мэчин, сперва — рабочий, потом — регбист, герой романа Стори, видит будущность индустриальной Англии в мизантропическом свете, точно соответствующем духу «Пограничного края» Уильямса: «Из нас извлекут последний стержень, и мы станем такими же, как и любой другой большой город,— социалистическими, безликими, анонимными».

Уильямс разжалует общественного деятеля Россера в торговца. Стори мир торгашей называет «социалистическим» (пусть он не знает иного толкования этого понятия, кроме лейбористского). И оба они, как и многие-многие другие английские романисты, не слишком представляют себе счастье своего современника вне идеала: «...кругом одни только сосны и на целые мили — ни одного дома» (Уотерхауз, «Билли—лжец»).

«Может быть, когда-нибудь,— мечтает герой второго романа Сида Чаплина,— он найдет талисман, который вернет его назад. Не в детство, но в те времена, когда его еще не было на свете или даже отца еще не было,— когда люди жили на земле и когда у них было время узнать друг друга. Во времена попроще, пояснее, когда было меньше людей и меньше одиночества».

Что будут делать рабочие, трудящиеся, если им удастся однажды отучиться от послушания? — спрашивает себя Артур Ситон. «Да что? Кому-нибудь будет охота поиграть в футбол, а кому съездить на рыбалку в Грэнтем-Кат...»

Природа, раскрепощенные, «настоящие» эмоции — это тот «золотой запас», который гарантирует или, по крайней мере, гарантировал до сих пор большинству упомянутых здесь писателей веру в жизнь, в возможность гармонии и счастья для человека.

По весне оттаивает у Силлитоу Артур Ситон и начинается у него настоящая любовь с Дорин. К голосу природы велят прислушаться сыновьям отцы героев Уильямса, Аллена, Сида Чаплина. Железнодорожник Гарри Прайс у Уильямса стал пчеловодом, пролетарий Мейсон-старший у Чаплина хочет заставить сына-рабочего стать частником-садоводом, а мысль о личности отца, «настоящего человека», принимающего все жизненные заботы на свои плечи «безо всякой там философии», и здесь примиряет молодого героя с жизнью. Любовь и семья — главный предмет «положительных» раздумий о жизни у героев Барстоу. В трудной и самоотверженной любви к вдове Хэммонд раскрывает свое человеческое существо регбист Дэвида Стори.

Не у одного Уильямса попытка оспорить «логикой сердца» (как говорил еще Паскаль) социальные несправедливости созвучна провозглашению реакционной общественной роли цивилизации. Сид Чаплин в «Надзирателях и поднадзорных» пишет:

«Давным-давно... людям была еще известна радость открытой улыбки, но они уже тогда начали прятать ее все глубже и глубже. Она отступала в кухню, в гостиную, за оконные занавеси, и на нее надвигались окутанные тошнотворными фабричными дымами длинные, низкие строения, надвигался мир, где все здоровые следы крестьянства были стерты, а на их месте расположились гигантские предприятия и механизированные фермы... Сначала каждый второй мужчина или женщина были друг другу чужими, потом почти все стали чужими. Потом и те немногие, чьи имена, занятия, таланты, чьи дети были вам известны, тоже рассеялись... Лица превратились в пятна, которые не запомнишь. Город разрастался вширь, человек уходил вовнутрь».

Такие мысли уже породили свои литературные утопии-анахронизмы. Старый Мейсон — садовод, Гарри Прайс — пчеловод, оба — люди, не зависящие от обстоятельств; мечта Тима «Тигра» делать на заводе только те детали, какие ему хочется; «уход» в огородничество еще одного «возмутителя спокойствия» из того же романа Чаплина, Ту Степа; наконец, герои «Иерусалима» Уэскера, променявшие фабрику на труд ремесленников не в мечтах, а на деле,— все это литературные воплощения и плоды популярности «руссоизма уикэнда». Я побоюсь назвать иначе идеал, рождающий такие картины свободного будущего — футбол да рыбалка, — какими питается воображение Артура Ситона и его приятелей.

Это, без сомнения,— эскепизм, причем

Д. ШЕСТАКОВ
15 МИЛЛИОНОВ ГЕРОЕВ

эскепизм, к сожалению, глубоко укоренившийся. При мысли о нем вспоминаются слова из «Лебединой песни» Голсуорси: «Кино, дешевые папиросы и футбольные матчи — пока они существуют, настоящей революции не будет». Это сказал Сомс Форсайт, и кто-кто, а уж он знал, как легче всего обезоружить классового противника!

Главным основанием для на редкость широкого осуществления сегодня «программы Сомса» служит неверие большинства героев новых книг в реальность (хотя «реальное», «настоящее» — самые любимые слова «рабочих писателей») *общественной* борьбы со злом.

«Я не рожден ни для сидения на Трафальгарской площади *, ни для пропаганды самоубийства нации — так что мне мало что остается делать,— это меланхолический голос Уилфа Коттона, героя Барстоу. — Мне иногда кажется, будто весь мир трясется в общем твисте. Одна только надежда — мы, может быть, продержимся на канате до тех пор, пока люди у власти не придут в себя...» Общественно организованный протест в его «традиционных» формах и Тим «Тигр» пренебрежительно связывает с деятельностью «странствующих проповедников религии или социализма».

Для большинства этих авторов, как и для других английских критических реалистов, окружающая их действительность представляет собой данность, едва ли тяготеющую к коренным переменам, и, главное, — к переменам в лучшую сторону. Уже одно это может толкнуть либо к циничному конформизму, либо, напротив, к мрачному пессимизму. Эти полярные тяготения, правда остающиеся только в тенденции, испытывают, как нам кажется, многие ведущие английские прозаики. Трезвые исследователи и критики законов битвы жизни часто склоняются к приятию хитроумного равновесия этих законов. Несправедливость творимого людьми мироустройства приводит в бесконечное отчаяние тех, кто полон к нему слепой ненависти.

Героя «рабочего романа» — главным образом героя первых книг — читатель, как правило, заставал на пороге пессимистического из этих вариантов, а затем, волею судеб и автора, ему даровалось ограниченное, но довольно прочное приятие существующей жизни — при условии, что в этой жизни будут любовь, лес, речка и близкие друзья, с которыми можно вволю «попроклинать» все остальное.

Иным английским критикам единственная заслуга новых писателей видится как раз в их старании возвратить своего героя к радостям физического существования, к слиянию с природой. Уилсон Найт, сближая эти идеи с социальным происхождением рабочих героев, восстанавливает вордсвортовскую концепцию о близости, мягко говоря, «немудреного» героя («Мальчик-идиот»,— прямо говорил в этом случае романтик-классик Вордсворт) к доцивилизованным формам общественного существования. Анализ новой «рабочей литературы» перемежается у критика с подобными восклицаниями: «Там, где жизнь менее мудра, в ней больше веры!»

Некоторые из новых романистов, культивируя романтические тенденции, мало-помалу совсем изгнали из своего творчества и из исканий своих героев классовую проблематику. Разительный пример — новые книги Стори, особенно его последний роман «Рэдклифф». Натурализм в квадрате, смакование физиологических аномалий, окруженное традиционно английской «готической» мистикой,— все это может восприниматься как насмешка над рабочим происхождением героев, которое и здесь упоминается среди первопричин конфликтов книги.

Путь Стори не стал образцом — только знаменательным предупреждением. И «руссоизм уик-энда», и анархические настроения «всеразрушения» вовсе не окончательно укрепились в сознании героя английского «рабочего романа», хотя и пустили там глубокие корни. «Спроси меня лучше завтра» — такое название дал Барстоу своей второй книге, говоря этим, что его новый герой, писатель,— выходец из рабочей среды не может еще убедительно ответить ни на один из больших вопросов жизни. И все-таки заявление о «всеобщем твисте» он кончает так: «Если отвлечься от существующего, мне кажется, исход будет благополучным. Он должен быть таким, или все на свете не имеет ровно никакого смысла».

По страницам многих упомянутых у нас произведений мелькает образ Ключа, запечатленный в названии последнего романа Силлитоу «Ключ от двери». Это Ключ, символизирующий для молодых героев-рабочих поиски верного жизненного пути, справед-

* «Сидячая» демонстрация — одна из форм выступления английской общественности против военных мероприятий правительства.

ливой философии, оправдания своей судьбы и ее предназначений. Мы уже говорили о «комплексе воспоминаний», немало интересующем «рабочих писателей». Воспоминания — тоже поиски Ключа, не случайно уводящие авторов во времена, отличные от нынешнего, полные, по их представлениям, гармонической слаженности человека и людей, индивида и коллектива, природы и общества.

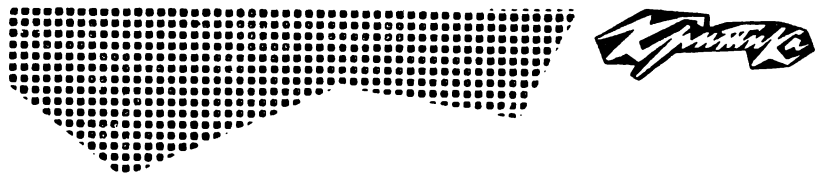
В поисках Ключа претерпевает большие изменения и сам «сердитый герой». Тим «Тигр» Сида Чаплина, как и Артур Ситон, по временам замышляет еще особого рода «революцию — чтобы уничтожить все эти понедельники, вторники, среды, четверги, пятницы, субботы и воскресенья, чтобы покончить с проклятой, проклятущей монотонностью!»

Но тот же Тим ситоновскому анархизму ищет замену в идее коллективной демонстрации протеста и сам организует такую демонстрацию — против самоуправства домовладельца. Обрисовав в «Ключе от двери» в мельчайших подробностях судьбу поколения ситонов, проверив, что называется, факты их типической биографии, пришел к новому взгляду на жизнь рабочего и привел своего героя к духовной цельности и убежденности, которых, как воздуха, недоставало его предшественникам, и Силлитоу.

Герои этих прозаиков проявили мужество в обстоятельствах, требовавших гражданского, политического самосознания — не на уровне утопий: Брайн Ситон из «Ключа от двери» освободил пленного малайца-коммуниста, герой «Надзирателей и поднадзорных» Тим «Тигр» вступился за ущемленную честь лондонцев с не таким, как у него, цветом кожи, а потом организовал демонстрацию неплательщиков.

Свои поступки герои Силлитоу и Чаплина совершили наперекор тому, что воспитывалось в них обществом, наперекор «борьбе инстинктов», наперекор «руссоизму уикэнда». Поступив так, они заметно приблизились к политически развитым героям Линдсея, к героям «Людского поля» Смита, объединившимся в борьбе против произвола фабрикантов, к героям-коммунистам Лэмберта — словом, к тем рабочим героям, чья личность торжествует в коллективе и в его общественно необходимых подвигах.

Итак, определилась роль новых писателей в формировании литературы о рабочем. К ним пришел успех. Какое место займут они в английской прозе? Это покажет будущее.



ХАНС ШЕРФИГ

НАШ ДРУГ ХАНС КИРК

В тот июньский вечер 1963 года мне сообщили: умер Ханс Кирк. Это был теплый, светлый вечер. Ветви деревьев и кустов, дрожа, шелестели на ветру. Несколько недель назад Кирк взял у меня кустики дрока для своего сада. Сейчас дрок в цвету.

В ту весну в саду Кирка кипела работа. Кирк сам руководил этой работой, наблюдая за ней из постели сквозь раскрытую дверь, выходящую в сад. К тому времени он уже совсем потерял голос и все распоряжения отдавал шепотом. Он говорил, что больше никогда уже не сможет выйти за садовую ограду. Он хотел, чтобы в его саду принялись новые растения, чтобы в нем буйно расцвела жизнь. Он знал, что скоро умрет, и спокойно говорил о своей смерти. Это был очень мужественный человек. Все гонения судьбы он неизменно встречал с тем спокойным достоинством, которое столь характерно для ютландских крестьян — его предков. Он ждал, что мой дрок напомнит ему родную Ютландию. Сейчас дрок в цвету.

И еще я вспоминаю тот день в Тикёбе, во время войны. Это был жаркий, солнечный день. Я стоял у развилки дороги, беседуя с местным учителем. Мимо проехал автомобиль и замедлил ход. Мы поглядели ему вслед — машины, заправленные настоящим бензином, редко встречались по тем временам. Не немцы ли едут? Немного поодаль машина остановилась, кто-то опустил оконное стекло и замахал рукой, подзывая меня. Подойдя к автомобилю, я увидел в нем бородатого человека, окруженного стражей — датскими полицейскими. «Меня везут в тюрьму «Вестре фенгсель»,— сказал мне Кирк.

Как видно, полицейские еще не совсем разучились понимать человеческие чувства: они позволили нам наспех перебросится несколькими словами. После этого автомобиль поехал дальше — в Копенгаген. Так автор «Рыбаков», «Поденщиков», «Новых времен» под конвоем соотечественников был доставлен из лагеря Хорсерёд в тюрьму «Вестре фенгсель».

По воле датского правительства Ханс Кирк провел полгода в одиночной камере. С первых же дней пребывания Кирка в лагере Хорсерёд его невзлюбил «знаменитый» инспектор Бентсен... Характеристика, данная им писателю Хансу Кирку, должна быть сохранена для потомства. В письме к министру юстиции Бентсен писал: «...вследствие занятой им позиции Кирк превратился в источник беспокойства и волнений... Не приходится сомневаться в том, что благодаря своему поведению он приобрел крайне нежелательное влияние на других заключенных, вследствие чего было бы целесообразно удалить его отсюда, пока он не успел спровоцировать еще большие волнения».

Ханс Кирк был брошен в одиночную камеру на неопределенный срок, а ничтожный и убогий Альфред Клаудиус Бентсен тем самым навсегда завоевал себе место в истории литературы. Если же кому-нибудь вздумалось бы полюбопытствовать, что произошло с этим Бентсеном после 1945 года, то мы можем пояснить, что с ним вообще ничего не произошло. Подобно многим своим западногерманским коллегам

он благополучно пережил Освобождение. И сейчас, когда пишутся эти строки, Альфред Клаудиус Бентсен занимает высокий пост в датском тюремном ведомстве.

Рядом с инспектором Бентсеном займет свое место в истории литературы также и министр юстиции Тюне Якобсен — благодаря письмам, которые в те дни посылал ему Кирк. Письма эти обязательно надо издать. Это маленькие стилистические шедевры, в кратчайшей и убедительной форме свидетельствующие об уме и чувстве собственного достоинства, о мужестве и упорстве Кирка, о его остроумии и твердости духа.

Вот одно из этих писем:

«22.2.1942

Господину министру юстиции Тюне Якобсену.

После серьезных размышлений, занявших три недели, Вы пришли к выводу, что мне следует отказать в общении с лицами, переведенными из государственного лагеря Хорсерёд в тюрьму «Вестре фенгсель» по причине моего вызывающего поведения по отношению к руководству лагеря, а также неблагоприятного влияния, оказываемого мной на других заключенных, как и вследствие того, что письма, которые я направлял в министерство, не свидетельствуют о каком-либо изменении в моей позиции.

...Бывают люди, господин министр юстиции, в том числе и среди тех, кто находится на весьма высоких постах, которых иначе и назвать не хочется, как «перчатками». Перчатка всегда применяется к руке, на которой сидит. Пока перчатка сидит на демократической руке, она кажется всем удобной, гуманной перчаткой. Однако как только та же перчатка переходит на другую — жестокую и беспощадную руку, она становится совершенно иной. Но в конечном счете перчатка есть перчатка, и ничего больше.

Думается мне, лишь особые свойства Вашего характера могли побудить Вас предполагать, что пребывание в одиночной камере тюрьмы «Вестре фенгсель» приведет к изменению моей позиции, под коей Вы, по всей вероятности, подразумеваете мое отношение к слабоумному инспектору Бентсену, как и к Вашей собственной деятельности на благо отечества. Вы надеялись, что моральная атмосфера тюрьмы «Вестре фенгсель» заставит меня уразуметь, что министр юстиции всегда прав, поскольку судьи всегда следуют его указаниям... Я был бы неблагодарной скотиной, если бы не оценил Ваших усилий, направленных на то, чтобы привить мне тот сервильный образ мыслей, который представляется Вам полезным в свете Вашей длительной и ревностной чиновничьей службы. Однако я серьезно опасаюсь, что сейчас уже поздно пытаться переделывать мой характер. Я всегда почитал старые и простые понятия о честности и порядочности: человек должен быть человеком, а слово — словом. Боюсь, что эти предрассудки помешают мне воспринять тот образ мыслей, который Вы считаете полезным.

Ханс Кирк».

Зимой 1941 года были написаны стихи «В тюрьме Вестре». Здесь же Кирк написал первый вариант романа «Раб». Во время мужественного побега из лагеря Хорсерёд в ночь на 29 августа 1943 года рукопись пропала, и автору пришлось впоследствии заново переписывать роман. Это самое значительное литературное произведение, созданное в период оккупации. Оно проникнуто глубоким философским спокойствием, поистине удивительным, если вспомнить, в каком положении находился его автор, бывший пленником и заложником оккупантов во времена гитлеровского господства в Европе. Это повесть о человеческом достоинстве, не отступающем перед насилием. Власть, основанная на силе, может захватить все, но ей не покорить волю и души людей, для которых их человеческое достоинство дороже жизни.

Этот роман по жанру близок к драме, бурно развивающееся действие частично передается в нем в форме диалога. Арена действия — история. Перед нами — семнадцатый век. Испанский корабль возвращается из заморских колоний на родину. Он везет тяжкий груз золота и зла, человеческих слез и крови, мук и страданий. Все категории людей представлены на борту корабля — богатые и бедные; хозяева и рабы; феодалы-эксплуататоры и капиталисты новейших времен; слабые духом и угнетенные; лакеи и предатели. На этом корабле, олицетворяющем мир, находится пленный индеец, отверженный раб, который отстаивает достоинство и свободу человека. Когда он убеждается, что дальнейшая жизнь бессмысленна, он пробивает дыру в дне корабля, и судно тонет.

За много лет до этого Отто Гельстед написал свое знаменитое стихотворение «Рекламное судно». Перед читателем вставала картина гигантского судна, сверкающего разноцветными огнями, судна с балаганными будками, косметическими клиниками и конторами по организации самоубийств, сенсациями и мошенничеством, идиотским спортивным ажиотажем, церковью, прессой и модой. На судне ревут во всю мощь мегафоны, лучи прожекторов мечутся, точно горящие хвосты комет,— так корабль входит в темный порт. Между тем в порту в одной из комнат сидит у стола с приборами и циферблатом спокойный человек. Во рту у него трубка, и всем своим обликом он похож на самого обыкновенного датского студента. И вот, когда судно входит в заранее определенный водный квадрат, человек нажимает кнопку, и капиталистический рекламный корабль взлетает на воздух. Стихотворение это посвящено Х. Р. К.— Хансу Рудольфу Кирку.

В годы первой мировой войны Ханс Кирк был юношей, студенчество началось для него в 1916 году. Казалось, он должен был бы примкнуть к тому поколению писателей-неврастеников, которое металось от нигилизма к богоискательству. Однако война, смутившая умы столь многих литераторов, лишь прояснила мировоззрение Кирка. Он рано осознал железный закон классовой борьбы. И он принял участие в этой борьбе и как человек, и как писатель.

«До войны еще существовали какие-то возможности развития буржуазного общества. По крайней мере, казалось, что есть основания рассчитывать на победу гуманизма. Разумеется, социальные противоречия носили довольно острый характер, однако разрыв между буржуазией и пролетариатом еще не был столь окончательным. То был период экономического подъема; из огромных доходов, получаемых буржуазией, кое-что перепадало также пролетариату. Рабочие были заняты созданием и расширением своих организаций, и либералы поддерживали их с помощью гуманного социального законодательства. Казалось, можно было бы рассчитывать, что венцом всех этих достижений станет всеобщая гармония, в условиях которой хищники добровольно согласятся питаться одной травой. Теперь мы знаем, что в действительности все обстояло иначе, что катастрофа была неизбежна, а вера в социальное примирение оказалась миражем. Теперь никто не сомневается в том, что сейчас мы переживаем разгар социальной схватки, борьбы не на жизнь, а на смерть и что в этой борьбе должна принять участие также и литература, если она не хочет погибнуть».

Я привел отрывок из статьи Кирка, опубликованной в журнале «Критиск ревю» в 1927 году, за год до выхода в свет его «Рыбаков».

В демократической Дании благожелательно относятся к «левой ориентации» того или иного писателя. Но коммунистам не прощают их принадлежности к партии. Писателю охотно дозволяют «поднимать проблемы», но это непременно должны быть проблемы, не выходящие за пределы узкого мира буржуа,— предпочтительно сексуальные. Проблему же имущественных отношений затрагивать нельзя.

В тех случаях, когда творчество писателя-коммуниста столь значительно, что его невозможно замолчать, буржуазная литературная критика всякий раз пытается насильственным путем отделить писателя от его творений. Художника-коммуниста силятся превратить в какую-то мистически раздвоенную, расщепленную личность. «Человек о двух лицах» — так какой-то болван от литературы однажды назвал Ханса Кирка.

Буржуазные литераторы, очевидно, полагают, что им удастся осуществить подобное искусственное расщепление личности художника. Неохотно признавая Кирка-писателя, они добросовестно — по обязанности — клеймят Кирка-коммуниста. Но невозможно отделить одного от другого. Ханс Кирк был цельный человек и столь же цельный художник. В его произведениях существует полная гармония между художественной формой и мировоззрением автора. Кирк сочетал ясность мысли с душевной добротой, научные представления о мире — с народной мудростью. Кирк не только рассказывал о людских судьбах, а сам жил и работал плечом к плечу с людьми. Его безыскусный язык заставлял читателей забывать, что они читают книгу, им казалось, что они сами переживают события, описанные в книге, и участвуют в них.

В речи, произнесенной в день его семидесятилетия, Юхан Скьолдборг торжественно передал свою лиру Хансу Кирку. Этот жест справедливо подчеркивал то обстоятельство, что социальные романы Кирка не только продолжали традицию Хенрика Понтоппидана и Мартина Андерсена-Нексе, но и

воскрешали линию, идущую от реалистической крестьянской литературы.

Но народный реализм преломляется в творчестве Кирка диалектически. Кирк никогда не рассказывает о судьбе какого-либо одного человека, он неизменно показывает этого человека в его социальной среде. Кирк не выступает в роли стороннего повествователя, его герои как бы живут и действуют на глазах у читателя. Мир, отраженный в его книгах, это мир развивающийся и непрерывно изменяющийся — мир, движущийся к социализму.

Издав роман «Рыбаки», Кирк ввел в нашу литературу новый образец романа и новый стиль. Этот первый шаг Кирка в литературе свидетельствовал о поразительной писательской зрелости. Стиль его, простой и лаконичный, не воспринимался как некая искусственная манера и во всех отношениях был далек от романтической моды двадцатых годов. Классический стиль принято считать старомодным. Когда Кирк начал писать свои книги, самым известным модернистом был Эмиль Бённелюке. А кто теперь читает Бённелюке?

В своих больших социальных романах Кирк отображает мир в его постоянном движении, без всякого схематизма или искусственности. Мир этот разнообразен, сложен, полон конфликтов, как это бывает в самой жизни, и автор наблюдает эту жизнь с мудростью и теплом, с гневом, но также с мягкостью и с юмором.

Оба тематически связанных между собой романа — «Поденщики» и «Новые времена» — отображают переход датского общества от патриархальных условий к индустриальным. Романы эти требовали продолжения. Так был создан третий том. Кирк рассказывал: в третьей части он задумал показать тот период, когда рушится мечта о благодеяниях индустриального общества. Общество это поражает кризис. Осуществление «рационализации» производства ведет к полной катастрофе. Число рабочих, занятых на цементном заводе в маленьком городке, описанном в трилогии, сокращается с 1 500 до 300 человек. А так как большинство рабочих к тому же еще приобрело в рассрочку домик, то «рационализация» окончательно ввергает их в тяжкую нищету. Человек должен сам активно вмешиваться в свою судьбу, а не отдавать ее в руки чуждых ему сил, учит Кирк.

Можно лишь пожелать, чтобы в самое ближайшее время были изданы избранные статьи Кирка, которые в условиях важнейшего и сложного исторического периода освещали культурную жизнь и классовую борьбу в Дании. Я говорю здесь не о повседневных журналистских и литературно-критических заметках Кирка, хотя и они сыграли несравненно бо́льшую роль, чем это принято предполагать,— я имею в виду его мастерские, подчас пророческие статьи, эссе, отражавшие его взгляды и принципы, очерки по вопросам политики и культуры, сохраняющие свою ценность и по сей день, указывающие людям правильный путь.

Роль Ханса Кирка как наставника и учителя имела большое значение для датской литературы. Я имею в виду и его критические выступления в печати, и личную поддержку, которую он оказывал своим коллегам. Все мы многим ему обязаны. Он резко и подчас беспощадно критиковал высокомерных «интеллектуалов», как наемных писак буржуазной прессы, но считал недостойным громить людей, делающих первые шаги в литературе, и выставлять на посмешище какого-нибудь неудачливого начинающего писателя. С людьми он обращался бережно и тактично, мягкость его не знала границ.

Могучий интеллект сочетался у Кирка с добротой. Он был разносторонним человеком, но никакие противоречия не раздирали его души. Невозможно отделить Кирка-писателя от Кирка-человека, как и оторвать Кирка-художника от Кирка-коммуниста. Обычная тактика его противников как раз и состояла в том, что, изображая Кирка-человека ограниченным и узколобым фанатиком, они в то же время признавали Кирка-писателя, соглашаясь, что этому писателю присущи и объективность, и терпимость. Да, у Кирка была своя, крепкая вера, хотя никогда он не опускался до суеверия. Да, Кирк оставался верен своим убеждениям. Он остался в рядах коммунистической партии, которую предал ее председатель-оппортунист и которую покинула кучка интеллигентов, растерянно мечущихся из стороны в сторону, глядя, куда ветер дует. Ханс Кирк принял участие в классовой борьбе, с начала и до конца творческого пути не изменил своих взглядов. Он не отступился от них и тогда, когда сохранять

их было опасно для жизни. И он не отказался от них, когда ситуация изменилась.

Он неуклонно шел своим путем... Подобно Скьолдборгу, он завещал другим свою лиру. Конечно, отчасти он при этом шутил, но уже тогда он был в тисках недуга, и слова его воспринимались как наказ. Надо продолжать работу, начатую Кирком,— это наш долг по отношению к нему, самому верному нашему другу. Он оставил нам наследство, и мы должны беречь и приумножать его. Сад Ханса Кирка стоит в цвету. Жизнь — это вечное обновление. Бессмертие следует искать в дружбе, в коллективе, который продолжит дело, начатое одним из его членов.

Накануне своей кончины Ханс Кирк написал письмо своим товарищам по Коммунистической партии Дании и редакции газеты «Ланд ог фольк». Твердым и ясным почерком вывел он следующие слова:

«Дорогие товарищи!

Я обращаюсь к вам с этими словами в момент, когда чувствую, что скоро вокруг меня сомкнется мрак. То, что я хочу вам сказать, я должен сказать сейчас. Пишу вам, не ощущая страха перед смертью, не питая ни к кому личной вражды. Конечно, у меня были враги, но это были и ваши враги. Я знаю: вы будете продолжать борьбу, которую мы вели вместе, плечом к плечу.

Но не для того я пишу вам, чтобы дать вам последние наставления,— я полностью и во всем полагаюсь на вас, на нашу партию. Пишу, чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за доверие, которое вы неизменно мне оказывали, за искренность и откровенность, которые я всегда чувствовал на протяжении многих лет, за верную дружбу, которой вы меня дарили.

Прощайте, дорогие товарищи!

Ханс Кирк».

Дневники. Воспоминания

ЛУИЗА БРАЙАНТ

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ...

Нашим читателям, мы надеемся, будет интересно ознакомиться с публикуемыми в этом номере отрывками из книги известной американской журналистки Луизы Брайант, изданной в США в 1923 году. Жена Джона Рида, она была очевидцем становления советской власти в России, навсегда осталась верным другом нашей страны, советского народа (см. документы, опубликованные в «Иностранной литературе», №№ 4—5 за 1963 год, под названием «Они отстаивали правду о Стране Советов»).

ЧЕЛОВЕК И ВОЖДЬ

Две задачи считает Ленин самыми главными: поднять Россию до уровня передовых западных стран и заложить основы социалистического государства. Он говорил мне, что не хочет давать разрешения ни на одну иностранную концессию, будь то промышленная, угольная или лесная, если при этом не удастся организовать свое, русское производство, чтобы русские учились у американцев и англичан, как следует работать.

Америка интересует его больше всех других стран.

Помнится, однажды днем, как раз перед тем, как я собиралась брать интервью у Ленина, один из работников Наркоминдела сказал мне, что, если Америка не поторопится и не заключит торговые договоры с Россией, Россия будет вынуждена заключить торговые соглашения с Японией. Я повторила эту фразу Ленину, и он сказал:

— Чепуха! Если бы мы даже и могли доверять Японии, что она в состоянии дать? Нам нужны тысячи тракторов, паровозов, автомобилей и тому подобное. Мы должны получить все это из Америки, мы должны подружиться с Америкой.

Он регулярно читает американские газеты, книги и журналы. Вернувшись домой, я послала ему «Миррорз оф Вашингтон» и представляю себе, как он усмехается, читая эту газету, потому что видела, как он посмеивался над статьей Уильяма Хорда в «Нью рипаблик».

Ему настолько по душе энергия американцев, что он почти сочувствует стремлению американских репортеров заполучить обязательно наипоследнейшие новости, тогда как другие советские работники смотрят на их притязания косо...

Когда Наркоминдел отказал мне в разрешении на поездку по Средней Азии, я вынуждена была обратиться к Ленину. Ленин поднял голову, оторвавшись от работы, и улыбнулся.

— Я рад видеть, что в России есть кое-кто,— сказал он,— у кого хватает энергии и любознательности на такую поездку. Вас могут там убить, но то, что вы увидите, вы не забудете никогда. Поэтому стоит рискнуть.

Через два дня я отправилась в путь, имея на руках все необходимые пропуска. У меня было с собой письмо Ленина, меня сопровождала охрана — два солдата!

Ленину совершенно не свойственна мстительность. Он способен в споре беспощадно критиковать своего противника, но в то же время он необыкновенно человечен и добр: ему хочется, чтобы все вокруг были счастливы.

В начале революции ему представлялось, что окажется возможным сразу добиться свободы печати, свободы слова, быть либеральным по отношению к своим противникам. Однако необходимость железной дисциплины диктовалась обстановкой, ибо только с ее помощью можно обеспечить успех.

Было время, когда он довольно сурово покарал анархистов, но только потому, что анархисты постоянно угрожали спокойствию в стране.

Ленин всегда относится с уважением к человеческим привязанностям и чувствам. Когда умер Кропоткин, вдова и дочь умершего послали телеграмму Ленину и попросили, чтобы деятели партии анархистов, в то время сидевшие в тюрьме, присутствовали на похоронах. И Ленин под честное слово разрешил отпустить их на три дня без охраны.

Ленин старается привлечь к работе умных людей и всегда жалуется, что эти поиски не столь плодотворны, как бы ему хотелось. Особо ощутим недостаток в знающих, образованных людях на дипломатической службе. Небольшой дипломатический корпус во главе с Чичериным не в состоянии удовлетворить растущую потребность в послах и консулах, которые в самое ближайшее время должны быть направлены во все страны мира.

Советский премьер, без сомнения, скромный человек. Он очень редко дает автографы, а дневник, вести который его просили американские издатели, так никогда и не будет написан. Он говорит, что слишком устает от всей той массы работы, которую нужно сделать днем. Но не менее важной причиной является отсутствие какого бы то ни было тщеславия.

Он ненавидит лесть и изо всех сил отказывается позировать художникам. Он был крайне расстроен, будучи вынужден пообещать позировать Клэйр Шеридан работавшей над его скульптурным бюстом.

Между прочим, как утверждает сама миссис Шеридан, он специально позировал всего несколько часов, а все остальное время работал.

Нет таких вопросов, которые Ленин считал бы недостойными своего внимания. Я помню, как кто-то из иностранцев в разговоре о русском театре упомянул о плохих костюмах и бедном реквизите. При этом другой заметил, что Гельцер, знаменитая балерина, жаловалась, что у нее нет шелковых балетных трико. Большинство было того мнения, что это дело не стоит внимания. Большинство, но не Ленин.

Он нахмурился и сказал, что проследит, чтобы у Гельцер было все необходимое. Позвав своего секретаря, он продиктовал письмо Луначарскому по этому поводу.

Когда же Ленин наконец нашел время, чтобы пойти в театр, то выбрал Шекспира. Позвонив Луначарскому, он сказал: «Мне бы хотелось посмотреть лучшую вещь, поставленную Художественным театром».

Луначарский задумался и назвал «Двенадцатую ночь». Ленин сказал: «Я посмотрю этот спектакль». В театре он, казалось, забыл свои многочисленные дела и наслаждался от души. С таким же удовольствием он ходил на охоту.

У Ленина и Крупской нет детей. Всю свою жизнь они посвятили революции. Крупская — бледная, серьезная женщина, очень слабого здоровья. Именно она создала новую систему образования для взрослых в России, и, как говорил мне Луначарский, эта система оказалась в высшей степени эффективной.

Ленин обожает жену и охотно говорит о ней. Как-то я сказала, что мне хотелось бы с ней познакомиться, он заметил:

— Да, обязательно, она вам понравится, это очень умная женщина.

Я убедилась, что она не только умная, но и очень обаятельный человек. Крупская пригласила меня на чашку чая к себе домой, и я немедля согласилась,

потому что мне хотелось посмотреть, как они живут.

У них две небольшие комнаты, что для перенаселенной Москвы можно считать явлением вполне нормальным. Всюду идеальная чистота, хотя Надежда Константиновна сказала мне, что прислуги у них нет. Кругом множество книг, на окнах — цветы, несколько стульев, стол, кровати и ни одной картины на стенах.

Подобно Ленину, Крупская умеет както по-особому внимательно слушать своего собеседника.

Когда вы входите в кабинет Ленина, он всегда встает, улыбаясь, идет вам навстречу, тепло пожимает руки и усаживает в удобное кресло. Усадив вас, он берет другой стул, садится сам и, наклоняясь вперед, начинает разговор, как будто у него нет никаких других дел, кроме этого визита.

Он любит короткие юмористические рассказы и весело смеется по поводу какого-нибудь случая в поезде или на улице. Он сам любит рассказывать и рассказывает очень хорошо. Но легкомысленный разговор Ленин долго вести не будет. Он неожиданно перестанет смеяться и спросит:

— Что за человек мистер Гардинг, что у него за душой?

Большинство людей приходит к Ленину, намереваясь засыпать его вопросами. И лишь уходя, с изумлением вспоминают, сколько они сами успели рассказать и на сколько вопросов ответить, вместо того чтобы задавать их. У Ленина необыкновенная способность заставить собеседника раскрыть свою душу.

Многие у нас склонны считать Ленина разрушителем, тогда как на самом деле он созидатель. ...Он говорит, что Россия находится в более надежном положении по сравнению с другими европейскими странами; она была на самом низком уровне своего развития и ныне взбирается вверх, тогда как остальные страны Европы продолжают катиться вниз.

Вполне возможно, что он прав!

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Вот уже пять лет Луначарский занимает пост наркома просвещения. В тех боях, в которых он участвует, не стреляют. «Неграмотность,— сказал он мне однажды,— настоящее проклятие России, и мы должны бороться с нею, как со стихийным бедствием». И он борется с ней именно как со стихийным бедствием. Этот изящный поэт с изысканными манерами прошлого века, по внешности больше напоминающий ученого француза, чем русского, бросил писать стихи для того, чтобы бороться с невежеством, суеверием, пьянством, распущенностью, нищетой, грязью...

Не имея практически ничего в своем распоряжении, он начал планировать и проводить широкую кампанию по ликвидации неграмотности. Именно поэтому его достижения так поразительны.

Я не собираюсь здесь приводить цифры, но мне хочется рассказать о том, что сделал Луначарский. Он по сути дела ликвидировал неграмотность среди взрослого населения городов. Он открыл тысячи школ. Не все они были такими, как хотелось бы, но открытие каждой из них явилось большим шагом вперед. Теперь не осталось ни одного, пусть самого отдаленного уголка России, где бы не работала новая школа.

Но это только часть той деятельности, которой занимался Луначарский. Он строил новые театры, приводил в порядок старые и показал себя вполне достойным того доверия, которое оказал ему Ленин, когда поручил ему все дела, связанные с сохранением художественных сокровищ России.

В вопросах искусства Ленин всегда обращается к Луначарскому, за советами. ...Очень интересна история назначения Луначарского на должность наркома просвещения.

Когда шла борьба красных с белыми за Московский Кремль в 1917 году, по телеграфу в Петроград было передано, что великолепный, волшебный собор Василия Блаженного на Красной площади разрушен. Луначарский — поэт, ученый, драматург, революционер, а также друг и последователь Ленина — отправил в газету открытое письмо, в котором дал волю своему гневу. «То, что произошло в Москве,— писал он,— ужасное, непоправимое несчастье!» Он также написал письмо Ленину, отказываясь считать себя как-либо причастным к революции.

ЛУИЗА БРАЙАНТ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ...

И слег в постель в результате потрясения и разочарования.

Ленин не принял его отставки, как никогда не принимал отставки от людей, которых считал полезными для государства. Вместо этого он навестил Луначарского, и между ними состоялся разговор, переданный мне одним из общих их друзей.

Ленин со свойственной ему прямотой заявил Луначарскому: «Не нужно так расстраиваться. Если собор действительно разрушен, мы построим другой, и больший, и лучший».

Луначарский со слезами на глазах объяснил Ленину, что это невозможно: вполне вероятно, что никогда больше не удастся создать другого такого прекрасного памятника зодчества...* Несколько дней спустя Луначарский был назначен ответственным за все искусство в России.

...«Подумайте, какой жизненной силой должны были обладать театры, чтобы выжить во время революции!» — говорил мне Шаляпин, когда был в Америке прошлой зимой. «Подумайте, какая жажда к знаниям была у русского народа,— сказала Крупская,— что даже в этот тяжелейший период он находил время для учебы». Оба они правы, но, несмотря на эту жажду и эту жизнестойкость, развитие театров и образование народа могло задержаться на неопределенное время, если бы не великолепное руководство Луначарского.

...Самым большим помощником Луначарского является Константин Станиславский, один из руководителей Московского Художественного театра. Станиславского называют величайшим режиссером мира. Популярность многих замечательных драматургов последнего поколения — его заслуга. Станиславский был твердо убежден, что русскому народу во время революции нужны сотни театров, чтобы помочь ему преодолеть трудности, голод, холод. Вместе с маленькой отважной труппой он сумел удержать свой театр в столице на самом высоком уровне. Он организовал еще три театра в Москве и руководил ими. Поставил он и несколько новых опер.

О Луначарском можно многое рассказать. Одна из наиболее характерных историй связана с музеем Эрмитаж.

Когда в 1918 году немцы стучались в ворота Петрограда, все исторические сокровища Зимнего дворца и коллекции Эрмитажа глухой темной ночью были вывезены в Москву и спрятаны в Кремле. Однажды зимой 1921 года я позвонила Луначарскому на работу. Я застала его в прекрасном настроении. Он воскликнул:

— У меня для вас чудесные новости. Сегодня мы отправили всю коллекцию Эрмитажа в целости и сохранности в Петроград. Вы только подумайте, что это значит! Вряд ли мир когда-либо узнает, как близки были все эти сокровища к уничтожению. И как дивно, что через месяц любой может увидеть эту коллекцию в Петрограде в том же виде, как она там находилась два века подряд.

Да, а ведь было время, когда я уже отчаялся сохранить всю эту коллекцию,— продолжал он.— И не только потому, что какая-то часть горе-революционеров несколько раз пыталась продать ее. Положение было ужасное. Мы сложили Рембрандта и другие полотна в кремлевских подвалах, и я был в постоянном страхе, что их попортят крысы. Иногда я просто боялся спуститься вниз и посмотреть. Но я чувствую, что самое трудное позади. И я счастлив, потому что Россия доказала всему миру, что она не варварская страна. Мы спасли эти произведения, несмотря на голод, нужду и смерть

У Г. В. ЧИЧЕРИНА

Первое интервью, данное мне Чичериным, состоялось где-то около полуночи, а последнее — в пять часов утра. Это дает представление о том, сколько работал Чичерин.

Чичерин родился в аристократической семье и готовился к дипломатической работе в царское время. Он очень

---

* А. В. Луначарский свидетельствует:

«Пишущий эти строки был напуган разрушением ценных художественных зданий, имевшим место во время боев революционного пролетариата Москвы с войсками Временного правительства, и подвергся по этому поводу серьезной «проработке» со стороны великого вождя.

«— Как вы можете придавать такое значение тому или другому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать революционеры». (А. В. Луначарский «Статьи о литературе». Гослитиздат. 1957).

изыскан, образован, сдержан. Всю свою жизнь он посвятил революции.

Он живет очень замкнуто в небольшой и пустой комнате в верхнем этаже Наркоминдела. Чичерин не любит ездить в автомобиле, не желает заказать себе новый костюм, не разрешает менять что-либо в своем кабинете, все для себя делает сам, отказываясь от чьей-либо помощи.

Прошлой зимой рассказывали забавную историю о том, как Карахан, ведавший в наркомате восточными делами, вынудил Чичерина одеть новый костюм. Собственный костюм Чичерина был, мягко говоря, изрядно потрепан, а он как раз должен был подписать договоры с восточными странами — с Турцией, Афганистаном, Персией и другими. Подобную церемонию, повинуясь восточному официальному этикету, необходимо было провести хотя бы с некоторой помпой... Карахан заранее заказал костюм для Чичерина, и однажды утром, пока Чичерин спал, заменил старый костюм новым. Через несколько минут он в чрезвычайном волнении вбежал в комнату и воскликнул: «Получено новое известие от лорда Керзона!» Чичерин мгновенно вскочил и принялся натягивать новые брюки. Что он подумал про себя о действиях Карахана, трудно сказать, но хорошие отношения между ними сохранились.

Чичерин отличается высоким ростом, но сутулится и напоминает человека, пытающегося пройти в слишком низкую дверь. Он очень застенчив и потому редко смотрит в лицо собеседника. Но если удается встретиться с ним взглядом, вас поражает умное и доброе выражение его глаз.

Дипломатия стала неотделимой частью жизни Чичерина. Ленин относится к нему с глубокой личной симпатией. Он знает, что Чичерину можно доверять, потому что тот прекрасно разбирается во всех международных делах и не примет ни одного серьезного решения, предварительно не посоветовавшись.

Во время нашей первой беседы мы говорили о том потоке лжи о России, какой захлестнул в последнее время английские, американские и французские газеты. Я заметила, что частично это могло быть вызвано тем, что репортеры не имеют возможности приехать в Россию и увидеть события своими собственными глазами. Чичерин внезапно перебил меня и спросил:

— Не объясните ли вы мне, почему американские журналисты, приехав сюда в качестве независимых наблюдателей, даже выражая нам свое дружеское расположение, возвращаются к себе домой и пишут всю эту несусветную ложь?

Я возразила, сказав, что такое обобщение не совсем справедливо. Ведь наиболее дикие россказни обычно фабрикуются в Риге, Ревеле и в Париже заинтересованными политическими группами или репортерами, которые ни разу не были в России. А большинство журналистов, бывших свидетелями революции, честно, доброжелательно рассказывают о ней, несмотря на то что делать это становится все труднее и труднее, особенно в Америке. Возможно, такие же мысли пришли в голову и Чичерину, потому что он произнес:

— Да, да, думается, в основном вы правы, но все же, что вы скажете о таких людях, как...

Чичерин в высшей степени честный человек. Позиция иностранных газет, позволяющих себе публиковать лживые корреспонденции, чтобы оправдать интервенцию и блокаду, не перестает возмущать его, и он просто не в состоянии примириться с тем, что такого рода пропаганда стала неотъемлемой частью буржуазной международной политики.

Однажды поздним вечером я увидела чрезвычайно взволнованного Чичерина, бежавшего по лестнице Наркоминдела. Он был потрясен тем, что одна из вечерних газет Нью-Йорка напечатала на своей первой полосе сфабрикованное интервью с Владимиром Ильичем Лениным, в котором тот якобы высказывал свое мнение решительно по всем вопросам, начиная с ирландской проблемы и кончая русским балетом. Он воскликнул:

— И как может почтенная американская газета допускать такое?

...Какой все же парадокс! Чичерин, выходец из старой аристократической русской семьи, сейчас отдает все свои силы на то, чтобы исключить самую возможность возврата того порядка, какой давал его семье и власть и богатство...

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ

У ЛЕНИНА

Людская очередь протянулась на несколько километров. Мы медленно продвигаемся по двое. Передо мной идет группа африканцев, позади — японская делегация, там — советские люди, приехавшие сюда со всех краев страны, здесь — арабы в своих величественных тюрбанах.

Сегодня в Москве воскресенье, и как бы поэтому бледное солнце время от времени играет блестками на золотых куполах. Собор Василия Блаженного представляется симфонией сферического многоцветья, а ленинская усыпальница смотрит в века торжественной строгостью линий темно-красного мрамора.

Это — Красная площадь, бьющееся сердце мирового пролетариата.

Ее очертания, как будто давно знакомые до мелочи, сегодня — перед моими глазами — приобретают особую величественность. Колонна людей, двигающихся по двое, становится плотнее, подтягивается, поднимается по склону площади. Кремлевские, цвета охры, кирпичи взлетают пенным прибоем, захватывая с собой множество взглядов, глядишь ввысь — и кажется, что звезды зубчатых башен светят над всей Вселенной. На древних стенах Кремля, пропитанных историей и легендами, висят огромные красочные гербы советских республик. Металлом времени бьют кремлевские куранты.

Мы продвигаемся по двое и словно идем сквозь века. И века жизни человечества отражены на наших лицах, на нашем лике народа. Да, здесь сегодня наши лица — многоликий образ народа. Каждый из нас представляет собой неисчислимое множество. Я чувствую себя, но я не думаю о себе. Все мое — до последней мысли — отдано борьбе, любви, бою, жизни. Вчера, сегодня, завтра.

Шаг за шагом спускаюсь по ступеням мавзолея.

Дневной свет остался где-то там, позади. Отныне нас освещает самое благородное, что есть и было в истории. В этот момент человечество — это легкий, приглушенный шум спускающихся шагов. Никто не говорит, а слышен весь мир. Никто не кричит, но слышится крик земного шара, крепко сжавшего кулаки. Никто не плачет, однако ощущаешь слезы.

Мы спускаемся ниже.

Застыли солдаты в почетном карауле, совсем как живые изваяния. Мгновение будто весомо, царит величие.

Еще несколько ступеней, еще несколько шагов, почти на цыпочках, поворачиваешь направо — и вот он... Вот он! Тело Ленина — лицом к Вселенной.

Этот небольшого роста человек, ныне ставший светочем людям, этот бессмертный, пришедший в наш мир как-то однажды, в один из обычных дней, 7 ноября, повернул ход истории планеты.

Я смотрю на него сбоку, вглядываюсь в его лицо — прямо перед собой — и словно вижу выкристаллизованную вечность. Облик Ленина стал олицетворением славы, гений Ленина охватил небо и землю. Я, один из многих, не могу сдержать слезы.

Иду к выходу. Подымаюсь. Выхожу. Сегодня воскресенье. Я на Красной площади в Москве, где Ленин хранит судьбы человечества.

С того момента как вступаешь на землю Советского Союза и пока не расстанешься с нею, Ленин сопутствует зарубежному революционеру всюду. Он — в монументальных памятниках на площадях и в цветущих уголках парков, в детской улыбке пионера и в сердце рабочего, откуда бы тот ни прибыл, в машинном ритме цехов и в мирном созревании колосьев. Все строится с именем Ленина и во имя его идей. Его портреты, картины с ним, его профиль, его бюсты, любовно и тщательно выполненные, видны повсюду. От высочайшей горной вершины страны до глубочайших земных недр звучит имя Ленина, слышно слово Ленина, славится Партия Ленина. Вдохновляемый Лениным, человек претворяет в жизнь свои тысячелетние мечты.

Я никогда не видел любви, подобной той, что советский народ питает к Ленину. Это что-то захватывающее, всепокоряющее. Это чувство, наполняющее всю жизнь миллионов и миллионов людей, которые воодушевили Ленина и ради которых Ленин родился, боролся и умер — умер физически, однако гений его будет жить, пока живет человечество. Ленин везде: на страницах книг и в космосе, в лаборатории и в шахте, в городе и на селе, в воздухе, на море и на земле. И прежде всего Ленин — в грандиозных планах Партии, в той светлой цели, которая год за годом молодит человечество, распахнувшее объятия коммунизму.

Такой любви, как к Ленину — стихийной, бурной, неугасимой,— мне не приходилось встречать никогда. Это меня взволновало до слез с первого дня моего пребывания в СССР. И поныне я во власти этих чувств — сорок лет спустя после смерти Ленина я вижу его живым везде и во всем.

г. Лима (ПЕРУ)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За рубежом

ДАВИД АЛЬФАРО СИКЕЙРОС

читателям журнала «Иностранная литература»

Дорогие друзья!

В тот момент, когда меня арестовали — 9 августа 1960 года,— я работал в Мехико над двумя произведениями: над фреской «От дней диктатуры Порфирио Диаса до Революции» — в Историческом музее замка Чапультепек и росписью «История социального театра Мексики» — в фойе театра имени Хорхе Негрете («Национальная ассоциация актеров»). Кстати, фреска «История социального театра Мексики» лет шесть назад уже была «отдана под суд», а меня тогда привлекали к судебной ответственности за «невыполнение контракта в отражении темы».

Из-за ареста я был вынужден прервать работу еще над двумя настенными росписями за рубежом: над фреской «Детям борцов, павших в горах Сьерра-Маэстра» в Гаване и над эскизом фресок для театра в столице Индии — Дели.

Уже в тюрьме, буквально в какое-то мгновение ока, мне выпало на долю «перековаться» из монументалиста в станковиста, то есть стать художником жанра, в котором я никогда в прошлом не работал. Все творчество мое отдано монументальным произведениям — фрескам. Однако вот наступил период, когда вместо огромных плоскостей я очутился перед крохотным полотном. Только небольшие картины я имел возможность писать в камере, да и ее площадь была ограниченна: два на четыре метра. Кроме того, мне надо было довольствоваться светом, проникавшим в оконце, размеры которого также очень невелики: шестьдесят сантиметров в вышину, восемьдесят — в ширину. В таких условиях я работал над своими картинами четыре года подряд, более 1600 дней.

Вначале мои работы были посвящены тем драматическим сценам, которые я наблюдал в тюрьме. Но постепенно — и все чаще и чаще — мне хотелось писать цветы и пейзажи, то есть то, чего я был лишен в тюрьме и чего мне так не хватало.

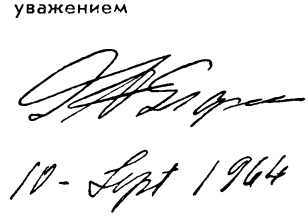
Двести полотен в красках и десятки черно-белых (их я писал сапожным кремом, который мне выдавали для чистки ботинок) — таков творческий итог моего последнего четырехлетия.

Если же говорить о планах на будущее, они сводятся к следующему. Немедля я намерен возобновить работу над начатыми четыре года назад фресками, и теми, что находятся в Мехико и Гаване, а также приступлю к той, которую предполагаю писать в Дели.

Что касается моей политической и общественной деятельности, то я буду, как всегда, выполнять свой долг члена Мексиканской коммунистической партии. Я хочу продолжать свою деятельность в Комитете защиты прав политических заключенных, с тем чтобы они, как и я, обрели наконец желанную свободу.

С глубоким уважением

Мехико, Федеральный округ.
10 сентября 1964 г.



АВТОПОРТРЕТ (В ТЮРЬМЕ)

БЕГСТВО БЕЗ ЦЕЛИ

ПРОТЕСТ

МАТЬ ПРИВОДИТ ДЕТЕЙ В ТЮРЬМУ, ЧТОБЫ ОТЕЦ-ЗАКЛЮЧЕННЫЙ СМОГ НАКОРМИТЬ ИХ ИЗ СВОЕГО СКУДНОГО ПАЙКА

ТЮРЬМА

МАТЬ И ДИТЯ

ЭТО СОЗДАНО В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ

Здесь мы воспроизводим несколько работ выдающегося мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса, выполненных им на протяжении четырех лет заточения.

Негры выступают (в период испанской колонизации).

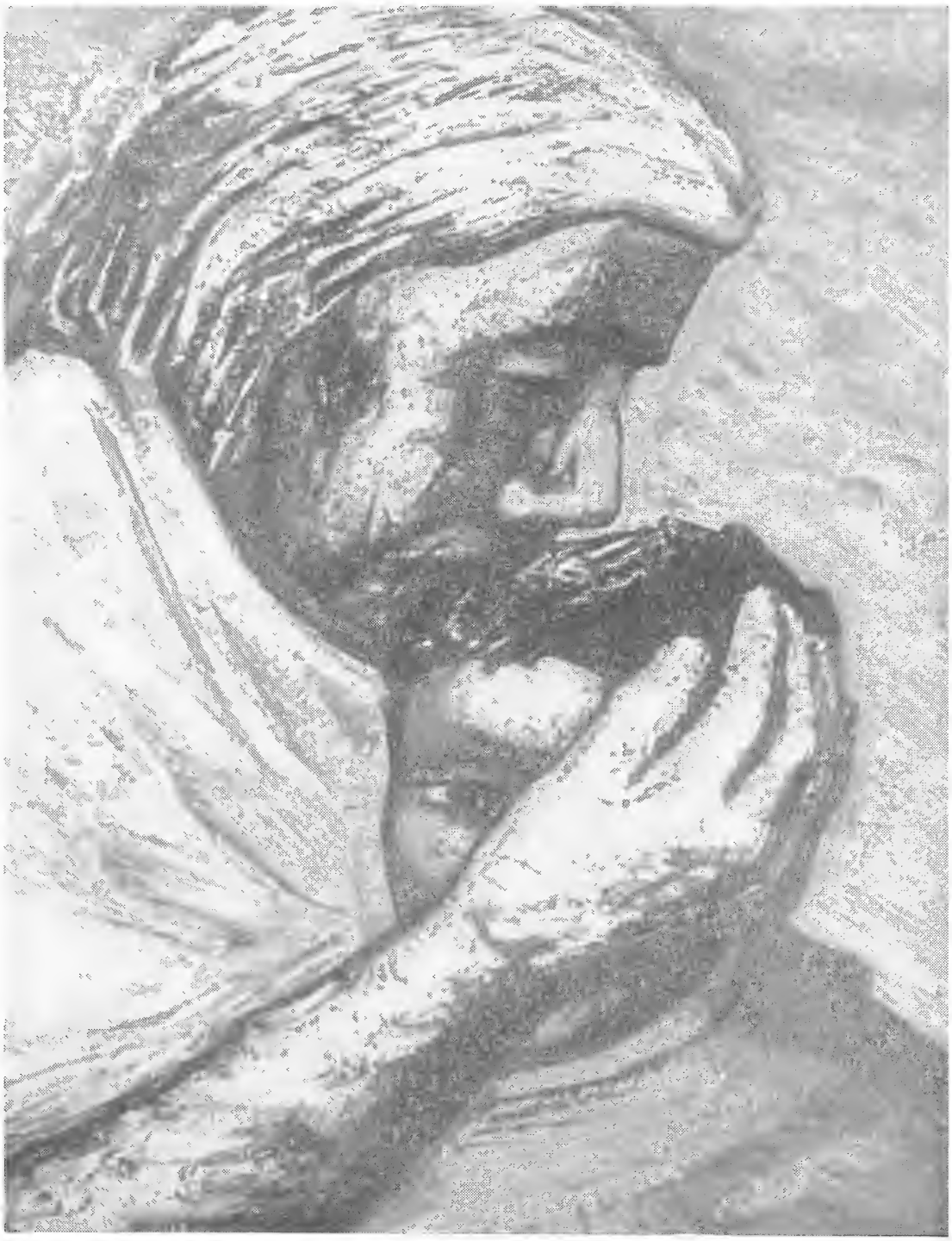
Короткое и энергичное письмо читателям «Иностранной литературы» как нельзя лучше передает бодрость, неугасимый творческий порыв, мировоззрение замечательного человека нашей эпохи — мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса, которому в ближайшее время исполняется 68 лет.

Немногим более трех месяцев прошло с того дня, как под нажимом прогрессивной общественности Мексики и всего мира перед Сикейросом раскрылись двери тюрьмы Лекумберри. Три года, одиннадцать месяцев и четыре дня провел он в камере № 26 этого мрачного здания на окраине мексиканской столицы, построенного французами в период интервенции в Мексике в прошлом веке. Сейчас он вновь находится в самом водовороте общественных и политических событий, снова его можно увидеть на лесах у фресок, на митингах и собраниях, в картинных галереях. Он вернулся к напряженной и интересной жизни художника-борца.

Об этой жизни, полной легендарных подвигов, можно рассказывать без конца, всякий раз испытывая чувство хорошей зависти. Но основная характерная черта его жизни в том, что Сикейрос никогда не замыкался в кругу узкопрофессиональных интересов, сфера деятельности его поистине безгранична.

Перелистаем страницы его биографии. Пятнадцатилетний Сикейрос организует студенческую забастовку в мексиканской Академии художеств «Сан-Карлос». Движение, которое он возглавил, требует уничтожения схоластики и бездушного подражательства в искусстве, требует обращения к политическим событиям в стране. Несколько позже он вступает в ряды революционной армии, ему присваивают чин капитана.

До Мексики доходят вести об Октябрьской революции в России. На конгрессе солдат-художников в Гвадалахаре в 1918 году Сикейрос заявляет, что художник прежде



Бабушка.

де всего должен быть гражданином, жить жизнью народа. Вместе с другими выдающимися живописцами Мексики — Диего Риверой, Хосе Клементе Ороско и доктором Атлем — Сикейрос видит свою мечту претворяемой в жизнь: искусство выходит на улицу, к народу. Положено начало новой монументальной живописи нашего времени.

1924 год. Сикейрос — среди основателей прогрессивного еженедельника «Мачете», который немного позднее под названием «Вос де Мехико» становится органом Мексиканской коммунистической партии. В

Собаки против народа.

этом же году художник вступает в ряды коммунистической партии.

Политическая деятельность захватывает художника. Он принимает участие в работе профсоюзов, в демонстрациях и забастовках шахтеров и горняков. Напряженные дни борьбы сменяются месяцами тюремного заключения, за арестами следуют высылки из страны. В начале тридцатых годов Сикейрос переезжает в Аргентину, из Аргентины — в Нью-Йорк. И нигде не прекращает свою общественно-политическую деятельность. Он читает лекции о мексиканской революции и ее значении для латиноамериканского континента, рассказывает о Великой Октябрьской социалистической революции в России, принимает участие в создании в Уругвае «Лиги независимых художников», а в Нью-Йорке основывает «Экспериментальную мастерскую» и в своих работах отражает борьбу рабочего класса США.

1936 год. Началась национально-революционная война испанского народа против фашизма. Подполковник Сикейрос сражается в рядах бригады, которой командовал генерал Энрике Листер, один из героев Испанской Республики.

Опять жизнь в изгнании, поездки по странам Латинской Америки.

За последние двадцать лет напряженнейшего творческого труда немало сил отдает Сикейрос поискам новых технических возможностей для монументальной живописи. Крупнейшие произведения этого периода — всемирно известные росписи во Дворце изящных искусств «Новая демократия» и «Куаутемок вечно жив»; «Рабочий в капиталистическом мире» — в павильоне госпиталя Расы; «Народ тянется к знаниям» — на здании архитектурного факультета Национального автономного университета...

Этюды для фрески «Война в Испании».

В 1958 году художник приступил к росписям в театре имени Хорхе Негрете, где размещается Национальная ассоциация актеров, созданная замечательным народным певцом, имя которого ныне носит театр. По договору Сикейрос должен был изобразить историю искусств Мексики. Но 1958—1959 годы были годами трагических событий в политической жизни страны. Наступлению реакции железнодорожники, энергетики, учителя, работники кинопромышленности противодействовали забастовками. И на стенах фойе театра имени Хорхе Негрете под кистью Сикейроса появляются сцены из окружавшей его действительности, насыщенной классовой борьбой. Кое-кому это оказалось не по вкусу — фрески забили фанерой, зал закрыли, а Сикейроса втянули в судебную волокиту «за невыполнение контракта», о чем он упоминает в письме к читателям «Иностранной литературы».

Размах народных волнений, грандиозных выступлений мексиканского пролетариата все ширится. В заявлениях учителей и железнодорожников, представленных правительству Мексики, выдвигаются требования о проведении аграрной реформы, о национализации промышленности, о поддержке кубинской революции. Чтобы сломить это движение, реакция прибегает к открытому нарушению конституционных прав и под предлогом «сохранения государственной безопасности» бросает в тюрьму двадцать семь политических и общественных деятелей — лидеров рабочего класса, преподавателей, журналистов. Среди арестованных — Давид Альфаро Сикейрос.

Попирая элементарные нормы законности, реакционные круги добиваются осуждения всемирно известного художника на восемь лет тюремного заключения по обвинению «в подрыве государственных устоев». В тюрьме, как сообщает Сикейрос в публикуемом письме, им выполнено много работ маслом. Но художник не рассказывает в нем о своей работе над фресками в зале свиданий тюрьмы Лекумберри. Однажды этот зал, по инициативе неистощимого в своих творческих замыслах Сикейроса, превратился... в театр! Здесь была поставлена пьеса, написанная одним из заключенных — Роберто Эрнандесом Прадо. Эта комедия «Господин адвокат по прозвищу «Не торопитесь!» бичевала равнодушно-холодных «блюстителей закона», которые на все просьбы заключенных и их родных о пересмотре дела отвечают с неизменным спокойствием: «Не торопитесь, все пойдет своим чередом!» Сикейрос, художник-декоратор представления, на переносных ширмах и щитах написал декорации, в которых осмеял черствость, бездушие, лицемерие чиновников буржуазного суда.

Стойкость и убежденность художника изумили и восхитили всех, кто следил за его судьбой, однако после нескольких представлений «театр» Лекумберри был закрыт, а художник подвергнут строгому режиму.

В тюрьме Сикейрос начал работать над серией эскизов

Этюд к фреске «Расстрел в Чильпансинго» (в период диктатуры Диаса).

к задуманной им росписи «Народ Мексики требует прав на электрическую промышленность».

— Представьте себе,— говорил Сикейрос в интервью для журнала «Импакто», которое ему разрешили в тюрьме),— каким великолепным содержанием можно наполнить эту фреску! Народ берет в свои руки электропромышленность, в корне может измениться его материальная и духовная жизнь!

Сикейросу не удалось осуществить свой замысел, хотя правительство Лопеса Матеоса под нажимом народных масс частично национализировало электрическую промышленность.

Художник продолжает работать над «заготовками» к своим будущим фрескам. Он создает серию в пятьдесят картин маслом для фрески в театре имени Хорхе Негрете. В одной из этих картин — «Фальстаф» — он изобразил лицемерие и ханжество буржуазной юриспруденции. Потрясающей горечи исполнены картины, посвященные заключенным и их родным: «Мать приводит детей в тюрьму, чтобы отец-заключенный смог накормить их из своего скудного пайка», «Мать, отец, врач, преподаватель и... государство», «Бегство без цели»... «Сколько людей мечтало разрешить свои проблемы,— говорил Сикейрос,— люди бегут из пустыни и скрываются в пустыне, ибо невозможно коренным образом изменить жизнь народа в рамках капитализма, свободу может дать лишь социальная революция».

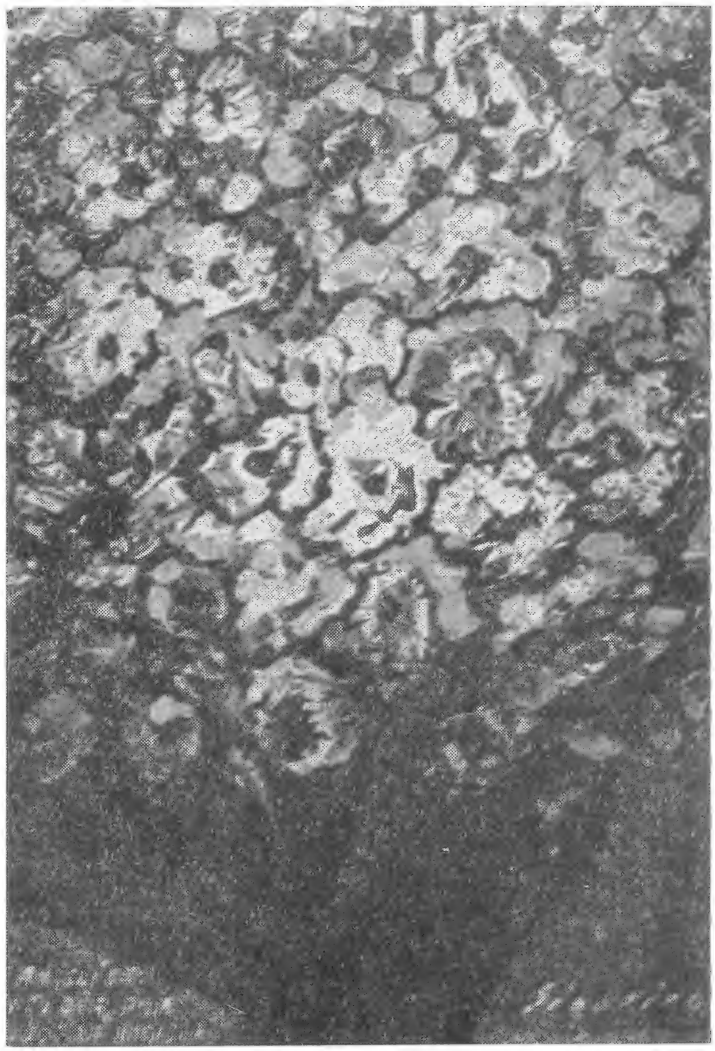
В своем письме Сикейрос не сообщает еще об одной огромной работе, начатой им в тюрьме. Речь идет об автобиографических записках, которые художник диктовал там прогрессивному журналисту Хосе Нативидад Росалесу. Они объединены общим названием «Мои тюрьмы», однако, несмотря на столь «локальное» название, Сикейрос дает в них широкую политическую панораму последнего полувека жизни Мексики. Последовательно Сикейрос защищает свое кредо: искусство должно изображать народ, быть вместе с народом, служить народу.

Давид Альфаро Сикейрос — друг нашей страны и советского народа буквально с того дня, как он узнал о Великой Октябрьской социалистической революции. Даже находясь в тюрьме, он живо интересовался жизнью Советского Союза, новыми явлениями в советском искусстве.

«Я должен прямо сказать,— писал Сикейрос в мексиканском журнале «Сьемпре» в прошлом году, обращаясь к советским художникам,— что ваше искусство выполняет невиданную в мировой истории по своему величию политическую задачу. Все ваше творчество служит социальному движению, которое открыло человечеству новую эру, и поэтому вы пользуетесь безграничной поддержкой первого в мире пролетарского государства. Для меня ясно, что вы своей живописью,

Пришли на свидание к заключенным.

«В день твоего рождения я не могу послать тебе цветы поэтому рисую их» — гласит надпись на обороте этой картины, посланной художником жене Анхелике Ареналь де Сикейрос.



скульптурой, графикой, плакатами, иллюстрацией, декорациями способствовали превращению отсталой царской России в передовую страну с развитой индустрией, сельским хозяйством, наукой, системой образования, спортом, в страну, располагающую всем, что нужно для счастья народа. Нет такого крупного центра или небольшого городка, поселка, деревни, фабрики, железнодорожной станции, клуба, школы, театра, где бы вы не были выразителями социалистической идеологии, марксистского мировоззрения. На больших площадях, на фасадах и интерьерах сотен тысяч построенных у вас многоквартирных домов можно увидеть ваше творчество.

Ваше искусство имеет великую цель, и потому оно реалистично. Это — героическое искусство, это — искусство-эпопея».

Художник-коммунист Сикейрос — на боевом посту. Мы видим его на передовой борьбы за мир, за счастье народное.

Л. Новикова

Давид Альфаро Сикейрос с внуком. Сентябрь 1964 года (фото дочери художника Адрианы Сикейрос Ареналь).

ПИСЬМА ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ АНРИ БАРБЮСУ

Сегодня, в 1964 году, когда исполняется полвека с начала первой в истории человечества мировой войны, мы с напряженным интересом вновь открываем «Огонь» Барбюса. Рядовой 231-го пехотного полка первым в мировой литературе запечатлел революционную правду об империалистической войне.

Резонанс «Огня» был огромным. Одним из первых читателей романа был В. И. Ленин. Известны высказывания А. В. Луначарского и А. М. Горького, Анатоля Франса и Ромена Роллана, Стефана Цвейга и Эрнеста Хемингуэя. В архиве Барбюса хранятся многочисленные письма его собратьев по перу. Автора «Огня» приветствовало подавляющее большинство французских писателей, люди разных политических взглядов и литературных направлений: Поль и Виктор Маргерит, Рони-старший, Л. Энник, Л. Декав, Пьер-Жан Жув, Поль Фор и многие другие. В восторженном письме Эдмона Ростана говорится: «Великолепна всепобеждающая сила Искусства Правды». Писатели-фронтовики Раймон Лефевр и Поль Вайян-Кутюрье называли Барбюса «поэтом Интернационала траншей».

Сегодня мы знакомим читателей «Иностранной литературы» с отзывами товарищей Барбюса по оружию, письмами фронтовиков, адресованных автору «Огня». Письма самые разнообразные: рядовых и офицеров (Барбюсу отдал должное даже военный цензор, прочитавший роман по долгу службы), людей ему совершенно незнакомых и товарищей по полку (любопытны письма командира Барбюса — сержанта Медара, одного из прототипов капрала Бертрана, и рядового Сюилара, выведенного на страницах «Огня» под своим именем). Корреспонденты Барбюса различаются взглядами и положением, возрастом и чином. Но в одном они сходятся: Барбюс запечатлел настоящую войну, войну реальную, действительную.

В беседе с А. В. Луначарским В. И. Ленин заметил: «В художественном произведении важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображенного. Читатель каждым нервом чувствует, что все именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано. Меня у Барбюса это больше всего волнует. Я ведь и раньше знал, что это должно быть приблизительно так, а вот Барбюс мне говорит, что это так и есть. И он все это мне рассказывал с силой убедительности, какая иначе могла у меня получиться только, если бы я сам был солдатом этого взвода, сам все это пережил».* В письмах фронтовиков мы находим замечательное подтверждение этой мысли: все они отмечают правдивость и точность описаний.

Если одни увидели в романе только картину собственных страданий, то другие подчеркивают революционную ценность книги. Жорж Пилле благодарит писателя за то, что он научил солдат «понимать их собственные мысли, показал им, что в них живет надежда на расплату». Он говорит: «Ни один из нас не ошибся в значении

Из материалов, переданных секретарем Барбюса Аннетой Видаль Институту мировой литературы имени А. М. Горького Академии Наук СССР и любезно предоставленных институтом для публикации в нашем журнале. Печатается впервые.

* А. В. Луначарский. Анри Барбюс. Из личных воспоминаний. «Вечерняя Красная газета». Л., 15 мая 1933 г.

«Зари». В «Заре» — последней главе романа — выражена воля солдат превратить империалистическую войну в гражданскую. Здесь ведется прямой спор с принципами буржуазной демократии. Над полями сражений занимается заря социалистической революции.

Большинство писем датировано 1917 годом — годом Октябрьской революции, солдатских восстаний во французской армии. Книга, создававшаяся в прямом общении с солдатскими массами, вернулась к фронтовикам как могучее средство революционной пропаганды. «Огонь» — испытанное оружие в борьбе с войной.

Ф. НАРКИРЬЕР

«Огонь» — это катехизис угнетенного, направленный против всех гнетущих его зол; надо, чтобы угнетенный знал, в чем истинные причины всех его бедствий.

ГАСТОН КОКИЛЬ. 62 батарея 188 полка тяжелой артиллерии. Луро — Ла Рошель.

Дорогой товарищ и друг! Я — солдат с 1914 года. Прочел ваш «Огонь» с восторгом. Спасибо за эту книгу, она придала мне силы и мужества. Я уверен, что мы, солдаты, когда вернемся с этой ужасной войны, тоже станем солдатами мира.

ШАРЛЬ СЕЭЛЕН. 4 рота 6 батальона карабинеров 8 дивизии, 22 октября 1917 г.

На нашем участке фронта сейчас спокойнее. Только что получил Вашу книгу «Огонь». Читали ее вслух. После прочтения солдаты моего отделения сказали: «Это — здорово!» Вас хорошо знают на передовой. Вот вам искренняя похвала фронта. Спасибо!

ЭЛИ БЕРТЕ. 1 Марокканская дивизия, Иностранный легион, 9 октября 1917 г.

Я прочитал «Огонь» в окопе. И мне хочется вслед за столькими другими пехотинцами сказать вам просто, от всего сердца: «Спасибо».

М. ЛЕБУШАР 14 октября 1917 г.

Нам очень близко все, что вы рассказали в этом произведении. Вот почему оно нам так нравится. Некоторые люди будут читать его ради сильных ощущений. Но лишь те, кто страдал, кто страдает и сегодня, те, чьи близкие остались на поле боя,— только они увидят в этой книге скорбный образ выстраданной ими войны.

Ж.— Р. РОДЬЕР.

Наконец-то появился захватывающий рассказ о нашей жизни, о наших мыслях. Мы давно его ждали. Он появился своевременно и будет жить вечно, как правдивое, я бы сказал, историческое описание этой войны.

Р. ФУЛОН. 13 госпиталь, Генгам.

Хочу, чтобы Вы знали, как все мы — я и мои товарищи — восхищаемся Вашим шедевром — «Огонь». Это самая искренняя и самая значительная книга из всех, какие нам только приходилось читать. От всей души благодарим Вас за то, что Вы передали наши думы и так красноречиво рассказали всему миру правду. Для нас Ваша книга — это восстановление справедливости и возмездие.

А. ФУКА. 13 пехотн. полк.

Надо, чтобы «Огонь» попал в руки ко всем тыловикам. Тогда они получат представление о страданиях тех, кто за них сражается.

ЖОРЖ ДЮПОН, матрос, 26 февраля 1917 г.

Ваша книга мучительно правдива. Это поистине эпопея фронтового солдата — настоящего солдата. Мои товарищи с восторгом читают ее и передают друг другу, с ее страниц встает их скромная и героическая жизнь. «Вот,— говорят они,— наконец-то нашелся честный писатель, который увидел правду (разве трудно ее увидеть?) и у которого хватило таланта, а главное мужества высказать ее; а ведь сколько известных писателей изо дня в день забивают нам головы своими разглагольствованиями!»

А. ДАРПЕН. 50 пехотный полк, нестроевая рота. 26 марта 1917 г.

Благодаря Вам наша жизнь запечатлена теперь для будущего во всей своей ужасающей правде.

ПОЛЬ БАРРЬЕ. 360 пехотн. полк, 21 рота. 1 сентября 1917 г.

У меня есть сын, я пошлю ему Вашу книгу, и он узнает из нее лучше, чем узнал бы по моим рассказам, что представляет собой наша жизнь вот уже три года.

Ш. ГАНЬЕ. 8 саперный полк. 27 августа 1917 г.

Я остался бы одним из безымянных читателей «Огня», если бы мне не пришла мысль,— но сперва я должен сказать Вам, что я лежу в госпитале, и нас здесь тринадцать раненых,— мысль прочитать вслух одно место из Вашего замечательного произведения. Закономерный успех этого первого чтения побудил меня повторить его... и с тех пор я не могу устоять перед товарищами, которые на все лады просят меня читать дальше, а потом начинать сначала — Вы ведь знаете, как это бывает. Вот почему я не мог не написать Вам, особенно сейчас, когда на Вас со всех сторон набросились подлые и злобные критики; от своего лица и от лица моих товарищей по страданиям я хочу выразить Вам горячее восхищение и наши добрые чувства. Знайте: из-под Вашего пера вышло самое искреннее и самое захватывающее произведение об этой войне.

ДЮМОТЬЕ. 45 госпиталь, 2 палата. Батиньоль де л'Орн, 3 июля 1917 г.

По силе наблюдения — это просто чудо. Я обнаружил здесь все этапы моей жизни в окопах, постыдной жизни, которая, кажется, затянулась до бесконечности.

АНРИ ФИШЕЛЬ. 149 пехотн. полк. 11 апреля 1917 г.

Ваш «Огонь» — это не только прекрасная книга, это — **ДОБРЫЙ ПОСТУПОК.**

РАУЛЬ АЛЕКСАНДР. Летчик. Эскадрилья Ф. 201. 20 января 1917 г.

Вы описываете, а мне кажется, что я снова вижу то, что было на самом деле. Я принимал участие в наступлении под Артуа в мае — июне 1915 года и узнал это место. Точно так же через несколько страниц я узнал и траншеи, полные воды. Вот почему я пишу Вам. Прошу только извинить меня за плохой стиль.

Р. ГРИЗЕЛЬ. 3 смешанный полк зуавов и стрелков. 3 ноября 1916 г.

Я не разделяю ваших политических идей и довольно скептически отношусь к намеченной Вами перспективе интернационального братства. Но Вы написали поистине скорбную окопную поэму. Вы так искренне, с таким волнением выразили глубокое сочувствие к бедному пехотинцу — «пуалю», что все мы, как один, будем Вам вечно за это благодарны.

ГОССЕ. 7 арт. полк, 7 батарея. 31 мая 1917 г.

Своей книгой Вы почтили память всех бедняг, павших на поле боя. Вот почему мы шлем Вам не только поздравления, но и благодарность.

ЖОРЖ ЖИРАР. 3 пулеметная рота, 78 пехотн. полк. 16 декабря 1916 г.

То, что миллионы мучеников глубоко, но смутно чувствовали в последние три года, которые составят эпоху в истории человечества, то Вы с огромным мастерством и сжато высказали в своей книге «Огонь». Строки этой книги — первые строки, прочитанные мною с начала войны, где не скрыта правда, вольно и невольно.

АНРИ ГЭЕ, лейтенант 2 батальона 2 смешанного полка зуавов и стрелков. 10 марта 1917 г.

В Вашей книге есть нечто, достойное восхищения еще больше, чем реалистическое изображение характеров, солдатской речи, событий. Это те идеи, которые Вы имели мужество высказать в ней. Ваше произведение служит высшему идеалу.

ЖАН ГЭ, писарь.

Самая лучшая книга о войне.
Книга, которая лучше всего воссоздает нашу эпопею.
Книга, которую всегда будут читать, цитировать, переводить.
Правдивая книга, громче всех прославляющая «пуалю».
И это — твоя книга.

ГЮЭ, помощник военного врача, 107 пехотн. полк, 2 батарея. 2 ноября 1916 г.

Читая Вашу книгу, я снова увидел себя в том ужасном краю, в том жутком кошмаре, который мы пережили в Артуа. Поэтому мне хочется обратить внимание на точность изображения людей и событий даже на самых мрачных страницах Вашей книги; одного этого было бы достаточно, чтобы Ваш «Дневник одного взвода» стал для меня драгоценным. Я не забыл ни Вас, ни Вашей отваги, ни Ваших заслуг при взятии высоты 119. Поздравляю Вас с большим успехом, отсвет которого падает на наш доблестный 231 полк.

Полковник ГИДАН. 246 пехотн. полк. 20 мая 1917 г.

Я провел два с половиной года в окопах вместе с доблестными сынами Франции, с «пуалю» из «Огня», и я не мог себе представить, что можно так правдиво, как это сделали Вы, передать мысли и чувства, повседневную жизнь и смерть «пуалю». Когда я читал Вашу книгу, у меня перед глазами проходил весь мой батальон. А как великолеп-

но изобразили Вы на последних страницах душевное состояние солдат. Сколько людей узнают себя здесь!

ЛИНЬЯК, военный врач, помощник хирурга. 18 февраля 1917 г.

Подумать только, ведь ты у меня на глазах день за днем писал эту книгу. Я горд, что могу говорить друзьям: «Барбюс был одним из моих «пуалю».

ЭМ. МЕДАР, сержант. 18 мая 1917 г.

Во всех уголках земли есть сейчас раненые или больные люди, которые видели то же, что видели Вы, и пережили то, что пережили Вы. Только одни страдали дольше и сильнее, другие — меньше.

Эти люди, к которым принадлежу и я, ждали, чтобы появилась правдивая книга, мужественное и верное изображение этой мерзкой войны; они ждали, чтобы кто-нибудь сказал за них то, что они видели и о чем не умели рассказать, то, что они думали и чувствовали, но не умели выразить. Во всей современной литературе они находили только ложь и обман. «Огонь» был для нас, уцелевших на войне, откровением, он стал для нас светочем. Читая его, мы научились лучше разбираться в своих собственных чувствах. Мы яснее увидели будущее и поняли, в чем состоит наш долг.

ПОЛЬ ПРЕВО. 23 февраля 1917 г.

Только что дочитал вашу замечательную книгу «Огонь» — я совершенно разбит волнением. Я плакал навзрыд. Спасибо за Ваше прекрасное искусство.

Ж. ПИЛАСТР.

Мы обязываем Вас писать и дальше в том же духе, потому что Вы проникли в истинные мысли Ваших героев.

ПОЛЬ ПЕТТЕЛЕР и Э. КАССАН, мобилизованные два с половиной года назад. 13 декабря 1916 г.

Мне хотелось бы, чтобы Вы поняли, что я испытываю, читая Вашу книгу. Как чувствуется, что Вы были рядом с нами! Какой верный у Вас взгляд! И с каким великолепным мужеством Вы высказали то, что думаем мы все!

ПЬЕР РЕНАР, бригадир. 3 взвод, 2 эскадрон 5 пехотного кирасирского полка. 2 января 1917 г.

Раз есть «Огонь», нам больше не нужно никаких дневников, нам нечего туда записывать. Ты сумел раскрыть наши чувства, наше бессилие и наши надежды. Ты написал полезную книгу. Ты научил многих понимать их собственные мысли и показал им, что в них живет надежда на расплату; ни один из нас не ошибся в значении «Зари».

Ж. ПИЛЛЕ. 144 пехотн. полк, 2 батальон. 9 января 1917 г.

Сперва один факт: они вырывают ее друг у друга. Они записываются в очередь, чтобы ее прочитать. Вокруг меня не переводятся просители, которым приходится запастись терпением. «Они» — это солдаты. Всех категорий: есть и интеллигенты, культурные люди, и люди простые, скромные. Проходя мимо блиндажа, я слышал, как ее читали вслух.

Она волнует, заставляет размышлять. Судите же сами, с какой любовью она написана, как искренне, как правдиво. Она действует и на невежественную или почти невежественную массу, и на отдельно взятого человека, интеллигентов. И заметьте, что я производил этот опыт только на солдатах. Они находят в ней себя, видят себя как в зеркале. Они открывают самих себя. И если не все умеют это высказать, то чувствуют это все. Они могут обратиться к тем, кто остался вне армии, к будущему поколению, к тем, для кого переживаемые нами минуты станут историей, и, показывая им эту книгу, сказать: «Смотрите, это мы. Смотрите и живите вместе с нами. Вот наша Голгофа, вот наш крест. Претерпите наши беды, наши страдания, пересчитайте наши раны. Посмотрите, что мы делаем. Измерьте, если можете, измерьте наши муки, наше самоотречение; а потом спросите себя — зачем? Спросите себя — почему? И да снизойдет на вас свет и «Истина».

Р. Б., солдат.

Это, мне кажется, самый мужественный, самый честный и правдивый документ из всего, что написано в данное время о пережитых нами страданиях. Я уверен, что эта книга будет жить... когда все ужасы останутся позади.

АДОЛЬФ КОССАР. 10 января 1917 г.

ВСТРЕЧА С БОЛГАРСКИМИ ДРУЗЬЯМИ

В золотую московскую осень в этом году влились разнообразные мелодии болгарских песен. В парках, дворцах культуры и театрах советские зрители тепло приветствовали замечательный хор болгарских пионеров «Бодра смяна», талантливых оперных певцов, а на крупнейших предприятиях столицы хозяева по-братски принимали делегации из Болгарии. Вместе с нашими друзьями советские люди отмечали славное двадцатилетие социалистической революции в Болгарии и радовались их успехам в политической, хозяйственной и культурной жизни.

На празднование знаменательной годовщины в Москву приехали и посланцы болгарских писателей, наши давние и большие друзья — Людмил Стоянов, Мария Грубешлиева и Георгий Джагаров. Они представляют разные поколения болгарских писателей, у них разные творческие индивидуальности, но одинакова большая любовь к нашим людям, нашей культуре и литературе. Произведения наших гостей хорошо знакомы советскому читателю. На русском языке не раз издавались повести Л. Стоянова, печатались переводы его стихотворений. Выходили на русском языке стихи и рассказы Марии Грубешлиевой. Сейчас Государственное издательство художественной литературы готовит к изданию отдельную книгу рассказов болгарской писательницы под названием «Заботы и радости». У Георгия Джагарова много друзей в Советском Союзе. Он учился в московском Литературном институте одновременно с В. Солоухиным, В. Тендряковым и другими советскими писателями. Несколько лет назад в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник его стихотворений «На колени не падать» в переводе Е. Евтушенко; его стихи не раз печатались в наших сборниках, журналах, газетах.

К двадцатой годовщине освобождения Болгарии на русском языке вышел новый сборник избранных стихотворений современных болгарских поэтов «Радуга», в котором есть и произведения Л. Стоянова, М. Грубешлиевой, Г. Джагарова.

Гости посетили редакцию журнала «Иностранная литература», на страницах которого не раз печатались их произведения.

Болгария и Советский Союз очень близки по языку и культуре, традициям революционной борьбы. Болгария — наш давний и верный друг и соратник. В эти торжественные дни нам особенно хотелось услышать, чем живет сейчас болгарская литература, над чем работают писатели, каковы их творческие планы и замыслы. Об этом и шел теплый, задушевный разговор.

Как и обычно, в начале беседы — традиционный вопрос: каковы ваши впечатления о Москве?

— В Москве мы всегда чувствуем себя как дома, это наша вторая родина,— отвечает Мария Грубешлиева.

— Я не был в Москве всего несколько лет,— говорит Георгий Джагаров,— но и за эти годы она очень изменилась. Здесь много и хорошо строят, и это радостно.

Разговор заходит о новых книгах. Недавно в болгарских издательствах появилось много новинок — это сборник стихотворений П. Матева «Родословная», Д. Методиева «О времени и о себе», Е. Багряны «От берега к берегу», рассказы Д. Фучеджиева, новый роман К. Калчева и другие произведения. Особо гости выделяют четвертую часть романа-эпопеи Емилиана Станева «Иван Кондарев», который в этом году удостоен Димитровской премии. В центре повествования — образ коммуниста Ивана Кондарева, прошедшего долгий и сложный путь революционной борьбы.

Людмил Стоянов рассказывает о романе Камена Калчева «Двое в новом городе», который охватывает жизнь Болгарии за последнее двадцатилетие. Георгий Джагаров — автор недавно законченной новой пьесы «Прокурор», о которой очень тепло отзываются его старшие товарищи Людмил Стоянов и Мария Грубешлиева. Пьеса «Прокурор», посвященная проблеме ответственности за человеческие судьбы, удостоена премии на Третьем национальном смотре болгарской драматургии и театра, проходившем летом нынешнего года.

Георгий Джагаров говорит о болгарской поэзии и литературной критике. Он называет имя талантливого поэта Пеньо Пенева, жизнь которого трагически оборвалась в 28 лет. Пеньо Пенев, несмотря на его увлечения и срывы, в основном был и остается поэтом партийным, гражданским. Он посмертно удостоен Димитровской премии.

Людмил Стоянов, Мария Грубешлиева и Георгий Джагаров в дни пребывания в Советском Союзе.

Среди новых имен Г. Джагаров называет молодого поэта Емила Рупела, первый сборник которого вскоре выйдет из печати. Литературная критика Болгарии также пополняется новыми именами.

В начале этого года, отвечая на вопросы анкеты журнала «Иностранная литература», Л. Стоянов и М. Грубешлиева писали о своих творческих планах, о том, над какими произведениями они работают в последнее время.* Их замыслы уже воплощаются в жизнь.

Когда слушаешь, как Людмил Стоянов рассказывает о своем писательском труде, трудно поверить, что в прошлом году было отмечено его семидесятипятилетие. Он по-прежнему бодр и энергичен, а его работоспособности может позавидовать любой молодой писатель. Сейчас он продолжает работу над подготовкой нового издания своих избранных произведений в пяти томах и заканчивает пьесу о Христо Ботеве. Одновременно он работает над второй частью автобиографического романа «Детство, молодость и война», а также над поэтическими произведениями.

— К сожалению, я не умею одновременно работать над несколькими произведениями,— говорит Мария Грубешлиева.— Я не могу начать следующую работу, пока не доведу до конца предыдущую. Сейчас я заканчиваю восстановление романа «Враги», написанного мною более двадцати лет назад, но искалеченного цензурой. В ближайшее время роман увидит свет в полном объеме. В начале будущего года должен выйти из печати сборник моих стихотворений «Каждый день», в котором собраны стихи последних трех-четырех лет. Недавно я написала поэму «...И кровь по осенним травам», посвященную героической борьбе болгарских партизан против немецких фашистов. Эта поэма уже опубликована в журнале «Септември».

В серии избранной лирики вскоре появится сборник стихотворений Джагарова. Он намерен опубликовать также небольшую книжку своих статей о поэзии, о позиции поэта в литературной борьбе. В последнее время, отмечает он, в Болгарии появилось несколько работ такого рода. Среди них и книга Людмила Стоянова «Народ и писатель».

Творческие планы у наших гостей обширны, и мы желаем им успешного их воплощения.

Встреча с друзьями — всегда радость. И особенно, если это такие искренние друзья, как наши болгарские гости.

С. Пархомовская

---

* См. «Иностранную литературу» № 1, 3 за 1964 г.

НАШИ ГОСТИ

БЕСЕДУЯ С НИКОЛАСОМ ГИЛЬЕНОМ

Лет пять назад Николас Гильен впервые побывал в нашей редакции — кстати, беседой с ним мы открыли в журнале эту рубрику, «Наши гости». Тогда кубинский поэт, незадолго перед тем вернувшийся на родину после многих лет эмигрантских скитаний, рассказывал нам о своем народе, только-только завоевавшем свободу, об участии писателей в народной борьбе, о первых ростках революционной литературы *.

Николас Гильен снова посетил нас. Теперь мы встретились уже с национальным поэтом социалистической Кубы, которого писатели и деятели искусства острова Свободы избрали президентом своего творческого Союза. Несмотря на истекшее время и будто бросая вызов времени, Гильен все такой же, каким мы знавали его раньше: жизнерадостный, неуемный, горящий, боевой... А годы? Что ж — поэт шутливо оговаривается — нет, ему не шесть десятков с лишним, а всего-навсего тридцать с чем-то, лучше возраст делить наполовину...

— Иначе нельзя,— смеется Гильен,— еще очень много работы у нас на Кубе, и работа не ждет.

Развивая свою мысль, поэт говорит:

— Сделано, конечно, немало, но большее — впереди. Что сделано? Самое главное — мы выиграли битву с неграмотностью. Разумеется, не легко было вести эту битву — упорную, порой весьма тяжелую, зато сейчас все те, кто физически может читать и писать, все читают и пишут. Мы с удовлетворением отмечаем: на Кубе неграмотность практически ликвидирована. Однако это еще не все. Люди, до революции не державшие в руках книгу, научились не только читать. Культурная революция пробудила в них жажду знаний. Более того, в массах прямо-таки бурлит творческий дух. Мы, в Союзе писателей и деятелей искусств, ежедневно получаем огромную почту: стихи, рассказы, партитуры, рисунки, повести, романы, либретто. Это новые произведения новых авторов. В литературу идут крестьяне и рабочие, много повидавшие на своем веку, с оружием в руках сражавшиеся за освобождение родины, строящие новую, социалистическую Кубу. Им есть **что** сказать, хотя, вполне понятно, еще не все знают, **как** сказать, как выразить на бумаге свои мысли, передать свои чувства. Беспрерывно нарастающий творческий порыв народа — это свидетельство веры в революцию, свидетельство духовного развития народных масс, оптимизма и радости и... следствие ликвидации неграмотности в стране.

В нынешних условиях — мы скоро будем отмечать шестой год кубинской независимости — перед нами стоит важная задача: развивать далее, формировать сознание масс и вместе с тем создавать нашу новую интеллигенцию. Строитель социалистической Кубы должен знать многое, должен понимать многое, должен творчески относиться к своей работе.

Мы создаем культуру, отвечающую нашей революционной действительности,— кубинскую социалистическую культуру. Естественно, поэтому необычайно возрастает объем работы кубинских писателей. Наши писатели не только поддерживают теснейший контакт с народом, они живут в народе. В самые тревожные для Кубы дни писатели были там, где находились лучшие люди страны,— на передовой, среди солдат нашей армии. Каждый поэт и прозаик считал своим священным долгом быть на боевых позициях, защищать революцию и словом и оружием. Теперь же наши друзья, солдаты

* См. «Иностранную литературу» № 1 за 1960 г.

— Наша революция — поистине волшебный источник творчества.

и моряки, приезжают к нам, в Союз писателей, со своими произведениями...

— Что еще характерно для культурной революции на Кубе?

— Я уже говорил, что у нас рождается новая интеллигенция с новым мировоззрением. Это отнюдь не означает, что мы зачеркиваем все прошлое нашей культуры. Никоим образом! Кубинскую национальную культуру в свое время пытались уничтожить испанские и североамериканские оккупанты вкупе с кубинскими мракобесами. Немало усилий потратили янки на «североамериканизацию» или «пуэрториканизацию» Кубы, хотели превратить нашу страну в некую разновидность «Свободно присоединившегося государства Пуэрто-Рико», как известно, созданного госдепартаментом и конгрессом США. Кубинская реакционная буржуазия, со своей стороны, с неприкрытым пренебрежением относилась к традициям нашей литературы, не признавала культурное прошлое нации. И только кубинская революция, провозгласившая и осуществившая подлинное освобождение народа, достойным образом оценила и потребовала восстановить духовное наследие, возродить национальную культуру. Наша старая интеллигенция, поставившая себя на службу народу — почти все писатели, виднейшие представители науки и искусств находятся на Кубе,— с жаром откликнулась на призыв революции. Правительство предоставило все для плодотворной работы. Я хотел бы отметить особо факт создания различных культурных учреждений, и в частности Национального издательства — впервые в истории страны. От Национального издательства, как и от других издательств, народ получил бессмертные творения кубинской и мировой литературы, впервые мог ознакомиться с произведениями советских писателей, с тем, что ранее было ему недоступно. Это также великое завоевание кубинской революции.

— Как вы оцениваете современную кубинскую литературу?

— Прежде всего надо напомнить о двух крупнейших явлениях литературной жизни Кубы. Впервые в истории нашей страны было основано объединение работников национальной культуры — Союз писателей и деятелей искусств Кубы. Трудно переоценить значение этого факта. Наш Союз — детище кубинской социалистической революции. Через Союз мы активнее участвуем в революционной жизни нашей родины, эффективнее осуществляем и отстаиваем принципы нашей социалистической революции. Союз объединяет писателей, художников, артистов разных творческих направлений, однако у всех нас единая платформа, единая база — кубинская социалистическая революция. Во имя ее интересов мы работаем, для нее мы создаем наши произведения. В деле образования Союза писателей и деятелей искусств нам очень помог Фидель Кастро, своими выступлениями перед творческой интеллигенцией Кубы развеявший сомнения, зародившиеся кое у кого. Фидель очень четко и ясно сказал: революция защищает свободу, и революция предоставляет все права, если это не во вред революции, и творчество каждого оценивается через призму революции. Повторяю, у нас, в Союзе, есть представители разных творческих направлений, однако, надо подчеркнуть, набирает силы реалистическое направление, и народ поддерживает реализм в искусстве и литературе.

Другим примечательнейшим явлением нашей литературной жизни следует назвать активный приток молодежи в литературу. За последние годы появилось много произведений, написанных молодыми авторами. Есть хорошие произведения, есть и незрелые. Иной раз, например, сказывается неопытность автора, пишущего о революции. Вероятно, это потому, что мы впервые делали революцию, и потому, что революция произошла так недавно, она рядом с нами— и требуется ее творчески осмыслить, прежде чем дать мастерское произведение. Мы надеемся в один прекрасный день обнаружить пока еще не известного певца, который сможет лучше других воспеть нашу революцию. А наша революция—поистине волшебный источник творчества — подсказывает столько чудесных тем!.. Мне приятно сказать, что наши старые — помолодевшие с революцией — литераторы стоят в одном

ряду с молодыми, не уступают молодым. И меня очень радует, что у нас звучат сильные голоса молодых поэтов и прозаиков. Я не буду влезать в дебри литературоведческих изысканий, не буду расставлять имена по категориям, по полкам — не мое это ремесло. Я скажу только одно: наша литература находится на службе социалистической революции, принесшей новое видение мира, и кубинские писатели строят новую, революционную литературу. Строят неустанно, горячо, уверенно...

Николас Гильен, как обычно, очень не любит говорить о себе. Он с увлечением рассказывает, например, о творческой работе выдающегося кубинского писателя, автора известного советским читателям «Царства земного» Алехо Карпентьера, последний исторический роман которого «Век просвещения» возбудил такой интерес на Кубе и за ее пределами, о новеллах Онелио Хорхе Кардосо и стихах Файяда Хамиса, об авторе нашумевшей книги «Бертильон 166» Хосе Солере Пуиге — рабочем, который после революции стал писателем, а сейчас заканчивает свою третью книгу и одновременно учится в университете, о многих других поэтах и прозаиках Кубы. Но вот разговор заходит о Николасе Гильене, и Николас Гильен смолкает.

О творчестве Гильена зато поведала нам его последняя книга, недавно вышедшая из печати на родине поэта. В этой книге, носящей название одного из помещенных в ней стихотворений — «Что есть у меня»*,— собраны произведения Николаса Гильена, созданные им в течение последних лет. Более шестидесяти стихов помещено в этой книге в скромной темно-серой обложке, появление которой нашло широкий отклик в кубинской печати,— стихов о Ленине, о кубинской революции, о Советском Союзе — верном друге кубинского народа, о международной солидарности с островом Свободы, о народах Латинской Америки, борющихся за свое освобождение...

Хорошо сказал в предисловии к новому сборнику поэта Хосе Антонио Портуондо: «Эта книга отражает триумф нашей социалистической революции... Полным голосом поет кубинская революция в стихах Николаса Гильена».

Юрий Дашкевич

---

* Публикуется в этом номере «Иностранной литературы».

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Сигэхару Накано. Волны Японии. Стихи. Перевод с японского Анатолия Мамонова. Москва, Издательство «Правда», 1964. 30 стр.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ДОРОГУ ПОСТРОИТЬ...

«Я по-прежнему стоек — не из гордости, не ради славы, не для того, чтобы увековечить свое имя. Я просто поступаю так, как должен был бы поступить на моем месте всякий». Эти слова принадлежат одному из основателей японской компартии Сёити Итикава. Они написаны им в 1945 году в тюрьме незадолго до смерти от пыток, когда даже вбивание гвоздей в ступни было не самым страшным испытанием. Подобный героизм, самопожертвование, преданность идеям коммунизма отличают всех тех, кем гордятся коммунисты Японии,— Сэн Катаяма, Кюити Токуда, отдавших жизнь борьбе рабочего класса, Иосио Сига, Итидзо Судзуки, Сигэхару Накано и многих других стойких коммунистов, сражающихся во главе трудящихся Японии сейчас.

«Волны Японии» — небольшой поэтический сборник, вышедший в серии «Библиотека «Огонька»,— лишь частица того, что сделано поэтом, беллетристом и литературоведом Накано. Но и по нему можно судить о творчестве поэта-коммуниста.

Сигэхару Накано 62 года. За спиной у него тяжелая, полная опасностей жизнь,— работа в подполье, аресты, годы в довоенной японской тюрьме, перед ужасами которой меркнет «слава» средневековой инквизиции. Минувшие годы густо посеребрили голову Накано, но страдания и лишения не сломили его духа. Толстые стекла очков не в силах скрыть юношеский блеск его глаз. Глядя на поэта, слыша его уверенную речь, знаешь, что и теперь Накано полон сил и желания строить ту дорогу, о которой он пишет в одном из стихотворений, включенных в сборник «Волны Японии».

О, для того, чтоб ее построить,
мы огромный котел поставим
И швырнем туда буржуазию
и систему абсолютизма!
. . . . . .
Для того, чтоб дорогу построить,
Для того, чтоб широкой дорогой
зашагали вперед
совершенные люди.

(«Строительство дороги»)

В стихотворении «Песня», которое открывает сборник «Волны Японии», есть примечательные строки:

Ты отбрось
все, что делает сердце пустым,
что рождает неискренность чувств
и тоску навевает, отбрось!
Славь
лишь честность одну,
Только то, что полезно душе,

Что клокочет
и рвется из сердца на бой,—
Песню новую пой!

В сборник включены стихи Накано разных лет, и они, естественно, по-разному воспринимаются современным читателем: одни — как страничка боевой истории японской компартии, другие — как верно схваченный кусочек жизни совсем недавней Японии. Но есть в сборнике стихотворение «Снимок в газете», которое звучит исключительно современно, как будто оно написано не тридцать лет назад о событиях той поры, а сейчас, сегодня, когда империалисты создают очаги напряженности то в одной, то в другой точке земного шара.

О, мама,
Прошу вас, не отворачивайте лица!
Не отводите глаз от газеты —
там людей заставляют людей убивать!
Прошу вас, не прикрывайте ладонью
трясущейся
Снимок убийцы — это мой брат, ваш сын!
Вырвите сына из грязных рук —
До того,
как тысячам матерей
Продырявят насквозь сердца,
До того,
как и вы разделите
Горькую участь их...

Сигэхару Накано часто называют лириком. Действительно, им создано множество стихов, которые по всем внешним признакам — лирические: в них и любование природой, и очень тонкое и точное описание пейзажа и настроения, этим пейзажем навеваемого. Но за картинами природы в стихах Накано всегда скрывается глубокий смысл. Стихотворения «Отель «Империал», «Волны», «Прививание черенков» — яркий образец такой лирики.

Сигэхару Накано, а вместе с ним и японские коммунисты Хироси Нома, Инэко Сата, романы и повести которых переведены на русский язык, Ири и Тосико Маруки, чье панно «Хиросима» знакомо советским людям, скульпторы, деятели кино, театра, ученые хорошо понимают свою ответственность и отдают свои силы и талант служению народу. Сигэхару Накано и его друзья делают это не ради славы, не для того, чтобы увековечить свои имена. Они поступают так, как должен поступать на их месте всякий, кому близки и дороги стремления народа.

В. ЦВЕТОВ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

... Сегодня в горах и сельве Колумбии звучат выстрелы, раздаются взрывы бомб — партизаны сражаются против реакционной диктатуры. Может быть, и поэтому с таким волнением берешь в руки роман Рафаэля Умберто Гавириа «Луна и винтовка» (1960): хотя действие его развертывается в 1948 году, когда народ Колумбии поднялся против военно-фашистского режима Лауреано Гомеса, читателя не покидает ощущение, что перед ним развертываются события наших дней. Автор недаром посвятил свою книгу памяти товарищей, павших на баррикадах.

Роман состоит из трех частей: «Люди», «События», «Винтовки», подобная композиция оправданна. Прежде всего — народ, люди. Народ творит события. И чтобы «творить события» — нужно оружие, нужны винтовки.

«Люди» — это пять основных действующих лиц: Флоренсио, мелкий банковский служащий, задавленный нуждой; студент Анаксимандр — еще пять лет отделяют его от того часа, когда он положит на родительский стол диплом; начинающий писатель Мартин, которому с трудом удается устроить свою первую книгу; медсестра Марсела, отказавшаяся от выгодного замужества и ставшая революционеркой; и наконец коммунист Эсперидион, в тюрьме овладевший основами марксизма.

Разворачиваются «события». Пять несхожих между собой людей пришли в революцию и вместе с восставшим народом добывают оружие, винтовки, чтобы бороться за свободу, за новую жизнь, построенную на справедливости.

Полон глубокого смысла эпиграф к третьей части романа — строки из стихотворе-

Рафаэль Умберто Гавириа. Луна и винтовка. Роман. Перевод с испанского М. Абезгауз. Предисловие В. Кутейщиковой. Редактор Л. Борисевич. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 205 стр.

ния Хосе Марти: «На исхлестанных плетью плечах вырастают крылья».

Восстание подавлено. Пятеро героев, участников подпольной группы «Луна и винтовка», в тюрьме. Они испытывают жесточайшие муки. Марселу отдают на потеху солдатам. Уцелел один Флоренсио. Он шагает по равнине. Увидев вылезающую из-за дюн луну, он протягивает ей винтовку, отобранную у убитого солдата, и кричит: «Обожди меня, луна!.. Обожди, теперь у меня есть винтовка». Где-то позади — мгновение трусости, где-то в прошлом — нерешительность. Революция, окровавленная, потерявшая лучших своих сынов, идет вперед. Борьба продолжается.

ЭЗРА ЛЕВОНТИН

Субраманья Баради. Стихотворения. Перевод с тамильского. Составление, предисловие и примечания И. Смирновой. Редактор переводов Н. Браун. Москва—Ленинград, Гослитиздат, 1963. 156 стр.

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ТАМИЛНАДА

Каждый год в середине сентября в небольшую деревушку Эттаяпурам, что на крайнем юге Декана, где родился и вырос Субраманья Баради — основоположник современной тамильской поэзии, съезжаются лучшие представители культуры штата Мадрас, гости из других штатов Индии и из-за рубежа, чтобы в торжественной обстановке отметить день рождения талантливейшего тамильского махакави («великого поэта»).

В сентябре прошлого года мне довелось быть в Мадрасе и присутствовать на заседании Ассоциации тамильских писателей, значительная часть которого была посвящена творчеству Субраманьи Баради. Когда мы сообщили, что стихи Баради получили признание и в Советском Союзе и что вскоре должен выйти сборник избранных произведений тамильского поэта на русском языке, в зале вспыхнула восторженная овация.

В тамильской литературе почти до начала XIX века преобладала поэзия. Может быть, поэтому Тамилнад так часто называют страной поэтов, и наиболее одаренные его представители оттачивают свое мастерство на традиционных поэтических турнирах.

Еще мальчиком Субраманья начал участвовать в состязаниях поэтов при дворе мелкого тамильского князя, у которого служил его отец. Уже в это время проявился несомненный творческий дар Субраманьи, и близкие называли маленького поэта «баради», что значит «божество красноречия».

Начало жизненного и творческого пути Субраманьи Баради совпало с периодом бурного подъема национально-освободительного движения в Индии в конце прошлого века и разгоревшегося с особой силой в первом десятилетии нашего века. Навсегда связав свое творчество с патриотическим движением народа, поэт сотрудничает в первой крупной тамильской газете «Свадешамитран», основывает свою независимую газету «Индия». После 1908 года, в черные дни реакции и репрессий, Баради пришлось бежать в Пондишери, принадлежавшее тогда Франции, где он провел в изгнании долгие десять лет.

Субраманья Баради — поэт-новатор, решившийся на смелую ломку традиционной поэзии. Он бросил вызов «общественному вкусу» схоластов и грамматистов от поэзии, молившихся на отжившие век каноны тамильской поэзии и риторики тысячелетней давности, вступил в борьбу с условным стилизованным языком, застывшей фразой. Субраманья Баради заговорил с народом не на искусственном рафинированном «чистом тамильском» (шентамиж), а на близком и понятном простым людям народно-разговорном языке (кодунтамиж); обличая тех, кто предпочитал ему язык иноземный, поэт призывает соотечественников свято хранить родной тамили:

Послушайте мудрое слово:
Язык свой должны мы беречь,
На улицы края родного
Чеците тамильскую речь!

(«Тамильский язык». Перевод С. Ботвинника)

Только на языке народа мог творить поэт-гражданин, поэт борец, настоящий художник своего времени, воплотивший в своем творчестве все то, что волновало его современников. Тема любви к матери-Индии, братства народов, ее населяющих, проходит в творчестве поэта разных лет. Немало стихов посвящено городам и деревням Индии, горю и нужде простого индийца, задавленного угнетателями, иноземными и отечественными («Наша страна», «Лжепатриоты», «Пробуждение матери-Индии», «Уходящая и приходящая Индия», «Новая Индия»).

В своих патриотических стихотворениях, проникнутых верой в могучие силы народа, Субраманья Баради чаще всего обращается к свободе, без которой «и поэты не сложат поэмы, и науки бессильны, и веды забыты». Он хорошо знал своих друзей — борцов за свободу и независимость, самоотверженности которых он отдает дань в одном из лучших своих стихотворений — «Разговор патриота Чидамбарама Пиллея с господином Уинчем».

Субраманья Баради писал замечательные детские стихи и глубокую философскую лирику; а пейзажи родной природы, нарисованные в стихотворениях сотен и сотен тамильских поэтов разных времен, описаны у него так необычно, так ярко, что его по праву назвали «певцом и поэтом природы». Многим читателям, наверное, придется по душе такое динамичное описание ливня, где образ «ветра шального» приобретает символическое звучание:

Пылью дробясь, преграждая просторы
Серой стеной подвижной водяной
И размывая окрестные горы,
С неба свергается дождь проливной.
Зябко сжимаясь, к земле пригибаясь,
Скорчился мир под сырой пеленой.
Сыплет, вздуваясь, взвиваясь, взрываясь,
Дробь барабанную ветер шальной.

(«Дождь». Перевод Ю. Корнеева)

Перу Баради принадлежат стихи и поэмы, публицистические статьи и роман «История Чиннашанкарана». Он умер, не дожив и до сорока лет, не осуществив многих своих творческих планов.

Советскому читателю Субраманья Баради дорог еще и тем, что он первым среди творческой интеллигенции Индии откликнулся на события Великого Октября, написав стихотворение «Новая Россия», в котором воспевал победу нашего народа и звал всех индийцев так же «перестроить свою жизнь», как это сделал «восставший народ русской земли».

В. МАКАРЕНКО

ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ

«Это — трудная книга»,— начинает свое предисловие к сборнику стихов чешского поэта Иржи Шотолы Борис Слуцкий. Правда, из этого же предисловия читатель может вынести впечатление, что главная трудность все-таки в необычной форме стиха, в том, что большинство стихов Шотолы лишено рифм и разбивки на строфы.

Нет, читать книгу Шотолы «Это было в Европе» трудно по иной причине. «Воздух жгуч, как провода под током»,— говорится в поэме, именем которой названа вся книга. И кажется, что это сказано о поэтическом воздухе, которым дышит читатель. Речь идет о «воздухе» нашего сложного времени, воздухе целого мира, ибо поэта интересуют и волнуют процессы, происходящие и далеко за пределами Чехословакии.

Перед нами словно прокручивается фильм талантливого режиссера — то бесстрашно замедляющего темп и заставляющего нас вглядываться в мельчайшие подробности, то тяготеющего к грандиозным метафорам, то поражающего искусным монтажом скупой хроники и тонкой лирики.

Только что, так сказать, в кадре — «воздушный шарик цвета счастья над площадью неторопливо, как дым из трубки, поднимался». Как мирно и это плавное движение, и сам образ, вызывающий фантастическое представление об исполински-добродушном городе, который наслаждается утренней трубкой! Все это не предвещало картины ярмарки, где все обретает до того трагический оттенок, что «красное мясо» арбузов воспринимается уже не как живописное сравнение, а шутовские колпаки предназначены вовсе не для однодневного, маскарадного употребления.

А «Дансинг», где стоит, по известному выражению, дым коромыслом, но где этот «дым» отчетливо связывается поэтом с недавним прошлым:

Боже, кто спросит, кто вспомнит, откуда
здесь этот дым?
Я думал всю ночь, далеко ли отсюда был
Освенцим?

(Перевод М. Ярмуша)

Желтая роза, пришпиленная на колене певички, вдруг напоминает о лагерном номере узника; певичка пляшет, «словно черная лодочка... в кружевной взбаламученной пене», чтобы потом очнуться «на чьей-то постели простреленною картонною мишенью». Тут, казалось бы, прихотливая цепь авторских ассоциаций крепко спаяна тревогой за тех, кто не способен отдать себе отчет в происходящем. Им бы опомниться: «Без конца надувают нас!» Им бы увидеть: весело пляшущая лодчонка несется к водовороту! И разве дело просто в том, что сломленная хмелем женщина походит на куклу, на чучело? Ариаднина нить авторского замысла ведет нас сквозь лабиринт образов: истерическая пляска, засасывающая людей, надувательство, обман,— и наконец «высокое трезвое утро похмелья», застающее жертву обмана «пробитой картонной мишенью»:

Иржи Шотола. Это было в Европе. Перевод с чешского. Составитель Н. Николаева. Предисловие Бориса Слуцкого. Редактор Б. Шуплецов. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 130 стр.

Двенадцать лет, как прошла война, но
вновь сегодня глядится в очи —
с цветком на колене, угарной ночью,
с радиоактивной рыбой в руке.

Само название поэмы Иржи Шотолы многозначительно. Оно звучит как предупреждение: это было в Европе, и это может опять повториться, если люди забудут, если они будут беспечны.

Поэт мечтает о грядущем, когда не будет войн, когда солнце будет мирно греться на тротуаре, вырастут дети, не отравленные ни стронцием, ни тяжкими воспоминаниями.

Голода не припомнишь, забудешь богов
погибших,
Кровь войны не увидишь на
покрасневших вишнях.
Услышишь тончайшую ноту, что я
осознать хотел
В этих разрозненных строфах, ей
положивших предел, —

с доброй завистью говорит поэт сыну. Тому не придется не только убивать людей, но даже — «убивать в казарме дни».

Но пока еще в мире неспокойно, и, зная, что жизнь прекрасна, что выставленное за дверь ведро с водой к ночи «полно планет», что даже неказистый прут, плывущий по реке, «весь в брызгах, как в звездах», надо снова и снова напоминать людям: *это* было и *это* не должно повториться!

Вот почему, по-моему, книга Шотолы трудная: автор много думает о том нелегком и противоречивом, что есть в нынешнем мире, и мы тоже включаемся в его тревожные раздумья. Об этом хорошо сказал Иржи Шотола, размышляя о человеке:

Куры клюют с руки. Но человек —
это птица.
Пешая птица —
в клетке ему не летится.
Он идет и идет,
он сам себя ищет, дороги клубя,
и сам истекает кровью,
когда не находит себя.

(«Моя исповедь». Перевод Б. Окуджавы)

Он не пугает. Он предупреждает. По-своему он говорит те же прекрасные слова, что впервые прозвучали на его родном языке:

— Люди, будьте бдительны!

А. ТУРКОВ

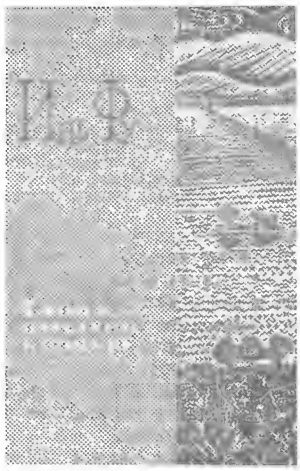
ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИИ И ЛЮБВИ

В этой небольшой книге с красной полосой на суперобложке собраны лучшие произведения поэта-революционера, слишком юного, чтобы говорить о житейской его мудрости (он прожил двадцать два года), но достаточно зрелого, чтобы преклоняться перед величием его духа.

Было грозное время. После поражения первой гражданской революционной войны 1924—1927 годов по Китаю прокатилась волна чанкайшистского террора: коммунистов и всех тех, кто им сочувствовал, безжалостно уничтожали. Но Инь Фу — не из пугливых. Подобно тысячам юношей и девушек Инь Фу становится бойцом армии революции, ведомой Коммунистической партией Китая. Он порывает с братьями, которых когда-то горячо любил: старший из них — крупный чиновник в реакционном нанкинском правительстве. Лишь с матерью Инь Фу связывают нежные узы любви и взаимопонимания.

Молодой революционер с головой уходит в работу. Он читает Ленина, разъясняет рабочим ленинские идеи, пишет воззвания и листовки, статьи о революционном движении и революционной литературе. Его трижды бросают в тюрьмы, но он непоколебим. Четвертый арест стал для коммуниста Инь Фу последним. В ночь с 7 на 8 февраля 1931 года шанхайская охранка учинила зверскую расправу над двадцатью тремя революционерами, среди которых был Инь Фу.

Пять лет напряженной работы (1927—1931), лишений, смертельной опасности, разочарований (было и это), высокого героизма и убежденности в правоте великого дела пролетариата закалили молодого бой-



Инь Фу. Слова, омытые кровью. Стихи и поэмы. Перевод с китайского, вступительная статья и примечания Геннадия Ярославцева. Редактор переводов А. Тарковский. Москва, Издательство «Художественная литература», 1964. 143 стр.

ца и поэта, которому было что сказать современникам и потомкам и который стал, по словам Лу Синя, в авангарде пролетарской литературы Китая.

Г. Ярославцев с большим тактом и умением передал своеобразие творческой манеры Инь Фу, достойного наследника традиций китайской революционной поэзии «4 мая 1919 года».

Инь Фу многогранен. Призывные агитационные стихи сменяются у него посланиями любимой дезушке и стихами к матери, строки ненависти к империалистам и их лакеям — философскими раздумьями и тонкими пейзажными зарисовками. Через все творчество поэта — и это хорошо показано в сборнике — проходит мысль о родине:

...ни днем, ни ночью —
много лет
Душе моей покоя больше нет,
И я готов на подвиг Прометея,
Чтоб люди получили поскорее
В моей стране огонь, тепло и свет.

(«Порываю со старшим братом»)

Инь Фу готов на подвиг Прометея, он славит жизнь во всем ее великолепии, потому что все, что он делает, он делает во имя жизни: «Хочу я жить для праведного дела, исполнен прямодушия и сил». Но если жизнь его понадобится революции, он готов отдать ее, «прославляя свет и жизнь». Как далека эта позиция поэта от идей жертвенного отказа от собственной личности, от «самоотречения».

Жизнелюбие — одна из замечательных черт поэзии Инь Фу. А как же горькие строки его стихов «Одинокое окно», «Слезы одиночества», «Скиталец»? Наблюдательный читатель заметит, что более чем часто стихи Инь Фу, окрашенные в грустные тона, возникали именно тогда, когда пессимизм поэта бывал уже преодолен или преодолевался и поэт как бы подводил итоги. Об этом свидетельствуют заключительные строки таких стихотворений:

Но нет же, нет! Воспрянет вновь
Мой дух неутомимый,
Ведь к жизни жгучая любовь
Со мной неразделима.

(«Одинокое окно»)

Инь Фу верит: его мать и миллионы китайских матерей не будут жить «в подвалах среди темноты», для всех людей зацветут фиалки, «дети не будут умирать детьми», а Шанхай, «величественный, гордый и надменный... людоедский, призрачный Шанхай», «получит леченье» и поднимется всею мощью рабочих кварталов и сбросит с плеч тяжкий груз позора и унижения.

Лирический герой Инь Фу — не мертвая схема с заданными идейными установками, а живой человек с живыми страстями: «В крови разгорается огненный круг воображенья поэта. Жизнь! Жизнь!»

Тема любви неотделима у Инь Фу от темы революции, как неотделимо его личное счастье от счастья народа: «Пылает сердце пламенем единым с сердцами масс!» Инь Фу верил в могучую силу любви. Много стихов посвятил он женщине — подруге, товарищу, соратнику по борьбе. Он писал о нежном поцелуе, о волосах, душистых, как орхидея, о радости первого свидания. Но писал он и о другом, о мужестве любимой и ее отваге: «Ты заслужила право нести вперед развернутое знамя». И в стихотворении «Последний сон» Инь Фу прямо ставит вопрос: можно ли в годину революционных битв думать о любви? Подруга поэта отвечает отрицательно. Для нее любовь и борьба — понятия несовместимые. Инь Фу считает иначе. Он голосует за любовь и за революцию!

Мы уже отмечали, что лирика Инь Фу соседствует с агитационной его поэзией, с раскатами грома, глухим ворчанием вулкана. Такие произведения Инь Фу, как «1 Мая 1929 года» или цикл стихов «Наша поэзия»,— своего рода поэтохроника тех лет, созданная не просто живым свидетелем, но и активным участником забастовок и демонстраций, заводских митингов и тайных партийных собраний.

Мы горячо рекомендуем читателям прочесть эту честную, правдивую, мужественную книгу «молодого большевика», как гордо себя называл Инь Фу, книгу, талантливо и ярко повествующую о годах борьбы китайского пролетариата за счастье своей родины.

Д. ТАМАРИН

РАБОТА ОБРЕТАЕТ СМЫСЛ

Исикава Тацудзо. Стена человеческая. Перевод с японского. Предисловие В. Логуновой. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 638 стр.

Писатель-реалист, проделавший длинный и трудный путь идейных исканий, Исикава Тацудзо подошел к новому творческому рубежу в романе «Стена человеческая»*. Он и сам подчеркивает переломный характер этого произведения: «Все «антиконсервативное», что таилось в глубине моей души, вышло на поверхность, и я твердо выбрал свое знамя».

Написанный с добросовестностью ученого и страстностью художника-публициста, роман освещает больной вопрос для сегодняшней Японии — проблему школьного воспитания и положения учителей в стране.

Героиня романа, заурядная провинциальная учительница Фумико, слаба и беспомощна до тех пор, пока она поглощена своей неудачно сложившейся личной жизнью. На глазах читателя ее внутренний мир обогащается, жизнь приобретает смысл и радость, как только она включается в общую борьбу учителей Японии за свои права. А многоопытный учитель Итидзё, скептик, искушающий Фумико своей мефистофельской иронией, показан как скучный и бездарный человек, все усилия которого направлены на личное преуспевание.

За этими фигурами первого плана вырастает широкий социальный фон: бездушие и бюрократизм министерства просвещения, забастовки учителей, аресты профсоюзных деятелей.

Роман калейдоскопичен. Репортаж, лирическое повествование, статистика, очерковые описания — вот его фактура. Но чем внимательнее вчитываешься в страницы романа, тем отчетливее чувствуешь обдуманность и закономерность его построения. Душевный мир Фумико раскрывается на фоне большой разнообразной жизни и нравственное ее перерождение кажется неизбежным.

На первый взгляд информационно-публицистические куски романа несколько суховаты. Но это поверхностное впечатление. Они полны бытовых подробностей. Мы узнаем, что по выборочной статистике двадцати пяти процентам японских школьников мешает спать шум самолетов, что обычный способ приработка в японской семье среднего достатка, в семье, где растут дети,— сдавать комнаты проституткам почасно, что министр просвещения настолько ничтожная фигура в японском правительстве, что его называют «министром-собутыльником», и т. д.

Исикава Тацудзо не хочет ничего украшать. Он потрясен открывшейся перед ним картиной, и факты приобретают для него самостоятельную эстетическую ценность.

К. АТАРОВА

* Рецензия на роман Исикава Тацудзо «Тростник под ветром» была опубликована в «Иностранной литературе» № 11 за 1961 г.

МОРУА-НОВЕЛЛИСТ

Андре Моруа. Фиалки по средам. Перевод с французского. Послесловие И. Шкунаевой. Редактор Е. Бабун. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 159 стр.

В будущем году Андре Моруа исполняется восемьдесят лет. В огромном рабочем кабинете, сплошь уставленном книгами, старый человек с удивительно молодым лицом рассказывает о своей работе, делится замыслами. Его ближайшая задача—создать жизнеописание Бальзака. Недостаток своих довоенных книг Моруа видит в том, что в них уделялось мало внимания общественному лицу эпохи. Теперь он стремится писать иначе... Он думает продолжить работу над мемуарами. (В 1963 году Моруа опубликовал под названием «Обнаженная действительность» книгу заметок о встречах с писателями, общественными деятелями.) И наконец, оригинальный замысел — написать цикл новелл о том, как сложились в наши дни судьбы героев его романов. Книга, которая должна стать своеобразным итогом творческого пути.

Моруа известен в нашей стране главным образом как автор увлекательных книг о великих людях, признанный мастер биографического романа. Только недавно советский читатель познакомился с Моруа-новеллистом. В изящно изданную книжку «Фиалки по средам» вошла часть новелл Моруа, опубликованных в 1960 году во Франции.

«Фиалки по средам» открываются рассказом «Биография». По словам Моруа, в основе новеллы автобиографический эпизод, относящийся к концу 20-х годов, когда он работал над жизнеописанием Байрона. Молодому исследователю Эрве Марсена уда-

лось пролить свет на малоизвестный эпизод из жизни Байрона. Но старой леди, владелице семейного архива, куда важнее правды фамильная легенда, согласно которой прабабка ее мужа была любовницей поэта.

Вопросам искусства посвящена и насквозь ироническая новелла «Рождение знаменитости». Рассказ этот, датированный 1919 годом, не потерял своей актуальности: шумный успех в парижских салонах художнику приносит отнюдь не следование правде жизни, а шутовская затея — создание «идеоаналитической» школы живописи. Моруа в совершенстве владеет излюбленным оружием французских литераторов — острой и гибкой, как рапира, иронией.

Но в некоторых рассказах ирония уходит в подтекст. Две женщины, поначалу враждебно настроенные, первая и вторая жены писателя Жерома Ванса, становятся после его смерти близкими друзьями («Ариадна, сестра...»). Их сближает не любовь к умершему, а жажда денег, стремление прославить себя. Даже смерть Жерома оказывается всего-навсего эффектным финалом для книги его первой жены. Здесь Моруа блеснул незаурядным мастерством психолога: в письмах, которыми обмениваются его персонажи, как в зеркале отражен своеобразно преломляемый внутренний мир каждого из них.

Новеллы Моруа о людях искусства объединяет общая мысль о враждебности всего истинно прекрасного буржуазному. Проклятье «Золотого тельца» (так называется одна из новелл) тяготеет над людьми буржуазного мира. Зависимость человека от золота выступает то в сложно опосредствованной, то в прямой, откровенно уродливой, страшной форме. Новелла «Отель «Танатос». Гостиница, где отчаявшиеся во всем, разорившиеся люди находят — за сходную цену — легкую, безболезненную смерть. Здесь нет характерного для модернистской литературы культа смерти. В беседе с автором этих строк Моруа заметил, что французскому народу, по своей природе жизнелюбивому, оптимистически настроенному, чужда так называемая черная литература, литература отчаяния и безверия. Это мода, которая пройдет, как всякая мода.

Мастер психологической новеллы, Моруа опирается на лучшие традиции французских и зарубежных авторов. Отвечая на мой вопрос о своих предшественниках, он называет имена английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, мастера тонких психологических зарисовок, и, разумеется, Чехова. Отменный знаток русской литературы, Моруа не раз писал о Чехове и Толстом. Моруа видит в Чехове решительного противника декадентства, называет его образ жизни «героическим, но без громких фраз», ценит за то, что он никогда не терял надежду. По ходу беседы Моруа вспоминает случай из своего детства. Ему было одиннадцать лет, когда учитель словесности подарил ему сборник рассказов русских писателей — Пушкина, Гоголя, Толстого со словами: «Ты будешь писателем. Через двадцать лет это тебе пригодится». Старый школьный учитель не ошибся. «Так началась,— говорит Моруа,— моя великая любовь к русским писателям, с тех пор я никогда не переставал ими восхищаться».

Книга избранных новелл Андре Моруа, хорошо переведенных, умело отредактированных, с умным и тонким послесловием не может не заинтересовать читателя.

Ф. НАРКИРЬЕР

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Titos Patrikios. Mathitia. Athénes, Ekdosis "Prisma", 1963.

ПОЭЗИЯ ДЕЙСТВЕННАЯ И СТРАСТНАЯ

На обложке сборника стихотворений греческого поэта Титоса Патрикиоса, названного им «Наука», две даты: 1952—1962. Тяжелое в истории Греции десятилетие.

Торжествуя победу над демократическим движением, реакция бросила в тюрьмы и лагеря тысячи патриотов. Тревога, сомнения, а порою и отчаяние закрадывались в сердца многих греков. Горько было сознавать, что принесенные народом бесчисленные жертвы не дали желанных плодов. Родившаяся в боях с фашизмом мечта о независимой, демократической Греции была задушена в декабре 1944 года английской интервенцией. Гражданская война 1947—1949 годов, закрепившая у власти профашистские силы, повлекла за собой новое кровопролитие, новые потери. И, обращаясь к самому себе, поэт спрашивает: можно ли было ожидать, что избранный им путь борьбы, единственно верный и возможный для него путь, окажется таким неизмеримо длинным?..

«Годы из камня» — так озаглавил Патрикиос первый цикл стихотворений. «Годы из камня» — это годы, проведенные поэтом в ссылке на острове Макронисос, страшном острове пыток, где

Ветер в грубых сапогах садиста,
сняв пояс, бичевал суровые утесы.
(«Эскизы Макронисоса»)

Патрикиос не пишет о перенесенных мучениях, он не допускает читателя к воротам застенка, но за лаконичными строками его стихотворений читатель угадывает чудовищную картину ада, созданного на Макронисосе греческими неофашистами: даже морские волны «стремятся убежать от прибрежных скал острова». И не случайно немало узников, людей отнюдь не слабовольных, не раз проявлявших отвагу и мужество, здесь, на Макронисосе, не устояли под дикими изощренными пытками и подписали отречение.

Тем сильнее, нежнее любовь поэта к товарищам, прошедшим через все девять кругов ада несломленными и не утратившими веры. Тюрьма и ссылка замуровали улыбку на их лицах, но за этой каменной оболочкой поэт различает самую теплую человечность. Ту человечность, которая в критическую минуту помогала ему преодолеть надвигающееся отчаяние:

Ты пришел с цветком на широкой
ладони.
. . . . . .
Ты ведь знал, что ссыльному
нужен цветок,
нужно немножко любви.
(«Земная уверенность»)

«Годы из камня» сковали всю страну и, казалось, навязывали свою волю даже солнцу:

Каждое утро солнце выходило из
караульной будки
и, набросив немытую больничную
пижаму,
медленно брело через небесный двор.
Столько минуло лет,
что и оно усвоило привычки
заключенных.
(«Привычки заключенных»)

«Годы из камня» наложили отпечаток и на души людей. От этих лет

песок остался на зубах,
камень залег на сердце,
и колючки занозой вечной засели под
ногтями.
(«Эскизы Макронисоса»)

Вслед за «годами из камня» пришли «годы асфальта». Каким нашел свой родной город возвратившийся из ссылки поэт? Из мира лишений, боли, страданий, из мира, где не спутаешь друга и врага, где на каждом шагу подстерегает смерть, поэт попадает в обстановку обманчиво спокойную. Размеренный уклад жизни настораживает, Патрикиосу кажется, что «в этом городе окна преследуют его глазами шпионов». С возмущением смотрит он на привлеченных туристской рекламой иностранцев, которые находят «живописными» острова, где ссыльные греческие патриоты «оставляли свои кости».

Поэт не может забыть, что пуля, которая его миновала, поразила рядом стоявшего, он считает себя вечным должником погибших. Забвения их памяти не прощает никому:

Их расстреляли на улице, на пороге
вашего дома.
. . . . . .
Их каждый день расстреливали у вас на
глазах.
. . . . . .
И вы про них позабыли?
(«Их расстреляли»)

Трагические мотивы преобладают в сборнике Патрикиоса. Преобладают они и в творчестве многих других греческих поэтов послевоенного поколения. Однако звучат они у каждого по-своему. Кое-кто сник под гнетом тяжелых репрессий, поддался пораженческим настроениям. Занимая крайне критическую позицию по отношению к современной греческой действительности, эти поэты уже не видят перед собой положительных идеалов, надежда — редкая и непостоянная гостья в их стихах, ее место заняла горькая безнадежность.

Немало горечи и в «Науке» Патрикиоса. Подобно свежей ране, она источает кровь и боль. Однако перенесенные страдания и те безотрадные картины, с которыми поэт сталкивается на каждом шагу, вызывают у него не растерянность, а беспощадную требовательность к соотечественникам и в первую очередь к самому себе. Требовательность, побуждающую к борьбе, к действию. Каждая минута промедления кажется Патрикиосу преступлением перед народом, перед историей. Он был и остался бойцом революции.

На баррикады революции
никто меня не посылал,
и отлучить от них меня никто не может.
(«Отчет»)

В недрах народного молчания поэт улавливает нарастающий гнев, который неминуемо прорвется и сокрушит все то злое и темное, что посеяно профашистским режимом, но не прижилось и не приживется на греческой земле. Тщетны усилия гигантского спрута охранки, который обвил своими щупальцами страну и лихорадочно заносит в протоколы каждое вольное слово, каждое неосторожное движение. Если б это было возможно, щупальца охранки проникли бы и в людские сны и в чрево будущих матерей:

Не носят ли они под сердцем бурю
и не родят ли
на место одного убитого рабочего —
двоих?
(«Растущее число»)

Патрикиос верит, что буря грянет и час ее не за горами. И он передает свою веру читателю. Веру действенную, страстную. Испытанную за тюремными стенами и среди скал Макронисоса.

С. ИЛЬИНСКАЯ

СКУЧНЫЕ БУДНИ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»

Luis Goytisolo. Las mismas palabras. Barcelona, Ed. Seix Barral, 1963.

Луиса Гойтисоло знают в нашей стране меньше, чем его брата, известного писателя Хуана Гойтисоло. Между тем он принадлежит к числу наиболее ярких представителей так называемого «объективного» романа. (Объективность этого течения испанской прозы означает не беспристрастие, а стремление дать неопровержимое в своей правдивости свидетельство, чтобы оно, пройдя сквозь рогатки цензуры, донесло со всей убедительностью реалистической картины социальную истину современной Испании.)

Уже первый роман Луиса Гойтисоло «Окраины», вышедший в 1958 году, когда автору было 23 года, поражал зрелостью, профессионализмом, сложившейся манерой письма.

В 1963 году вышел второй роман Луиса Гойтисоло — «Те же слова». В этой, как и в предыдущей книге, автор не рассказывает о своих героях, а показывает их. Показ этот чрезвычайно детален, однако ни авторского перста, ни дирижерской палочки мы не видим, и с первых же страниц нам начинает казаться, что авторского отношения к происходящему в этом романе и вовсе не существует.

...В Барселоне кончаются летние каникулы. Рафаэль готовится съездить в Париж, а затем вступить в должность преподавателя университета. В конце романа (действие его длится менее одной недели) Рафаэль наконец уезжает, предварительно побывав в деревне на свадьбе двоюродной сестры.

Это — одна сюжетная линия. Вторая — формально никак не связанная с первой — описание нескольких дней из жизни Хулии, двадцативосьмилетней девушки, работающей в студии прикладного искусства. За те дни, что описаны в романе, она исправно ходила на службу, раза два ездила за город и встретила юношу, который понравился ей. Третья сюжетная линия — линия Санти. Санти — студент, он участвует в разговорах о журнале, который думают выпускать шестеро молодых людей: Анхель и Ольга, Маркос и Аурелия, Карлитос и Рат. С появлением Лусио и Антонио как бы невзначай, незаметно обозначается четвертая линия сюжета.

Больше всего страниц уделено компании Санти. Молодые люди собираются в доме Анхеля, полчаса говорят о журнале (он должен быть посвящен проблемам искусства), выпивают, идут гулять по городу, заходят в бар, выпивают. Или — едут на пляж, выпивают, потом идут в бар, выпивают, потом идут в другой бар... И так каждый день...

Автор, словно забыв про читателя, бросает его на произвол судьбы, с глазу на глаз со своими героями и не пытается разъяснить ни их характеры, ни тайну происходящих событий. Но перед нами живые люди, перед нами жизнь, изображенная с неподдельной достоверностью, и это заставляет нас пристально следить за ее ходом, даже если он становится томительно-однообразным. Поверив в жизненность персонажей, мы сами начинаем вглядываться в них и постигать их сущность. Что же они из себя представляют? Можно ли верить их словам о самих себе? Вот, например, компания Санти. Все в этой компании склонны считать себя людьми искусства: Маркос пишет стихи, Анхель рисует... Они щеголяют своей антибуржуазностью и не упускают случая высказать свое презрение к буржуа. Но затем мы узнаем, что их отцы — тоже буржуа. Они исправно снабжают своих чад деньгами, а сыновья брать деньги у презренных буржуа не стесняются и тратят их напропалую. Впрочем, кутят они без энтузиазма — денег много, а вот подлинных желаний нет — все опротивело, все осточертело. И так как, кроме наслаждений, никакого смысла жизни для них не существует, они рады прибегнуть к «самому утонченному наслаждению» — к искусству. Искусство же, увы, не дается за деньги и не рождается из пьяного угара. К концу романа мы уже догадываемся, что сыновья, вскормленные на родительском древе, вскоре потеряют выдуманный интерес к проблемам прекрасного и станут, как и их отцы, фабрикантами.

И в такой же мере логично и то, что Хулия — скромная поденщица от искусства — не найдет себе места в среде купающихся в славе и достатке Алехо, Суреды и их друзей — художников, наделенных несомненным талантом, но отдавших этот талант на потребу тем, кто за это платит, и подружится с бедным студентом Антонио, в котором она видит искреннее стремление отстаивать свои принципы. В самой последней сцене романа Антонио вместе с Лусио обсуждают план собраний, которые они должны организовать в университете. Согласно этому плану, первым на собрании выступит преподаватель университета Рафаэль. О Рафаэле мы кое-что знаем с первых же страниц книги. Знаем, что он единомышленник Сесара, сидящего в тюрьме за прошлогодние зимние студенческие волнения. Сейчас Лусио говорит о том, что необходимо вновь создать такую политически накаленную атмосферу, какая была прошлой зимой. От Хулии к Антонио, от Антонио к Рафаэлю, от Рафаэля к Сесару протягивается тонкая, но нерасторжимая цепочка. Она связывает между собой все сюжетные линии романа. Так, при кажущемся отсутствии композиционной организации, автор проявляет поразительное композиционное мастерство.

Такая же взаимосвязь существует и между деталями фона повествования, создающими тревожную, мрачную картину испанской действительности: невзначай брошенная фраза о том, что погибли двое каменщиков, оставив свои семьи без гроша в кармане; жандармы, жадно ждущие малейшего повода, чтобы отвести кого-либо в тюрьму; постоянные воспоминания Рафаэля о любимой, которая, как выясняется, покончила жизнь самоубийством...

Но, насыщая драматизмом фон, Л. Гойтисоло исключает драматизм из жизни героев. В этом нетрудно усмотреть художественную логику, когда речь идет об изображении людей, у которых нет ни страстей, ни мечтаний, людей, уже не способных на какое-либо духовное движение. Но как быть с теми, кто, подобно горьковскому Булычеву, понял, что «не на той улице живет», кто хочет выломиться из среды,—с теми, кто мучительно ощущает, как эта среда подавляет и калечит их? Луис Гойтисоло в изображении и тех и других остается верен «объективному» повествованию, и это, быть может, дурное постоянство. Так, например, нарочитое однообразие и повторы передают бессодержательность того порочного круга, по которому движутся, уныло прожигая жизнь, собутыльники Санти; но такое же назойливое повторение при описании домашнего туалета Хулии и ее хлопот по хозяйству только мешает почувствовать горечь ее разочарования.

В романе Л. Гойтисоло мы, как правило, никогда не знаем, что ощущает герой в данную минуту. Поэтому пейзаж приобретает особую функцию: писатель ставит нас рядом с героем и показывает нам пейзаж, от которого у читателя остается свое впечатление; он может только догадываться, что персонаж испытывает то же самое. Отказ приподнять занавес над тем, что происходит внутри героя, чреват опасностью: кажущаяся удивительно свободной и незамкнутой композиция романа грозит сомкнуться перед изображением духовного начала. Впрочем, Луис Гойтисоло, видимо, и не считал здесь подобное изображение своей задачей. Зато он ненавязчиво и как бы ненароком показал нам все, что сам хотел, и так, как он хотел. Показал пигмейское ничтожество той части интеллигенции, которая, будучи кровными узами связана с буржуазией, не в силах независимой бравадой скрывать эти узы, показал ее демагогическую трескотню, ее «интеллектуальные» разговоры, напоминающие шуршание насекомых в банке, ее грошовый авангардизм, тупую тоску и взрывы чувств, кончающиеся блевотиной в туалете, показал бездарную, пустую юность нового поколения буржуазии. И одновременно показал, как в лучшей части интеллигенции рождается честное стремление к подлинно конструктивной деятельности, неизбежно сопряженной с социальными изменениями. Он представил все это зримо и отчетливо — словно посадил читателя в первый ряд партера, и все события произошли (именно произошли, а не были сыграны!) перед нашими глазами, так что был виден каждый жест, каждая морщина на лице действующего лица, можно было посчитать, сколько рюмок выпил каждый из персонажей, но главное — можно было вынести свое собственное суждение об увиденном. И хотя, когда падает занавес, автор не выходит кланяться, читатель-зритель все же видит его — художника и гражданина.

В. СИЛЮНАС

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПАМЯТИ РАБОЧЕГО ПИСАТЕЛЯ

В австралийской печати были опубликованы многочисленные статьи в связи с внезапной смертью талантливого писателя и литературного критика Гевина Кейси. Кейси был рабочим, кузнецом, шахтером, прежде чем стал писателем. С юношеских лет и до конца жизни он вкусил горькую меру страданий.

Герои многих его рассказов — шахтеры, их семьи, их труд и быт, их думы и чаяния. Короткие рассказы Кейси считаются в австралийской литературе одними из лучших. «Никто до Кейси,— писал корреспондент газеты «Трибюн»,— не сумел показать в австралийской литературе такие правдивые и жизненные образы шахтеров».

В пятидесятые годы писатель занялся тщательным изучением положения туземного населения; он неоднократно высказывал свое возмущение тем, что коренные жители Австралии живут в условиях жестокой нищеты. В 1958 году вышел в свет его роман «Снежный ком», посвященный жизни туземных племен. В 1962 году неутомимый писатель выпустил роман «Среди изобилия», в котором показал страшную картину безработицы и нищеты австралийских трудящихся на фоне изобилия и богатства имущих классов. «Гевин Кейси,—подчеркивал корреспондент «Трибюн»,— внес большой вклад в австралийскую литературу. Это был писатель из народа, творивший для народа».

АЛЖИР

«МИР ВХОДЯЩЕМУ» НА ЭКРАНАХ АЛЖИРА

Советский фильм «Мир входящему» попал в Алжир через Францию. «Там ему дали название, которое звучит просто невероятно: «Отряд последней надежды» (?!),— сообщает корреспондент газеты «Пёпль».— Несомненно, коммерсанты рассчитывали привлечь таким образом внимание зрителей. А между тем «Мир входящему» — очень хорошее, очень правильное название, прекрасно передающее смысл самого фильма. В то время как «Отряд последней надежды» ничего не выражает и не имеет ничего общего с фильмом».

«Молодые советские кинематографисты Алов и Наумов уже известны зрителям алжирских народных киноклубов,— пишет корреспондент.— Фильмом «Мир входящему» они хотели выразить свою ненависть к войне... Несмотря ни на что, во время войны, среди этого кровавого безумия и грязи, в людях теплится надежда на лучшую жизнь. Мир приходит, и вместе с ним рождается новый человек, человек будущего».

«Советская кинематография,— пишет далее корреспондент,— обращается ко всему хорошему, ко всему лучшему, что есть в человеке; фильмом «Мир входящему» она еще раз показала свою силу. Потому что эта кинематография обращена к новым людям, для которых главная цель — счастье, и не только их личное, а счастье всех людей».

АНГЛИЯ

«ТЕАТР 1520»

Откуда такое название? Все объясняется просто: актерам театра от 15 до 20 лет. Это поистине молодежный коллектив, отражающий в своей работе то лучшее, что было всегда присуще передовой английской молодежи — ее оптимизм, юмор, веру в будущее. После недавнего выступления в Лондоне с программой, включающей инсценировку четырех рассказов Алана Силлитоу (в том числе известного советскому читателю рассказа «Дочь старьевщика»), о театре заговорили в печати. Стало известно, что театр был создан в 1959 году в мужской школе городка Энфилд, в Мидлсексе, преподавателем этого учебного заведения Уильямом Мартином. Многие юноши по окончании школы не бросили свой театр. Сами участники коллектива пишут пьесы, используя в основном произведения современных писателей Англии, сами создают декорации, делают костюмы. Поскольку театры никем не субсидируются, многие актеры молодежного театра отдают на его содержание заработанные ими деньги.

«Гастроли в Лондоне,— пишет корреспондент «Дей-

Молодые актеры театра «1520» Джилл Конингсби и Роберт Спирс в сцене из «Дочери старьевщика» по рассказу Алана Силлитоу.

(Газета «Дейли уоркер»)

ли уоркер»,— большой успех молодежного театра, который до сих пор существует лишь на правах драматического кружка или клуба, не имеет постоянного помещения для репетиций и не получает никакой финансовой помощи от государства».

«МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ НАЧАЛО»

Роман молодого писателя Роберта Боннара «Стюарти», положительно встреченный прогрессивной печатью, посвящен жизни рабочего класса. Герой романа Стюарти родился в семье шахтера, в которой деды и прадеды были шахтерами. Однако ввиду систематических сокращений рабочих, найти работу на шахте ему не удается, и Стюарти поступает на железную дорогу. Здесь-то и начинается его трудовая и общественная деятельность. Он становится секретарем местного отделения профсоюза, активно участвует в борьбе рабочих за свои права. Как подчеркивает рецензент газеты «Дейли уоркер», интересные страницы книги посвящены событиям войны. Герои романа оживленно обсуждают военные действия, восхищаются мужеством советских людей, их героической борьбой, обусловившей разгром нацистской Германии. «Нам давно нужно было дружить с СССР»,— говорят английские железнодорожники. Такого же мнения придерживается и сам автор. «Этот первый роман Боннара,— пишет рецензент,— многообещающее начало».

БОЛГАРИЯ

ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ В ВАРНЕ

На состоявшемся в Варне IV фестивале болгарских фильмов первую премию «Золотая роза» получила кинокартина «Цепь», поставленная режиссером Любомиром Шарланджиевым по сценарию Анжела Вагенштайна. Фильм рассказывает о судьбе приговоренного к смерти коммуниста, которому удается бежать от тюремщиков с сорокакилограммовыми кандалами на ногах.

«Фильм называется «Цепь»,— пишет обозреватель журнала «Болгарские фильмы»,— но в сущности в нем идет речь о двух цепях: о железной цепи, надетой на ноги приговоренного к смерти революционера, и о цепи человеческой солидарности, с помощью которой спасается бежавший из рук палачей коммунист. Вторая цепь — множество протянутых братских рук, множество чутких сердец — прочнее и побеждает холодный металл, орудие насилия и рабства. «Цепь» — это прочувствованная поэма о силе человеческого духа, о человеческом братстве».

Специальную премию на фестивале получил фильм «Похититель персиков», а премию за лучшую постановку — картина «13 дней» (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 5 и № 9, 1964). Премия за лучший сценарий присуждена Богомилу Райнову за сценарий фильма «Инспектор и ночь», а за лучшую режиссуру — Рангелу Влчанову, поставившему этот фильм.

Премии за лучшее исполнение ролей получили Невена Коканова за роль Лизы в картине «Похититель персиков», Георгий Калоянов — за роль инспектора в фильме «Инспектор и ночь» и югославский артист Раде Маркович за роль Иво в фильме «Похититель персиков».

«Последние произведения болгарских кинематографистов,— пишет в статье о фестивале корреспондент еженедельника «Литературен фронт»,— показательны для ее творческой зрелости, для ее все более уверенного стремления к высотам подлинного искусства».

ВЕНГРИЯ

ЮБИЛЕЙ «ДЕШЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Маленькую книжку в мягком желтом переплете ценой в несколько форинтов знает в Венгрии каждый, от мала до велика, ее можно приобрести и в крупнейшем книжном магазине столицы и в любом привокзальном киоске. Недавно исполнилось десять лет со времени выпуска первых книг серии «Дешевая библиотека» издательством «Се-

пиродалми киадо». За этот небольшой срок вышло пятьсот книжек общим тиражом свыше 17 миллионов экземпляров.

«Библиотека» познакомила читателей с произведениями Апулея, Вольтера, Теккерея, с романами Дюма и Бальзака, а также с венгерской классикой. Из зарубежных авторов рекордным тиражом — триста пятьдесят девять тысяч экземпляров — изданы книги Стендаля.

Директор издательства Йожеф Ясберени рассказал корреспонденту газеты «Непсабадшаг» о дальнейших планах «Библиотеки»: «Мы хотим сделать ее еще более популярной. Сейчас приступаем к выпуску карманных книг размером 11×18 см. Такую книжку легко взять с собой. В этой серии будут публиковаться с будущего года наиболее значительные произведения венгерской литературы последних двух лет. В издании «Дешевая библиотека» увидят свет также антологии советской и американской новеллы».

ГДР

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ

Печать Германской Демократической Республики сообщила о присуждении национальных премий за 1964 год. В нынешнем году, когда трудящиеся ГДР отметили пятнадцатилетие республики, премиями отмечены многие писатели и деятели культуры. Премию первого класса в области литературы и искусства получил известный писатель Ганс Мархвица «за литературное творчество, которым он внес существенный вклад в немецкую национальную литературу». Премии также присуждены поэту и прозаику Кубе «за творчество в целом, и особенно за пьесу «Терра инкогнита»; группе исследователей творчества Шекспира; коллективу, создавшему спектакль «Кошачье золото» по пьесе Хорста Заломона.

Премиями отмечены Юрий Брезан «за вклад в развитие немецкой социалистической литературы и особенно за трилогию «Феликс Хануш»; Эрвин Штриттматтер за роман «Оле Бинкопп»; Эрих Нейч за роман «След камней»; Макс Вальтер Шульц за роман «Мы не пыль на ветру»; Криста Вольф за «Московскую новеллу» и за роман «Расколотое небо» (опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 1964).

Кроме того, премии получили художник Ганс Бальцер, певец Мартин Рицман, режиссер Хорст Шёнеман, композитор Вильгельм Вейсман и другие деятели культуры.

ИСКАТЕЛИ СОКРОВИЩ

В нынешнем году после трехлетнего обучения 22 молодых писателя и критика покинули стены лейпцигского литературного института имени Иоганнеса Р. Бехера. Имена многих молодых прозаиков, поэтов и литературных критиков, окончивших институт, часто упоминаются в прессе ГДР в связи с выходом в свет их произведений. «Иностранная литература» уже сообщала (см. № 10, 1964) о постановке пьесы «Кошачье золото» Хорста Заломона, воспитанника института имени Иоганнеса Р. Бехера.

Недавно литературные обозреватели республики единодушно дали положительную оценку роману «Искатели сокровищ», написанному еще одним бывшим студентом института Эрихом Кёлером. По словам обозревателя еженедельника «Зоннтаг», Кёлер не новичок в литературе. В 1958 году появились два его талантливых рассказа о новой деревне: «Лошадь и ее хозяин» и «Чертова мельница». Затем вышел его роман «Зерно». В 1960 году в журнале «Нейе дейче литератур» был опубликован литературный дневник Эриха Кёлера, написанный им во время учебной практики в родном сельскохозяйственном кооперативе в округе Мекленбург. Материалы этого дневника автор использовал при работе над новым романом, герои которого — не вымышленные, а реальные люди. Его герои, по выражению обозревателя газеты «Нейес Дейчланд», настоящие искатели сокровищ, заключенных в совместном труде на благо всего общества.

Корреспондент газеты «Юнге вельт» сообщает, что в ноябре этого года в институте открываются годичные курсы для лучших молодых литераторов республики.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

«КУДА ИДЕТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЕ КИНО?»

Корреспондент западноберлинской газеты «Тагесшпигель» писал недавно: «Куда идет западногерманское кино? Предварительный просмотр фильмов на сезон 1964—1965 года показал, что наша кинематография потеряла право на помощь от общественности. Надеяться в ближайшее время на оздоровление вряд ли возможно».

Последнюю западногерманскую кинопродукцию корреспондент называет «некиноискусством». Комментируя фильмы с такими названиями, как «Выстрелы из скрипки», «Завтрак со смертью», «Завывающая смерть», «Пояс девственности», он делает вывод: «Все те же темы, все те же типы, те же режиссеры, те же актеры».

Ввиду таких мрачных перспектив западногерманского киноискусства корреспондент «Тагесшпигель» выступает против запрета боннскими властями демонстрации кинофильмов из ГДР. «Было бы разумнее не отказываться от получения любой информации о продукции киностудии «ДЕФА»,— заявляет корреспондент.

ФРГ

МУЗЫ И ПРОКУРОР

«Свободный мир» вновь показал свое истинное лицо. В статье, опубликованной еженедельником «Ди андере цейтунг» под заголовком «Волк-машина и поэзия», публицист Гейнц Брюдигам рассказывает поучительную историю о молодом западногерманском поэте Петере Уттендорфе, который осмелился послать свои стихи в ГДР.

Журнал «Нейе дейче литератур», наряду с произведениями двух других западногерманских поэтов, опубликовал одиннадцать стихотворений Уттендорфа и его письмо, в котором поэт излагает свои взгляды на поэзию.

«Эти взгляды, как и его стихи,— пишет Брюдигам,— очень интересны и безусловно заслуживают обсуждения, причем не только в ГДР. Для западногерманского читателя интересно прежде всего то, что воззрения Уттендорфа, не имеющие ничего общего с социалистическим реализмом, были изложены на страницах литературного журнала ГДР без каких-либо комментариев...»

Но тут в дело вмешалась... прокуратура ФРГ: ее чиновники, пекущиеся об «идеологическом благополучии» западногерманских граждан, дважды конфисковали на почте авторские экземпляры журнала, присланные Уттендорфу редакцией. На этом, однако, «участие» боннских блюстителей *свободы печати* в культурном обмене не кончилось. В своем письме к поэту ГДР Паулю Винсу, которое с согласия автора было опубликовано в газете «Нейес Дейчланд», Петер Уттендорф писал, что, после официального подтверждения факта конфискации, его вызвали в прокуратуру и учинили допрос. С горечью и возмущением рассказывает молодой поэт о провокационных вопросах и обвинениях, которые ему пришлось выслушать от «стражей свободы и демократии».

Случай с Петером Уттендорфом далеко не единственный. По сообщению корреспондента «Нейес Дейчланд», в Ганновере, где сортируют почту, поступающую из ГДР в ФРГ, ежемесячно уничтожаются 800 тысяч почтовых отправлений. «Железные зубья волк-машины, установленной в подвале Ганноверской тюрьмы, — пишет корреспондент,— рвут в клочья не только корреспонденцию сотен тысяч немцев, но и все боннские заверения о готовности к взаимопониманию и контактам».

На эти ничего не выражающие «монументы» из меди затрачено немало средств и сил. Их «создали» и не стыдятся выставлять в художественном училище города Бремен. Как нетрудно убедиться, там хорошо научились «абстрагироваться» от реальной действительности.

(Снимок из газеты «Националь-цейтунг»)

ГРЕЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ ЛЕОНА КУКУЛАСА

«Социальное страхование. Пенсии и медицинское обслуживание литераторов. Вот наши первоочередные требования»,— такой ответ дал председатель Общества греческих писателей Леон Кукулас корреспонденту газеты «Авги» на вопрос, в чем состоят нужды греческих литераторов.

В докладе комиссии по вопросам литературы и искусства, назначенной в 1957 году правительством Караманлиса, сказал далее Кукулас, без обиняков признавалось, что «на протяжении своей многолетней истории новогреческая литература, верно отстаивавшая интересы нации, была лишена какой бы то ни было поддержки со стороны государства», в силу чего жизнь греческих литераторов была «жизнью героической и мученической». И все же правительство Караманлиса, расходовавшее миллионы на содержание профашистских организаций и грандиозного полицейского аппарата, не сделало ровным счетом ничего для деятелей литературы и искусства. Сегодня греческие литераторы надеются, что «новое правительство, по словам Кукуласа, решит наконец проблему их социального обеспечения и удовлетворит остальные требования, а именно: расширит сеть общественных библиотек; откроет «Центр культуры», который располагал бы залами для лекций и концертов и в котором смогли бы найти приют писательские организации; финансирует издательство, которое выпускало бы в свет исключительно произведения современных греческих писателей; реорганизует работу комиссии по присуждению государственных литературных премий с включением в состав комиссии

представителей писательских организаций; окажет материальную поддержку писательским организациям с тем, чтобы они могли бы более успешно выполнять свою просветительскую миссию».

Пока что все это остается только пожеланиями, продолжал Кукулас, так как решение об учреждении 30 ежегодных поощрительных премий — аристиа, которые будут присуждаться за лучшие произведения литературы и искусства,— не меняет бедственного положения греческих литераторов в целом и не снимает такого важного вопроса, как социальное обеспечение. «В настоящий момент,— подчеркнул Кукулас,— Общество греческих писателей не может обеспечить для своих членов даже третьеразрядную больничную койку. Немало греческих литераторов навсегда закрыли глаза, не получив элементарной медицинской помощи, лишенные какой бы то ни было заботы со стороны государства».

Новый фильм режиссера Луиджи Коменчини (автор кинокартин «Два гроша надежды», «Все по домам») носит название «Девушка Бубе». Это история любви молодой итальянки (ее роль исполняет Клаудиа Кардинале) и бывшего партизана Бубе (американский актер Джордж Шакирис). На снимке: кадр из фильма «Девушка Бубе».

(Журнал «Филмз энд филминг»).

ДРВ

ПЬЕСА О ПОДВИГАХ ПАТРИОТОВ

...Это произошло более ста лет назад. Французские колонизаторы начали агрессивную войну против Вьетнама. На борьбу с агрессорами поднялся весь народ. Одним из руководителей освободительного движения стал Чыонг Конг Динь. О подвигах патриотов, о жизни их бесстрашного предводителя рассказывает пьеса «Чыонг Динь», написанная Нгок Кунгом.

Пьеса поставлена Центральной театральной труппой Ханоя в связи с исполняющимся в этом году столетием со дня героической гибели Чыонг Конг Диня. По сообщениям вьетнамской печати, пьеса была исключительно тепло принята зрителями.

Как отмечает корреспондент журнала «Вьетнам», идеи пьесы Нгок Кунга созвучны той борьбе, которую ныне народ Южного Вьетнама ведет против американских империалистов и их ставленников.

ИНДИЯ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ

Бомбейское издательство «Попьюлар пракашан» выпустило книгу Энн Бандопадхайя «Многогранный Ганди».

Со страниц книги, по словам рецензента еженедельника «Блиц», встает яркий реалистический портрет истинного человека-труженика, каким был Ганди. Автору, пишет рецензент, удалось найти нужные краски и «воссоздать образ человека, который должен служить примером отношения к труду для молодого поколения».

Предисловие к книге было написано покойным премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру.

ИТАЛИЯ

«ПОЧЕМУ НАС ЭТОМУ НЕ УЧИЛИ?»

...Несколько студентов, принадлежащих к семьям мелкой и средней римской буржуазии, только недавно поступили в университет и стремятся к большей независимости от родителей. В поисках сомнительных приключений они постепенно познают мир улицы — знакомятся с мелкими спекулянтами, мошенниками, бродячими торговцами, проститутками, различными авантюристами — накипью большого капиталистического города. Стараясь раздобыть денег на свои похождения, они организуют маленький джаз-оркестр и выступают по вечерам в ресторане; ухаживают за иностранными туристками, отчасти ища любовных приключений, отчасти для того, чтобы заставить их делать покупки у своих приятелей — продавцов картин и сувениров...

Так начинается роман «Черные овцы» молодого писателя Энцо Пальмьери. Главному герою повествования Франко и его друзьям скоро надоедает такая жизнь, они страдают из-за отсутствия каких-либо целей, идеалов. И эту пустоту мало-помалу заполняет демагогическая пропаганда, которую ведут среди молодежи неофашисты из «Итальянского социального движения». Франко вступает в молодежную фашистскую организацию, становится од-

ним из самых активных ее членов. После очередного погрома, учиненного фашистскими молодчиками, Франко покидает организацию. От Раньеро, товарища по студенческой скамье, у которого гитлеровцы во время войны расстреляли отца, Франко впервые в жизни слышит о Сопротивлении, о светлых идеалах и героических подвигах патриотов-подпольщиков и партизан. «Почему,— спрашивает он,— нам обо всем этом не рассказывали в школе, почему нас этому не учили?»

Положительную оценку роману Пальмьери дал в журнале «Вие нуове» Карло Салинари. «Недостатки, свойственные начинающему писателю,— пишет Салинари,— отнюдь не снижают достоинств романа. Остается только пожелать Пальмьери пойти дальше, вперед после столь успешного начала».

«ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ РОССИИ»

Большой интерес у итальянских читателей вызвала недавно вышедшая в издательстве «Лонганези» повесть «Отступление из России». Ее автор — журналист Эджисто Корради, который во время второй мировой войны был военным корреспондентом газеты «Гадзетта ди Парма». Свидетель описываемых событий, Корради, рассказывает в своей повести о тех днях 1943 года, когда под ударами Советской Армии итальянский альпийский корпус обратился в беспорядочное бегство. Именно тогда итальянские солдаты всерьез задумались над характером войны, в которой они участвовали, над тем, почему они оказались на бескрайних просторах России.

«Я долго ничего не писал о войне,— сказал Корради журналистам,— потому что мысли о ней вызывали во мне отвращение. Но через двадцать лет я понял, что должен написать об этом, должен напомнить об уроках прошедшей войны».

«Это простая, яркая и очень нужная книга»,— писал об «Отступлении из России» рецензент еженедельника «Ринашита».

«ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

Сборник научно-фантастических рассказов Лино Альдани «Четвертое измерение» пользуется успехом у итальянских читателей. По словам рецензента газеты «Фьера леттерариа», научно-фантастические рассказы Альдани выгодно отличаются от произведений других авторов тем, что в них центральным героем всегда является человек, подчиняющий своей воле стихию природы. Лучшими рецензент считает рассказы «Последняя правда», «Интегральная технократия» и «Канис сапиенс». «Автор,— пишет рецензент,— откликается на проблемы будущего, стоящие перед человечеством уже сегодня».

Лино Альдани считается в Италии лучшим писателем-фантастом. Он руководит журналом «Футуро» («Будущее»). Его рассказ «Эксперименты с неизвестностью» вошел в «Антологию итальянской фантастики», о выходе которой «Иностранная литература» уже сообщала (см. № 2, 1964).

КУВЕЙТ

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Молодое арабское государство Кувейт делает первые шаги в создании своего театра. Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Араби», недавно в стране открылся Институт театрального искусства, руководить которым приглашен известный египетский режиссер Заки Тулеймат.

Созданная в этом году «Труппа арабского театра» уже показала кувейтским зрителям несколько пьес египетских и местных авторов. Сейчас труппа готовит к постановке пьесу Махмуда Теймура «Тарик Андалузский», рассказывающую об арабском национальном герое.

КУБА

«ПОЭТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ МОЛОДЫМ»

Газеты и журналы страны адресовали много теплых слов выдающемуся кубинскому поэту Мануэлю Наварро Лу́на в связи с его 70-летием. Газета «Ой», например, напечатала стихи юбиляра, статьи о нем, а также речь Николаса Гильена, произнесенную на торжественном собрании Союза кубинских писателей и деятелей культуры по случаю юбилея. «Мы добились независимости, стали свободными, но помним, что каждый день должны бороться за сохранение этих завоеваний,— сказал Гильен.— Голоса кубинских поэтов сливаются в великом гимне этой борьбе. Мы не забыли о цветах и звездах, но, чтобы добиться права петь о них, мы должны постоянно крепить единство наших рядов. «Родина или смерть» — таков наш лозунг, и мы добьемся того, что Родина победит смерть. Наварро Луна — один из тех, кто борется за победу Родины. Поэтому он всегда остается молодым».

ЛИВАН

СТИХИ КОБЗАРЯ ЗВУЧАТ ПО-АРАБСКИ

Бейрутская газета «Аль-Ахбар» опубликовала несколько стихотворений Т. Г. Шевченко, переведенных с украинского языка на арабский ливанским писателем Михаилом Нуайме (среди них — «Завещание»).

Нуайме прочитал эти стихи во время своей лекции о великом украинском кобзаре, организованной Обществом культурных связей между Ливаном и Советским Союзом.

ЛЕЙЛУ БААЛЬБАКИ ВЫЗЫВАЮТ В ПОЛИЦИЮ

Как сообщает ливанская пресса, власти конфисковали сборник рассказов из-

вестной писательницы Лейлы Баальбаки «На корабле любви — к Луне» (см. «Иностранную литературу» № 10, 1963), а сама писательница была вызвана в полицию для допроса по обвинению «в оскорблении общественного приличия и нравственности». По словам корреспондента журнала «Ат-Тарик», ни один из ливанских писателей не поддерживает этого обвинения и тем более вызова писательницы в полицию из-за некоторых выражений в литературном тексте ее книги. В то же время, замечает корреспондент, «власти ничего не говорят о тысячах непристойных изданий, которые поступают к нам из-за границы».

С осуждением полицейского произвола по отношению к писателям выступил также литературный журнал «Аль-Адаб».

ОАР

ИССЛЕДОВАНИЕ О МЕЙЙ

Личность Мейй — талантливой арабской поэтессы, поборницы освобождения женщин — привлекает внимание многих исследователей литературы в арабских странах. О Мейй написаны десятки трудов. Одному из самых последних, книге Мухаммеда Абд аль-Гани Хасана «Мейй — писательница Востока и арабского мира», посвятил свою рецензию в журнале «Аль-Адиб» известный египетский литературовед Анвар аль-Гинди.

Как отмечает рецензент, Абд аль-Гани Хасан не впервые обращается к этой теме. Первая его книга, «Жизнь Мейй», вышла вскоре после смерти писательницы в 1942 году. Впоследствии почти все работы о Мейй выходили со ссылками на эту книгу.

В новой книге Абд аль-Гани Хасан приводит некоторые, прежде неизвестные, факты биографии поэтессы. В книге раскрывается история различных псевдонимов, под которыми выступала писательница, настоящее имя которой Мари Зияде.

ПАКИСТАН

ФАИЗ О ПОЛОЖЕНИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Выступая в Карачи на открытии выставки работ молодого талантливого художника и резчика по дереву Шахида Саджида, известный пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз охарактеризовал современное положение пакистанского искусства.

«Живопись, — отметил он,— единственная область искусств, где за истекшие пятнадцать лет был достигнут некоторый прогресс. В то же время поэзия, музыка и архитектура фактически застыли на месте».

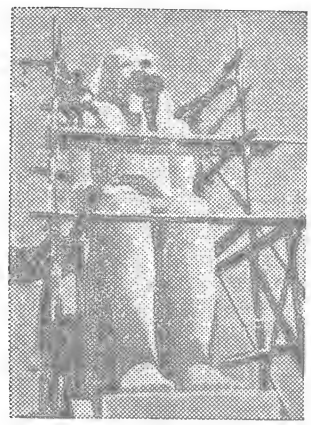
Фаиз обратился к художникам с призывом отражать в своих работах важнейшие события социальной жизни страны. Только при этом условии, сказал писатель, они смогут добиться истинного успеха. Зачастую случается, подчеркнул Фаиз, что современные произведения не производят впечатления на любителей искусства, так как форма произведений для них непонятна. Писатель призвал деятелей искусств создавать реалистические произведения, понятные широкому кругу людей.

ПОЛЬША

ЭКРАНИЗАЦИЯ «ФАРАОНА»

Как уже сообщалось в нашем журнале (см. № 7, 1964), в течение нескольких лет один из ведущих польских кинорежиссеров Ежи Кавалерович вынашивал планы экранизации исторического романа Болеслава Пруса «Фараон». Вместе с писателем Тадеушем Конвицким, литературным руководителем творческого кинообъединения «Кадр», они написали сценарий будущего фильма.

Первоначально предполагалось, что польские кинематографисты будут снимать этот фильм совместно с одной из итальянских или французских кинофирм. Однако оказалось, что договориться с западными коллегами подчас бывает нелегко — переговоры затянулись...



В пустыне под Бухарой поднялись 11-метровые статуи могущественных фараонов...

(Еженедельник «Экран»)

А между тем, как выяснили польские кинематографисты, в пустыне Кара-Кум, недалеко от советской Бухары ландшафт как нельзя лучше подходит для съемок задуманного фильма. Прошло немного времени — и съемочная группа во главе с Кавалеровичем, в сопровождении 35 вагонов реквизита, строительных материалов и т. д. отправилась в путешествие на восток.

В пустыне под Бухарой вырос сказочный дворец Рамзеса XIII, украшенный древними барельефами, поднялись 11-метровые статуи могущественных фараонов.

Съемочная группа напряженно трудилась все лето. Были отсняты многие массовые сцены, в том числе маневры войск фараона и их битва с ливийцами. В качестве статистов во многих эпизодах фильма снимались местные жители и воины Советской Армии.

Работа над фильмом, который будет цветным и широкоэкранным, продолжается.

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Посетитель, пришедший в варшавский Музей истории польского революционного

движения, может ознакомиться с выставкой «День первый—день сегодняшний», посвященной двадцатилетию народной Польши. Выставка эта не похожа на другие, сообщает корреспондент газеты «Трибуна люду». Прежде всего посетитель не предоставлен здесь самому себе. О том, чтобы он увидел как можно больше с минимальной затратой времени, позаботились работники музея.

Здесь нет экскурсовода с указкой в руках и стрелок с надписями «Начало осмотра», «Продолжение осмотра». Как только посетители входят в зал, включается специальное устройство: в затемненном зале вспыхивает луч света, раздается голос диктора. Освещаются только те стенды, о которых рассказывает комментатор. Свет гаснет — вспыхивает киноэкран.

Вся начальная часть выставки, пишет Квецинская, посвящена «Первому дню»— времени рождения народной Польши. Посетители видят кино- и фотодокументы, слышат отрывок из речи тов. Гомулки, произнесенной им в то время и записанной на пленку.

В центральном зале посетители смотрят фильм, который демонстрируется одновременно на двух экранах. Здесь настоящее сравнивается с прошлым: на левом экране—хроника первых лет народной власти, показывается нелегкий труд людей, восстанавливающих города и предприятия, на правом— нарядные дома, оборудованные по последнему слову техники новые предприятия. Диктор называет их: Кендзежин, Нова Гута, Тарнобжег... На левом экране черно-белое изображение, на правом — цветное.

По сообщению газеты, в сборе материалов для юбилейной выставки принимала участие вся страна.

Сеанс — а иначе и не назовешь посещение выставки — длится один час и семь минут. Выставка «День первый — день сегодняшний» пользуется успехом у варшавян и у гостей польской столицы.

«В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПОЛЬСКОГО РОМАНА»

Новый роман Вильгельма Маха «Агнешка, дочь Колумба» рассказывает о жизни одной польской деревни. Она не совсем обычная, эта деревня, так как живут в ней только бывшие фронтовики, боевые товарищи, которые решили не разлучаться и перенести в мирную жизнь частицу военного быта. Героиня романа — добродетельная, красивая, остроумная, но несколько наивная учительница Агнешка, которая учит и воспитывает как детей, так и взрослых в этой деревне. Благодаря настойчивости и целеустремленности ей удается в конце концов преодолеть в людях косность, отучить их от дурных привычек, привить им культурные навыки.

С большим одобрением отозвался о новой книге Маха Ярослав Ивашкевич. «Мах много знает,— писал Ивашкевич.— Он знает, что такое кузница и самогонный аппарат; он знает, как проходят беседы с секретарем повятового комитета и как выглядит подозрительная бабка-ворожея. Но прежде всего он знает, что такое школа. Уроки Агнешки — это действительно образцовые уроки. Впрочем, она учит не только детей... Удивительна конкретность рисунка Маха. Примерно на таком же материале создал свой «Современный сонник» Тадеуш Конвицкий. Но там все — сон, впечатления, все контуры расплываются в лирическом тумане. У Маха все нарисовано сильно, конкретно, поставлены все точки над «и».

По словам Ивашкевича, книга Маха, повествующая о современных польских буднях, «несет в себе огромный заряд эмоций, вызывает читательский интерес, написана в лучших традициях польского романа».

РУМЫНИЯ

САТИРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ИОНА БЭЙЕШУ

Откликаясь на выход в свет сборника сатирических рассказов «Люди с чувством юмора» молодого прозаика Иона Бэйешу, критик Сорин Александреску отмечает беспощадность сатиры Бэйешу, его тяготение не к созданию комических ситуаций, а к разоблачению недостатков современной жизни, которые автор подвергает суровому суду.

Ион Бэйешу, по словам критика журнала «Лучафэрул», создает в своей книге серию рельефно очерченных портретов. В то же время молодой сатирик не сгущает краски, «рисует образы, экономно расходуя краски и не слишком нажимая на перо. Этой писательской манере как нельзя лучше соответствуют и очень удачные, выразительные иллюстрации известного художника Мирчи Маросина».

США

КАКОВО БЫТЬ НЕГРОМ В АМЕРИКЕ

Несколько лет назад в Америке наделала шума известная и советскому читателю книга Джона Говарда Гриффина «Черный, как я». Писатель-южанин подвергся специальной косметической операции по окрашиванию кожи в темный цвет и, сойдя за негра, совершил путешествие по южным штатам.

Белые расисты, принимая писателя за негра, дали ему возможность ощутить на себе полную меру горечи и унижений. Каково быть негром в Америке, он описал в своей подлинно трагической книге. Ныне по этой книге поставлен фильм того же названия.

Рецензент газеты «Уоркер» рассказывает о тех больших трудностях, которые приходилось испытывать актерам и постановщикам во время съемок, производившихся на Юге. Замысел фильма держался в строгой тайне. «Если бы местные власти и расисты знали, для какого фильма снимаются те или иные сцены,— пишет рецензент,— операторам и актерам был бы оказан такой же прием, какой оказывают на Юге борцам за гражданские права негров».

Режиссер, продюсер и актеры, говорится в рецензии, заслуживают самой большой похвалы за свою смелость и за те откровенные и правдивые сцены из жизни негров на Юге, которые они показывают своим зрителям.

Одна из самых сильных сцен, по словам рецензента,— финальная, когда герой признается молодому негру, борцу за гражданские права, что он белый. Юноша с гневом кричит ему: «Вы думаете, что можете понять нашу жизнь, намазавшись краской и приехав сюда на короткий срок?»

Фильм, пишет рецензент, заслуживает похвалы за прекрасную актерскую игру и за то, что его авторы сумели донести до зрителя тяжелое положение чернокожих граждан Америки.

«ШЕДЕВРЫ В ПРОЗЕ»

Впервые на английском языке вышли в свет письма А. С. Пушкина. Американский ученый-славист Томас Шоу перевел их, подготовил и издал трехтомником, содержащим 678 писем великого поэта.

Работу по подготовке этого издания Шоу начал еще в 1950 году. Каждое письмо снабжено обширными комментариями, в трехтомнике помещены портреты Пушкина и его жены, рисунок автора к первой главе «Евгения Онегина», вид Михайловского и другие иллюстрации; на внутренней стороне обложек напечатаны карты Российской империи 1830 года с указанием пушкинских мест.

Письма Пушкина, «эти шедевры в прозе», по выражению Шоу, привлекли его тем, что в них «весь Пушкин», предстающий перед читателем и как человек, и как художник, и как гражданин.

«Мы наслаждаемся знакомством с той яркой, живой и широкой картиной литературной жизни России, жизни петербургского и московского общества начала прошлого века, которая встает со страниц пушкинских писем»,— пишет рецензент еженедельника «Обзёрвер».

АКТЕР О ПОЛОЖЕНИИ ТЕАТРА

В 1953 году известный американский актер Лионель Стэндер был вызван в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Маккартисты предъявили Стэндеру обвинения: во время гражданской войны в Испании он был одним из тех, кто организовал отправку продовольствия и медикаментов для испанских детей. Стэндер наотрез отказался сотрудничать с маккартистами и был внесен ими в «черный список», что лишало его возможности заниматься профессиональной актерской деятельностью.

Запрет был снят два года назад, рассказал Стэндер в интервью корреспонденту прогрессивной газеты «Пиплз уорлд», и он снова получил возможность работать в театре, положение которого в США внушает актеру большую тревогу.

«Наиболее серьезная проблема,— заявил корреспонденту Стэндер,— это отсутствие новых драматургов. В Штатах их всего один-два. Олби, например; вы знаете его пьесу «Кто боится Вирджинии Вулф». На мой взгляд, эта пьеса слишком пессимистична. Я предпочитаю пьесы жизнеутверждающие, вселяющие в людей надежду».

В Соединенных Штатах, так же как и в Англии, существует «проблема зрителя». «Цены в театрах Бродвея фантастические, — продолжал актер.— Американские рабочие почти не бывают в театре... Для американского рабочего попасть в театр — сложная проблема».

Стэндер дает высокую оценку советскому театральному искусству, в частности, мастерству актеров Московского Художественного театра, выступления которых он видел во время их гастролей в Лондоне.

ФРАНЦИЯ

ТРЕВОГА ЗА СУДЬБЫ РОМАНА

В последнее время на страницах французской печати немало пишут о «кризисе романа». Раздаются тревожные голоса деятелей культуры, писателей, литературоведов и читателей о дальнейших судьбах романа во Франции. Есть и другие голоса, которые выражают беспокойство чисто коммерческого свойства, а именно: как обстоят дела с книжным «бизнесом». Еженедельник «Ар», например, опубликовал статью «Роман не является больше ведущим в издательском деле», автор которой пишет: «В 1964 году роман как жанр стал объектом многочисленных противоречий и проблем... Остро стоит проблема романа как товара, выпускаемого издательствами и поступающего в продажу».

Как свидетельствуют обозреватели, у французского читателя появился интерес к истории, к документальным повестям и мемуарам. Все это хорошо, однако, пишет корреспондент газеты «Юманите», если в стране, давшей миру Бальзака, Золя, Франса, Роллана и множество других блистательных имен, отворачиваются от романа, значит, в литературе дела обстоят неблагополучно. И причина кроется не в жанре романа, как стремятся это представить буржуазные критики. Причиной тому, видимо, в значительной мере — современный модернизм, который преподносит читателю абстрактную бессмыслицу в виде антиромана, романа-абсурда и тому подобных «достижений» современных модернистов.

А условия для творчества писателей, как признает обозреватель газеты «Комба» в статье «Романисты в затруднительном положении», становятся в результате все хуже. «Падение интереса к роману,— пишет обозреватель,— пагубно отражается как на молодых начинающих романистах, так и на увенчанных лаврами мастерах. Издатели резко снизили тиражи и количество названий, сдающихся в печать. Даже общепризнанные писатели, получившие за свои книги Гонкуровские и иные премии, порою безо всякой надежды на успех обивают пороги издательств».

О ЛЮДЯХ И ЗЕМЛЕ АЛЖИРА

Недавно вышли две новые книги об Алжире: роман Анри Мосна «Украдкой» и репортажи Анни Франкос «Белая и красная».

Для Анри Мосна его роман — дебют в литературе. Подобно своему герою, он провел в Алжире около полутора лет и хорошо знает жизнь страны. Он пишет о последних днях колониального режима в Алжире и о том отпечатке, который оставила эта «грязная война» против алжирского народа в сознании многих молодых французов. После демобилизации герой романа тщетно ищет работу. Он служит грузчиком в американском лагере в Мюнхене, работает сельскохозяйственным рабочим в Баварии, осваивает профессию бухгалтера. Он ищет свое место в жизни, но перед ним всегда встают воспоминания об Алжире, о друге, который там погиб. «Это живая книга, книга бунта, и мы с нетерпением будем ждать новых произведений талантливого автора»,— пишет о книге Мосна рецензент газеты «Юманите».

Книга Анни Франкос, автора репортажа о Кубе «Кубинский праздник», посвящена первому году независимости Алжира. «Перед нами,— пишет Мирей Борис в «Юманите»,— проходит целая вереница образов — алжирцев и французов, горячих сторонников нового режима и противников, тех, кто ищет свое место в новой жизни и находит его, как, например, Амар, рабочий, который сначала хочет уехать во Францию, а потом остается на родине». По мнению рецензента, некоторые страницы книги написаны с таким мастерством, что они далеко выходят за рамки журналистского репортажа.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ

В связи с двадцатой годовщиной Словацкого национального восстания в Талах (Словакия) состоялась конференция писателей. На конференции присутствовали чешские и словацкие писатели, а также писатели из других социалистических стран. В Талы приехали: И. Эренбург, Б. Полевой, Г. Бакланов (Советский Союз); К. Калчев, В. Андреев (Болгария); И. Добози (Венгрия); С. Гейм (ГДР); В. Махеек (Польша); Ч. Вукович, М. Оляча (Югославия); Л. Фульга (Румыния) и другие литераторы.

Конференцию открыл первый секретарь Союза писателей Чехословакии И. Шотола. С докладом на тему «Антифашизм—твое имя гуманность» выступил Л. Новомеский. Он говорил об истоках фашизма, об антифашистской борьбе, о художественном выражении антифашистской темы в литературе и искусстве, об отражении ее в чехословацкой литературе. Развивая тему доклада, Новомеский подчеркнул, что «не существует дегуманизированного социализма, так же как не существует гуманистического фашизма».

«Начало антифашистскому искусству положили произведения, в которых выражался протест против попрания или ограничения гуманности и восхвалялась гуманность; словом, это было искусство, служившее благородному гуманизму, который триумфально побеждает в социалистическом гуманизме нашего века. Нацистскому аутодафе подверглись вместе с Марксом—Томас Манн, вместе с Лениным—Пушкин и Лермонтов, вся историческая линия облагораживающей и гуманистической культуры...»

«Мне кажется,— сказал далее Новомеский,— что гуманистическое облагораживающее искусство, отражающее любую область человеческой жизни, является антифашистским искусством, сознающим свою ответственность...» «Центральной идеей словацкой национальной литературы было сопротивление национальному порабощению и любой несправедливости, будь это романтическая линия художественного творчества словацких народных просветителей XIX века или реалистическое направление литературы конца прошлого века и века нынешнего...»

«Словацкие историки литературы,— продолжал Новомеский,— отмечают разносторонний интерес нашей прозы к тематике Словацкого национального восстания, которое остается далеко не

Рисунок Винцента Гложника из серии, посвященной двадцатилетию Словацкого национального восстания.
(Еженедельник «Культурни живот»)

И. Эренбург, Л. Новомеский, Б Полевой на конференции в Талах. *(Еженедельник «Культурни живот»)*

исчерпанным источником познавания мудрости и ограниченности, моральной зрелости и низости, мужества и трусости отдельных лиц и групп в народе именно потому, что восстание было самым большим и суровым испытанием, которому народ подвергся в своей бурной истории. После первых свидетельств его величия, его морального и физического сопротивления в напряженной борьбе с фашизмом словацкая проза ищет в послевоенные годы свою проблематику в актуальности строительства и укреплении достижений революции; с половины пятидесятых годов, однако, она снова возвращается к теме восстания в лучших произведениях, если не всех, то безусловно наиболее выдающихся и самых передовых прозаиков».

На конференции выступили многие писатели, в том числе И. Эренбург, Б. Полевой, С. Гейм, А. Матушка, В. Андреев, Ч. Вукович, Э. Гольдштукер, Л. Тяжкий.

Участники конференции говорили о важной роли писателя в воспитании человека, в формировании его сознания, в развитии культуры его эмоционального мира. Воспитать чуткую совесть невозможно без культуры эмоций. Поэтому на всех писателях лежит такая огромная ответственность, сказал на конференции Илья Эренбург.

«Пусть наше слово будет понятно человеку, молодым людям,—подчеркнул в своем выступлении Чедо Вукович.— Пусть оно будет таким, чтобы писатели на всех параллелях пробуждали в людях стремление к солидарности. Современный мир полон опасностей, фашизм жив в разных обличиях. Это обязывает современного человека и нас, писателей, быть бдительными, выступать в защиту личности»...

Участники конференции встретились с чешскими и словацкими историками, которые рассказали о Словацком национальном восстании; состоялись интересные встречи писателей с партизанами.

ЧИЛИ

ГЕРОИ ПЬЕСЫ — ИНДЕЙЦЫ

Чилийская писательница Мария Асунсьон Рекена написала пьесу из жизни индейцев юга страны. Тема пьесы — борьба индейцев, выделывающих кожи, против грабительской политики скупщиков. Пьесу поставил университетский театр города Консепсьона, в главной роли — Нельсон Виллагра, по словам корреспондента газеты «Сигло», «лучший актер Чили 1963 года».

ЮГОСЛАВИЯ

«И БОЛЬ И ЯРОСТЬ»

Недавно вышел новый роман «И боль и ярость» известного советскому читателю македонского писателя Славко Яневского (см. «Иностранную литературу» № 5, 1958 г.).

«Новый роман Славко Яневского по содержанию и стилю представляет новое явление в македонской литературе,— пишет корреспондент газеты «Политика».— Революция и все, что сопутствует важным историческим событиям, всегда были в центре внимания этого писателя. Для него характерна смелая обрисовка образов, конфликтов и кризисов, побед и поражений». Критика относит этот роман к значительным достижениям современной югославской литературы.

По собственному выражению писателя, в его новом романе речь идет «о боли и ярости революции, о безумстве храбрости и неистовстве страха, о торжестве победы и горечи поражений, о крахе и возрождении. Время — военное. Декорации — могилы, пепелища, искры надежды. Действующие лица — человеческая масса. Роман доступен каждому».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

НИКОЛАС ГИЛЬЕН — NICOLÁS GUILLÉN (род. в 1902 г.) — кубинский поэт, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Произведения Н. Гильена неоднократно издавались в Советском Союзе.

Публикуемые стихи взяты из книги «Что есть у меня» («Tengo», 1964).

ЗОЛТАН ФАБИАН — ZOLTAN FABIÁN (род. в 1926 г.) — венгерский писатель, лауреат премии Аттилы Йожефа. Автор сборников рассказов «Пути» («Utak», 1952), «Скрипка поет» («Hegedüszó», 1956), путевых заметок «Вот она, Европа» («Ime Európa», 1958), романа «Приговор» («Itélet», 1961).

Опубликованная в этом номере журнала повесть «Три крика» («Három kiáltás»), которую автор называет «маленьким романом», вошла в одноименный сборник, вышедший в 1961 г. и получивший премию Всевенгерских профсоюзов.

СЕМБЕН УСМАН — SEMBÈNE OUSMAN (род. в 1923 г.) — сенегальский писатель — прозаик, поэт и драматург, был участником конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте в 1958 г. Автор романов «Черный докер» («Le Docker Noir», 1956), «Родина моя, прекрасный мой народ» («O! Pays, mon beau peuple!», 1957), «Тростинки господа бога» («Bouts de bois de Dieu», 1961), опубликованного журналом «Иностранная литература» (см. №№ 5, 6 за 1962 г.).

Роман «Горячий ветер» — в оригинале «Харматтан» («L'Harmattan»), — являющийся первой частью трилогии, вышел в 1964 г.

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (род. в 1929 г.) — монгольский поэт. Автор поэтических сборников «Наше желание», «Под необъятным голубым небом», «Звон серебряной уздечки». Последний сборник издан в 1960 г. в русском переводе.

Публикуемое стихотворение взято из монгольской литературной газеты «Соёл утга зохиол» (март 1964 г.).

ГУНДСАМБЫН САНЖЖАВ (род. в 1935 г.) — монгольский поэт.

Стихотворение «Вечная весна» взято из одноименного сборника стихов, изданного в 1962 г.

МИШИГИЙН ШИРЧИНСУРЭН (род. в 1933 г.) — монгольский поэт. Автор сборников стихов «Капли дождя» (1956), «У горной тропинки» (1958), «Нежность» (1961).

Стихотворение «Ороло — детство мое» было напечатано в газете «Соёл утга зохиол» (июль 1963 г.).

ДОРЖИЙН ГОМБОЖАВ (род. в 1932 г.) — монгольский поэт, автор нескольких поэтических сборников. На монгольский язык им переведен «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели.

Публикуемое стихотворение взято из монгольского сборника «День поэзии. 1963».

МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ (род в 1932 г.) — монгольский поэт и переводчик. Автор книг «Сокровищница жемчуга» (1959), «Пестрая история» (1959). Перевел на монгольский язык некоторые произведения М. Горького, С. Есенина, Р. Гамзатова.

Стихотворение «Навстречу солнцу» взято из монгольского журнала «Цог» № 1, 1964 г.

КАРЛОС АУГУСТО ЛЕОН — CARLOS AUGUSTO LEÓN (род. в 1914 г.) — венесуэльский поэт, публицист и общественно-политический деятель, лауреат нескольких национальных премий. К. А. Леон автор многих книг, в том числе «Живые шаги»

(«Los pasos vivientes», 1940), «Волшебные камни» («Las piedras mágicas», 1945), «Имена жизни» («Los nombres de la vida», 1947), «Москва — город Человека» («Moscú, ciudad del hombre», 1949), «Смерть в Голливуде» («La muerte en Hollywood», 1950), «Поэзия» («Poesías», 1954).

Напечатанные в номере стихотворения были опубликованы в венесуэльской прессе. Сонет «Человек и звезда» («El hombre y la estrella») прислан поэтом в рукописи.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — JAMES BALDWIN (род. в 1924 г.) — американский негритянский писатель, драматург, эссеист. Автор книг «Идите, вещайте с гор» («Go, Tell on the Mountain», 1953), «Комната Джованни» («Giovanni's Room», 1956), «Никто не знает моего имени» («Nobody Knows My Name», 1961), «В иной стране» («Another Country», 1962), «Завтра — пожар» («The Fire Next Time», 1963).

Пьеса «Блюз для мистера Чарли» («Blues for Mr. Charlie») вышла в 1964 г.

ГАБОР ТОЛНАИ — TOLNAI GABOR (род. в 1910 г.) — венгерский литературовед и критик, член венгерской Академии наук, профессор Будапештского университета, лауреат премии Аттилы Йожефа. Автор многих сборников статей и очерков, в том числе «Очерки, статьи» («Vázlatok es tanulmanyok», 1955), кубинский дневник. «Море и ветер» («A tenger es szél», 1963).

Публикуемая статья получена в рукописи.

ХАНС ШЕРФИГ — HANS SCHERFIG (род. в 1905 г.) — датский писатель-сатирик и художник. Им написаны романы «Пропавший чиновник» («Den forsvundne fuldmaegtig», 1938), «Упущенная весна» («Det forsømte foraar», 1960), «Скорпион» («Skorpionen», 1953), переведенный на русский язык, «Фрюденхольм» («Frydenholm», 1962), книга очерков «Поездка в Советский Союз» («Rejse i Sovjetunionen», 1951) и другие.

Публикуемая статья взята из книги «Три писателя» («Tre digtere»).

ГУСТАВО ВАЛЬКАРСЕЛЬ — GUSTAVO VALCARCEL (род. в 1921 г.) — перуанский поэт и прозаик. Автор романа «Тюрьма» («La prisión», 1951), книги репортажей «Агония Перу» («La agonía del Perú», 1952), поэтических сборников «Стихи изгнания» («Poemas del destierro», 1956), «Песни земной любви» («Cantos del amor terrestre», 1957), «Его лучшие стихи» («Sus mejores poemas», 1960), «Куба — да, янки — нет!» («Cuba si, yanquis no!», 1961), «Революционная поэзия» («Poesía revolucionaria», 1962) и др.

В этом номере журнала публикуется глава из книги Валькарселя «Репортаж будущему» («Reportaje al futuro», 1963).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 09427. Сдано в производство 17/IX-64 г. Подписано к печати 11/XI-64 г.
Бумага 70×108 1/16 — 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+2 вкл. Зак. 2080.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ.

Журнал систематически печатает статьи, освещающие важнейшие проблемы развития зарубежных литератур, литературные портреты, статьи о новинках зарубежной литературы, рецензии на новые книги зарубежных писателей, вышедшие в советских и зарубежных издательствах.

Журнал знакомит читателей с новыми произведениями искусства, рассказывает о новых кинофильмах и театральных постановках.

Широкая информация о литературной и культурной жизни дается в разделе «Из месяца в месяц».

В журнале выступают зарубежные и советские писатели, деятели науки, культуры и искусства.

Журнал иллюстрирован.

Подписная цена на год — 9 р. 60 коп.
на 6 мес.— 4 р. 80 коп.
на 3 мес.— 2 р. 40 коп.
Цена одного номера — 80 коп.

В 1965 году редакция предполагает напечатать следующие произведения:

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
«Пастухи ночи» (Роман)
ДЖОН АПДАЙК (США)
«Кентавр» (Роман)
ЛУИ АРАГОН (Франция)
«Очарованный Эльзой» (Поэма)
МОНГО БЕТИ (Камерун)
«Исцеленный король» (Роман)
ГЕНРИХ БЁЛЬ (ФРГ)
«Вне строя» (Повесть)
МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ)
«Светляки и пламя» (Роман)
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Новая пьеса
САУД ДЕРВИШ (Турция)
«Любовные романы» (Роман)
ХОРХЕ ИКАСА (Эквадор)
«Злоключения Ромеро-и-Флореса» (Роман)
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)
Новая книга
АЛЬБЕРТО МОРАВИА (Италия)
«Внимание» (Роман)
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)
Новый роман
ЯН ОТЧЕНАШЕК (Чехословакия)
Новый роман
ХОРХЕ ОРТЕЛАНО (Испания)
«Летняя гроза» (Роман)
МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА (Венесуэла)
«Онорио» (Роман)
ЖОРЖ СИМЕНОН (Франция)
Новый роман
МАКС ФРИШ (Швейцария)
«Бидерман и поджигатели» (Пьеса)
КАРЛОС ФУЭНТЕС (Мексика)
«Смерть Артемио Круса» (Роман)
ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН (Англия)
«Моя биография»
РОБЕРТ ШЕКЛИ (США)
Научно-фантастические рассказы
МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ (ГДР)
«Мы не пыль на ветру» (Роман)

Редакция рассматривает также новые произведения

МИГЕЛЯ АНХЕЛЯ АСТУРИАСА, РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ, ХУАНА БОША, ХАЙМЕ ТОРРЕСА БОДЕТА, УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА, НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА, ДИМИТРА ДИМОВА, ЮСУФА ИДРИСА, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, МАРИИ МАЙЕРОВОЙ, Р. К. НАРАЙАНА, ИГОРЯ НЕВЕРЛИ, ЗДЕНЕКА ПЛУГАРЖА, ОКТАВИО ПАСА, ЭРИХА МАРИА РЕМАРКА, ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА, АНДРЕ СТИЛЯ, ДИКО ФУЧЕДЖИЕВА, КАТЕБА ЯСИНА и др.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ